

ИЗБРАННОЕ

Герман Банг

Банг



Герман

ИЗБРАННОЕ



ИЗБРАННОЕ

Герман Банг

ИЗБРАННОЕ

ПЕРЕВОД С ДАТСКОГО

*



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

Составитель
Ю. Яхнина

Предисловие
В. Неустроева

Комментарий
А. Сергеева

Оформление
художника
А. Лепятского

Сострадание было его музой...

1

Имя датского писателя Германа Банга было популярно на рубеже XIX и XX веков. Его социально-психологические романы, новеллы и эссе встречали сочувственный прием в широких общественных кругах и порою соперничали с произведениями скандинавских литераторов, пользовавшихся большим успехом в ту пору.

Банг привлекал читателей глубиной чувства, верой в человека и его возможности, вниманием к судьбам униженных и оскорбленных. Все лучшее в литературном наследии Банга согрето горячей любовью к родине и народу. Еще его современник и соотечественник, известный общественный деятель и литературный критик Георг Брандес обращал внимание на социальный характер творчества Банга, объясняя его в первую очередь стремлением писателя разобраться в причинах, смысле и последствиях датско-прусской войны 1864 года, явившейся для Дании национальной трагедией. В публицистических и художественных произведениях своих с болью в сердце писал он о полных драматизма сражениях у Дюббельских высот и у стен крепости Данневирке, о поражении, настойчиво предостерегая о возможности новой войны, пагубного милитаристского курса правительства. По словам Брандеса, «горение дюббельских ран чувствуется в крови Банга», а его произведения представляют собою «звено в цепи тех усилий, которые делались с разных сторон, чтобы облегчить стране разобратсья в новом положении после разгрома».

Однако Бангу на протяжении почти всего творческого пути сопутствовала слава художника разочарованного, мрачного и пессимистического, склонного к натурализму и якобы далекого от общественных интересов и проблем современности. Была создана легенда о безысходном трагизме изображаемых им «безнадежных поколений» — людей «черной кости» и «голубой крови», лишенных возможности свободного развития и гибнущих под ударами судьбы. Даже Брандес, справедливо отмечая противоречия в мировоззрении Банга и неравноценность его художественного наследия, иногда слишком абсолютизировал субъективные начала в творчестве писателя, связанные со стремлением к болезненному самоописанию и физиологическому самовыражению, преувеличивал проявление у него декадент-

ских настроений. Несомненно, более объективной была мысль критика о том, что в противовес декадансу Банг оставался верен рационализму, жизненной правде.

И не потому ли Банг вскоре оказался забытым, что творения «представителя вымирающего рода», как писали о нем критики начала XX века (Ф. Поппенберг, А. Левинсон и др.), казались эпигонскими, лишёнными интереса и перспективы, поскольку в них «с беспощадной ясностью воплотился неизменный пессимизм поколения, чувствующего себя последним». Правда, сочинения писателя продолжали издаваться, а кинофильмы, снятые на их сюжеты, пользовались определенным успехом. Но этот успех можно объяснить главным образом стремлением приспособить наследие Банга к нуждам буржуазной культуры, объяснить его в духе модернистской эстетики и философии фрейдизма.

Интерес к Бангу как художнику большой жизненной правды и мыслителю, мучительно искавшему ответы на жгучие вопросы современности, возрождается — в первую очередь в скандинавских странах — после второй мировой войны. И это не случайно. В монографиях и статьях датских литературоведов С.-М. Кристенсена, Х. Якобсена, шведского критика Т. Нильссона возникает образ писателя, стремившегося утвердить гуманистические идеалы, принципы нравственности, требовательное отношение к личности и обществу.

Конечно, это отнюдь не означало, что споры вокруг Банга затихли. Пожалуй, наоборот. Но переключились они во многом в новое русло. Широко привлекая материалы публицистики Банга, его дневники, письма, статьи и заметки (в том числе те, которые стали лишь недавно достоянием общественности), исследователи стремятся найти ключ к «тайнам» его психологизма и художественного мастерства. В одних случаях речь по-прежнему идет о трагизме и одиночестве писателя, о его стремлении выразить «поэзию нервов» и субъективистский «поток сознания», утвердить в качестве основного мотива власть полового инстинкта. В других — и это очень важно — психология и поведение его героев объясняются социальным детерминизмом, а импрессионистический стиль и «эксцентрика» занимают свое место в эстетической системе реалистического искусства.

2

Герман Иоахим Банг (1857—1912) родился в семье пастора. Годы его детства прошли в Адсербалле, на небольшом острове Альс. После войны 1864 года семья переехала в Зеландию — одну из крупных областей страны. В 1875 году Банг поступает в академию в Сорё. Здесь зреет у юноши протест против догматики и благо-

честия, возникают мечты о свободе. Уже в студенческую пору он приходит к выводу, что осуществление принципов добра и справедливости возможно прежде всего в сфере искусства. Поэтому по окончании академии (1877 г.) Банг решает избрать карьеру актера и даже пробует себя в Народном театре в Копенгагене. Но столица встретила его неприветливо. Попытка устроиться в театре потерпела неудачу. Как-то сразу он оказывается в стесненных материальных условиях. Ожидать помощи из дома он не мог. Небольшие средства, оставленные дедом, быстро иссякли. Перед юношей нависла угроза нищеты.

Литературой Банг начинает заниматься с целью заработка. Его первыми опытами были небольшие статьи, которые удалось напечатать в 1877 и 1878 годах в газетах «Берглингске тиденде» и «Ютланде постен». Вскоре он становится профессиональным журналистом, сотрудничает в крупной левой газете «Политикен». Диапазон его деятельности в этой области оказывается достаточно разнообразным — от рецензий и хроники до фельетонов и художественной критики. Ранние успехи молодого публициста были настолько многообещающими, что он становится даже во главе одной издательской фирмы, которая, однако, вскоре терпит крах. И конечно, работа в периодической печати не проходит для него даром. Она помогает выработать острого взгляда на жизнь, делает его наблюдательным, способствует становлению мировоззрения.

Как писатель Банг дебутирует сборниками литературно-критических эссе — «Реализм и реалисты» (1879), «Критические этюды и наброски» (1880), романом «Безнадежные поколения» (1880). К этому времени его социальные и эстетические взгляды складываются под воздействием реалистической литературы и современных национальных и европейских общественных событий. Близкий по своим устремлениям к радикально-демократическому общественному и литературному «движению прорыва» 70-х годов, возглавлявшемуся Г. Брандесом, Банг всецело поддерживает идеи о необходимости осуществления либеральных социальных реформ, широкого обсуждения политических проблем. По Брандесу, наиболее существенное отличие реалистической литературы от романтической состояло в том, что она повествует не о «наших мечтах», а о событиях текущей жизни, «обсуждает актуальные проблемы», иначе «произведение утрачивает свое значение».

Но взаимоотношения Банга с Брандесом в сфере собственно литературной складываются гораздо сложнее. Пропаганда критиком «тенденциозной литературы» писателю казалась неуместной в условиях общественного спада, начавшегося в 80-х годах. Так возник известный (хотя и кратковременный) спор между Бангом и Брандесом, в котором — и это становилось уже традицией — стремились

усмотреть отражение борьбы «восьмидесятников», представленных главным образом декадентски настроенными литераторами, с принципами реалистического искусства «семидесятников». Однако позиция Банга отнюдь не означала его отхода в сторону эстетизма. Продолжая отстаивать принципы «литературы действительности», он одновременно (в статье «Новь», опубликованной в декабре 1889 г. в журнале «Гётеборг хёндельсер») счел нужным решительно отмежеваться от крайне субъективистских позиций кружка С. Клаусена, И. Йоргенсена, В. Стукенберга и других, стремившихся объявить Банга своим единомышленником.

Смысл реализма в искусстве Банг видел не в «открытой» (тенденционной) подаче жизненного материала, а преимущественно в «объективной манере повествования», начало которой в датской литературе было положено Йенсом Петером Якобсенем, автором «физиологических» новелл и шумевших романов «Фру Мария Груббе» и «Нильс Люне». Художественное произведение, по мысли Банга, не должно объяснять и поучать, его задача — описывать, рисовать. Именно этим целям в осуществлении реалистического замысла, в передаче впечатлений от действительности и должна, как думал Банг, служить техника импрессионистического стиля, заключающегося в намеке и подтексте.

Но было естественно, что Банг все же не смог последовательно теоретически защитить и творчески реализовать лишь одну — объективную — форму реалистического искусства. Уже в ранних эссе, опубликованных в периодической прессе, в первую очередь в статьях сборника «Реализм и реалисты», писатель под «правдивой картиной своего времени» подразумевал и активное отношение автора к изображаемому, считал своим долгом не только указывать на «болезни общества», но и «быть его врачом». И его лучшие романы и новеллы убедительно доказывают это.

Родоначалником литературы нового типа Банг считал Бальзака, «гениального создателя социального романа», «исследователя», привлекающего правдивостью характеров и точностью изображения. «Человеческая комедия» импонирует датскому писателю грандиозностью замысла и глубиной философской мысли. И именно в бальзаковском ключе ему самому хотелось наметить решение проблем, связанных с «историей одной семьи», которую Банг расскажет во многих своих романах, начиная с «Безнадежных поколений». Золя Банг упрекал за излишнюю приверженность догме позитивизма, концепции влияния наследственности, считая, что естественнонаучные теории того времени нередко оказывались «непроверенными гипотезами».

Современная скандинавская литература была близка Бангу не только правдивостью поэтического вымысла (Х. Дракман, П. Нансен, В. Толсё, К. Йеллеруп), но и открытым вторжением в события

современности, острой критикой буржуазной морали, настойчивым обращением к социальным низам (Ибсен, Якобсен, Ли, Стриндберг).

Позже Банг настоятельно подчеркивал, что и русская литература сопровождала его с ранней молодости. В юности он познакомился с лирикой Пушкина. По признанию Банга, Лермонтов оказал значительное влияние на автора «Безнадежных поколений», а «грустная поэзия» Ивана Тургенева «звучала нежной мелодией» в его ушах, когда он «бродил по огромным паркам вокруг полуразрушенных усадеб». Достоевский заставил его критически оценить существующие формы государства, а также заглянуть в глубины народной жизни. С «удивлением и восторгом» прислушается датский писатель «к словам Толстого, который был устами самой страны», но особенно полюбит Чехова, «дарившего народу создания своего гения».

3

Роман «Безнадежные поколения» явился результатом определенной литературной выучки, но главное — плодом глубоких раздумий Банга над широким кругом личных и общественных проблем. Положив начало циклу социально-психологических романов, носивших преимущественно автобиографический характер, первое крупное художественное произведение писателя представало книгой многоплановой, в которой семейная хроника органически вписывалась в довольно широкую панораму общественных событий — прошлого и настоящего.

В основу романа Банг положил впечатления детства и юности — поры, когда он был свидетелем тщетных попыток семьи вернуть былое достоинство и достаток. События романа и повествуют о вырождающейся аристократической фамилии. Разорившихся обитателей белого дома, этого своего рода датского вишневого сада, словно преследовал злой рок. В образе юного Вильяма автор отчасти изобразил себя, показал собственные переживания и невзгоды — в одних случаях сочувственно, в других — критически. Не без гордости Вильям вспоминает о своих предках — одном из старейших родов в стране. Многие из них, правда, были натурами средними, жили незаметно, спокойно. Появлялись среди них и люди труда, твердой воли, которые знали, чего хотели, хотя и действовали порою легкомысленно, были склонны к эксцентрическим поступкам.

Несомненный интерес представляет социальный и культурный фон, на котором разворачиваются события романа. И хотя характеристики здесь лапидарны, а порою и спорны, все же именно картины нравов придают повествованию особую выразительность и весомость. Два вопроса социально-исторического плана приобретают

в концепции романа большое значение. Это оценка важной в истории национальной культуры эпохи романтизма и революционных событий 1848 года, связанных прежде всего с развертыванием национально-освободительного движения в Шлезвиге.

Конечно, авторское определение смысла романтизма как «эстетического периода» явно недостаточно, — ведь выдающиеся его деятели, в частности Адам Эленшлегер и Ханс Кристиан Андерсен, были активными борцами за социальный и художественный прогресс. Более объективно писателем передано ощущение общественных событий середины века, когда «у народа за словами чувствовалась сила», а военный конфликт стал суровым испытанием для страны.

Но для героя романа эти факторы все-таки замкнуты в биографические рамки: его отец был воодушевлен политическими идеалами времени, а мать отдавалась романтическим мечтам о давно минувшей поре. И если Людвиг, некогда настроенный патриотически и воевавший добровольцем, быстро утрачивает идеалы юности и довольствуется должностью чиновника в ютландском городке, то Стелла, меланхоличная и безвольная, грустит уже по поводу роковой ошибки, каковой считала брак с ним.

Свои испытания выпали и на долю Вильяма, мальчика странного и в чем-то необыкновенного. Большие глаза его смотрели на окружающее печально и беспокойно, он мог тихо разговаривать сам с собой, руки его висели как плети. Все это, казалось, свидетельствовало о нем как о натуре «негероической». За ним даже утвердилось определение «анти-Аладдина» — человека противоположного герою популярной сказочной драмы Эленшлегера, олицетворяющего мужественную борьбу за личное счастье и право народа.

И все же такого рода определение не было целиком справедливым. В романе Банга явно ощущается «воспитательная» тенденция, намечающая ступени формирования личности. Различным образом трансформируется в его сознании воздействие родителей да и вообще окружающей среды. Инстинктивно чувствуя неприязнь к практицизму, он живет в вымышленном мирке, напоминающем сказки и театральные декорации. Но в увлечении юноши театром сказывалось нечто и от объективной позиции: именно сфера искусства представлялась ему менее всего затронутой узостью взглядов придворных кругов или городского бюргерства.

Безвременная кончина матери и психическое заболевание отца, ненадолго пережившего жену, проводят резкую черту между Вильямом и всем прошлым. И поскольку после отца «ничего не осталось», наследники оказываются перед перспективой бедности и безрадостного существования: уделом сестер становится монастырь, а перед юношей будущее зияет пустотой. Якорем спасения оказывается воз-

возможность поступления в академию в Сорё. Правда, монотонная жизнь академии не внушала радужных перспектив. И в нервной натуре шестнадцатилетнего юноши возникают новые, не свойственные ему ранее черты: он становится «озлоблен против всего мира», пишет стихи о «мятежном сердце», с завистью думает о библейском Иакове, бросившем вызов самому богу.

Конечно, воспитание характера, почти во всем противоположного окружающему, дается герою Банга нелегко. Как ненавистна была ему видевшаяся повсюду безобразная маска Медузы, взгляд которой, как говорила легенда, обращал все живое в камень! Но станет ли Вильям новым Персеем, способным отрубить голову чудовищу? Он много страдает, мечтает создать нечто великое, пока же вопрос относительно людей его склада автор оставляет открытым. «Безнадежным» остается все то, что живет только прошлым — красивым, идиллическим, но все же безвозвратно утраченным. Однако мимо пытливого взора писателя не пройдут те силы, которые — и он это отчетливо понимает — становятся опорой нации, надеждой в будущем. Это люди из народа, трезво мыслящие, способные решительно действовать.

Последующий путь Банга-художника становится более сложным. И первые примеры в этом отношении дают его произведения 1880-х годов. В пору, когда размежевание усиливается и в литературе, Банг остается принципиальным сторонником искусства жизненной правды. Свидетельством этому (хотя и в разной степени) являются романы «Федра» (1885), «У дороги» (1886), «Крах» (1887) и «Тине» (1889), новеллы, лучшие из которых составили сборник «Эксцентрические новеллы» (1885), а также «Стихи» (1889).

С середины 80-х годов в творчестве Банга проявились новые идейные и художественные тенденции. Интенсивная деятельность писателя разворачивается в условиях кочевой жизни. После краха издательской фирмы он едет в Германию. Годы странствий, естественно, расширяют его кругозор, но и оказываются чрезвычайно тревожными. Нередко его преследует полиция. Как неблагонадежный, он высылается из Берлина и Мейнингена. Поводом служат то смелые корреспонденции писателя в скандинавскую прессу, то его предосудительные, с точки зрения мещанской морали, художественные произведения. Сравнительно недолгим будет его пребывание в Вене и Праге.

Роман «Федра» отличается сочетанием психологического повествования с историческим. Эпизод, повествующий о браке еще молодой Эллен со старым графом Урне и зарождении у нее чувства к пасынку, юному Карлу, предваряется в романе подробнейшим рассказом сложной истории древнего дворянского рода, к которому принадлежала героиня. Писатель шаг за шагом с документальной (порою —

медицинской) точно прослеживает и анализирует этапы и причины падения рода, свойства наследственности, которые, по его убеждению, наиболее полно проявляются в характере и поступках Эллен, женщины психически неуравновешенной и своенравной. Сопоставление ее с легендарной Федрой, оказавшейся способной оклеветать пасынка в глазах его отца и покончить с собой, в романе Банга только намечено. В Эллен, поражавшей вначале своей необычностью, оказывается, нет ни силы воли, ни «демонизма». Женщина с расшатанными нервами, оставленная мужем, она «все глубже засыпала сном морфинистки, доживая свой век в замке предков».

Очевидно, что только роман «У дороги», писавшийся в Берлине и Вене, явился серьезным подступом к разработке очень важных проблем социального и психологического порядка. Банга интересуют люди и события, находящиеся как бы вдали от столбовой дороги истории (не намек ли это на маленькую Данию, на которую писатель теперь смог взглянуть «со стороны»). Еще в книге «Реализм и реалисты» он писал о замысле этого романа, который должен представить «тихую драму в тихом городе».

И действительно, героиня романа Катинка и окружающие ее персонажи живут возле железнодорожной станции маленького городка, мимо которой проносятся экспрессы в неведомый мир с неведомыми людьми. Щемящая тоска одиночества и непонятости окружающими, унылые будни безрадостного существования заставляют ее мечтать о чем-то светлом, далеком.

Грустная и несколько сентиментальная, отчасти напоминающая другую банговскую героиню — Стеллу, Катинка вынуждена довольствоваться «малым счастьем»: на какие-то минуты на перроне станции она наблюдает суматоху, чужую жизнь, а в вечерние сумерки сидит за пианино, играя одни и те же мелодии. Лучшим временем своей жизни она считает годы пребывания в институте. Тогда же она встречается с отставным лейтенантом Баем. Но брак с ним оказывается безрадостным. Он любит выпить, хорошо поесть, поглощен любовными связями на стороне, к сентиментальным воспоминаниям и мечтам жены относится иронически.

В такой обстановке зарождается чувство Катинки к управляющему Хусу, который, казалось, всем своим видом и характером противоположен Баю. Его мягкий, задушевный голос, ровность характера делают общение с ним легким и радостным. Но и в Хусе многое оказывается обманчивым. Он слишком безволен и слаб, слишком филистер, чтобы стать способным изменить что-либо в судьбе и своей собственной, и любящей его женщины. Неудачная любовь к Хусу и разлука с ним окончательно подрывают и без того слабое здоровье Катинки. Болезнь развивается стремительно и очень быстро приводит к трагической развязке.

Конечно, роман «У дороги» не был «трагедней неправильно подобранных пар», как утверждала буржуазная критика. История его героев затрагивала широкие аспекты действительности, свидетельствовала о социальной несправедливости. Безвременная кончина героини воспринимается как логический исход в столкновении противоборствующих сил — добра, мечты о свободе (тенденций, намеченных в романе преимущественно в этическом плане) и мещанского самодовольства, грубого эгоизма, внешне «тихого существования».

Пессимизм Банга, отразившийся в финале романа «У дороги», носил социальный характер. Писатель еще был далек от осознания реальных путей возможного обновления общества. Недаром, заканчивая роман, он с грустью писал о том, что понесенная утрата ничего не изменила в установленном порядке в доме Бая, где и теперь «все пойдет по-старому».

И.-Ф. Иенсен в книге «Тургенев в датской духовной жизни» (1969) справедливо говорит о следовании автора романа «У дороги» определенной литературной традиции — Якобсену («Фру Мария Груббе») и Тургеневу («Дворянское гнездо»). Героиню Банга с Марией Груббе сближает страстная мечта об иной жизни, но, подобно тургеневской Лизе, она еще не оказывается способной бороться: ее гибель в чем-то сходна с отказом от «греховного мира» — уходом Лизы в монастырь. Время активных женских натур как у Тургенева, так и в определенной степени у Банга еще впереди.

В раскрытии психологии героев, в мотивировках их поступков существенную роль играет деталь — относится ли это к персонажам, выражению их настроения, внешнему виду, костюму или к пейзажным зарисовкам, передающим часто тончайшие нюансы переживаний героев.

Необычайный эффект достигается при этом контрастным (становящимся символическим) противопоставлением высокой мысли и чувства — миру бюргерскому, обезличенному, часто играющему роль статичного фона. Так многозначно вырисовывается, например, характер Катинки Бай по отношению почти к каждому из персонажей из мира прописной морали, холодного расчета. Атмосфера действия, порою мимолетные впечатления передаются как бы в движении, словно в калейдоскопе событий. Автор в одних случаях ведет свою героиню «сквозь» события, в других заставляет ее активно раскрывать себя в поступках, в диалоге, иногда в маленькой реплике.

Значение романа «У дороги» состоит в том, что в подчеркнуто простом повествовании о быте и нравах датской провинциальной жизни писатель сумел передать не только картину мещанского существования, но и ненstreбимую мечту человека о счастье,

Своеобразно и выразительно принцип непосредственной фиксации быстро меняющихся впечатлений воплощается в новеллистике Банга. Первые опыты в жанре новеллы (1880 г.) писатель называл «трудными мелодиями», которые представляли собою отмеченные печатью натурализма фрагменты и зарисовки из «сумрачного существования» и застойной жизни датской провинции. Сам автор не придавал им серьезного значения. Но уже рассказ «Пастор» (1883) был, по определению самого Банга, его «настоящей новеллой», с чтением которой перед аудиторией писатель впервые выступил в Копенгагене. Новелла полна иронии и сарказма по поводу мыслей и поведения уже немолодого пастора, посланного на Север, в Гренландию, к эскимосам для проповеди слова божьего.

Цикл «Эксцентрических новелл», включавший в первом издании три рассказа («Франц Пандер», «Братья Бедини», «Шарло Дюпон»), представлял собою явление новое в творчестве Банга, а в чем-то и вообще в датской литературе. Уже сам выбор персонажей казался непривычным, навеянным (по крайней мере, внешне) впечатлениями от европейской действительности. Героями «триптиха» Банга стали люди бесправные, существующие якобы лишь для услужения или забавы публики. Это кельнер ресторана, юный циркач и музыкант-вундеркинд. Видимо, самими обстоятельствами жизни им уготовано было стать марионетками, слепыми исполнителями чужой воли.

Незаконнорожденный сын прачки, Франц Пандер с детства видел себя «отверженным». Нежный и застенчивый, он рано познал горечь унижения, рано начал мечтать о красивой жизни. Мальчик часами мог простаивать перед витринами магазинов, зимними вечерами любил читать романы о герцогинях или бродить по богатым кварталам... Все сильнее сказывалось на нем развращающее влияние среды. В детстве привык он к подачкам, которые мать получала в «хороших домах». Позже рассказы слуг о постояльцах богатых отелей дразнили любопытство юноши и возбуждали желания.

Казалось, что цели своей юноша достигает, когда становится кельнером. «Дьявольски красивый парень», прозванный Ганимедом, он привлекает женщин. Но сам он мечтает лишь о девушке «из высшего круга». Банальная повседневность порождает в нем тупое отчаяние. Невозможность осуществления желаний приводит Франца к самоубийству, а его старая мать, изнуренная тяжким трудом, лишь в бессильной злобе поднимает к небу тощую, сжатую в кулак руку.

Тот же трагизм человеческого существования Банг наблюдает и в среде художников. Маленький Клаус, проданный в цирковую труппу и получивший звучное имя Дживованни Бедини, переживает немало злоключений. После неудачного падения акробат становится

укротителем львов. Но и здесь его преследует неудача: львица однажды нападает на дрессировщика. Чудом оставшись в живых, он с ужасом думает о своем будущем. Уже немолодой, не имеющий никакой специальности, неспособный вернуться к своим прежним занятиям в цирке, он еще рассчитывает на возможность стать клоуном или жокеем-пародистом...

Столкновение человека искусства с безжалостным миром дельцов остро показано и в новелле о Шарло Дюпоне. Жестокий отец и импресарио откровенно цинично эксплуатируют талант музыканта-вундеркинда. Тяжелые упражнения, лишённые радости творческого труда, были рассчитаны лишь на эффект виртуозного исполнения. И когда двадцатилетнего юношу уже нельзя было выдать за «вундеркинда», музыкант оказывается выброшенным за борт.

В героях новелл Банга нередко видели по преимуществу «бесповседневных эксцентриков», поражающих воображение читателя необычностью своей судьбы, гротескными ситуациями, в которые, по воле роковых обстоятельств, они попадали. Но «эксцентрика» здесь отнюдь не апология исключительного. Странные герои Банга, наоборот, привлекают свойствами, характерными для человеческой природы. Они по своей природе добры и непосредственны, способны на самопожертвование. Это в глазах преуспевающих буржуа они предстают чудаками, лишёнными чувства собственности, а потому и поступающими нелогично. Правда, им часто не хватает знания жизни, слишком доверчивы они там, где следует быть настороженными. Но именно они — пусть инстинктивно — приходят к необходимости как-то обдумать происходящее, чтобы не оставаться бессловесным механизмом в чужих руках. Такого рода обобщения придают «эксцентрическим» произведениям Банга характер глубокого иносказания, философской притчи.

Волчьи законы буржуазного общества показаны Бангом и в романе «Крах». Как и в новеллах, Банг рисует здесь мир, внешне напоминающий театр марионеток. Фоном событий, развернувшихся в романе, служит динамическая картина жизни Копенгагена — шумные трамваи, куда-то спешащие люди. Рассказ об оперетте и пантомиме в театре «Тиволи» дополняет картину, в чем-то сходную с феерией.

А между тем в одной из ячеек этого общества разыгрывается история далеко не карнавальная. Журналист Херлуф Берг (напоминающий самого Банга ранних лет его литературной деятельности) вовлечен в водоворот столичной жизни. Воспитанный в деревенской глуши и с большим чувством вспоминающий о «людях чести» — о героических участниках войны 1864 года, самоотверженных защитниках крепости Данневирке, об отце, о Тине, — здесь он сталкивается с совершенно иным миром, притоном шарлатанов, с моралью обладателей фальшивых векселей. Втянутый в аферу, связанную с построй-

кой театра, он с ужасом узнает о крахе предприятия и сам становится жертвой.

Но Банг в «Крахе» далек от отчаяния. Его роман — книга надежды. Об этом постоянно напоминает второй план повествования, свидетельствующий о существовании людей, верящих в торжество нравственности и справедливости. Это они судорожно ищут ответа на вопросы жизни, предпочитают творческий труд на общее благо. И герой Банга избирает этот путь: он будет работать, писать — ведь «жизнь идет вперед».

Б

В историческом романе «Тине», являющемся вершиной реалистического творчества Банга, широко и непосредственно воспроизведены события датско-прусской войны 1864 года, возникшей из-за «спорных территорий» — Шлезвиг и Гольштейна. Г. Брандес справедливо писал о том, что во всех произведениях писателя так или иначе ощущается влияние войны, но, пожалуй, только в «Тине» наиболее остро даны «воспоминания об унижении и оскорблении» нации, которые, в свою очередь, подчинены задаче — помочь «разобраться в новом положении после разгрома», стать (в условиях нового разжигания шовинистических настроений в стране) «предостережением государственным деятелям».

Картина жизни, развернутая в романе «Тине», иная, чем, скажем, в «Крахе». Там на первом плане — нечто от театра марионеток, здесь — поступки людей подчинены высшей общественной целесообразности. Все чаще писатель на первый план выдвигает теперь людей труда, простых солдат — творцов истории. В авторском предисловии к роману подчеркнута значимость того, что здесь важны не только документальные свидетельства о действительных фактах, но и стремление «оживить» действие, показать прошлое и настоящее во взаимосвязях, увидеть ту «жизнь, где небо граничит с землей».

Таким образом, в самом эпическом повествовании явно обнаруживаются два крупных плана. Один из них связан с обстоятельствами быта и нравов. В нем воспоминания обретают плоть и кровь. Автор показывает людей из разных слоев общества, по-разному воспринимающих и события войны. Саркастически бичует он ложный патриотизм, напыщенную фразеологию людей из привилегированных сословий, для которых война была поводом для высокопарных речей о «любимом короле», о датском национализме. В доме однорукого барона консерваторы произносят громоподобные слова о «позоре Дании» и о «предательстве» (ведь стены Данневирке были оставлены!). Но никто из них не рискует собою ради «национальной гордости».

Симпатии Банга на стороне простых людей. Образы крестьян, слуг и солдат, воссозданные в романе, далеки от романтической идиллии, хотя и не все эти люди оказываются способными верно оценить характер происходящих событий. Особенно выразительны массовые сцены, рисующие людей в помещении школы, в кузнице, в трактире, картины канонады, пожара, гибели людей. Как символ загубленной юности предстают в романе смерть подпоручика Аппеля и самоубийство Тине.

Другой план повествования составляют впечатления от картины бегства датского войска, которые, по свидетельству самого автора, «претворились в целый роман». Художественную «иллюзию жизни» писатель стремится воссоздать через судьбы отдельных персонажей. И это относится в первую очередь к Тине.

Почему именно Тине, простая девушка, дочь дьячка, стала центральной героиней романа, повествующего о войне? Банг указывает на несколько причин. Добрая и отзывчивая, Тине в наибольшей степени оказывается способной ощутить и горечь поражения, и высказать сострадание к людям, искалеченным войной. Многое роднит ее с другими героинями Банга (писатель это подчеркивает и сходством их имен: Катинка, Тинка, Тине) — это самоотверженность, мягкость чувства, способность вступать в конфликт с несправедливостью. Но если другие женщины в произведениях писателя (Стелла, даже Катинка) все же напоминали птиц с «подрезанными крыльями», то Тине отличает прежде всего цельность натуры, непримиримость, способность довести борьбу до конца, даже ценой своей жизни доказать несогласие с обстоятельствами.

Героиня, истинная дочь народа, предстает как сложный, развивающийся характер. Несколько сентиментальная вначале, способная расчувствоваться при чтении рыцарской баллады, снисходительная к религиозной настроенности отца, она обретает решимость и волю, когда в полную меру осознает глубину страданий людей. Лаколично, с суровой сдержанностью передает Банг состояние девушки в момент ее глубоких раздумий о собственном горе и о бедах народных.

Здесь многозначительна каждая деталь. Вот Тине идет по полю. Взгляд ее кажется безучастным, а слезы льются из глаз. Мысли ее омертвели: теперь всему конец. В одно мгновение она вспоминает о «тысяче вещей». Казалось, ожили все дорогие голоса — прощание с лесничим Бергом, горечь, вызванная его изменой, песня, которую дети пели в школе, когда она была еще маленькой... На долю секунды ею овладевает страх. Но он исчезает из ее исстрадавшегося сердца в момент ее гибели. «Поверхность пруда разгладилась. Наступил день».

Да, жизнь будет идти вперед. И каждый будет ее продолжать по-своему. Пастор, которому недоступны высокие душевные порывы,

объяснит самоубийство героини «несчастливым случаем». Справедливо утверждение о том, что «Тине» — книга беспокойства и боевой тревоги. Отзвук подобных настроений еще надолго сохранится в творчестве писателя. Огромной поддержкой для него был и авторитетный отклик из Норвегии: Ибсен назвал «Тине» «подлинно прекрасным произведением с Альса».

6

Позднее творчество Банга, охватывающее 90-е годы XIX века — начало XX века, представляет собою явление более противоречивое. Оставаясь в большинстве своих произведений на позициях реализма, писатель, однако, шире экспериментирует и в других художественных сферах — импрессионизма и неоромантики, символизма и экспрессионизма. Усиливаются и его пессимизм в отношении социального прогресса: империалистические формы подавления свобод его, естественно, отпугивали, а массы казались слишком забытыми и инертными.

Деятельность Банга и в эту пору продолжает оставаться разносторонней. Более усложненным становится его стиль, многоплановыми — аспекты литературной критики, широким — размах деятельности в качестве театрального режиссера. Все чаще в поисках ответа на волнующие его вопросы писатель углубляется в анализ проблем «микромира», судеб отдельной личности.

Связующим звеном при переходе к позднему творчеству писателя явился сборник новелл «Под игом» (1890). Наиболее сильные в идейном и художественном отношении новеллы этого сборника «Ирена Хольм» и «Фрекен Кайя» объединяет мотив автоматизма человеческого существования. Шемящим ужасом веет от беспросветной жизни этих теперь уже немолодых женщин, оказавшихся где-то «на задворках» жизни. Но они по-своему вступают в борьбу за кусок хлеба насущного: Ирена Хольм, в прошлом танцовщица, ходит по хуторам и дает уроки танцев и «хорошего тона» в состоятельных семьях, Кайя содержит небольшой пансион для приезжих, изнемогая от чада кухни и шума.

По-разному каждая из них проявляет себя в жизненных обстоятельствах. Озлобленная, резкая и грубая, Кайя лишь в глубине души преодолевает боль и невзгоды. Ирена Хольм, «маленькая лягушка», как ее называл школьный учитель, предпочитает, наоборот, переживать свои трагедии «на людях» или выставлять напоказ комизм своего положения.

Подобные рассказы сам Банг нередко называл скромными по сюжету, но достаточно глубокими в раскрытии душевного мира дра-

мами человеческого сердца. Трагедиями в миниатюре были не только новеллы — «Четыре черта» (1895), «Жизнь и смерть» (1899), «Воронье» (1902), но и крупные романы — «Усадьба Людвигсбакке» (1896), «Белый дом» (1898), «Серый дом» (1901), «Микаэль» (1904), «Без родины» (1906). Замысел романа «Последний датчанин» остался неосуществленным. В нем писатель предполагал нарисовать новые картины бедствий своей родины, явившихся результатом политики консерваторов: Дания переставала существовать как независимое государство.

В «цирковой» новелле «Четыре черта» поставлены проблемы творческого труда, больших чувств. Конечно, в рискованном выступлении четырех цирковых акробатов таилось немало опасностей, но номер их считался надежно отработанным. И вот в размеренные будни врывается «неожиданное» — юный Фриц влюбляется в светскую даму. Его тело становится «усталым», а мозг «больным». Одно из выступлений Фрица с Эмэ, к которой до этого он питал трепетное чувство, оказывается роковым. Полет без сетки приводит к их падению и гибели.

Театром марионеток Банг считает всю «арену жизни», где большие и малые трагедии или фарсы разыгрываются каждодневно. Под покровом необычного, «странного» и «таинственного» предстают в его произведениях эпизоды из жизни людей, порою целые эпохи. Писатель при этом смело ставит волновавшие его в ту пору вопросы — о жизни и смерти, о взаимоотношении полов, отцов и детей, о роли случайности в жизни человека и др.

Интересны размышления автора во вступлении к новелле «Воронье». Тайна мастерства писателя, по мысли Банга, состоит в том, чтобы по примеру Бальзака или Гоголя быть вдумчивым наблюдателем жизни, художником-мыслителем, сочетающим изображение реального и условного. Новелла «Воронье», по определению автора, — это «рисунки углем, силуэт», собственно, «эскиз копенгагенского романа», который остался ненаписанным. Элементы условности лишь усиливают здесь реалистический характер мотивировок, сгущают сюжетную канву повествования. Как на слетевшуюся стаю воронов смотрит тетушка Виктория на толпу лощеных и вульгарных наследников, собравшихся на ее званый обед. Их банальный разговор о продаже именина, о выгодных сделках и должностях нередко маскируется разглагольствованиями об искусстве, религии, нравственности.

Тоской по солнцу и животворящей природе были издавна отмечены многие произведения Банга. Но, в отличие, например, от тех «ютландских» писателей (в частности, Йоханнеса Иенсена), для которых природа являлась олицетворением божественного мифа, Банг стремится увидеть в окружающем мире реальность бытия, а в человеке — воплощение разума, созидания.

В авторском предисловии к «Станным новеллам» (1907) писатель подчеркивает те тенденции, которые помогли ему в «таинственном и загадочном» полумраке увидеть проявление обычного, логически объяснимого. Желанием постигнуть сокровенные глубины природы человеческой психики проникнуты и те рассказы, которые выдержаны в стиле детективного жанра.

Действие этих новелл Банг переносит в разные города — Петербург или Париж, не заботясь о точном воспроизведении места событий. Для автора здесь важна жизненная достоверность факта. Событие в новелле служит отправной точкой для исповеди героя или размышлений автора о случившемся. Таков, например, рассказ некоего Ивана Ивановича, шутка которого оборачивается трагическим происшествием («Бархан умер»), это разговоры о привидениях, которых никто никогда не видел («Но ты вспомнишь меня»), или о буддизме и мире факиров («Сильнее всего»).

Своеобразны и многие другие новеллы разных лет, составившие цикл «Из папки» (1908). Сам автор охарактеризовал их как «наброски и этюды», интересные вариации на темы, звучащие во всем его творчестве. И действительно, если к «Отрывку» сходились многие мотивы автобиографических романов Банга (от «Безнадежных поколений» до «Белого дома»), то рождественский рассказ «Румынская елка» приоткрывал завесу над загадочной историей героя из последнего романа «Без родины». Особую ценность представляют здесь комментарии писателя, порою превращающиеся в миниатюрные теоретические эссе: рассуждения о том, как создается рассказ («часто из услышанной фразы, которая сливается с образом человека») или как происходит «развертывание» новеллистических мотивов в будущие романы.

Роман «Усадьба Людвигсбакке», пожалуй, наиболее крупное произведение в позднем творчестве Банга. По словам самого писателя, это «роман жизни» и «роман-воспоминание». Поэтому и действие происходит в нем не только в настоящем, но и в прошлом. Однако настоящее, по концепции автора, — это скучные будни, жалкая пародия на жизнь, и лишь воспоминания о прошлом, богатым событиями и надеждами, помогают жить, создают вдохновенную «шопеновскую» настроенность, которая впервые обнаружилась в лирике Банга.

В центре романа — образ Иды Брандт, старой девы, медницкой сестры в женском отделении психиатрической лечебницы. Монотонно тянутся здесь дни. Их не скрашивает ни одно событие. Больные, точно стадо, бредут на работу. Врач напоминает привидение. Даже болтовня остальных сестер «о шляпках» становится скучной. Кругом, по словам Иды, «тоска и несчастье».

Банг и прежде с грустью писал о людях, выброшенных за борт жизни. Но тогда он не видел выхода из их беспросветного существования. Теперь же писатель стремится найти в их жизни — хотя бы в

прошлом — точки опоры, лучи надежды. В воспоминаниях Иды, резко контрастирующих с унылой обстановкой лечебницы, возникают картины нормальной жизни в родном доме в Людвигсбакке, который становится своего рода символом света и радости.

Конечно, роман «Усадьба Людвигсбакке» во многом проигрывает в сравнении, например, с таким крупным социальным полотном, как «Тине». Здесь нет широкой панорамы жизни. Однако в нем сохраняется большое чувство, умение автора в детали раскрыть сложное психологическое состояние, душевные муки. Лейтмотивом в устах многих персонажей романа звучат слова о том, что нужно довольствоваться малым, покоряться законам и обстоятельствам. А между тем всем строем романа Банг решительно протестует против подобного рода философии смирения. Недаром один из героев романа высказывает сомнение в справедливости этих законов и правил.

«Белый дом» и «Серый дом» — тоже романы-воспоминания. Их тональность также связана с поисками чего-то настоящего, большого. В «Белом доме» — это великое чувство материнской любви. Символом здесь служат вдохновенные слова: «Нет мира вне Вероны», — которые Банг однажды взял эпиграфом к одному из сборников своих лучших рассказов и которые, по одному меткому сравнению, так напоминают гейневскую мечту о «сказочной стране Бимини».

Как о мире дорогой сердцу сказки говорит Банг о далеком прошлом и в романе «Серый дом». Мучительно передана здесь тоска по настоящей человечности и ощущению неблагополучия в мире действительности. Центральное место в романе занимает образ деда, талантливого врача и доброго человека. Именно его писатель резко противопоставляет «обезличенному» миру дельцов — будь то Его Королевское Высочество, Его Преподобие или господин Советник, суждения и поступки которых составляют «рамку» романа. Показательно, что воспоминания о деде побудили Банга задуматься над своей творческой сущностью. И не случайно, по-видимому, последние романы писателя посвящены проблемам искусства, личности художника.

«Микаэль» — роман о художнике-живописце, «Без родины» — о музыканте-виртуозе. Фоном в первом из них служит художественная жизнь Парижа (здесь очень интересны портреты известной артистки Габриели Режан, издателя Пинеро и других), во втором — разные страны, где скрипачу приходится выступать с концертами. В трагедиях, переживаемых Микаэлем и Уйhazi, много сходного. Каждый из них поставлен перед необходимостью задуматься над путями совершенствования своего таланта.

Эжен Микаэль, превосходный мастер детали (прототипом для него послужил один из друзей Банга — Фриц Боесен, театральный деятель), сталкивается с чуждой ему манерой письма своего учителя Клода Зорэ, художника, мыслящего широкими философскими кате-

гориями. Его образ, по мнению критики, в известной степени автобиографичен. В самом Зорэ немало от пророков Иова и Исаян, характеры которых он пытался воплотить в своих творениях. Обладая «сатанинской силой», он мечтал о создании «совершенной абстракции» в духе трактата «Или-или» Кьеркегора. Но отход учителя от общественных интересов пагубно сказывается на его таланте и приводит к преждевременной кончине. Отвергнув принципы Зорэ, «художника скорби», Микаэль оказывается перед выбором пути. Много сил было израсходовано им зря. Пришло время наконец найти себя.

Художником совершенного Банг считал Чехова, которому посвятил роман «Без родины» — первую книгу, вышедшую с разрешения автора в русском переводе. В предисловии к этому изданию он писал о Чехове как о «душе, облагороженной и очищенной страданиями».

Герой романа «Без родины» — натура мятущаяся, страдающая. Еще в рассказе «Побежденный» писатель поведал о случае, который использован в финале романа: знаменитый скрипач терпит поражение от безвестного доселе виртуоза. Трагедия Уйhazi усугубляется осознанием того, что он «человек без родины». Родившись где-то на дунайском островке, которого нет даже на карте, музыкант, наполювину датчанин, наполювину венгр, считает себя лишенным важнейшей точки опоры. Одинокий и непонятый окружающими, Уйhazi с завистью узнает о силе патриотического чувства. Так в последний раз в творчестве Банга возникают отзвуки событий 1864 года.

Обеспокоенный тем, что в современном искусстве все чаще стали появляться художники «без точки опоры», Банг действительно связывал свои помыслы с театром, для которого, по его мнению, наиболее подходящим из современных драматургов был Чехов. Собственная деятельность в качестве режиссера в Копенгагене, Берлине, Вене, Париже заставила Банга не только знакомиться с различными эстетическими системами, но и пытаться в теоретических трудах выработать свой взгляд на драматургию и театр. Вопросы искусства занимают огромное место в его переписке с друзьями и поздней публицистике: «За десять лет» (1891), «Дома и за границей» (1892), «Маски и люди» (1909), «Иозеф Кайнци» (1910) и др.

Свой художественный талант Банг определял как драматический, даже трагедийный. Но больше это, пожалуй, относилось к стилистике его прозы, в первую очередь к «драматическому роману» с его принципом косвенного изображения, введением комментария, авторского монолога и т. п. Как драматург Банг ограничился лишь драматической переделкой романа «Федра» («Эллен Урне», 1885) и двумя одноактными трагедиями («В четырех стенах» и «В серую погоду»), опубликованными в 1891 году. Сам писатель объяснял это тем, что, будучи прежде всего романистом, он не видел возможности согласовать «мир романа» с «неумолимыми законами театра», которые он знал

превосходно. На вопрос одного русского журналиста, почему он не пишет для сцены, подобно Чехову, который ему так близок, Банг ответил: «Именно потому, что для сцены надо писать так, как Чехов,— или не писать вовсе».

Глубокий знаток и интерпретатор философско-психологической драматургии Ибсена, вдумчивый исследователь игры замечательных актеров — Сары Бернар, Элеоноры Дузе, Габриели Режан, Иозефа Кайнца и других, которым он посвятил интересные эссе, Банг находился в постоянном поиске, надеясь лучшие достижения культуры европейского театра перенести на отечественную сцену. В конце 1911 года он приезжает в Петербург и Москву, рассчитывая в первую очередь познакомиться с постановками пьес Чехова на русской сцене и с принципами Московского Художественного театра. Его встречи с деятелями русского театра носили творческий характер. Осуществленная Бангом в театре Режан (впервые в Париже) постановка ибсеновского «Кукольного дома» послужила образцом для В. Ф. Комиссаржевской и ее театра. Датскому режиссеру, в свою очередь, много дали беседы со Станиславским. С восхищением сообщал писатель в своих интервью и корреспонденциях в датскую прессу о «счастливых днях» пребывания в России.

Дальнейший путь Банга лежал через Атлантический океан. Как журналист, он обязался посылать в газеты свои «путевые заметки из Нью-Йорка, Чикаго... Но поездка в США оказалась для него последней: в пути писатель тяжело заболевает и, едва достигнув Огдена, умирает.

Писатель-реалист, Банг занимает видное место в истории национальной и европейской литературы. В своих последних письмах к Фрицу Бюесену, содержащих и определенную полемику (начатую еще в романе «Микаэль»), Банг, по сути, сформулировал и творческое завещание. Оно свидетельствует о глубоком беспокойстве и чувстве ответственности писателя-гуманиста за судьбы личности и общества, за будущее культуры и искусства.

В. Неустроев

У ДОРОГИ

РОМАН



ПЕРЕВОД
Ю. ЯХНИНОЙ

I

К приходу поезда начальник станции надел форменную тужурку.

— Эх черт! Поспать бы еще четверть часика,— сказал он и потянулся. Он и сам не заметил, как вздремнул над отчетами.

Он раскурил погасшую сигару и вышел на платформу. Когда начальник станции прохаживался по платформе,— молодцеватый, руки в карманы,— в нем все еще чувствовался бывший лейтенант. Да и ноги сохранили кавалерийскую кривизну.

Пять или шесть батраков из окрестных усадеб стояли, заняв всю середину платформы; стрелочник тащил предназначенный для погрузки багаж — один-единственный ящик зеленого цвета, выглядевший так, точно он недавно побывал в канаве.

Рванув калитку, на платформу вышла пасторская дочь, девушка гренадерского роста.

Начальник станции шелкнул каблуками и отдал честь.

— Что нынче привело сюда фрекен? — осведомился он. «При исполнении обязанностей» начальник станции всегда придерживался тона, каким в былые дни изъяс-

нялся на офицерских балах, когда еще служил кавалеристом в Нестведе.

— Решила прогуляться,— ответила дочь пастора.

Разговаривая, она как-то странно взмахивала рукой, словно хотела прихлопнуть собеседника.

— А впрочем, сегодня возвращается фрекен Абель.

— Как — уже?

— Да.

— И по-прежнему никакого просвета на горизонте? — Начальник станции поиграл в воздухе пальцами правой руки. Пасторская дочь рассмеялась.

— А вот и семейка пожаловала,— сказала она.— Я воспользовалась случаем и улизнула от них...

Начальник станции поклонился дамам Абель — вдове и ее старшей дочери Луисе. Их сопровождала фрекен Иенсен. На лице вдовы была написана покорность судьбе.

— Да,— сказала она,— я пришла встретить мою Малютку-Иду.

Вдова попеременно встречала то Луису, то Малютку-Иду. Луису весной, Малютку-Иду — осенью.

Дочери проводили по полтора месяца в Копенгагене у тетки. «Моя сестра, статская советница» — говаривала фру Абель. Советница жила на пятом этаже и пробавлялась тем, что раскрашивала аистов,— каждый аист стоял на одной ноге на подставке из терракоты. Фру Абель посылала дочерей к сестре с неизменными пламенными надеждами.

Она посылала их к ней вот уже десять лет кряду.

— Ах, какие письма писала нам в этот раз Малютка-Ида!

— О да! — поддакнула фрекен Иенсен.

— И все-таки самое отрадное, когда твои птенчики дома, под материнским крылом,— сказала фру Абель и умиленно посмотрела на Луису-Старшенькую. При этой мысли фру Абель пришлось даже утереть слезу.

Полгода, что птенчики проводили дома, они только и знали, что бранились между собой и пришивали новые отделки к старым платьям. С матерью они вообще не разговаривали.

— Разве мы выдержали бы в этом медвежьем углу, если бы не семейные радости,— сказала вдова...

Фрекен Иенсен кивнула.

За поворотом у трактира раздался собачий лай, и на дорогу выехала коляска.

— Это Кьер,— сказала дочь пастора.— Что ему тут понадобилось? — Она пошла к калитке в конце платформы.

— Нет, вы только подумайте!— Владелец усадьбы Кьер вылез из коляски.— Самая страда, а Мадсен свалился в тифу. Пришлось по телеграфу вызывать нового управляющего — черт его знает, еще окажется какой-нибудь болван... Сегодня должен приехать...

Кьер вышел на платформу.

— Говорят, кончил высшую сельскохозяйственную школу,— кабы только это пошло ему впрок,— да еще будто с наилучшей аттестацией... А-а, Бай, здорово...— Мужчины обменялись рукопожатием.— Что новенького?.. Как жена?

— Спасибо, хорошо... Стало быть, встречаешь управляющего?

— Да, этакая досада. И главное дело — в самую страду...

— Выходит, мужского полку прибыло,— сказала дочь пастора, размахивая руками так, словно заранее давала приезшему затрещину.— С Малышом-Бентсеном будет их, значит, шесть с половиной...

Вдова взволнована. Не зря она предупреждала Луису-Старшенькую: не надевай прюнелевых ботинок.

Главное «украшение» Луисы-Старшенькой — ее ноги... маленькие аристократические ножки...

Вот ведь предупреждала же она дочь...

Фрекен Луиса задержалась в зале ожидания,— она прикалывала вуаль. Девушки Абель любили носить платья с глубоким вырезом, прикрывая его жабо, искусственным жемчугом или вуалью.

Бай подошел к окну кухни, чтобы сообщить жене о приезде нового управляющего... Дочь пастора, болтая ногами, уселась на зеленый ящик. Потом вынула часы и поглядела на них.

— Бог ты мой, до чего же эти мужчины любят набивать себе цену,— сказала она.

— Да, по-видимому, поезд приходит с довольно большим опозданием,— отозвалась фрекен Иенсен.

Фрекен Иенсен выражалась подчеркнуто правильно, в особенности когда говорила с дочерью пастора. Фрекен Иенсен не ставила ее ни в грош.

— У моих *абитурантов* совсем другие манеры,— говорила она вдове Абель. Фрекен Иенсен была не очень тверда в словах иностранного происхождения.

— А-а, вот и моя прелесть! — Дочь пастора вскочила с ящика и через всю платформу бросилась навстречу фру Бай, которая показалась на каменной лестнице. Когда дочь пастора кому-нибудь радовалась при встрече, она способна была сбить его с ног.

Фру Бай тихо улыбалась и подставляла щеку ее поцелуям.

— Господи, помилуй нас, грешных, — сказала дочь пастора. — Нежданно-негаданно в курятнике объявился новый петух. А вот и он!

Раздался отдаленный гудок паровоза, потом громкий стук колес по мосту через реку. Громокая и покачиваясь, состав медленно покатил по лугу.

Пасторская дочь и фру Бай остались вдвоем на лестнице. Девушка обняла фру Бай за талию.

— Глядите, Ида Абель, — сказала пасторская дочь, — узнаю ее вуаль.

В одном из окон развевалась бордовая вуаль.

Поезд остановился, захлопали двери вагонов. Фру Абель так громко кричала: «С приездом!» — что во всех купе пассажиры прильнули к окнам.

Малютка-Ида злобно стиснула руку матери, — она задержалась на подножке вагона.

— С этим поездом приехал какой-то господин, он выходит здесь. Кто он такой? — Все это она выпалила единым духом.

Малютка-Ида спустилась на платформу. А вот и сам приезжий.

...Весьма сдержанный господин с русой бородой. Он вышел из купе для курящих с шляпной картонкой и саквояжем.

— А как тетя — тетя Ми? — восклицала вдова.

— Попридержи язык, — негромко и злобно произнесла Малютка-Ида. — Где Луиса?

Луиса сбежала по лестнице мимо фру Бай и дочери пастора так резво, точно ее «украшение» было обуто в бальные башмачки.

У подножья лестницы управляющий представлялся Кьеру.

— Глупейшая история, черт побери, Мадсен свалился — в самую страду... Ну, будем надеяться, все обойдется... — Кьер хлопнул нового управляющего по плечу.

— Господи прости, — заметила пасторская дочь. — Самое обыкновенное домашнее животное.

Зеленый ящик погрузили в товарный вагон, а из вагона вынесли бидоны кооперативной маслобойни. Поезд уже тронулся, когда в одном из окон раздался крик какого-то крестьянина. У него не оказалось билета.

Машинист, стройный молодой человек в обтянутых по-гусарски, элегантных панталонах, подал два пальца Баю и вскочил на подножку.

Крестьянин продолжал кричать и браниться с кондуктором, который требовал с него штраф.

Все, кто стоял на платформе, несколько мгновений глядели вслед уходящему поезду.

— Гм, вот и все,— сказала пасторская дочь. И зашагала с фру Бай к залу ожидания.

— Мой управляющий, господин Хус,— сказал Кьер проходившему мимо Баю. Трое мужчин постояли молча.

Луиса-Старшенькая и Малютка-Ида наконец-то увидели друг друга и теперь врасос целовались в дверях.

— Ах, боже мой,— приговаривала вдова.— Они не виделись целых шесть недель...

— Вам повезло, господин Хус,— объявил Бай «кавалерийским» тоном.— Вы сразу увидели наших местных дам... Дорогие дамы, позвольте вам представить...

Девицы Абель точно по команде перестали целоваться.

— Фрекен Луиса и Ида Абель,— сказал Бай,— господин Хус.

— Моя младшенькая только что приехала из Копенгагена,— ни к селу ни к городу пояснила вдова.

— Госпожа Абель,— представил Бай.

Хус поклонился.

— Фрекен Линде,— так звали дочь пастора,— господин Хус.

Дочь пастора кивнула.

— И моя жена,— заключил Бай.

Хус сказал несколько слов, и все вошли в помещение вокзала, чтобы получить багаж.

Кьер увез управляющего. Остальные отправились по домам пешком. Выйдя на дорогу, хватились фрекен Иенсен.

Она задумчиво стояла на платформе, прислонившись к столбу семафора.

— Фрекен Иенсен,— окликнула с дороги дочь пастора,

Фрекен Иенсен вздрогнула. Настроение фрекен Иенсен всегда омрачалось при виде полотна железной дороги. Она не любила, когда «кто-нибудь уезжает».

— Очень приятный человек! — сказала фру Абель.

— Самый обыкновенный управляющий, — отозвалась дочь пастора. Она шла с фру Бай, подхватив ее под локоть. — А руки у него хороши.

Птенчики шли позади и перебранивались между собой.

— Ого, как вы несетесь, фрекен Иенсен, — сказала дочь пастора. Фрекен Иенсен, точно коза, скакала впереди через лужи. Осенняя слякоть вынуждала ее высоко задирать юбку над тощими девичьими ногами.

Они миновали опушку рощи. У поворота фру Бай попрощалась со своими спутницами.

— Какая вы маленькая и хорошенькая в этой огромной шали, моя прелесть, — сказала пасторская дочь и снова сгребла фру Бай в объятия.

— До свиданья...

— До свиданья-а-нья...

— Могла бы расщедриться на лишнее словечко, — заметила Малютка-Ида.

Дочь пастора насвистывала.

— А-а! Вот и капеллан, — сказала фру Абель. — Добрый вечер, господин капеллан... Добрый вечер...

Капеллан приподнял шляпу.

— Хотел засвидетельствовать почтение вновь прибывшим, — объявил он. — Добрый день, фрекен. С приездом.

— Спасибо, — сказала фрекен Абель.

— А у вас появился соперник, господин капеллан, — сказала фру Абель.

— Вот как? Кто же это?

— К Кьеру сегодня приехал новый управляющий, — очень приятный человек. Правда, фрекен Линде?

— Еще бы!..

— Первый сорт, фрекен Линде?

— Экстра-класс, — ответила дочь пастора.

Пасторская дочь и капеллан в присутствии посторонних всегда изъяснялись на жаргоне. Оба пороли всякий вздор и до упаду хохотали над собственными глупостями.

С тех пор как фрекен Линде однажды в воскресенье едва не рассмешила капеллана, читавшего с кафедры «Отче наш», она никогда не ходила в церковь, если проповедь читал капеллан.

— Фрекен Иенсен мчится так, словно ей вставили фитиль в одно место,— сказал капеллан.

Фрекен Иенсен по-прежнему маячила далеко впереди...

— Ну, знаете, Андерсен.— Фрекен Линде так и покадилась со смеху.— Вы, кажется, хотите перещеголять самого Хольберга.

Они подошли к пасторской усадьбе — первой усадьбе от проселка. У калитки дочь пастора и капеллан попрощались с дамами Абель.

— До свиданья, фрекен Иенсен! — крикнула фрекен Линде. В ответ с дороги донесся слабый писк.

— Так что же он за человек? — спросил капеллан, когда они очутились в саду. Теперь он говорил совсем другим тоном.

— Бог мой,— сказала фрекен Линде.— Вполне заурядный, добропорядочный агроном.

Они молча пошли через сад.

— Хм,— буркнула фрекен Ида,— семейство Абель нагнало наконец фрекен Иенсен, которая поджидала дам в том месте, где было посуше.— Проглотила небось, что он пришел поздороваться со мной...

Они прошли еще несколько шагов. Фрекен Иенсен сказала:

— Разные бывают на свете люди.

— Само собой,— подтвердила фру Абель.

— Мне не доставляет никакого удовольствия видеться с членами этой семьи,— сказала фрекен Иенсен.— Я стараюсь держаться от них подальше.

Фрекен Иенсен стала «держаться подальше» от семьи Линде всего неделю тому назад — с тех самых пор, как пастор произнес злополучные «слова»...

— Фру Абель,— говорила фрекен Иенсен.— Ну что остается одинокой женщине? Я это и сказала пастору. Господин пастор, сказала я, вы покровительствуете частной школе... поэтому родители и посылают туда детей... Если бы вы знали, что он мне ответил, фру Абель! Больше я никогда в жизни не заикнусь пастору Линде о пособии... Приходский совет отнял половину пособия у моего института (фрекен Иенсен произносила «инститот»). Я исполню свой долг до конца — даже если меня лишат и второй половины. Но пастору Линде я больше никогда в жизни не заикнусь о пособии...

Три дамы свернули на узкую тропинку, которая вела

к «усадыбе» — старому выкрашенному в белый цвет дому с двумя флигелями.

Вдова Абель жила в правом флигеле, «институт» фрекен Иенсен помещался в левом.

— Подумать только, они обе снова под моим крылышком, — сказала вдова. Во дворе они простились с фрекен Иенсен.

— Фу, — сказала Малютка-Ида, едва только за ними закрылась дверь. — Ну и вид был у вас обеих на станции. Я едва не сгорела со стыда.

— Хотела бы я знать, какой у нас мог быть вид, — сказала Луиса-Старшенькая, откалывая перед зеркалом вуаль, — если ты увезла с собой все платья.

Вдова переобулась в шлепанцы. Подметки на ее ботинках совсем протерлись.

Фрекен Иенсен после долгих поисков извлекла из кармана ключ и открыла дверь. Из спальни, приветствуя хозяйку, раза два ворчливо тявкнул мопс, но не вылез из своей корзины.

Фрекен Иенсен сняла пальто и села поплакать в угол.

С тех пор как пастор Линде произнес злополучные «слова», она принималась плакать каждый раз, как только оставалась одна.

— Вы покровительствуете частной школе, господин пастор, — сказала она ему в тот раз, — поэтому родители и посылают туда детей.

— Хотите, я вам скажу, фрекен Иенсен, почему родители посылают своих детей в частную школу? Потому что фрекен Серенсен знает свое дело. — Вот каков был ответ пастора.

Эти «слова» фрекен Иенсен повторила одной только хозяйке трактира.

— Что остается одинокой женщине, мадам Мадсен? — сказала она. — У нее одно прибежище — слезы...

Фрекен Иенсен сидела и плакала в своем уголке. Стало смеркаться, она поднялась и вышла в кухню.

Зажгла маленькую керосинку и поставила кипятить воду для чая. Расстелила скатерть на краешке кухонного стола и поставила хлеб и масло перед одинокой тарелкой.

Время от времени она впадала в задумчивость и снова перебирала в памяти слова пастора.

Мопс последовал за ней в кухню и улёгся на подстилку перед пустой миской.

Фрекен Иенсен взяла собачью миску и накрошила в нее французскую булку, размоченную в теплой воде.

Потом поставила миску перед мопсом, и он стал есть, почти не шевелясь.

Фрекен Иенсен зажгла одинокую свечу и стала пить чай с бутербродами из черного хлеба — каждый бутерброд она разрезала ножом на изящные квадратные ломтики.

Напившись чаю, фрекен Иенсен отправилась спать. Мопса она принесла в спальню и уложила на перинку в ногах кровати. Потом взяла школьный журнал и положила у изголовья на ночной столик.

Потом заперла дверь и со свечой в руке заглянула во все углы и даже под кровать.

Потом разделась, отколола косы и повесила их на зеркало.

Мопс уже спал, посапывая, на своей перинке.

А фрекен Иенсен не спалось с тех самых пор, как пастр Линде произнес злополучные *слова*.

Фру Бай возвратилась обратно на станцию. Она открыла калитку и вышла на платформу. Здесь было пусто и так тихо, что слышалось, как гудят телеграфные провода.

Фру Бай села на скамейку перед дверью, сложила руки на коленях и загляделась на простор полей. Она любила посидеть вот так без всякого дела, если поблизости случался стул, скамья или ступенька.

Она глядела на простор полей — большие участки пахотной земли, а чуть подальше — луга. Небо было ясное, голубое. Глазу не на чем задержаться — разве что на церквушке соседнего прихода. Ее крыша и колокольня возвышались вдалеке над плоской равниной.

Фру Бай озябла и встала. Она подошла к плетню, заглянула через него в сад, потом отворила калитку и вошла. Сад представлял собой треугольный клочок земли, расположенный вдоль полотна; в передней его части тянулся огород, в дальнем углу была лужайка с беседкой под кустом бузины, а перед ней высокие кусты роз.

Фру Бай осмотрела розы — на них еще оставались бутоны. Розы щедро цвели в этом году — почти не отдыхали.

Но теперь уже скоро пора укрывать их на зиму...

И листопад уже начался. Что ж, ветру здесь есть где разгуляться...

Фру Бай вышла из сада и направилась вдоль платформы к маленькому дворику, отгороженному дощатым забором.

Она позвала служанку — ей хотелось покормить голубей.

Она взяла глиняную миску с кормом и стала скликать голубей и рассыпать зерна на камнях.

Фру Бай очень любила голубей. Любила еще с детства.

Она выросла в большом провинциальном городе, и там их было видимо-невидимо... Так, бывало, и мельтешатся у дверей отцовской мастерской...

Стоит ей подумать о доме, и она слышит, как они воркуют и курлычут.

Старый дом — позднее, после смерти отца, они продали его и мастерскую со всем, что в ней было, и переехали.

Голуби слетелись к фру Бай, склевывая корм.

— Мария, — сказала фру Бай, — посмотри, какой жадина этот пятнистый.

Служанка Мария вышла из дверей кухни и стала что-то рассказывать о голубях. Фру Бай высыпала из миски остатки зерен.

— Надо зажарить несколько штук к вечеру, к Баю соберутся партнеры по ломберу, — сказала она.

Она поднялась на крыльцо.

— Как рано стало темнеть, — сказала она и вошла в дом.

После улицы в комнате казалось тепло и сумеречно. Фру Бай села за фортепиано и стала играть.

Она играла всегда только в сумерках и всегда одни и те же три-четыре мелодии, сентиментальные пьески, которые звучали у нее протяжно и монотонно и вдобавок совершенно одинаково, так что становились похожими одна на другую.

Когда фру Бай случалось остаться одной и играть в темноте, она всегда вспоминала о родном доме. Семья была большая, и детям никогда не приходилось скучать.

Она была самой младшей из братьев и сестер. При жизни отца она была еще так мала, что за обедом еле дотягивалась до своей тарелки.

Отец сидел на диване без пиджака, а дети, стоя вокруг стола, усердно налегали на еду.

— А ну, сорванцы, спину прямо! — покрикивал отец.

Сам он сутуло нависал над тарелкой, опершись на стол длинными руками.

Мать ходила взад и вперед, приносила, уносила...

В кухне за длинным столом обедали отцовские подмастерья.

Они роготали и бранились так, что было слышно через дверь, а потом вдруг затевали такую потасовку, что, казалось, еще минута — и они разнесут дом на куски.

— Что там еще? — кричал отец, стукнув по столу кулаком.

В кухне воцарялась мертвая тишина — слышно было только, как кто-то потихоньку шарил под столом, разыскивая упавший во время драки кусок хлеба.

— Головорезы! — ворчал отец.

После обеда он дремал на диване. Просыпался он с боем часов.

— Ну, ладно, пофилософствовал, и будет, — говорил он и, выпив кофе, уходил в мастерскую.

После смерти отца все изменилось. Катинка поступила в институт вместе с дочерью консула Лассона и с бургомистровой Фанни.

Семья консула иногда приглашала ее в гости...

Братья и сестры разъехались кто куда. Она осталась одна с матерью.

Это были самые счастливые годы в жизни Катинки — в маленьком городке, где все ее знали и она знала всех. В полдень они с матерью усаживались в гостиной, каждая у своего окна, — мать даже приспособила у своего окна «зеркальце». Катинка вышивала «французской» гладью или читала.

Светлые лучи солнца просвечивали сквозь цветы на окнах и ложились на чисто вымытый пол...

Катинка читала много книг — она брала в библиотеке романы о людях из высшего света и еще стихи, которые переписывала в альбом...

— Тинка, — говорила мать. — Смотри, вон идет Ида Леви. Ой, на ней желтая шляпка...

Тинка поднимала глаза от рукоделья.

— У нее сегодня урок музыки, — говорила она.

Ида Леви проходила мимо, кивала им, и они кивали в

ответ и знаками спрашивали у нее, собирается ли она на станцию к «девятчасовому».

— Как она выворачивает ноги, страх один,— говорила Тинка, провожая Иду Леви взглядом.

— Это у нее от матери,— отвечала мать Тинки.

Так они и проходили один за другим — управляющий именем, два лейтенанта, уполномоченный и доктор. Они кланялись, а женщины в окне кивали и о каждом говорили несколько слов.

Они знали про каждого, куда он идет и зачем.

Они знали каждое платье и каждый цветок на шляпке. И каждый день говорили одни и те же слова об одном и том же.

Вот мимо проходит Мина Хельмс.

— Смотри, Мина Хельмс,— говорит мать.

— Да.— Катинка провожает ее взглядом, щурясь от солнца.

— Ей надо бы сшить новое пальто,— говорит она.

— Бедняжка, откуда им взять денег? — Мать следит за Миной в зеркало... — Да, старое совсем уже обтрепалось. А может, его еще можно перелицевать. Правду говорит фру Нес — у фру Хельмс и денег нет, и руки никудышные...

— Вот если бы у господина уполномоченного были серьезные намерения,— говорила Тинка.

В пять часов заходили подружки, и девушки отправлялись на прогулку. Они парочками прохаживались взад и вперед по улице, встречались, сбивались в кучки, смеялись, болтали и снова расходились в разные стороны...

А по вечерам, после чая, все шли на станцию к девятчасовому поезду; теперь девушек сопровождали матери, и прогулка проходила более чинно.

— Катинка,— говорила мать, оборачиваясь,— она шла впереди с фру Леви.— Посмотри, господин Бай... Стало быть, он нынче свободен от дежурства...

Господин Бай проходил мимо и кланялся. Катинка отвечала на поклон и краснела. Подруги вечно поддразнивали ее господином Баем...

— Наверное, идет играть в кегли,— говорила фру Леви.

По воскресеньям они ходили в церковь слушать обедню. Все были разодеты по-праздничному и пели так, что отдавалось под сводами, а в большие окна на хорах глядело солнце...

Сидеть в церкви рядом с Торой Берг было сущим наказанием.

Во время проповеди она то и дело шептала: «Гляди в оба, старушка», — и щипала Тинку за руку...

Тора Берг вообще была отчаянная сумасбродка.

По вечерам в Тинкино окно сыпались камешки и пыль...

И вся улица звенела от смеха и гомона.

— Это Тора возвращается с вечеринки, — говорила Тинка. — Она была у дочери бургомистра.

По дороге домой Тора неслась по улице как угорелая, а за ней целая ватага молодых людей. Весь город был свидетелем того, как Тора Берг возвращается с вечеринки.

Катинка любила Тору Берг больше всех подруг. Она восхищалась ею и, когда они бывали вместе, не сводила с нее глаз. Дома она повторяла по двадцать раз на дню:

— А Тора сказала...

По сути дела, она с ним была очень мало знакома. Но вечерами на прогулке или в павильоне на абонементных концертах — раз в две недели по понедельникам там играл военный оркестр — они разговаривали друг с другом. При встречах с ним Тинка вспыхивала до корней волос.

В павильоне она и познакомилась с Баем... В первый же вечер он больше всего танцевал с ней.

И когда катались на коньках — он всегда приглашал ее кататься с ним в паре. Они летели по льду, как на крыльях, ей казалось, будто он несет ее на руках... Бывал он и у них в доме.

Все подруги ее поддразнивали, и, если затевали игру в чепуху, во мнения или в «задумай-кого-нибудь», ей всегда намекали на Бая. И все смеялись.

И дома мать только и говорила что о нем.

Потом состоялась помолвка, и теперь куда бы она ни пошла — и по воскресеньям в церковь, и зимой в театр, когда приезжали актеры, словом, повсюду — у нее бывал провожатый... Потом Бай получил место, и началось хлопотливое время: готовили приданое и прочее обзаведение... Подруги помогали Катинке метить белье и вообще делать все, что требует обычай...

Стояло лето, подружки стайкой сидели в беседке. Постукивала швейная машина, кто подрубал швы, кто закреплял узелки.

Подружки поддразнивали Тинку и смеялись, а потом вдруг вскакивали, выбегали в сад и носились по лужайке со смехом и шутками, словно табун жеребят...

Самой тихой среди них была Тинка.

Подружки перешептывались в укромных уголках, и в доме Леви, где вышивался коврик, на котором Тинка должна была стоять у алтаря, и репетировали псалмы, которые предстояло петь хором...

И вот настал день венчания — в разубранной церкви яблоку негде было упасть. Наверху у органа стояли все подружки. Тинка кивала, благодарила и плакала. Плакала в три ручья.

А потом они приехали сюда, в это тихое захолустье.

В первое время после замужества Тинка всегда была пугливо насторожена, точно каждую минуту ждала, что кто-то на нее накинется.

Многое оказалось для нее неожиданным, а Бай бывал иногда так груб — она страдала и покорялась и была напугана и растеряна...

К тому же она чувствовала себя в этих краях чужой и никого не знала — ни души...

Потом наступило время, когда она попривыкла и, привычная по натуре, даже стала робко лхнуть к Баю.

Она приносила в контору мужа свое рукоделье и смотрела, как он сидит, склонившись над столом, и прядь курчавых волос спадает ему на лоб.

Она вставала, подходила к нему и обвивала рукой его шею — ей хотелось тихонько постоять возле него, подольше побыть с ним рядом.

— Я же пишу, детка, — говорил Бай.

Она склонялась ближе к нему, он целовал ее в затылок.

— Дай же мне писать, — говорил он и целовал ее еще раз.

— Ах ты, писака, — говорила она и отходила от него.

Текли годы. Катинка свыклась со своей жизнью — приходили и уходили поезда, местные жители уезжали и возвращались, они рассказывали новости и расспрашивали о новостях.

Супруги Бай встречались с соседями. Чаше всего за картами у Бая, один раз мужчины собирались одни, другой раз с женами.

А тут еще собака, и голуби, и сад, да и вообще фру Бай была не из проворных. Она едва успевала управлять-

ся с домашними делами -- ей не приходилось думать о том, как убить время. Она все делала медленно и копотливо; Бай прозвал ее «тихоходом».

Детей у них не было.

После смерти матери Катинка получила свою часть наследства наличными. Поскольку их было только двое, они жили в полном достатке и даже богато.

Бай любил хорошо поесть и часто привозил из Ольборга дорогие вина. Он немного раздобрел и обленился — большую часть работы выполнял за него помощник. «Лейтенанта» он разыгрывал, теперь только за порогом дома.

В городе он прижил ребенка.

— Черт возьми,— объяснял он холостяку Кьеру.— Даром я, что ли, старый кавалерист... А девчонка была веселая, как воробушек...

Попав в беду, девчонка переехала в Ольборг. Ребенка отдали на воспитание в деревню.

Так проходило время.

Теперь Катинка уже не читала так много, как в юности. Ведь книги — это один только вымысел.

В ящике своего секретера фру Бай хранила большую шкатулку, а в ней засохшие цветы, ленточки и разные кисейные финтифлюшки с девизами из золотой фольги. Память о клубных котильонах и о «последнем абонементе», когда в павильоне устраивались танцы.

Зимними вечерами она часто перебирала содержимое шкатулки и снова складывала все по порядку, вспоминая, кто дал ей этот девиз, а кто этот.

Припомнив все до одного имени кавалеров, она записывала их на обороте котильонных орденов.

Бай сидел у стола, попивая грог.

— Старая рухлядь,— говорил он.

— Пусть лежит, Бай,— отзывалась она.— Раз уж я навела порядок.

И она продолжала записывать имена котильонных партнеров.

Иногда она перечитывала стихи, которые давным-давно переписала в свой альбом.

В верхнем отделении секретера хранилось столовое серебро, а в ящике под ним лежала ее свадебная фата и увядший венок из миртов.

Эти вещи она тоже вынимала, расправляла их и убирала обратно.

Она могла часами сидеть над выдвинутым ящиком, по привычке праздно опустив руки.

И только изредка тихонько поглаживала фату...

Подвенечная фата уже совсем пожелтела.

Да ведь и времени с тех пор прошло немало. Целых десять лет...

Да — теперь уже и старость не за горами. Ей исполнилось тридцать два...

...Супругов Бай в округе любили. Приветливые, гостеприимные люди, — стоит кому-нибудь из знакомых заглянуть на станцию — и на плите уже кипит кофейник.

Бай был человек компанейский и дела содержал в порядке, хотя и не проявлял особого служебного рвения.

Фру Бай была, правда, немного молчалива, но на ее кроткое лицо было приятно смотреть. Когда у Бая затевался большой ломбер, она казалась среди местных дам девочкой.

— Жаль только, что детей у них нет, — говорила фру Линде, когда они вдвоем с пастором плелись вечером от Баев домой. — Люди состоятельные, средств у них хватило бы. Стыд и срам, что живут они одни-одинешеньки...

— Господь дарует жизнь по неизреченной милости своей, матушка, — говорил пастор.

— Да свершится воля его, — отвечала пасторша.

У самих Линде было десять детей.

Семерых господь прибрал в младенчестве.

Когда старому пастору приходилось хоронить детей, он всегда вспоминал своих семерых покойников.

Фру Бай перестала играть. Она сидела и думала, что надо бы встать и зажечь лампу. Но потом крикнула служанке, чтобы та принесла лампу, а сама продолжала сидеть у фортепиано.

Мария внесла зажженную лампу. Расстелила скатерть и накрыла стол к чаю.

— Который час? — спросила фру Бай.

— Вот-вот придет восьмичасовой, — ответила Мария.

— А мне и невдомек...

Фру Бай закуталась потеплее и вышла.

— Что поезд? — спросила она в конторе.

— Прибудет с минуты на минуту, — ответил Бай. Он стоял у телеграфного аппарата.

- Телеграмма?
- Да.
- Кому?
- В поселок...
- Что ж, Ане доставит...

Фру Бай вышла на платформу. Она любила смотреть, как в сумерках приходят и уходят поезда.

Сначала далекий, далекий гул, потом грохот, когда поезд катит через мост, а впереди бежит сноп света, и, наконец, тяжелая, колышущаяся масса выползает из темноты и превращается в вагоны, — поезд останавливается, и она видит кондукторов, почтовый вагон и светлые купе...

И вот он снова ушел, и грохот замер вдаль, и кругом снова тишина, еще более глухая, чем прежде.

Стрелочник потушил фонари, сначала на платформе, потом над дверью вокзала.

Теперь светились только два окна — две лунные дорожки в непроглядной тьме.

Фру Бай вошла в дом.

Подали чай, потом Бай читал газеты и пил грог — когда стакан, а когда и два. Бай читал только правительственные газеты. Сам он выписывал «Национальтиденде» и еще читал «Дагблад», которую получал Кьер.

Если оппозиции «давали по зубам», Бай стучал по столу кулаком так, что стаканы звенели. Некоторые фразы он читал вслух и хохотал.

Фру Бай слушала молча. Политика ее не интересовала. К тому же по вечерам ее неудержимо клонило в сон.

— Ну, пожалуй, пора, — сказал Бай.

Он встал и зажег ручной фонарь. Бай по вечерам делал обход, проверяя, все ли заперто и переведена ли стрелка для ночного поезда.

— Ты можешь ложиться, Мария, — сказала фру Бай с порога кухни. Дремавшая на стуле Мария проснулась.

— Спокойной ночи, фру, — сказала она спросонья.

— Спокойной ночи.

В гостиной фру Бай сняла с подоконника цветы и поставила их на пол. По ночам они так и стояли в ряд на полу.

Возвратился Бай.

— Ночью похолодает, — сказал он.

— Я уже думала... насчет роз. Я сегодня осматривала кусты.

— Да, — сказал Бай, — пора их укрывать.

Бай прошел в спальню и начал раздеваться. Дверь была распахнута настежь.

Бай любил долго слоняться вечерами по комнатам — из спальни в гостиную и обратно — в полном неглиже.

— У-у, слониха! — сказал он. В каморке на чердаке слышались тяжелые шаги Марии.

Фру Бай накрыла мебель белыми чехлами и заперла дверь в контору.

— Можно тушить? — спросила она. И потушила лампу.

Она вошла в спальню, села перед зеркалом и распустила волосы.

Бай стоял в одних кальсонах. Он попросил дать ему ножницы.

— Черт побери, до чего же ты отошала, — сказал он. Катинка набросила на плечи пеньюар.

Бай улегся в постель и продолжал болтать. Она отвечала, как всегда, неторопливо — перед каждым ее ответом возникала маленькая пауза.

Оба помолчали.

— Гм, правда, приятный человек — а?

— Как будто...

— А что сказала Агнес Линде...

— Да тоже, что очень приятный человек.

— Гм. Ох, и язычок у этой девицы... Кстати, надо бы узнать, черт возьми, играет ли он в ломбер...

И Бай уснул.

Во сне Бай громко храпел.

Теперь фру Бай уже привыкла к его храпу.

Она еще немного посидела перед зеркалом. Потом сняла пеньюар и посмотрела в зеркало на свою шею.

И вправду она похудела.

Должно быть, с тех пор, как весной к ней привязался этот кашель.

Фру Бай потушила свечи и легла в постель рядом с господином Баем.

II

Дни стали короткими.

То зарядит дождь, то мокрый снег. И все время — пасмурно и промозгло. Даже лучшие ученицы фрекен Йенсен приходили на занятия в деревянных башмаках.

Платформа на станции превратилась в огромную лужу. По ней плыли последние листья с живой изгороди, окружавшей сад. С паровозов и вагонов стекала вода, кондукторы сновали по перрону в мокрых плащах. Малыш-Бентсен носился с почтовыми мешками под раскрытым зонтом.

Подводы с семенами из усадьбы Кьера были затянуты брезентом, кучера сидели в плащах.

С первой подводой приехал сам управляющий Хус. Ему надо было выправить документы по оплате доставки и пошлины.

— Гляди-ка, приехали от Кьера,— сказал Бай жене.

Управляющий Хус имел обыкновение заходить на полчаса к супругам Бай, он снимал свой плащ и подкреплялся чашечкой кофе.

Пока фру Бай накрывала на стол, Хус и работники хлопотали на платформе и грузили мешки в товарный вагон. Катинка смотрела, как они спуют под окнами. Они казались великанами в своих дождевиках.

Служанка Мария питала слабость к Хусу. Хлопоча по хозяйству, она без умолку говорила о нем.

Она не могла им нахвалиться. И кончала всегда одним:

— И уж такой у него голос...

У Хуса был мягкий, задушевный голос, но никто не мог понять, чем он пленил Марию.

Покончив с делами, Хус заходил выпить кофе. В доме было тепло, уютно, приятно пахли комнатные растения, которые еще цвели на окне.

— Нет уж, что верно, то верно,— говорил Хус и потирал руки.— Славно в доме у фру Бай.

Хус и сам вносил уют в дом. От него веяло какой-то тихой умиротворенностью. Он был немногословен и редко что-нибудь рассказывал. Но зато он охотно поддерживал разговор о разных житейских мелочах и всегда был веселый, ровный. От одного его присутствия становилось хорошо на душе.

Прибывал товарный поезд, Бай выходил его встречать.

С уходом Бая ничего не менялось. Оставшись вдвоем, фру Бай и Хус продолжали разговаривать или сидели молча. Она глядела в окно и смеялась над Баем, который бегал по платформе под дождем.

Хус осматривал Катинкины цветы и давал советы, как

за ними ухаживать. Катинка стояла рядом с ним, они вместе разглядывали растения. Он знал все о каждом — будет ли оно цвести или отдыхать и что с каким надо делать.

Хус входил во все мелочи — его интересовали и голуби, и новая грядка с клубникой, которую разбили нынче осенью.

Катинка спрашивала у него совета, и они бродили по дому и обсуждали то одно, то другое.

Бай никогда не интересовался такими мелочами. А у Хуса всякий раз можно было узнать что-то новое и чему-то поучиться.

И получалось, что им всегда есть о чем поговорить неторопливо и рассудительно — как было в характере у обоих.

И всегда получалось так, что какие-то дела ждут не дождутся Хуса, хотя в эту осеннюю пору Кьер из Рюгорда продавал семена и Хус приезжал на станцию каждый день.

У Малютки-Иды тоже часто случались неотложные дела на станции.

Вот она вылетает на дорогу с письмом, которое ей загорелось отправить с дневной почтой.

— Боже мой! Ну и погода, господин лейтенант.

— Не угодно ли чашечку кофе, фрекен? Живительная влага — лучшее лекарство от наружной сырости... А у нас сейчас Хус, сидит с моей женой...

— Как — разве из Рюгорда сегодня приезжали?

— Да, семена привезли.

Подумать только — Малютка-Ида и знать не знала.

С пригорка в углу своего сада «птенчики» могли обзрывать всю округу.

Малютка-Ида целыми утрами простаивала на пригорке.

Потом начинала раскручивать свои папильотки.

— Куда это ты собралась? — Луиса-Старшенькая ходила с перевязанной щекой из-за флюса.

— Отнести письмо на станцию...

— Мам, — стонала Луиса. — Ида опять бежит на станцию. Пф! Если ты думаешь этим чего-нибудь добиться...

— Не твое дело. — Малютка-Ида хлопает дверью спальни перед самым носом у второго птенчика.

— Хочешь выставить себя на посмешище — на здоровье, но только, пожалуйста, надевай при этом свои

собственные ботинки. Ты что, оглохла?.. Мам, скажи Иде, пусть наденет свои сапожки — вечно она бегаёт на станцию в моей обуви...

— Пф!— отвечает Ида, справившись со своей челкой.

— И мои перчатки... Ну, знаешь, это уж слишком...— Луиса выхватывает у Иды перчатки. Двери хлопают ещё несколько раз.

— Что случилось, детки?— спрашивает фру Абель. Она выходит из кухни. Руки у неё мокрые — она чистила картошку...

— Ида таскает мои вещи!— Луиса-Старшенькая плачет от злости.

Вдова Абель безмолвно прибирает одежду, разбросанную Малюткой-Идой, и возвращается на кухню чистить картошку...

— Милая фру Бай,— говорит Ида, стоя на пороге.— Нет, нет, заходить я не стану. Здравствуйте, господин Хус. Ах, я в таком ужасном виде... Я на минутку. Здравствуйте...

И фрекен Абель *входит* в комнату. Под плащом на ней платье с глубоким вырезом.

— Ах, знаете, в канун рождества такая уйма дел... Простите, господин Хус, я вас побеспокою — я только пройду.

Фрекен Абель проходит к дивану. На нём так приятно сидеть, говорит она.

Но ей не сидится на месте. Слишком многое приводит её в восторг. Фрекен Ида по-детски непосредственна.

— Ах, какая чудная салфеточка...

Фрекен Абель непременно должна пощупать салфеточку.

— Ах, простите господин Хус.— Ей снова надо пройти. Она щупает салфетку...

— Мама говорит, что я всегда порхаю,— заявляет Малютка-Ида.

Вдова Абель иногда называла своих дочерей «порхуньи-горлинки». Но прозвище не пришло. Было в Луисе-Старшенькой нечто такое, что не укладывалось в представление о «горлинке».

Остались «птенчики».

При появлении фрекен Абель, управляющий Хус довольно быстро откланивался.

— Когда приходит фрекен Ида, в комнате становится тесновато для большого общества,— говорил он.

Близилось рождество.

Раз в неделю Хус ездил по делам в Ранدرس. Фру Бай всегда давала ему какое-нибудь поручение по секрету от Бая. Сойдя с поезда, Хус долго перешептывался с ней в гостинной.

Катинка уже много лет не радовалась рождеству так, как в этом году.

Да и погода выдалась какая-то праздничная.

Стояли ясные морозные дни, выпал снег.

Возвращаясь из Рандерса, Хус оставался выпить чаю на станции. Он приезжал с восьмичасовым поездом. Фру Бай часто еще не зажигала света.

— Поиграйте, пожалуйста,— просил он.

— Да ведь я играю одни и те же пьесы...

— Ну и что ж, раз они мне нравятся...— Он сидел в углу на стуле у дивана.

Катинка играла свои неизменные пять пьес, похожие одна на другую. Ей бы никогда не пришлось в голову играть в чьем-нибудь присутствии. Но Хус сидел в уголке так тихо, будто его и не было в комнате. И к тому же он был совершенно лишен слуха.

Когда она переставала играть, они иной раз сидели, не говоря ни слова, пока Мария не приносила лампу и чай.

После чая Бай зазывал Хуса в контору.

— Мужчинам полезно побыть в своей компании,— говорил он.

Стоило им с Хусом остаться вдвоем, как Бой заводил разговор о женщинах.

— Я был большой ходок в былые годы — еще в училище... А в Копенгагене — вот где были бабы... не чета нынешним... Говорят, теперь они уезжают в Россию... Все может быть... Нет, те, прежние, не чета нынешним... Взять, например, Камиллу, — Камиллу Андерсен... роскошная была баба, баба-загляденье, жаль, она плохо кончила, выбросилась из окна... А гордячка, какой свет не видывал. — Бай подмигивал. Хус делал вид, что понимает, какая гордячка была Камилла. — Редкая гордячка... Я-то ее хорошо знал, роскошная баба...

Бай болтал без умолку. Хус курил сигару, не проявляя заметного интереса к разговору.

— Тут вот, летом, к пастору на каникулы приезжали сыновья, я их спрашивал: молодые люди, говорю, как-вы, говорю, нынешние девицы? Ничего, подходящие? Де-

шевка, старина, дешевка... Говорят, они теперь уезжают в Россию — все может быть.

Хус не высказывал никакого мнения по поводу отъезда девиц в Россию. Он бросал взгляд на часы.

— Мне пора, — замечал он.

— Какого черта...

Но Хус торопился уезжать. До усадьбы было пять километров с лишком.

Они возвращались в гостиную.

— Может, проводим Хуса, — говорила фру Бай. — На улице так хорошо.

— Что ж, пожалуй. Полезно размять ноги...

Они втроем выходили на улицу.

Катинка шла под руку с Баем. Хус рядом — с другой стороны. Под ногами поскрипывал снег.

— Как много звезд в этом году, — говорила Катинка.

— Да, куда больше, чем в прошлом, Тик. — Бай всегда оживлялся, посидев «в мужской компании».

— Пожалуй, — подтверждала Катинка.

— Редкостная погода, — говорил Хус.

— Верно. — Это отзывался Бай. — Канун рождества и морозец.

— Он продержится до Нового года...

— Да ну? Неужто...

Они шли молча, а когда разговор завязывался опять, он снова был о чем-нибудь в этом же роде.

У поворота супруги Бай прощались с Хусом.

По дороге к дому Катинка напевала. На станции Бай брал ручной фонарь и шел осматривать путь перед ночным поездом, а она оставалась стоять на пороге.

Возвращался Бай.

— Ну, вот и все, — говорил он.

Катинка медленно выдыхала воздух.

— Какой славный мороз, — говорила она и отгоняла рукой пар, сгустившийся от ее дыхания.

Они входили в дом.

Бай докуривал в постели сигару. Потом говорил:

— Славный малый Хус, ей-ей, славный малый... Только рохля...

Фру Бай сидела перед зеркалом. Она смеялась.

Но Кьеру Бай признавался с глазу на глаз, что уверен — Хус ни черта не смыслит в бабах.

— Я иной раз пускаю пробный шар, когда он заходит

к нам вечерком... Но уверен — ни черта он не смыслит в бабах.

— Что поделаешь, дружище Бай,— говорил Кьер, и они хлопали друг друга по спине и радостно гогтали.— Не всем же быть знатоками...

— К счастью... А Хус — уверен, ни черта он не смыслит.

Их звали в гостиную пить кофе.

В последние дни перед рождеством на станции было оживленно. Кто что получал, кто что отправлял — ни у кого не доставало терпения ждать почтальона.

Сестры Абель рассылали поздравительные открытки и справлялись о посылках.

Фрекен Иенсен принесла ящичек для сигар, перевязанный бечевкой, вдоль которой в виде украшения шли сургучные печати.

— Я сама его делала, фру Бай. Ручная работа,— сказала фрекен Иенсен. Ручная работа предназначалась для сестры.

— А фру Абель ездила вчера в Рандерс...— сказала фру Бай...

— Получила годовую ренту,— кисло заметила фрекен Иенсен.

— Домой она вернулась с кучей свертков...

— Еще бы...

— Рождество вы, конечно, справляете у фру Абель?

— Нет, фру Бай... Правда, мы живем в одном доме...

Но это такие люди... Они думают только о себе...

— Прежде вы, бывало, проводили этот день в доме пастора.

— Нет, нет, только не у фру Абель,— продолжала фрекен Иенсен.— Не с каждым человеком станешь...

Фру Бай предложила фрекен Иенсен встретить рождество вместе с ними.

Вечером, когда Бай вернулся с обхода, она завела об этом разговор.

— Матиас,— сказала она,— она называла мужа по имени, когда ей предстояло сообщить ему какую-либо сомнительную новость.— Мне пришлось пригласить к нам на рождество старушку Иенсен... Она ведь не может пойти к Линде...

— Хм... Мне-то что.— Бай терпеть не мог «плешивую

каргу».— На здоровье, устраивай у себя в доме богадельню.

Бай прошелся по комнате.

— Стало быть, к Абелям она не пойдет,— сказал он.

— В том-то и дело, Матиас... Они ее не пригласили.

— И правильно сделали,— сказал Бай, стягивая с ног сапоги.— Тебе одной охота с ней возиться.

Фру Бай была рада, что разговор с мужем уже позади.

...Фрекен Иенсен явилась в половине шестого с плетеной корзинкой и мопсом.

Она извинилась, что принесла с собой Бель-Ами.

— Вообще-то я оставляю его у фру Абель, я всегда запираю его у них. Но нынче, понимаете, мне не хотелось... Он не помешает... у него очень тихий нрав.

Мопса положили на подстилку в спальне. Там он и остался. Он страдал сонной болезнью и совсем не шумел — только посапывал во сне.

— Он спит, как дитя,— сказала фрекен Иенсен. Она вынула из корзины воротничок и нарукавники.

Бель-Ами причинял хлопоты, только когда приходило время возвращаться домой. Он совершенно отвык двигаться.

Через каждые десять шагов он останавливался и скулил, поджав хвост.

Если поблизости никого не было, фрекен Иенсен брала мопса на руки.

В шесть часов сели за стол. Елка стояла в углу. Малыш-Бентсен с приглаженным хохолком щеголял в конфирмационном костюме.

Аппетит у него был волчий.

Бай то и дело подливал в стаканы и чокался с фрекен Иенсен и Бентсеном.

— Ваше здоровье, фрекен Иенсен.

— Твое здоровье, друг Бентсен. Рождество бывает раз в году,— приговаривал он. И снова подливал.

Малыш-Бентсен стал красный как рак.

— Мы пьем, словно язычники,— сказала фрекен Иенсен.

Дверь в контору была открыта. Телеграфный аппарат стучал без передышки.

Коллеги Бая вдоль всей линии поздравляли друг друга с рождеством. Бай поминутно выходил и отвечал на поздравления.

— Поклон и от меня,— говорила Катинка.

— Из Мундструпа желают счастливого рождества,— сообщал Бай, стоя у аппарата.

— Да,— говорила фрекен Иенсен.— Я недаром твержу своим абитурантам: наше время упразднило расстояние, я часто им это твержу.

За десертом — пончиками с яблоками — фрекен Иенсен оживилась. Она ребячливо кивала своему отражению в зеркале и говорила: «Ваше здоровье».

На фрекен Иенсен был новый шиньон — она сама преподнесла его себе к рождеству. Теперь волосы у нее были трех оттенков.

Мало-помалу фрекен Иенсен приходила во все лучшее расположение духа.

После ужина, пока зажигали елку, Малыш-Бентсен пытался заставить Марию играть с ним на кухне в чехарду.

Катинка бесшумно ходила вокруг елки и не спеша зажигала свечи. Ей хотелось побыть немного одной.

— Интересно, получил ли Хус наш подарок,— сказала она. Она стояла на стуле и зажигала елочные свечи от восковой свечи.

В последнюю минуту она взяла со своего столика с подарками кружевную косынку — она получила ее от сестры — и положила к подаркам, предназначенным для фрекен Иенсен. Очень уж скудно выглядели эти подарки. Для них было отведено место на диване, рядом с подарками Бентсену.

Катинка открыла дверь в контору и пригласила всех к елке.

Все обошли елку вокруг, рассматривали свои подарки — благодарили и немного смущались. Фрекен Иенсен извлекла из корзинки маленькие пакетики из папиросной бумаги и положила каждому.

Вошла Мария в белом переднике. Она разложила по местам свои подношения, а потом перетрогала все другие подарки.

После ухода восьмичасового поезда все снова собрались в гостиной. В углу по-прежнему горела елка.

Было жарко, пахло чадом от елочных свечей.

Бай пытался одолеть дремоту.

— После такого пира тянет на боковую, верно, фрекен Иенсен? — приговаривал он. — Да тут и одним весельем будешь сыт и пьян.

Все клевали носом и поглядывали на часы. Обе дамы опять заговорили о подарках, стали обсуждать вышивку и шитье.

— Пойти, что ли, взглянуть, что на белом свете деется,— сказал Бай и удалился в контору. Малыш-Бентсен прикорнул на стуле у полки с курительными трубками.

Дамы остались вдвоем. Они сидели в углу у фортепиано возле елки, у них тоже слипались глаза.

Они вздремнули было, но тут же проснулись в испуге,— затрещала ветка, охваченная огнем.

— Скоро свечи догорят,— сказала Катинка и потушила пламя.

Свечи догорали одна за другой, очертания елки становились темными. Спать дамам больше не хотелось, они сидели и смотрели на елку — на ней светились последние слабые огоньки.

При виде этих последних огоньков, которые еще больше подчеркивали угрюмость мертвого дерева, обеих вдруг охватила тихая грусть.

И вдруг фрекен Иенсен начала рассказывать. Вначале Катинка почти не вслушивалась в ее слова: она думала о своем — о братьях и сестрах и еще — о Хусе.

Катинка сама не знала, почему весь вечер думала о Хусе. Ее мысли то и дело возвращались к нему.

То и дело...

Она кивала фрекен Иенсен и делала вид, будто слушает.

А фрекен Иенсен вспоминала о своей юности и вдруг ни с того ни с сего стала рассказывать историю своей любви. Она дошла уже до середины рассказа, и только тогда Катинка вдруг поняла, о чем речь, и удивилась, с чего вдруг фрекен Иенсен вздумалось поведать об этом именно сегодня и именно ей, Катинке...

Это была самая обыкновенная история безответной любви. Она думала, что любят ее, а оказалось — ее по-другу.

Фрекен Иенсен говорила тихим, ровным голосом, она вынула носовой платок и изредка всхлипывала и отирала щеку.

Катинка мало-помалу растрогалась. Она попыталась представить, как выглядела в молодости эта маленькая морщинистая старушка. Наверное, у нее было миловидное лицо,

И вот она сидит здесь одинокая и всеми покинутая. У Катинки сжалось сердце, она взяла обе руки фрекен Иенсен в свои и ласково похлопала их.

От этой ласки старуха заплакала еще громче. Катинка продолжала похлопывать ее руки.

Догорели последние свечи, елка погрузилась во тьму.

— И вот доживаешь свой век одна-одинешенька,— сказала фрекен Иенсен,— и каких только козней тебе не строят на каждом шагу.

И фрекен Иенсен снова оседлала своего конька — завела речь о пасторе и его «словах».

Катинка выпустила руки фрекен Иенсен. У погасшей елки ей стало вдруг холодно и неуютно.

Бай распахнул дверь из освещенной конторы. Прискакал верхом посыльный с пакетом от Хуса.

— Мария, зажги свет!— воскликнула Катинка и побежала в контору с пакетом в руках.

Это была нарядная шаль из крученого шелка с вплетенными в нее золотыми нитями,— огромная шаль, которую можно было свернуть в крошечный комочек.

Катинка стояла с шалью в руках. Она так обрадовалась подарку. У нее была точно такая же шаль, но две недели назад она по неосторожности ее прожгла...

— Но эта гораздо лучше...

И Катинка продолжала стоять с шалью в руках.

Поспав после обеда, Бай снова пришел в хорошее настроение, и теперь все выпили с чаем по рюмочке настоящего рома.

Малыш-Бентсен впал в такое блаженное состояние, что помчался наверх в свою каморку и принес стихи собственного сочинения, которые записывал на клочках бумаги — на обороте старых тарифов и счетов.

Он стал читать их вслух, а Бай хохотал и хлопал себя по животу. Катинка улыбалась, кутаясь в шаль, подаренную Хусом.

Под конец фрекен Иенсен заиграла тирольский вальс, и Бентсен не без некоторой робости юркнул на кухню и закружил Марию — да так, что она только взвизгивала.

Фрекен Иенсен собралась уходить, и все стали будить Бель-Ами. Мопса никакими силами было не поднять с подстилки. Когда фрекен Иенсен отвернулась, Бай наступил мопсу на обрубок хвоста.

Бентсен предложил проводить фрекен Иенсен. Но ста-

руха, как огня боявшаяся темноты, отказалась наотрез и пожелала идти одна.

Фрекен Иенсен не хотела, чтобы кто-нибудь видел, как она несет мопса на руках.

Все проводили ее до калитки и, стоя у изгороди, несколько раз прокричали ей вслед «счастливого рождества».

Бель-Ами стоял, поскуливая, посреди заснеженной дороги и не трогался с места.

Убедившись, что все вернулись в дом, фрекен Иенсен наклонилась и взяла мопса под мышку.

Фрекен Иенсен шествовала в рождественскую ночь домой, закутанная, как эскимоска.

Катинка распахнула окна в гостиной,— в комнату вошел холодный воздух.

— Вот ведь старое чучело,— сказал Бай. Он был исполнен человеколюбивого самодовольства оттого, что фрекен Иенсен провела этот вечер у них в доме.

— Бедняжка,— сказала Катинка. Она стояла у окна и глядела вдаль на белые поля.

— Ты что, забыла про свой кашель? — сказал Бай. Он закрыл дверь в спальню.

Бентсен шел по платформе, направляясь к себе в камеру.

— Она все-таки взяла мопса на руки,— сказал Бентсен. Он спрятался за изгородью, чтобы подстеречь эту минуту.— Счастливого рождества, фру Бай...

— Счастливого рождества, Бентсен.

Двери хлопнули еще раз-другой, и все стихло.

Только тихонько гудели телеграфные провода.

Перед тем как идти к обедне, Катинка вышла покормить голубей. Воздух был чист и прозрачен. Из-за леса доносился звон колоколов. Через заснеженные поля по расчищенным тропинкам в церковь гуськом тянулись крестьяне.

Они кучками толпились у церкви, ожидая начала службы, и поздравляли друг друга с праздником. Женщины подавали друг другу кончики пальцев и что-то говорили шепотком.

А потом снова стояли молча, покуда не подходила новая собеседница.

Супруги Бай немного запоздали — церковь была уже

полным-полна. Катинка кивнула Хусу, стоявшему у самых дверей: «С праздником»,— и прошла на свое место.

Она сидела рядом с дамами Абель, как раз позади семьи пастора.

«Птенчики» Абель утопали в кисее и замысловатых оборках.

По большим церковным праздникам во время обряда пожертвования фру Линде была начеку. На деньги от пожертвований да еще на выручку от продажи молочных телят, она «одевала» себя и дочь.

Но фрекен Линде никогда не ходила в церковь в дни «пляски вокруг носового платка».

Зазвучали старинные рождественские псалмы,— понемногу все стали подтягивать, и стар и млад. Голоса торжественно и радостно отдавались под сводами. Зимнее солнце заглядывало в окна, освещая белые стены. Старый пастор говорил о пастухах в поле и о людях, чей Спаситель родился в этот день,— говорил простыми обыденными словами, и от этих слов на его паству нисходил какой-то бесхитростный покой.

Катинка все еще была под обаянием этого торжественного настроения, когда длинная вереница прихожан потянулась к алтарю с пожертвованиями. Мужчины шли, тяжело ступая по каменным плитам, и возвращались на свои места все с теми же застывшими лицами.

Женщины плыли к алтарю, краснея и смущаясь, и неотрывно глядели на носовой платок пастора, приготовленный для пожертвований.

Пасторша не спускала глаз с рук, тянувшихся к алтарю.

Фру Линде недаром тридцать пять лет была женой пастора,— бесчисленное множество раз присутствовала она на обрядах приношения. Она по рукам угадывала, кто сколько пожертвовал...

Те, кто жертвовал мало, и те, кто жертвовал больше, по-разному вынимали руки из кармана.

Фру Линде прикинула на глаз и решила, что нынешнее рождество принесет средний доход.

У выхода из церкви супруги Бай встретили Хуса. Все полной грудью вдыхали свежий воздух и наперебой поздравляли друг друга с рождеством.

Показался пастор с завязанным в узелок носовым платком — начались поклоны и приседания.

— Ну что ж, фрекен Иенсен, поздравим друг друга с рождеством Христовым,— сказал старый пастор.

Катинка вышла за церковную ограду вместе с Хусом. Бай немного отстал, заговорившись с Кьером. Катинка и Хус пошли по дороге вдвоем.

Солнце искрилось на белоснежных полях; в усадьбах на флагштоках в прозрачном воздухе реяли национальные флаги.

Прихожане группами расходились по домам.

В ушах Катинки еще звучали рождественские псалмы, и все было окрашено какой-то праздничной радостью.

— Чудесное рождество,— сказала она.

— Да,— ответил он, вложив в это «да» всю свою убежденность.— И как хорошо говорил пастор,— добавил он немного погодя.

— Да,— сказала Катинка,— очень хорошая проповедь.

Они прошли еще несколько шагов.

— А ведь я еще не поблагодарила вас,— вдруг сказала Катинка.— За шаль...

— Не стоит благодарности.

— Как это не стоит... я так обрадовалась. У меня была почти такая же, но я ее прожгла...

— Я знаю... Она была на вас в день моего приезда.

Катинка хотела было спросить: «Неужели вы запомнили?» — но не спросила. И, сама не зная почему, вдруг вспыхнула и тут впервые заметила, что оба они молчат и не знают, о чем заговорить.

Они дошли до леса, церковные колокола звонили всю. Казалось, в этот день колокола никогда не умолкнут.

— Оставайтесь у нас,— сказала Катинка,— не нарушайте праздника.

Они стояли на платформе, поджидая Бая, и слушали колокольный звон.

Хус пробыл у них до самого вечера.

Бай уселся за стол, снявший белоснежной камчатной скатертью и хрусталем, и сказал:

— Славно побыть дома, в кругу семьи.

Малыш-Бентсен воскликнул:

— Еще бы!— И рассмеялся от удовольствия.

Хус ничего не сказал. Сидит, молчит, а глаза улыбаются,— говорила о нем Катинка.

И весь день в доме царила тихая радость.

Вечером затеяли партию в вист. Четвертым был Малыш-Бентсен.

...В доме пастора подсчитывали пожертвования. Фру Линде была разочарована. Доход оказался много ниже среднего.

— Как ты думаешь, Линде, почему это?— спросила она.

Пастор молча разглядывал кучу мелочи.

— Почему? Да, должно быть, люди думают, что мы можем жить, как полевые лилии.

Фру Линде помолчала и в последний раз принялась пересчитывать немногие бумажные кроны.

— Да еще содержать семью,— заключила она.

— Матушка,— сказал старик Линде,— будем благодарны и за то, что у нас покамест еще есть церковная десятина.

Пасторская дочь и капеллан резвились в гостиной, опрокидывая мебель: они затеяли игру в крокет.

— Не хочется попадаться на глаза матери,— сказала фрекен Агнес.— В дни церковных приношений в ней разыгрываются самые низменные инстинкты.

Рождественские праздники продолжались.

Катинке казалось, что уже давным-давно, с тех пор как она покинула родительский дом, она не проводила рождество так радостно и по-домашнему уютно. И не потому, что его отмечали как-то особенно, иначе, чем всегда: один раз они с Баем побывали у Линде, там был Хус и еще кое-кто из соседей, в другой раз фрекен Линде и капеллан зашли к ним вечером с Кьером и Хусом. Сестры Абель явились на станцию к вечернему поезду, их тоже пригласили на огонек. А после ухода восьмичасового поезда затеяли танцы в зале ожидания и сами себе подпевали.

Ничего необычного в этом не было. Но все светилось какой-то особенной радостью.

Единственный, кто немного «портил дело», был Хус. Он теперь часто ни с того ни с сего вдруг впадал в странную задумчивость.

— Хус, вы спите?— говорила Катинка.

Хус резко вздрагивал на своем стуле.

Радость, царившая в доме, передалась и Баю.

— Черт возьми, вот что значит хорошая погода,— говорил он, стоя на платформе после ухода вечернего поезда.— В последнее время я чувствую себя преотлично,— ей-ей, преотлично...

Даже самые их супружеские отношения как бы помолодели. Не то чтобы в них появилась страсть или пылкость, но просто бóльшая близость и теплота.

Наступил канун Нового года, было недалеко до полночи. Супруги Бай сидели в гостиной, собираясь встретить Новый год.

Вдруг за дощатым забором раздался оглушительный грохот.

— Фу, черт!— сказал Бай. Они играли с Бентсеном в «тридцать шесть», и оба вздрогнули.— Петер не пожалел пороха.

В окно постучали, раздался голос Хуса: «С наступающим!»

— Черт возьми, да это Хус,— сказал Бай и встал.

— Я так и подумала,— сказала Катинка. Сердце у нее все еще колотилось от испуга.

Бай пошел открывать. Хус приехал в санях.

— Да заходите же,— сказал Бай,— пропустим по рюмочке ради праздника.

— Добрый вечер, Хус.— Катинка вышла на порог.— Заходите же, выпейте с нами.

Они привязали лошадь под крышей склада. Катинка дала ей хлеба.

Потом они встретили Новый год и решили дожидаться курьерского поезда. Он проходил в два часа ночи.

— Поиграй нам, Тик,— сказал Бай.

Катинка заиграла польку, Бай подтягивал басом.

— Недурно мы когда-то отплясывали, верно, Тик?— И он пощекотал шею жены.

Они вышли на платформу. Небо было облачным впервые за много дней.

— Будет снегопад,— сказал Бай.

Он взял пригоршню мягкого снега и бросил в лицо Малышу-Бентсену. И все стали играть в снежки.

— А вот и поезд!— сказал Бай. Раздался отдаленный гул.

— Тьфу, черт, тьма хоть глаз выколи,— сказал Бай.

Гул приближался. Вот состав покати́л по мосту. Маленький огонек становился все больше, и наконец из тем-

ноты с громыханьем вынырнул поезд, похожий на гигантского зверя с горящими глазами.

Пока поезд с грохотом мчался мимо, все четверо стояли молча. От паровоза валил пар, свет из вагонов бежал по снегу.

Поезд пыхтя исчез в темноте.

— Что ж,— сказала Катинка.— Вот и новый год начался.

Они помолчали.

Она прижалась к мужу и потерлась виском о его щеку.

Бай тоже расчувствовался. Он наклонился и поцеловал жену.

Шум поезда замер вдали. Все четверо вернулись в дом.

Лошади Хуса солоно пришлось на обратном пути. Он нахлестывал ее кнутом так, что она неслась вихрем, да в придачу осыпал ее ругательствами.

Было темно, начинался буран.

Катинке не спалось. Она разбудила Бая.

— Бай,— сказала она.

— Чего тебе?— Бай перевернулся с боку на бок.

— Послушай, какой ветер...

— Ну и что — мы же не в открытом море,— спросонья отозвался Бай.

— Да ведь метет,— сказала Катинка.— Как ты думаешь, Хус уже добрался до дому?

— О, господи, наверное...

И Бай снова уснул.

Но Катинка уснуть не могла. Она беспокоилась о Хусе, который был в пути в такой буран. Тьма кромешная, а он в округе человек новый.

Как странно, что Хус приехал сюда всего три месяца назад...

Хоть бы он поскорей добрался до дому... Катинка снова прислушалась к вою пурги... И он был сегодня чем-то расстроен... Молчал,— она его уже изучила,— и о чем-то грустил... Что-то с ним творится неладное.

Да, да, с ним что-то неладное в последнее время...

Только бы он поскорей добрался до дому — пурга так и метет...

Дремота стала одолевать Катинку, и наконец она уснула рядом с мужем.

На второй день нового года в пасторскую усадьбу съехались гости.

Собралось чуть ли не пол-округи, и комнаты от самой прихожей наполнились шумной болтовней. Так бывало всегда — в пасторском доме все чувствовали себя вольготно.

Вдова Абель с «птенчиками» появилась тогда, когда уже начали играть в шарады. Дамы Абель всегда являлись позже всех.

— Время уходит у нас между пальцев, — говорила фру Абель. — Нам так трудно расстаться со своим гнездышком.

В дни, когда сестрицы Абель собирались в гости, они все утро бродили по дому в пеньюарах и ссорились. Фру Абель приходилось одеваться в последнюю минуту, и вид у нее всегда был такой, точно ее потрепала буря.

В поисках костюмов для шарад все шкафы в пасторском доме были перерыты вверх дном.

Фрекен Агнес, облачившись в штаны одного из хусменов, изображала толстяка, а потом эскимоса, а Катинка — его жену-эскимоску.

— Как хорошо, что вы никогда не ломаетесь, моя прелесть, — говорила фрекен Линде.

Они так отплясывали эскимосский танец, что у Катинки даже голова закружилась. Фру Бай развеселилась до того, что стала почти проказливой.

Малютка-Ида тоже играла в шарады, только в другой партии. Они большей частью представляли какой-нибудь гарем или купальню. И при каждом удобном случае Иду прижимал к себе и тискал потрепанный блондин в форме младшего лейтенанта.

Пожилые гости толпились в дверях, глядя на игру. В саду под окнами стояли старший работник, два хусмена и батраки. Они скалили зубы, глядя, какие штуки «откалывает» их «барышня».

Пастор Линде ходил из комнаты в комнату.

— Они веселятся, веселятся всласть, — приговаривал он, возвращаясь к гостям постарше.

Фру Абель проводила пастора взглядом. Она сидела рядом с женой мельника.

— А ведь и правда, здесь очень весело.

— Да, — сказала мельничиха. — Слишком весело для пасторского дома. — Слово «пасторского» было произнесено не без суровости.

Дочь мельничихи Хелене стояла рядом с матерью. Она предпочла уклониться от игры.

Мельник с женой отстроили себе новый дом, они хотели быть на виду в округе. Дважды в год они принимали гостей, и те чинно сидели, таращась на новую мебель. Мебель так и оставалась *новой*.

В гостиной повсюду были разложены вещицы, вышитые руками фрекен Хелене.

В будни семья ютилась в старом флигеле. Раз в неделю новый дом протапливали, чтобы мебель не испортилась.

Фрекен Хелене была единственной дочерью. Ее наставнице фрекен Иенсен поручили с особым усердием налегать на иностранные языки. Фрекен Хелене была первой модницей в округе и питала неукротимое пристрастие к золотым безделушкам. Но дома какое бы платье она ни надевала, она ходила в серых войлочных туфлях и белых бумажных чулках.

В гостях она чуть что обижалась и с кислой миной усаживалась возле матери.

— Вы правы,— говорит фру Абель,— мои птенчики тоже считают, что здесь бывает чересчур уж весело...

— Мама,— заявляет Малютка-Ида,— дай мне твой носовой платок.

— Сию минуту.

Малютка-Ида довольно бесцеремонно выхватывает платок у матери.

Малютке-Иде по роли понадобился ночной чепец, а она обнаружила, что ее собственный носовой платок не отличается безукоризненной чистотой.

— Ах, они так увлечены игрой,— говорит фру Абель жене мельника.

Шарады кончились, до ужина решили поиграть в жмурки. В зале поднимается визг и такая беготня, что, того гляди, обвалится старая печка.

— Ой, печка,— кричит молодежь.— Осторожней, печка!

— Я здесь, ау, я здесь!

Малютка-Ида так устала, что рухнула на стул. Она с трудом переводит дух, до того у нее колотится сердце.

— Потрогайте. Слышите, как бьется,— говорит она и прижимает руку лейтенанта к своей груди.

Катинка водит — ее так закружили, что она еле стоит на ногах.

— Нет, вы только поглядите на мою прелесть,— кричит фрекен Агнес...

— Ау! Ау!

Катинка поймала Хуса.

— Кто это?

Он наклоняется, Катинка ощупывает его волосы.

— Это Хус,— кричит она.

Старый пастор Линде хлопает в ладоши, созывая гостей к столу.

— Хус, что с вами?— говорит Катинка.— Случилось что-нибудь?

— С чего вам вздумалось?

— Вы что-то невеселы в последнее время... не такой, как раньше...

— Ничего не случилось, фру Бай...

— А я,— говорит Катинка,— я почему-то так счастлива...

— Да,— говорит Хус,— это видно.

Пришел Бай, он играл в карты.

— Господи помилуй, на кого ты похожа!— говорит он.

Катинка смеется:

— Это мы танцевали эскимосский танец.

Она идет к столу вместе с Хусом.

Бай выхватывает Малютку-Иду из-под носа у лейтенанта, тот идет за ними следом с сыном школьного учителя.

— Хансен,— говорит лейтенант.— Кто эта девица?

— А вон ее мамаша, та кривая, рядом с пастором, они живут по соседству на доходы с ренты.

— Огневая девка,— говорит лейтенант.— И грудь у нее шикарная...

Все рассаживаются по местам, пастор во главе стола. За ужином он провозглашает два тоста: «За отсутствующих» и «За веселую компанию». Эти тосты слово в слово провозглашаются за пасторским столом вот уже семнадцать лет.

Напоследок подают миндальный торт — а к нему хлопшки.

Пастор предлагает хлопшуку фрекен Иенсен — они тянут ее за два конца.

Лейтенант пристроился со своим стулом поближе к фрекен Иде. Стулья сдвинуты так тесно, что Ида оказалась чуть ли не на коленях у молодого человека.

Гул стоит такой, что ничего не слышно — все смеют-

ся, с треском разрывают хлопушки и читают вслух вложенные в них записки.

— Молодость-молодость,— говорит пастор Линде.

— Хус, это нам с вами,— говорит Катинка. Она протягивает ему хлопушку.

Хус тянет хлопушку за свой конец.

— Записка у вас,— говорит Катинка.

Хус разворачивает клочок бумаги.

— Вздор,— говорит он и рвет бумажку на мелкие клочки.

— Хус, зачем — что там было написано?

— Кондитеры всегда пишут только о любви,— заявляет Малютка-Ида с другого конца стола.

— Фрекен Ида!— Это говорит лейтенант.— Теперь наша с вами очередь.

Малютка-Ида оборачивается к лейтенанту, и они вдвоем разрывают хлопушку.

— Фу, как неприлично!— кричит Ида. В ее записке речь идет о поцелуях — лейтенант читает записку вслух, щекоча своими усиками щеку Иды.

Гости слегка отодвинулись от стола, дамы обмахиваются салфетками. Молодежь раскраснелась от жары и молочного пунша, его наливают гостям из больших серых кувшинов.

Щупленький студентик провозглашает тост за «патриархальный дом пастора Линде», все встают и кричат «ура». Студентик чокается с пастором.

— Ах вы, юный революционер,— как же это вы пьете за мое здоровье?— спрашивает пастор.

— Можно питать уважение к личности,— отвечает щупленький студентик.

— Верно, верно,— говорит пастор Линде.— Все верно. Молодежь должна за что-то бороться, не правда ли, фру Абель?

Фру Абель не сводит глаз со своей Малютки-Иды. Малютка-Ида такая резвушка. Она почти лежит в объятиях лейтенанта.

— Конечно, ваше преподобие,— отвечает фру Абель.— Ида, душенька моя (душенька не слышит), Малютка-Ида, ты не хочешь чокнуться со своей мамой? — говорит фру Абель.

— За твое здоровье! — говорит Малютка-Ида.— Лейтенант Нильсен,— она протягивает ему бокал,— чокнитесь с мамой...

Вдова Абель улыбается:

— Ах, чего только она не выдумает, моя Малютка-Ида...

Щупленький студентик интересуется, читала ли фрекен Хелене Софуса Шандорфа...

Фрекен Хелене читает только книги из местной библиотеки.

— Я убежден, что это направление — благороднейший результат деятельности нашего титана Брандеса... И вообще свободы духа.

— Брандес? А-а, это тот самый еврей, — говорит фрекен Хелене. На мельнице именно так представляют себе свободу духа.

А студент уже воспарил к великому Дарвину.

Бай что-то сказал фрекен Иенсен, и та вспыхнула до ушей.

— Гадкий, — говорит фрекен Иенсен и хлопает Бая по пальцам.

— Хус, — говорит Катинка. — Надо принимать жизнь, как она есть... и...

— И что?

— В ней ведь все-таки столько хорошего...

— Лейтенант, — кричит фрекен Ида, — вы чудовище! Старый пастор складывает руки и кивает.

— Поблагодарим хозяйку за угощение, — говорит он и встает.

Все с шумом поднимаются из-за стола, наперебой благодарят хозяйку. Агнес уже сидит за роялем в гостиной — сейчас начнутся танцы.

— Хотела бы я знать, обратила ли ты внимание на Иду, — говорит матери Луиса-Старшенькая. — Я готова была сквозь землю провалиться.

Малютка-Ида танцует в первой паре с лейтенантом.

— Больше задора! — кричит фрекен Агнес. Она играет песенку из ревю «На канапе», так что струны гудят.

Бай кружит Катинку, — держась за руки, они мчатся из одной комнаты в другую.

Впереди всех пастор Линде в паре с фрекен Иенсен — она только охает.

— Линде, Линде, — кричит пасторша. — Ведь у тебя ноги больные!

Фрекен Агнес барабанит по клавишам, так что в ушах звенит.

— Боже мой, я сейчас умру,— говорит дочь мельника Хелене.

Внезапно музыка обрывается. Запыхавшиеся пары в изнеможении валятся на стулья вдоль стен.

— Фу, даже жарко стало,— говорит Бай лейтенанту, утираясь платком.— Хорошо бы пропустить кружечку пива.

Лейтенант совсем не прочь. Они бродят по комнатам. В столовой на подоконнике стоят бутылки с пивом.

— Это что, деревенское пиво? — спрашивает лейтенант.

— Нет, от Карлсберга.

— Тогда я не прочь.

— Вот укромный уголок,— говорит Бай.

Они входят в кабинет пастора, маленькую комнату, где на выкрашенных в зеленый цвет полках стоят сочинения Элленшлегера и Мюнстера, а на письменном столе копия торвальдсеновского Христа.

Они поставили бутылку на стол и сели.

— Я сразу смекнул, чем пахнет дело,— сказал Бай.— Но подумал, пусть его получает удовольствие, да заодно и она, подумал я...

— Огневая девчонка... Роскошная грудь... И танцует здорово. Так и прижимается к тебе.

— А что ей еще остается, бедняжке,— сказал Бай и осушил свою кружку.

— А та, другая, что за особа? — Лейтенант имел в виду фрекен Агнес.

— Превосходная девушка,— сказал Бай.— Но это совсем другой коленкор,— сказал он.— Приятельница моей жены.

— Вон что,— сказал лейтенант.— Я так и подумал! эта из *таковских* — поговорить, а больше ни-ни.

Собеседники перешли к широким обобщениям.

— Провинциальные девицы,— сказал лейтенант.— Они, само собой, недурны... но... Понимаете, господин начальник станции... Нет у них того *обхождения*. Что там ни говори... город совсем другое дело...

Сам лейтенант «устроился» весьма недурно.

— Я, видите ли, стою на частной квартире... Это куда лучше... Куда сподручнее... Незачем соваться во Фредерикс или на Вестер...

— А девчонки там недурны?

— Лихие девчонки, накажи меня бог, лихие девчонки...

— М-да, я ведь теперь поотстал... Ничего не подедаешь, человек семейный... На правах зрителя, лейтенант, только на правах зрителя... даже если иной раз отлучишься в город на пару дней...

— На правах зрителя,— повторил он еще раз.

— Можете мне поверить, лихие девочки,— сказал лейтенант,— и притом обходительные...

— Говорят, они уезжают в Россию...

— Да, говорят...

На пороге появился пастор Линде.

— А, вот вы где, господин начальник,— сказал пастор и вошел в кабинет.

— Да, господин пастор, мы тут сидим себе и философствуем... потихонечку... да еще прихватили парочку бутылок...

— На доброе здоровье. Здесь и в самом деле уютно.— Пастор обернулся с порога.

— А в гостиной играют в фанты,— сказал он.

Бай с лейтенантом отправились в гостиную.

Там игра была уже в разгаре: «упавшие в колодец» выбирали «спасителя».

Тщедушный студентик, толковавший о «благороднейшем результате», выбрал Катинку.

— Поцелуйтесь! — закричала Агнес.

Катинка подставила щеку, чтобы «результат» мог ее поцеловать. Студентик покраснел до ушей и едва не чмокнул Катинку в нос.

Катинка засмеялась и захлопала в ладоши.

— Я выбираю, выбираю... Хуса,— сказала она.

Хус подошел и наклонился к ней. Он поцеловал ее в голову.

— Выбираю фрекен Иенсен,— сказал он. Голос его сорвался, точно он вдруг охрип.

Ложась в постель, где ее поджидал Бель-Ами, фрекен Иенсен все еще вспоминала поцелуй Хуса.

Катинка так задумалась, что не заметила, как слегка прислонилась к радикальному студенту.

Гости разошлись.

Посреди гостиной фрекен Агнес оглядывала поле брани. Вся мебель была сдвинута с места, на полу по углам громоздились стаканы, на книжном шкафу красовались тарелки из-под пудинга.

— Уф,— сказала она и села,— можно подумать, будто здесь побывал сам сатана.

Вошел капеллан Андерсен.

— А-а, это вы,— сказала она.— Вы были сегодня очень милы.

— Фрекен Агнес, вам было весело?

— Нет.

— Чего же ради вы стараетесь?

— Отвечу — ради того, чтоб было весело другим. Только вы один всегда брюзжите... Помогите-ка мне лучше навести порядок,— сказала она.

И принялась расставлять мебель.

— Больше я никуда не пойду с Идой,— заявила Луиса-Старшенькая.— Говорю тебе — никуда. Мне стыдно смотреть в глаза соседям.

— Это все потому, что тебя никто не приглашает танцевать. А я должна скучать с тобой за компанию — да?

Вдова Абель никогда не вмешивалась в перепалки дочерей. Она знала, что они не кончатся, пока не будет накручена последняя папильотка. Вдова на цыпочках ходила по комнатам, складывая одежду своих «птенчиков».

— Тьфу, черт, устаешь от всей этой сутолоки,— сказал Бай. Он с трудом вышагивал на одеревеневших ногах.

Катинка не ответила. Они молча шли по дороге к дому.

III

Наступила весна.

В полдень пасторская дочь заходила за Катинкой, и они спускались к реке. На берегу, неподалеку от железнодорожного моста, под двумя ивами Малыш-Бентсен поставил скамейку. Здесь обе женщины сидели со своим рукоделием, пока не приходил вечерний поезд. Все проводники на этой железнодорожной ветке знали Катинку и фрекен Линде и здоровались с ними.

— Лучше всего — уехать,— говорила Агнес Линде, глядя вслед уходящему поезду.— Я думаю об этом каждый день.

— Агнес, но как же...

— Нет, нет, это самый лучший выход для нас обоих... Чтобы он или я... уехали.

И они в сотый раз начинают обсуждать все ту же неизменную тему.

Как-то в разгар зимы Агнес Линде и капеллан по дороге домой с плотины, где они катались на коньках, заглянули на станцию; капеллану надо было отправить письмо, и он заговорился в конторе с Баем.

Агнес вошла в гостиную с коньками в руках. Она была в тот день неразговорчива и на все вопросы Катинки отвечала коротко «нет» или «да»... Потом остановилась у окна, стала глядеть на улицу — и вдруг разрыдалась.

— Что с вами, фрекен Линде, вы больны? — спросила Катинка; она подошла к Агнес и обвила рукой ее талию. — Что случилось?

Агнес пыталась сдержать слезы, но они лились все сильнее. Она отстранила руку Катинки.

— Можно мне туда? — сказала она и вошла в спальню.

В спальне она бросилась на кровать и во внезапном порыве поведала Катинке все: как она любит Андерсена, а он только играет ею и у нее нет больше сил терпеть.

С того дня Катинка стала поверенной фрекен Линде.

Катинка привыкла быть чьей-нибудь поверенной. Так повелось еще смолоду, когда она жила у матери. Все страждущие сердца обращались к ней. Наверно, их к тому располагала ее тихая повадка и малоречивость. Ей как нельзя лучше подходило выслушивать других.

Фрекен Линде являлась почти каждый день и часами просиживала у Катинки. Разговор шел всегда об одном и том же — о ее любви и о нем. И каждый раз она, как новость, рассказывала то, что было говорено уже сотни раз.

Просидев и проговорив так три, а то и четыре часа подряд и поплакав под конец, фрекен Агнес складывала свое рукоделие.

— А в общем мы просто две глупые клуши, — говорила она в заключение.

И вот теперь с наступлением весны они вдвоем сидели у реки.

Агнес говорила, Катинка слушала. Она сидела, сложив руки на коленях, и смотрела вдаль, на луга. Они бы-

ли окутаны дымкой, равнина напоминала большое синее море. Трудно было сказать, где кончается вода и начинается небо — все сливалось в одну смутную голубую ширь. А купы ив были похожи на острова.

Агнес рассказывала, как все началось, как она приехала из Копенгагена домой и познакомилась с Андерсеном. Прошло несколько месяцев, а она все еще не догадывалась, что любит его.

Катинка слушала и не слушала. Она знала всю историю наизусть и молча кивала головой.

Но мало-помалу она стала как бы участницей чужой любви. Она знала все ее перипетии и переживала их так, точно они касались ее самое. Ведь у них с Агнес разговор шел всегда об одном и том же.

Слова любви обжились в душе Катинки. И она привыкла постоянно думать обо всем, что несла с собой любовь двух посторонних ей людей.

Проводив Агнес до поворота дороги, она возвращалась домой и потом подолгу сидела в саду в беседке под бузиной. А любовные слова словно витали вокруг нее, и она снова слышала и снова передумывала их.

Таково уж было свойство ее тихой, с ленцой природы — слова и мысли, однажды коснувшиеся ее, как бы возвращались к ней снова и снова и сживались с ней.

Под конец они совершенно опутывали ее. И преобразались в мечты, и уносили ее далеко-далеко, она и сама не знала куда.

Дом их в последнее время как-то опустел. С наступлением весны Хус реже заглядывал к ним.

— Работы невпроворот, — объяснял он.

А когда он приходил, то часто бывал не в духе. Иной раз он даже будто и не замечал, как радуется Катинка его приезду, говорил все больше с Баем, хотя Катинке многое хотелось ему сказать и о многом посоветоваться.

Ведь как раз весной самая пора что-то посадить, что-то починить...

Нет, с Хусом творилось что-то неладное. Может, он не ужился с батраками Къера, — поговаривали, что ему нелегко угодить в работе...

Впрочем, и на самую Катинку находила теперь иной раз какая-то тоска.

Может, оттого, что она мало спала.

По вечерам, пока Бай раздевался и бродил из комнаты в комнату, она оставалась в гостиной. А он все ходил

взад и вперед полуголый, а потом садился на край кровати и принимался болтать, и конца этой болтовне не было.

Катинка очень уставала от того, что он все никак не угомонится и не замолчит.

А когда она наконец сама ложилась в потемках рядом с Баем, который уже спал глубоким сном, ей не спалось и было не по себе, и она вставала и снова выходила в гостиную. Там она садилась у окна. С шумом проносился ночной курьерский, и снова воцарялась немая тишина. Ни звука, ни ветерка в летней ночи. Брезжил первый сероватый луч рассвета, с лугов тянуло холодом и сыростью.

Потом становилось все светлее и светлее, затягивали свою песню жаворонки.

Хус говорил, что очень любит встречать рассвет.

Он рассказывал, как наступает утро в горах.словно бескрайнее золотисто-багряное море наполовину из золота, наполовину из роз заливают одну гору за другой, говорил он. А вершины плавают островками в этом огромном море...

А потом мало-помалу вершины начинают полыхать огнем, говорил он...

И тогда встает солнце.

Оно поднимается все выше.

И словно большим крылом выметает мрак из долин.

Он часто рассказывал теперь о чем-нибудь в этом роде, о чем-нибудь, что повидал в своих путешествиях.

Он вообще стал теперь гораздо разговорчивей — если вообще был в настроении говорить.

...Уже совсем рассветало, а Катинка все еще сидела у окна. Но пора и ей на покой.

В спальне было душно, Бай спал, сбросив с себя одеяло.

Если Хус приезжал к вечеру, они чаще всего сидели в беседке под бузиной.

Прибывал восьмичасовой поезд. Какой-нибудь крестьянин выбирался из вагона и, шагая по платформе, кланялся им.

Они выходили в сад. Вишневые деревья стояли в цвету. Белые лепестки сверкающим дождем осыпались на лужайку.

Они молча сидели и смотрели на белые деревья,

Казалось, ласковое безмолвие вечера обволакивает все вокруг. Слышно было, как где-то в поселке хлопает дверь. За полями призывно мычали коровы.

Катинка рассказывала о своем родном городе.

О подругах, братьях и о старом доме, где было полно голубей.

— А потом, после смерти отца, мы переехали на другую квартиру — я и мама... Хорошее это было время... Ну, а потом я вышла замуж.

Хус смотрел, как вишневые лепестки легкими снежинками бесшумно опускаются на траву.

— Тора Берг — до чего ж она была веселая... Вечером, бывало, возвращается из гостей и бросает песок во все окна подряд, а за ней по пятам целый гарнизон...

Катинка помолчала.

— Она тоже вышла замуж, — сказала она. — Говорят, у нее полон дом детей...

По дороге прошел какой-то человек.

— Добрый вечер, — сказал он через плетень.

— Добрый вечер, Кристен Педер.

— Добрый вечер, — сказала Катинка.

— Да, — снова заговорила Катинка. — В последний раз я видела ее на моей свадьбе. Девушки пели, они стояли у органа, на хорах... Я так и вижу их сейчас перед собой — все лица, все до одного... А я плакала в три ручья...

Хус по-прежнему молчал, лица его она не видела. Он сидел наклонившись и что-то разглядывал на земле.

— Вот уже скоро одиннадцать лет, — сказала Катинка. — Как летит время...

— Для тех, кто счастлив, — сказал Хус, не поднимая головы.

Катинка расслышала не сразу. Потом его слова вдруг дошли до нее.

— Да, — сказала она и едва заметно вздрогнула.

Потом, немного погодя, добавила:

— Здесь ведь мой дом.

Они снова замолчали.

В сад вышел Бай. Его приближенье слышно было еще издали. Очень уж он всегда шумел — а до его прихода в сумерках было тихо-тихо.

— Я принесу стаканы, — сказала Катинка.

— Хороший вечер, — сказал Бай. — Приятно посидеть на свежем воздухе...

Катинка принесла графин и стаканы.

— А у меня были гости,— сказал Бай.

— Кто же это?

— Фрекен Ида. Она собирается уезжать...

— Как? Почему Ида?

— Очень просто.— Бай рассмеялся.— Фрекен Луиса сдалась... Теперь все ставки на лошадку порезвее. Она уезжает на все лето. М-м-м-да, может, хоть одной повезет...— Бай помолчал.— Черт побери, такую девицу грех не выдать замуж...

Бай часто заводил разговор о браке и супружеской жизни. Он любил пофилософствовать на эту тему.

— Разве я по доброй воле пошел в начальники станции,— говорил он.— Но лейтенанту жениться не по карману... Что делать, черт возьми, девицы *должны* идти под венец... А там, глядишь, и привыкнут друг к другу,— общий дом, общий кров, а там и дети пойдут...

— У большинства,— закончил Бай с легким вздохом. Помолчали. В беседке стало совсем темно.

Шел конец июня.

— Что-то моя прелесть нынче бледная,— говорила Агнес Линде, приходя на станцию.

— Должно быть, я плохо переношу жару,— отвечала Катинка. В ней поселилась какая-то тревога, она то и дело бралась за какую-нибудь работу, ничего не доводила до конца и все бродила с места на место как потерянная.

Но чаще всего она сидела у реки с Агнес. Смотрела вдаль, на луга, и слушала одну и ту же историю.

У Агнес Линде становился совсем другой — ласковый — голос, когда она говорила о «нем».

Она так и звала его — «он».

Катинка смотрела на Агнес — как та сидит, наклонив голову, и улыбается.

— И мы еще хнычем, негодники,— говорила Агнес,— оттого что все идет так, а не иначе, а может, это вообще лучшее, что нам дано в жизни...

— Да,— говорила Катинка и продолжала смотреть на Агнес.

Если Агнес Линде не приходила на станцию, Катинка сама шла в пасторскую усадьбу. Теперь ей просто недоставало рассказов Агнес.

Там она встречала и Андерсена. Видела их вместе. Его и Агнес.

Они играли в крокет на большой площадке, а Катинка стояла и смотрела. Смотрела на них — на двоих, что любят друг друга.

Она слушала их и смотрела на них с любопытством — почти как на чудо.

Однажды, возвращаясь из пасторской усадьбы домой, она расплакалась.

Хус приезжал теперь очень нерегулярно. То явится два раза на дню, но не успеет зайти в беседку, как тотчас опять в седло. А бывало, по нескольку дней не кажет глаз на станцию.

— Сенокос,— говорил он.

Сено убрали, и теперь оно стояло в стогах на лугу. Воздух был напоен пряным запахом скошенной травы.

Однажды вечером Хус приехал очень веселый и предложил «проехаться лесом на большую ярмарку». Поехать в коляске, сделать привал в лесу, а потом посмотреть на ярмарочные увеселения.

Бая уговаривать не пришлось. И поездка стала делом решенным. Выедут они рано утром по холодку и вернуться к ночи или даже на другое утро.

Поедут вчетвером — Бай с женой и Марией и Хус.

Катинка целый день провела в хлопотах.

Она внимательно изучила кулинарную книгу, за ночь все обдумала, а наутро сама отправилась в город за покупками.

Хус приехал за почтой как раз в ту минуту, когда отходил поезд.

— Хус! — окликнула Катинка из окна купе.

— Куда это вы собрались? — воскликнул он.

— За покупками — и Мария со мной. — Она притянула Марию к себе, чтобы та показалась в окне. — До свидания!

— Хм! — сказал Бай. — Катинка прямо сдурела. Она жарит и варит, точно не к пикнику готовится, а к эпидемии холеры...

В городе уже начали разбивать ярмарочные палатки: на рыночной площади отдыхали прислоненные к церковной ограде карусельные лошадки. Катинка бродила по улицам, глядя на людей, работавших топорами и молотками. Она не могла оторвать глаз от ящиков и подолгу стояла всюду, где натягивали парусиновый тент.

— Посторонись, барышня...

Она шарахнулась в сторону, перепрыгнув через доски и веревки.

— Они называют меня барышней,— сказала она.— Ах, Мария, лишь бы только погода не испортилась.

Они пошли в сторону парка. Там стоял балаган на колесах. У обочины спали мужчины, на приставной лестнице женщина стирала в лохани трико. Три пары белых подштанников покачивались на веревке.

Катинка с любопытством оглядела женщину, мужчин у обочины.

— Чего вам надо? — крикнула женщина на ломаном датском языке.

— Ой! — вскрикнула Катинка, она страшно испугалась и пустилась бежать.

— Это силачка,— сказала она.

Они пошли дальше. На опушке леса плотники сколачивали деревянную площадку для танцев. После залитой солнцем дороги под деревьями было прохладно. Катинка села на скамью.

— Здесь мы будет танцевать,— сказала она.

— Вот уж кто, верно, ловко танцует, так это Хус,— сказала Мария. Она по-прежнему восхищалась Хусом. Его фотография стояла в бархатной рамке у нее на комодe, а в псалтыре вместо закладки лежала его потерянная визитная карточка. На долю стрелочника Петера оставались более земные утехи.

Катинка не ответила. Она сидела и смотрела, как работают плотники.

— Только бы погода не испортилась,— сказала она одному из них.

— Да-а,— отозвался он, поднял голову — верхушки деревьев заслоняли небо — и рукавом отер пот с лица.— Оно все дело — в погоде.

Катинка с Марией повернули обратно. Пора было возвращаться домой. Они вышли на площадь. Колокола звонили к вечерне, перекрывая уличный шум.

Накануне поездки они пекли пироги. Катинка, засучив рукава, так усердно месила тесто, что даже волосы у нее были обсыпаны мукой, как у мельника.

— Сюда нельзя, сюда нельзя! — Кто-то стучал в запертую дверь кухни.

Катинка решила, что это Хус.

— Это я! — закричала Агнес Линде. — Что тут происходит?

Ее впустили, и она тоже принялась за дело. Ставили тесто для сладкого пирога — вымешивать его надо было бесконечно долго.

— Это для Хуса, — объяснила Катинка. — Он сластена. Любит сдобное тесто.

Агнес Линде месила тесто с такой силой, что оно пошло пузырями.

— Ох, уж эти мужчины. Им еще и пироги подавай, — сказала она.

Катинка вынула из печи противень.

— Попробуйте печенье, — сказала она. — С пылу с жару.

Щеки ее горели, как медный таз.

К дневному поезду на станцию пришли фрекен Иенсен и Луиса-Старшенькая. Началось перестукивание и дипломатические переговоры через кухонное окно.

— Учужали, прости меня господи, — сказала Агнес Линде. Она устало опустила руки и сидела в неловкой позе, зажав в коленях миску с тестом.

Мария вынесла им на перрон тарелку с печеньем.

Луиса от восторга так заерзала на скамье, что двое проезжих коммивояжеров смогли рассмотреть из окна поезда довольно большую часть ее «украшения».

Когда поезд отошел, в кухне открыли окна. Луиса-Старшенькая и фрекен Иенсен на скамье за обе щеки уписывали печенье.

— Ах, до чего же оно вкусное, фру Бай! Ну просто пальчики оближешь...

— Да, фру Бай хозяйка, каких мало, — сказала фрекен Иенсен.

— Ну, пошла молоть мельница, — сказала в кухне Агнес и снова взялась за тесто.

Бай распахнул окно конторы — оно приходилось как раз над скамьей.

— На что ж это похоже! — сказал он. — Мне не перепало ни крошки!

— Поделиться с вами, господин Бай? — спросила Луиса. — Разве вы тоже любите сладкое?

— Отчего же, если кто-нибудь уделит мне кусочек, — «кавалерийским» тоном заявил Бай.

На перроне послышались возня и повизгиванье.

— Что там случилось? — крикнула из кухни Агнес.

— Мы подкармливаем птенчика,— сказала Луиса-Старшенькая. Она вскарабкалась на скамью и, выставив напоказ свое «украшение», совала в рот Баю печенье.

— Ой, он кусается! — вскрикивала она.

Именно в подобных случаях вдова Абель говорила:

«Ах, они все еще сущие младенцы,— они ведь совсем не знают жизни...»

Луиса-Старшенькая понесла к кухонному окну пустую тарелку. Крошки она подобрала пальцами. Сестрицы Абель не любили, когда что-нибудь пропадало зря.

Луиса заглянула в кухню через окно.

— Ах, если бы мама знала,— медоточивым голосом сказала она.

— Выходит, еще не пронюхала,— сказала Агнес, не отрываясь от теста.

Луисе-Старшенькой передали через окно фунтик с печеньем.

— Такую малость не стоит и тащить домой,— сказала Луиса старушке Иенсен, когда они вышли на дорогу.

Еще не дойдя до лесной опушки, они уписали все печенье. Луиса-Старшенькая бросила фунтик на землю.

— Луиса, детка, боже сохрани... Фрекен Линде такая остроглазая... еще, чего доброго, заметит...

Фрекен Иенсен подобрала бумажку. В кармане она бережно расправила ее и завернула в нее три печенья, припрятанные для Бель-Ами.

Катинка устала. Как была, с засученными рукавами, она присела на колоду для разделки мяса и посмотрела на свои изделия.

— Это и в сравнение не идет с тем, что мы пекли дома к рождеству.

Она стала рассказывать, как они готовились к рождеству — ее мать, сестры и все домочадцы... Из теста для хвороста Катинка лепила поросят — их опускали в кипящее масло — плюх — и они ломались.

А братья старались потихоньку стянуть что повкуснее,— мать вооружалась большим половником и охраняла блюдо с хворостом.

А когда кололи миндаль, братья тоже не упускали случая утащить ядрышки,— бывало, от фунта миндаля оставалось меньше половины...

В дверь постучали. Это был Хус.

— Сюда нельзя! — сказала Катинка, не открывая.— Через час... Приходите через час.

Хус подошел к окну.

— Подождите в саду,— сказала Катинка. Она заторопилась поскорее кончить работу и послала Агнес занять Хуса.

Агнес присидела с ним полчаса. Потом ушла.

— Управляющего Хуса занимать слишком уж легко,— рассказывала она Андерсену.— Ему надо одно — чтобы его оставили в покое и не мешали насвистывать в свое удовольствие.

— Где же Агнес? — спросила Катинка, выйдя в сад.

— Кажется, ушла.

— Когда же?

— Да, наверное, час тому назад...

Хус рассмеялся.

— Мы с фрекен Линде очень расположены друг к другу. Но разговор у нас не клеится.

— Сейчас будем укладываться,— сказала Катинка.

Они вошли в дом и стали упаковывать съестные припасы в большую корзину. Горшки для устойчивости перекладывали соломой.

— Плотнее, плотнее,— приговаривала Катинка, нажимая ладонями на руки Хуса.

Она открыла секретер и отсчитала несколько серебряных ложек и вилок.

— И еще я хочу взять веер,— сказала она.

Она порылась в шкафу.

— Ах, он, наверное, в ящике.

Это был ящик, где хранилась шкатулка с котильонными орденами и подвенечная фата. Катинка открыла шкатулку с ленточками.

— Старый хлам,— сказала она.

Она сунула руку в шкатулку и небрежно поворошила ленты и ордена.

— Старый хлам.— И она снова стала искать веер.

— Подержите мою фату,— попросила она. Она протянула Хусу фату и шерстяной платок.— Вот он,— сказала она. Веер лежал на дне шкатулки.

— А это ваш подарок,— сказала она. Шаль лежала в сторонке, обернутая в папиросную бумагу. Катинка вынула ее из шкатулки.

Хус так сильно ждал позолоченную фату, что на тюле остались следы осыпавшейся позолоты.

Пришел вечерний поезд. Они вышли на платформу.

— Уф,— сказал стройный машинист в нескромно об-

тянутых панталонах.— Сущее наказание вести поезд в праздничные дни. Опаздываем на тридцать минут.

— И парит, как в бане,— заявил Бай.

Катинка оглядела вагоны. Из каждого окна высовывались потные лица.

— Правда,— сказала она.— И охота людям ездить.

Машинист рассмеялся.

— А на что же тогда железная дорога? — сказал он. Он протянул Баю и его жене два пальца и вскочил на подножку.

Поезд тронулся. Молодой машинист все высовывался из окна паровоза, улыбался и кивал.

Катинка махала концом синей шали. И вдруг изо всех окон ей закивали и замахали пассажиры,— они смеялись, выкрикивали шутки и приветствия.

Катинка тоже кричала и размахивала шалью, и пассажиры махали в ответ, пока поезд не скрылся из глаз.

После чая Хус отправился домой. Он должен был прехать на станцию в шесть утра.

Катинка стояла в саду у изгороди.

— «Ты лети, лети, кузнечик,

Принеси погожий день!» — воскликнула она.

В лицо ей пахло ароматом деревьев. Она улыбалась, глядя в ясное синее небо.

«До чего же малютке к лицу синее»,— думал машинист в нескромных панталонах. На своем маршруте он замечал все до мелочей.

— Помни, завтра в пять надо быть на ногах,— сказал Бай, заглядывая в кухню.

— Сейчас, Бай, сию минуту.— Катинка скоблила чуть пригоревший пирог.— Вот только управлюсь...

Она уложила пирог в корзину, еще раз оглядела все припасы. Потом открыла дверь и выглянула во двор. Там ворковали голуби. И больше не было слышно ни звука.

На западе угасал последний розовый отсвет. Среди подернутых дымкой лугов вилась река.

Как она все-таки любила эти места!

Она закрыла дверь и вошла в спальню.

Бай положил свои часы рядом с ночником у кровати. Он, видно, хотел проверить, долго ли Катинка будет «копаться». Но не дождался, уснул и теперь лежал весь в поту и храпел при свете ночника.

Катинка тихонько погасила ночник и разделась в темноте.

Когда подъехала коляска, Катинка стояла в саду. Ее голубое платье было видно еще с поворота дороги.

— С добрым утром, с добрым утром... Вы привезли хорошую погоду.

Она выбежала на платформу.

— Приехал,— закричала она.— Мария, неси скорей корзины...

Бай без пиджака показался в окне спальни.

— Здорово, Хус. Не хватит нас солнечный удар, а?

— Да нет, ветерок обдувает,— ответил Хус, слезая с козел.

Они уложили корзины с провизией в коляску и сели пить кофе на платформе. Малыш-Бентсен так осовел со сна, что Баю пришлось трижды гонять его взад и вперед по команде «тревога», чтобы растормошить.

Катинка пообещала привезти Бентсену с ярмарки пряничное сердце, и все стали рассаживаться в коляске. Бай пожелал править лошадьми и уселся на козлы, рядом с Марией, которая так туго затянулась в корсет, что при каждом ее движении раздавался скрип.

Катинка в белой шляпе с широкими полями казалась совсем девочкой.

— Обед тебе принесут из трактира,— сказала Катинка Малышу-Бентсену.

— Поехали,— сказал Бай.

Малыш-Бентсен помчался в сад и оттуда махал им рукой.

Сначала ехали проселком через поля. Было еще прохладно, дул мягкий летний ветерок, пахло клевером и росистой травой.

— Как хорошо дышится,— сказала Катинка.

— Да, чудесное утро,— сказал Хус.

— И ветерком обвевает.— Бай тронул коней.

Они выехали на шоссе, которое шло мимо владений Кьера. Вокруг пастушьего домика на колесах паслось стадо. Где-то поодаль вдогонку отбившейся скотине заливался сторожевой пес. Тучные коровы вытягивали могучие шеи и лениво и сыто мычали.

Катинка глядела на залитый солнцем, зеленеющий выгон, на разбредшееся по нему холеное стадо.

— Какая красота,— сказала она.

— Ведь правда красиво! — сказал Хус и обернулся к ней.

И у них с Катинкой завязался разговор. Что привлекало внимание одного, то обязательно замечал и другой, и нравилось им одно и то же. Их взгляды всегда были устремлены в одном направлении. И они понимали друг друга с полуслова.

Бай беседовал с лошадьми, как старый кавалерист.

Не прошло и часа, а он уже начал поговаривать о том, что «неплохо подкрепиться».

— С недосыпа желудок требует пищи, Тик,— говорил он.— Надо заморить червячка.

Катинке так не хотелось распаковывать корзины — да и где им остановиться?

Но Бай не унимался; пришлось сделать привал на поле, где рожь стояла в скирдах.

Они вынули из коляски одну из корзин и уселись прямо в скирду у самой обочины.

Бай ел так, словно его морили голодом целую неделю.

— Будем здоровы, Хус! — говорил он.— За веселую компанию!

Они болтали, и ели, и угощали друг друга.

— Тает во рту, Тик! — приговаривал Бай.

Проходившие по дороге люди поглядывали в их сторону.

— Приятного аппетита,— говорили они и шли дальше.

— Ваше здоровье, Хус, за хорошую поездку!

— Спасибо, фру Бай.

— Ну, вот и подкрепились,— сказал Бай. Они уже снова сидели в коляске.— Только жарыща. Правда, Мария?

— Да,— сказала Мария. Она вся лоснилась от пота.— Жара.

— Скоро лес,— сказал Хус.

Они покатались дальше. Показалась опушка леса, синевшая в солнечном мареве.

— Как пахнут ели,— сказала Катинка.

Они двинулись вдоль опушки, густые ели отбрасывали на дорогу длинные тени. Все четверо вздохнули с облегчением, но пока ехали по лесу, молчали. Ели расходились по обе стороны дороги длинными ровными рядами, которые терялись в темной чаще. Ни птиц, ни голосов, ни ветерка.

Только тучи насекомых роились на свету вокруг елей. Выехали из лесу.

— Экая торжественность в лесу, а? — нарушил молчание Бай.

К полудню они добрались до буковой рощи и остановились у лесной сторожки.

Бай сказал:

— Хорошо бы немного размяться. Хочется вытянуть ноги, Хус.— Он уселся под деревом и заснул.

Хус помог выгрузить из коляски корзины.

— Какие у вас ловкие руки, Хус,— сказала Катинка.

Мария суетилась, разогревая горшки в горячей воде на очаге.

— Вот и теща моя всегда это говорила,— сказал Хус.

— Теща?..

— Да,— сказал Хус.— То есть мать моей невесты...

Катинка ничего не ответила. Завернутые в бумагу ножи и вилки посыпались на землю из ее рук.

— Да,— сказал Хус.— Я никогда не рассказывал. У меня была невеста.

— Вот как? Я и не знала.

Катинка переключивала ножи с места на место. Подошла Мария.

— Не прогуляться ли нам к пруду,— сказал Хус.

— Ну что ж, Мария нас окликнет, когда все будет готово.

Они пошли по тропинке. Пруд — вернее, самое обыкновенное болото — лежал чуть поодаль; над темной водой нависали густые кроны деревьев.

Всю дорогу Катинка и Хус молчали. Теперь они сели рядом на скамью у самой воды.

— Да,— сказал Хус.— Мне как-то не случилось рассказать об этом.

Катинка молча глядела на другой берег пруда.

— Это все моя мать, ей так хотелось...— сказал он.— Ради будущего...

— Да,— сказала Катинка.

— И это тянулось... целый год... пока она не расторгла помолвку.

Хус говорил отрывисто, с долгими паузами, не то смущенно, не то сердито.

— Вот как оно все было,— снова заговорил он,— с обручением и женитьбой.

В лесу залилась трелью какая-то птица. Катинка слышала в тишине каждый звук.

— А тут еще вдобавок трусость, вот и тянешь, покуда можешь,— снова нарушил молчание Хус.— Самая настоящая трусость и лень... и откладываешь со дня на день... Я и откладывал.— Он понизил голос.— Пока она сама не порвала... Ведь *она* любила меня.

Катинка ласково положила ладонь на руку Хуса, которой он с силой опирался на скамью.

— Бедный Хус! — только и сказала она.

Она тихо и ласково похлопывала его по руке: бедняжка, сколько он выстрадал.

Так они и сидели бок о бок на скамье. Над маленьким прудом висел полуденный зной. Жужжали комары и мошки.

Больше они не произнесли ни слова. Голос Марии заставил их очнуться.

— Зовут! — сказала Катинка.

Они встали и молча пошли по тропинке.

За обедом все развеселились. На сладкое ели пирог и запивали его старым ольбургским портвейном.

Бай сбросил с себя пиджак и каждую минуту повторял:

— Недурно, черт возьми, детки, посидеть в зеленом датском лесу.

На него нашел приступ нежности, и он попытался усадить Катинку к себе на колени. Она стала вырываться.

— Бай! Не надо, Бай! — сказала она. Она побледнела, потом вспыхнула.

— Посторонних стесняемся,— сказал Бай.

Наступило молчание. Катинка стала упаковывать корзины. Хус встал.

— А что, если малость прогуляться? — сказал Бай. Он надел пиджак.— Поспособствовать пищеварению.

— Правда,— сказала Катинка.— Погуляйте, пока я укладываю корзины.

Бай с Хусом пошли по тропинке. Бай держал шляпу в руке, он разомлел от жары и старого портвейна.

— Видали, Хус, вот вам и брачная жизнь, черт ее дери,— говорил он.— Так оно и бывает, только так. А все остальное, что они там пишут в книгах, насчет брака и добрачного целомудрия и все такое, и потом пичкают нас этим в библиотеках... пустая болтовня... Верность, «чистота» — затвердили, как старый Линде свой «Отче наш».

На словах это выходит красно, есть что развести и на бумаге, но суть-то дела не в том, Хус...

Он остановился, размахивая шляпой перед лицом Хуса.

— Видали,— мне хочется, а Катинке нет... Чудный летний день, закусили на свежем воздухе и хоть бы что — даже не поцелует... Так уж устроены женщины. Никогда не знаешь заранее, что на них найдет. Между нами говоря, Хус,— Бай покачал головой,— мужчине в самом соку приходится порой несладко...

Хус сбивал палкой стебли крапивы. Он размахивал палкой с такой силой, что они обламывались, точно сре-занные серпом.

— Вот в чем вся суть,— говорил Бай с глубокомысленным видом.— Об этом они небось в своих книгах не пишут. Но между нами, мужчинами, говоря, мы-то знаем, где собака зарыта.

Их окликнула Катинка. Хус крикнул в ответ: «Ау!» — эхо громко разнеслось по лесу.

К Катинке уже вернулось хорошее настроение.

— Наверно, вы не прочь вздремнуть до полудня,— сказала она. Она знает одно местечко — чудесное местечко под большим дубом,— и она пошла вперед, показывая дорогу.

Хус пошел следом за нею. Он стал куковать, подражая крику кукушки. Бай слышал, как он смеется и пускает трели.

— Черт возьми, он, оказывается, умеет смеяться,— сказал Бай.— Вот уж не думал.

Немного погодя Бай уже спал под большим дубом лицом вверх, на животе — шляпа.

— Поспите и вы, Хус,— сказала Катинка.

— Хорошо,— сказал Хус. Они сидели по разные стороны дубового ствола.

Катинка сняла соломенную шляпу и прислонилась к стволу головой. Она смотрела вверх на развесистую дубовую крону. Высоко-высоко сквозь зелень, точно золотые капли, пробивались солнечные лучи... а где-то в глубине леса в кустарнике пели птицы.

— Как здесь славно,— прошептала она и склонила голову.

— Да, очень,— прошептал в ответ Хус. Он обхватил руками колени и смотрел вверх на крону дуба.

Было тихо-тихо. Они слышали дыхание Бая; прожуж-

жала мошка,— оба проводили ее глазами до зеленых ветвей; птицы щебетали то совсем близко, то чуть дальше.

— Вы спите? — прошептала Катинка.

— Да,— ответил Хус.

Они снова замолчали. Хус прислушался, потом встал и обошел дуб. Она спала, как ребенок, склонив голову набок и улыбаясь во сне.

Хус долго стоял и смотрел на нее. Потом бесшумно вернулся на свое место и сидел, счастливо улыбаясь, устремив глаза на вершину дуба и охраняя ее сон.

Мария разбудила их громогласным «о-ла-ла!», приглашая пить кофе. Бай уже отоспался, вместе с хмелем улетучилось и его раздражение.

— На свежем воздухе полезно пропустить рюмочку коньяку,— провозгласил он.— Пропустить рюмочку на свежем воздухе.

К рюмочке ему захотелось еще кусочек пирога. Бай не мог пожаловаться на плохой аппетит.

— Отменный пирог,— сказал он.

— Это пирог Хуса,— сказала Катинка.

— Что ж, на здоровье,— сказал Бай,— лишь бы и нам дали полакомиться...

Выпив кофе, снова пустились в путь. Баю надоело править, он поменялся местами с Хусом и пересел на заднее сиденье рядом с Катинкой. Всех клонило в сон — стоял палящий зной, дорога была пыльная. Катинка смотрела на спину Хуса — на его широкий загорелый затылок.

Постоялый двор был забит распряженными повозками. Женщины и девушки, только что сошедшие с сидений, встряхивали и расправляли юбки. Окна погребка были распахнуты настежь, там резались в карты и рекой лился пенистый пунш. В зале, за спущенными занавесками, кто-то бренчал на разбитом рояле «Ах, мой милый Вальдемар».

— Эту песню играет Агнес,— сказала Катинка.

— Соловушки,— сказал Бай.— Вечерком послушаем, как они щебечут.

Проходя, Катинка попыталась заглянуть в окна зала, но рассмотреть ей ничего не удалось.

— Не подглядывать,— сказал Бай.— Вход рядом с кассой...

За занавесками крикливый женский голос выводил: «О мой Шарль!»

О мой Шарль,
ты пришли мне письмо...

— Ой,— сказала Катинка. Она остановилась у окна и кивнула.— Эту тоже... Агнес играет...

«Как, бывало, когда-то...»

— Идем, Тик,— сказал Бай.— Ты держись поближе к Хусу, а я пойду вперед и буду прокладывать дорожку.

— Но мы с ней знаем только первый куплет,— сказала Катинка, она взяла Хуса под руку и продолжала прислушиваться к песенке.

«Как, бывало, когда-то...» —

выкрикивала певица.

— В остальных всегда повторяется то же, что в первом,— сказал Хус.

— Где же вы? — крикнул Бай.

У входа в павильон долговязая особа пела о злодееубийце Томасе и колотила бамбуковой тростью висевшее на стене карикатурное изображение убийцы. Зрители смущенно таращились на певицу и повторяли припев, протяжный, точно церковное «аминь».

Девушки с застывшим выражением лица шли под руку длинными цепочками мимо мужчин, которые «высматривали» их, толпясь перед палатками, и покуривали трубки, засунув руки в карманы.

Какой-то мужчина выступил вперед.

— Здравствуй, Мари,— сказал он.

Мари протянула ему кончики пальцев.

— Здравствуй, Серен,— сказала она.

И вся девичья цепочка остановилась и стала ждать.

Серен постоял перед Мари, оглядел свою трубку, потом сапоги.

— До свиданья, Мари,— сказал он.

— До свиданья, Серен.

Серен вернулся к своей компании, а девичья цепочка снова сомкнулась, и девушки двинулись дальше, поджав губы.

— Дурацкая манера — загородили всю улицу,— проворчал Бай.

Женщины постарше собирались в кружок и разглядывали друг друга со скорбным выражением, точно провожали покойника. Говорили они шепотом, еле слышно, будто не в силах были как следует открыть рот, и, произ-

неся два слова, умолкали с видом оскорбленного достоинства.

Протиснуться сквозь толпу было совершенно невозможно.

— Приходится работать локтями,— сказала Катинка. Ее то и дело притискивали к Хусу.

— Держитесь за меня покрепче,— говорил Хус.

Долговязая «человекоубийца» и две шарманки,— одна наигрывала заунывное «Прощание генерала Бертрана», другая — «Дуэт Аяксов»,— заглушали все остальные звуки. Сновавшие взад и вперед гимназисты свистели, заложив два пальца в рот, а неповоротливые деревенские мальчишки надували шары-пищалки и, задрав кверху неподвижные лица, ждали, пока шары начнут выпускать воздух.

Солнце заливало улицу, в его лучах плавилась и люди, и медовые коврижки.

— Уф, жарко,— сказала Катинка.

— А вот вафли! — крикнул Бай.

— Купите вафли, милая дама, купите вафли у черноглазой дочери Фердинанда из Тироля...

— Вафли, Хус, вафли,— сказала Катинка, стараясь пробиться сквозь девичью стену, преграждавшую улицу.

— Ах! — взвизгивали девушки. Гимназисты умудрились пришить один к другому подола их юбок.

— Это гимназисты! — кричали какие-то увальни, ученики реальной школы. Сами они пытались зацепить юбки девушек булавками.

Девушки, сбившись стайками, старались увернуться от них.

— Ой,— вскрикивали они.— Ой!

Гимназисты, пользуясь суматохой, врезались в девичью гурьбу, норовя ущипнуть девушек за ноги.

— Ой...— раздавался визг. Катинка, расшалившись, вскрикивала вместе с девушками.

— Вафли, любезная дама, купите вафли у черноглазой дочери Фердинанда из Тироля.

Они подошли к жаровне.

— Три голландские вафли, сударь, пятнадцать эре.

— А ну, черноглазая, посыпь-ка их сахаром.

Черноглазая сыпала сахар щепотью.

— Она знавала лучшие дни, мадам,— сказал мужчина.— Не пожалейте чаевых для черноглазой дочери Фердинанда из Тироля,— зазывал он на всю улицу.

Черноглазая, как автомат, встряхивала протянутой копилкой, и вид у нее был такой, точно она слепая и глухая.

— Сахару, черноглазая.

Черноглазая снова взяла щепоть сахарного песку.

Вышли на площадь.

— Я просто оглохла,— сказала Катинка, затыкая уши.

На высоких подмостках профессор черной магии Ле Тор под аккомпанемент двух литавр пытался перекрыть музыку с трех каруселей. Белолицый Пьерро втаскивал громадный барабан на самую большую арену мира:

— Величайшая арена мира, милостивые дамы и господа, всемирно известная арена...

Он извлекал звуки из барабана, опускаясь на него увесистым задом.

— Мисс Флора — мисс Флора на высокой трапеции... Атракцион был прямо перед ними.

— Мисс Флора — королева воздуха, десять эре, господа... — Зазывала правой рукой энергично встряхивал колокольчик.

— Королева воздуха — всего десять эре...

Профессор Ле Тор был уязвлен. Он до хрипоты кричал что-то о всемирно известных чудесах и под конец объявил, что решил без дополнительной платы сотворить шелковую ленту длиной в пятьсот локтей... Он начал рыгать, извлекая из глотки длинные полосы папиросной бумаги, и так при этом побагровел, что казалось, еще минута, и его хватит удар.

— Королева воздуха — всего десять эре...

На величайшей арене мира Пьерро стоял вверх ногами на барабане и черепом выбивал дробь...

Под звуки труб и шарманок вертелась карусель...

— Любезные дамы, королева воздуха... королева воздуха — десять эре.

Солнце палило, пахло медовыми коврижками, вокруг толкались и шумели.

— Как хорошо! — сказала Катинка. Она подняла глаза на Хуса и чуть выгнула спину, как котенок на припеке.

— Вот она, — сказала Катинка.

— Кто она?

— Женщина, которая стирала.

Это была королева воздуха — она поднималась по лестнице в сапожках и розовом трико, покачивая широким задом.

— Мисс Флора, прозванная королевой воздуха, — всего десять эре.

Королева воздуха держала в руке веер, которым прикрывалась, как фиговым листком. Прежде чем войти в палатку и подняться на трапецию, она наспех проглотила несколько слив.

— Может быть, зайдем, посмотрим, — предложила Катинка.

— Тик! — кричал Бай. Он хотел посмотреть укротительницу змей. Они стали протискиваться сквозь толпу и оказались возле карусели. Мария каталась верхом на льве, почти в объятиях какого-то кавалериста.

Катинке тоже захотелось прокатиться на карусели. Бай сказал — вот еще, платить деньги, чтобы тебя вывернуло наизнанку. Катинка села рядом с Хусом на лошадку ближе к центру круга, и они завертелись, сначала медленно, потом быстрее. Она кивала Баю и улыбалась лицам, которые мелькали вокруг.

— Сколько народу! — сказала она. С карусели было видно море голов.

Они решили прокатиться еще раз.

— Ловите кольцо! — сказала Катинка и наклонилась с Хусу.

— Осторожней, — сказал он, обнимая ее рукой за талию.

Катинка улыбнулась и откинулась назад. Лица начали расплываться у нее перед глазами. Только что-то черное, черное и белое, продолжало мелькать вокруг.

Она по-прежнему улыбалась, но закрыла глаза.

Ярмарочный шум, музыка, голоса, пронзительные звуки рожков сливались в ее ушах в какой-то общий гул, и все тихонько покачивалось.

Она приоткрыла глаза.

— Ничего не вижу, — сказала она и снова зажмурилась.

Раздался звонок, карусель замедлила ход.

— Еще разок, — сказала она. Они закружились снова. Хус чуть подался к ней — она не замечала, что опирается на его плечо.

— Кольцо! — крикнула она, они пронеслись мимо кольца, и она засмеялась у самого лица Хуса.

Катинка приоткрыла глаза и стала смотреть внутрь круга. Казалось, будто все лица нанизаны на один шнурок.

Катинка почувствовала головокружение — Мария, — вот она появилась снова в коляске со своим кавалеристом...

Она сидела у него на коленях...

Какой у нее вид — точно она вот-вот упадет в обморок...

И все остальные — они просто лежат, полумертвые... Привалились к мужчинам...

Катинка резко выпрямилась: вся кровь вдруг бросилась ей в лицо. Карусель остановилась.

— Пойдемте, — сказала она. Она слезла с лошади.

Бай стоял у лесенки с карусели. Катинка оперлась на его руку.

— Голова кружится, — сказала она и ступила на землю. Она сильно побледнела от долгого катания на карусели.

— Хус, поддержите Тик. А я тут вместо подпорки. — Бай ущипнул за руку Марию, которая спускалась по лесенке с кавалеристом.

Мария застеснялась, увидев господ, и тут же куда-то исчезла со своим синим мундиром.

— Крепко она его заарканила, — сказал Бай и двинулся вперед.

— Это тут, рядом, — сказала Катинка.

Хус предложил ей руку.

Укротительница змей фрекен Теодора показывала своих ленивых питомцев неподалеку от карусели. Это были жирные склизкие гады, она вынимала их из ящика, высланного шерстяной ветошью. Фрекен Теодора щекотала гадов, чтобы их немного расшевелить.

— Они переваривают пищу, фрекен, — «кавалеристским» тоном сказал Бай.

— Что? — переспросила фрекен Теодора. — Вы что ж, думаете, они дохлые, что ли? — Фрекен Теодора восприняла замечание Бая как оскорбление.

Она обмотала змею вокруг своей шеи и почесала ей голову, — та разинула пасть и зашипела.

Фрекен Теодора называла змею своей деточкой и прятала ее на своей груди. Фрекен Теодора была богатырского телосложения и затянута в костюм паж.

Хвост змеи уныло свисал между коленями фрекен Теодоры.

— Какие противные! — с отвращением сказала Катинка. — Уйдемте, — и потянула Хуса за руку.

— А как же, — сказал хозяин аттракциона. Он решил, что Катинка испугалась, и был польщен. — Страшные звери... милая дамочка... Но она и не такое проделывала — да еще со львами.

Катинка вышла из палатки на улицу.

— Как она только может, — сказала Катинка и содрогнулась.

— Н-да, — говорил Бай с видом знатока, проверяя фокус «на ощупь»: хозяин предложил господину удостовериться, что змеи ползают «прямо по голому телу». — Точно, — говорил Бай, — по голому телу...

Укротительница змей фрекен Теодора довольно улыбалась, укладывая своих «проказников» в ящик.

— Да, сударь, она проделывала такие же штуки со львами.

— Восемь лет подряд, сударь, — подтвердила фрекен Теодора.

Хус и Катинка вышли на площадь. Начало смеркаться, зазывалы с упорством отчаяния наперебой старались перекричать друг друга с подмостков.

— По сниженной цене, любезная дама, по сниженной цене, — приглашал профессор Катинку, отирая пот «волшебным платком», — всего двадцать эре на двоих, заходите с сердечным дружком...

Катинка ускорила шаги. Бай с трудом их нагнал.

Толпа заметно повеселела. Пошатающиеся мужчины с пением вклинивались в девичьи цепочки, и те с визгом рассыпались, у палаток стали миловаться парочки.

Громкий шум доносился из трактира и от жаровни черноглазой, где, кроме вафель, продавался уже и коньяк.

Прихрамывая, проковыляли три полицейских сержанта с палками. Это были инвалиды, получившие легкие ранения на войне, — надзираая за порядком, они держались вместе. Покрывая общий гул, из-за палаток и в толпе по временам раздавался вдруг пронзительный свист гимназистов.

Катинка с Хусом шли от палатки к палатке, делая покупки, а сумерки тем временем все сгущались.

В палатках уже зажгли фонари — они бросали скупой свет на пряничные сердечки и коврижки. Торговки за высокими стойками натирали коврижки ладонью, чтобы те блестели, и на длинном лотке подавали их Хусу и Катинке.

Бай присоединился к жене и Хусу и тоже стал делать покупки.

Хус подарил Катинке маленький японский поднос. Она подарила ему медовую коврижку.

— Что же это ты,— сказал Бай.— Даришь Хусу коврижку... Подарила бы пряничное сердце... Хозяюшка! — крикнул он.— Дайте-ка нам пряничное сердце...

— Пожалуйста, сударь, вот сердце... и со стихами...

— Бай,— сказала Катинка.

— Сейчас хлынет дождь,— произнес Хус за их спиной.

— Черт побери!— Бай отошел от прилавка.

Упали первые капли.

— Будет проливень,— сказал Бай.

— Можно укрыться в панораме,— сказал Хус.

— Правда.— Катинка взяла Бая под руку.— Пойдемте,— сказала она.

Толпа разбегалась по палаткам. Женщины и девушки прикрывали головы подолами и натягивали на новенькие шляпки носовые платки.

— Ай-ай,— сказал Бай,— гляньте-ка, нижние юбки стали верхними.

Девушки толпились под навесами, выставив наружу синие чулки и шерстяные нижние юбки.

Торговцы волокли под крышу свой товар и ругались на чем свет стоит. Гимназисты с криками выбегали из-под навеса и мокли под дождем.

— Вот мы и пришли,— сказала Катинка.

— Вся Италия, господа, за пятьдесят эре.— Хозяин говорил простуженным голосом,— его шея была обмотана шерстяными платками.— Милости прошу, можно обойти три раза...

— Как хлещет,— сказала Катинка. Она стояла под навесом у входа и, вздрагивая, выглядывала на улицу.

Дождь лил как из ведра. Площадь наполовину затопило водой. Трое блюстителей порядка, прихрамывая, бегали под зонтами, прилаживая точные желоба.

Под навесами и в дверях толпились промокшие женщины,— вид у них был помятый.

В панораме было безлюдно и очень тихо. Только по крыше однообразно и громко стучал дождь. Стало прохладно.

После уличной суеты Катинка облегченно вздохнула.

— Как хорошо,— сказала она.

— Какой-то вид,— сказал Бай, заглядывая в глазок.— И вода,— сказал он и ушел. Он предпочитал попытать счастья у входа в панораму— вдруг удастся что-нибудь рассмотреть под шерстяными нижними юбками.

Катинка осталась на прежнем месте. Ей было так хорошо сидеть здесь вдвоем с Хусом, в тишине, нарушаемой только шумом дождя.

— Музыка больше не играет,— сказала она.

— Да, из-за дождя...

Оба прислушались к стуку капель.

— А какой был шум,— сказала она.

Катинка еще долго сидела бы так, тихо, прислушиваясь к дождю, но все-таки она встала.

— Значит, здесь Италия,— сказала она.

— Он так говорит.

Она заглянула в один из глазков.

— Да,— сказала она.— Италия.

Картины были освещены искусственным светом и переливались яркими красками.

— Как красиво...

-- Это залив,— сказал Хус,— у Неаполя.

Картина была не такая уж плохая. Залив, берег и город искрились в солнечных лучах. По синей глади волн плыли лодочки.

— Неаполь,— тихо повторила Катинка.

Она продолжала смотреть в глазок. Хус смотрел через соседний глазок на ту же картину.

— Вы были там?

— Да, прожил два месяца.

— Поплыть бы туда на лодке,— сказала Катинка.

— Да, в Сорренто...

— Сорренто.— Катинка негромко, с расстановкой повторила незнакомое название.

— Да,— сказала она,— уехать.

Они пошли вдоль панорамы, разглядывая одни и те же виды одновременно. Дождь стучал по навесу все тише — под конец редкими каплями.

Они увидели Рим, Форум, Колизей. Хус рассказывал о них.

— Такая красота, даже страшно,— сказала Катинка.

— Я больше всего люблю Неаполь...

На улице заиграли шарманки, закружилась карусель. Катинка совсем было забыла, где она находится.

— Должно быть, дождь кончился...

— Да, утих.

Катинка оглянулась.

— И Бай, наверно, ждет,— сказала она.

Она возвратилась к первому глазку и еще раз полюбовалась Неаполитанской бухтой со скользящими по ней лодочками.

Вернулся Бай и объявил, что по улице уже вполне можно пройти.

— Не отправиться ли нам в лес? — предложил он.

Они вышли. Воздух стал свежим и прохладным. Густая оживленная толпа тянулась по дороге в лес.

Деревья и терновая изгородь благоухали после дождя.

Солнце зашло, на опушке леса над входной аркой зажглись разноцветные лампочки. Мужчины гуляли в обнимку с девушками. Все скамейки вдоль дороги были заняты. Парочки сидели в нежных позах и украдкой целовались.

Послышалась музыка с площадки для танцев и приглушенное жужжание множества голосов.

— Что ж, и мы попляшем,— сказал Бай.

Вокруг танцевальной эстрады теснились желторотые юнцы, заглядывали через балюстраду. На площадке отплясывали крестьянский вальс, да так, что деревянный настил содрогался.

— Пошли, Тик,— сказал Бай.— Откроем бал.

И Бай энергично пустился в пляс, расталкивая танцующие пары.

— Бай, хватит! — взмолилась Катинка, она запыхалась.

— Покружимся еще,— сказал Бай. Он танцевал, не попадая в такт.

— Довольно, Бай...

— Поддайте Катинке жару,— сказал Бай. Они вернулись к Хусу.— Тут главное выкидывать артикулы посмелее,— сказал он, щелкнув каблуками, как, бывало, на балах в клубе,— и не давать дамам роздыха.

Бай очень утомлял Катинку...

— Бай так любит пошалить,— сказала она после его ухода.

— Хотите потанцевать со мной? — спросил Хус.

— Да, только погода, отдохнем немного...

Бай пронесся мимо них с толстушкой-крестьянкой в бархатном корсаже.

— Давайте пройдемся,— сказала Катинка.

Они спустились с площадки и пошли по дороге, туда, где не было слышно музыки.

Катинка села.

— Посидим,— сказала она.— Я так устала.

В лесу было тихо-тихо. Только всплески музыки изредка долетали до них. Они молчали. Хус ковырял палкой землю.

— А где она теперь? — вдруг спросила Катинка.

— Кто?

— Ваша невеста...

— Она вышла замуж... Слава богу.

— Слава богу?

— Да... мне всегда казалось... на мне лежит какая-то ответственность... пока она была... одна...

— Но вы же не виноваты.— Катинка помолчала.— ...если она любила вас.

— Да, она *любила* меня,— сказал Хус.— *Теперь* я это понял.

Катинка встала.

— У нее есть дети? — Они уже шли по дороге.

— Да, мальчик.

Больше они не разговаривали до самой площадки.

— Потанцуем,— сказала Катинка.

Маленькие фонарики скупо освещали стоявшие по краям эстрады скамейки. Танцующие пары на мгновение попадали в полосу света и вновь терялись в темноте; посредине площадки колыхалась неразличимая черная масса.

Хус и Катинка вошли в круг. Хус танцевал спокойно, уверенно вел свою даму. Катинке казалось, что она отдыхает, танцуя с ним.

Музыка, голоса, шарканье ног — все слышалось ей словно в каком-то отдалении, — она чувствовала только одно — как уверенно он ведет ее в танце.

Хус продолжал танцевать все так же неторопливо. Сердце Катинки забилось быстрее, щеки разрумяни-

лись, но она не просила его остановиться и не говорила ни слова.

Они продолжали танцевать.

— А небо отсюда видно? — вдруг спросила Катинка.

— Нет, — ответил Хус, — деревья мешают.

— Деревья мешают, — шепотом повторила Катинка. И они продолжали танцевать.

— Хус, — сказала она. Она взглянула на него и сама не знала, почему ее глаза вдруг наполнились слезами. — Я устала.

Хус остановился, ограждая ее рукой от толпы.

— А мы веселимся, — сказал Бай. Он пронесся мимо них по направлению к выходу.

Они спустились с площадки и пошли по тропинке.

Под деревьями было совсем темно; казалось, после дождя духота еще усилилась, цветущий терновник дышал им в лицо дурманящим ароматом.

Вокруг в зелени деревьев и кустов раздавался шепот и мелькали чьи-то тени; парочки, прижавшись друг к другу, прятались в темноте на скамейках.

— Пойдемте, — сказала Катинка, — Бай, наверное, заждался нас.

Они вернулись обратно.

— А не пойти ли нам к «горлодеркам»? — спросил Бай. — Там в павильоне есть певички; говорят, славные девчонки... Я только пройду еще разочек на прощанье вон с той миленькой крестьяночкой... А вы, Хус, покружите Катинку, чтобы она не скучала.

Хус обвил Катинку рукой, и они снова начали танцевать.

Катинка не знала, как долго они танцевали — минуту или час, а потом они втроем оказались в лесу, на пути к павильону. Еще на пороге павильона они услышали пение. Пять дам, притопывая сапожками с кисточками и прижимая два пальца к сердцу, выводили:

Мы веселой гурьбой
Нынче вышли на бой
С тиранией и властью мужской...

— Вот уютный уголок, — сказал Бай. — Отсюда хорошо видно дамочек...

Они сели. Лица окружающих расплывались в дыму и испарениях. Дамы пели что-то о ружьях и бесстрашии.

А кончив петь, стали потягивать пунш и кокетничать,— засовывали в вырез платья лепестки роз и хихикали, прикрываясь грязноватыми веерами.

— Славные девочки,— сказал Бай.

Катинка почти ничего не слышала. Хус сидел, уронив голову на руки и уставившись в затоптанный пол.

Тщедушный, похожий на кузнечика пианист, подпрыгивал за роялем так, словно собирался бить по клавишам своим острым носиком.

Дамы заспорили о том, кому «выступить»...

— Тебе, Юлия,— доносился злобный шепот из-за вееров.— Ей-богу, тебе.

— «Песенка о трубочисте»,— громко объявила Юлия.

— Она запрещена,— крикнула другая певичка пианисту из-под веера.— Серенсен, она хочет петь *запрещенную* песню.

В зале застучали стаканами.

— Ерунда! Вовсе она не запрещенная, просто Йосефина не умеет ее петь.

И Юлия запела «Песенку о трубочисте».

У трубочиста Аугуста
Метла вместо герба...

Бай хлопал так, что едва не перебил стаканы с грогом.

— А ты что скажешь, Тик? — спросил он.

Катинка вздрогнула — она не слушала.

— Да, да, конечно,— сказала она.

— Презабавная песенка,— сказал Бай.— Презабавная! — И он снова захлопал.

— Исполнительница романсов фрекен Матильда Нильсен,— выкрикнула фрекен Юлия.

Исполнительница романсов фрекен Матильда Нильсен была в длинном платье и держалась с величавой важностью. Остальные певицы говорили о ней: «У Матильды настоящий голос». В детстве Матильда упала и сломала переносицу.

Едва зазвучало вступление, она прижала руку к сердцу.

Исполнялась песня о Сорренто.

Там высокие темные пинии
Виноградник от зноя хранят,
Вечерами там рощ апельсиновых
Над заливом сильней аромат;

Там качают лодку воды,
Там кружатся хороводы
И к мадонне в небо своды
Воссылают голос свой.
Сколько б не жил я на свете,
Не забуду дали эти,
Эти ночи в лунном свете,
Твой, Неаполь, рай земной.

Фрекен Матильда Нильсен пела прочувственно, с длинными тремоло.

Когда она кончила, «дамы» стали аплодировать, хлопая веерами по ладоням.

Исполнительница романсов фрекен Нильсен кланялась и благодарила.

— А Катинка никак пустила слезу,— сказал Бай. И в самом деле глаза Катинки были полны слез.

Они вышли на улицу.

— Назад пойдем через кладбище,— заявил Бай.

— Через кладбище,— повторила Катинка.

— Да, самый короткий путь — и красивый.

Катинка взяла Хуса под руку, и они пошли следом за Баем. Лес кончился — они ступили в аллею. Шум и музыка затихли где-то вдаль.

— Н-да,— сказал Бай.— Хорошо погуляли, провели время с толком.— И он продолжал разглагольствовать: о танцах,— как здорово отплясывают деревенские красотки; о «дамах» и о «фрекен Юлии»,— славная девочка, в сапожках, лихая девочка, и о Марии,— надо поглядеть, кстати, до чего у нее там дошло дело, уж я ее знаю.

Те двое молчали. Они и не слушали, что говорит Бай. Тишина стояла такая, что слышен был звук их шагов. В конце аллеи высились железные кладбищенские ворота с большим крестом.

— Бай, не надо,— сказала Катинка.

— Ты что, привидений боишься? — сказал Бай и открыл боковую калитку.

Они вошли в ограду. У калитки Катинка снова взяла Хуса под руку. В сумерках кладбище напоминало огромный сад. Веяло пряным запахом роз, самшита, жасмина и лип, среди кустов виднелись серые и белые плиты.

Катинка крепко ухватилась за руку Хуса.

Бай шел впереди. Он бодро пробирался через кусты, размахивал руками так, точно распугивал кур.

Катинка остановилась.

— Посмотрите,— сказала она.

Среди деревьев была прогалина — отсюда открывался вид на поля, спускавшиеся к фьорду. Дымка сумерек витала над темным, сверкающим зеркалом воды, безмолвным и задумчивым.

Было так тихо, точно в напоенном ароматами просторе вымерла вся жизнь... Они стояли неподвижно, прижавшись друг к другу.

Потом медленно пошли дальше. Иногда Катинка останавливалась и негромко читала надписи, белевшие на могильных камнях в сумерках. Она читала надписи, имена и даты приглушенным, дрожащим голосом:

— «Любимому и оплакиваемому».

— «Вечно любимому».

— «Любовь — есть исполнение закона».

Катинка подошла поближе и приподняла ветки плакучей ивы, — ей хотелось прочесть на камне имя усопшего. В ветвях послышался шорох.

— Хус... — Катинка судорожно вцепилась в его руку.

Кто-то быстро перемахнул через ограду.

— Это какие-то люди, — сказал Хус.

— Как я испугалась, — сказала Катинка, прижимая обе руки к сердцу.

Она старалась держаться поближе к нему, сердце ее все ещё учащенно билось.

Больше они не разговаривали. По временам в кустарниках раздавался шорох — Катинка вздрагивала.

— Ничего, дружок, ничего, — шептал Хус, точно успокаивал ребенка. Рука Катинки дрожала под его локтем.

Бай ждал их у ограды.

— Куда вы там запропастились? — сказал он.

Он открыл калитку. Она громыхнула им вслед на железных петлях.

В аллее Бай отвел Хуса в сторонку.

— Черт побери, срам какой, — сказал он. — Просто глазам не верю... Поругание *святыни*... Кьер мне рассказывал... что проделывают эти охальники... Но я не верил. К смерти... к саду смерти... и то ни на грош уважения... черт бы их всех побрал. На скамейках и то покоя нет, разрази меня гром.

Хус едва не прибил его.

Они шли по улицам. Кругом стояли закрытые, пустые палатки. Только какой-нибудь запоздалый торговец еще складывал свой товар при свете одинокого фонаря.

С постоянного двора на улицу вырывался шум. Сонные, понурые парочки разбрелись по домам.

В дверях показалась Мария, заспанная, ко всему безразличная.

Катинка ждала, стоя у коляски. Вокруг нее запрягали лошадей и разъезжались ярмарочные гости. «Соловушки» громко пели в саду.

Все четверо расселись по местам. Бай захотел править и устроился на козлах рядом с Марией.

О милый Вальдемар,
Я так тебя люблю...

— Молодчины,— сказал Бай.— Еще держатся.

Они ехали в полной темноте. Опушкой леса. Потом полями.

Мария клевала носом, согнувшись над корзиной, которую держала на коленях. Хус и Катинка молча глядели на луга. Бай время от времени нарушал молчание.

— Но-но! Залетные! Пшш-шел помаленьку...

И снова воцарялась тишина.

Баю захотелось «промочить горло», и он стал тормошить Марию, пока она не извлекла из корзины бутылку с портвейном.

— Хотите? — предложил Бай.

— Нет, спасибо,— отозвался Хус.

— А зря.— Бай отнял бутылку ото рта.— В ночной прохладе полезно выпить чего-нибудь горячительного.

Бай отхлебнул еще вина.

— Походная жизнь всему научит,— сказал он.

Он начал рассказывать о войне и о пруссаках.

— Славные ребята, если взять каждого по отдельности. Золотые ребята, правда, горазды жрать, обжоры, каких свет не видел, но сердце у них золотое — поистине золотое,— если взять по отдельности... но когда они в строю... пропади они пропадом...

Никто не отозвался. Мария снова склонилась над корзиной.

Катинке хотелось одного — чтобы Бай замолчал.

— Обжоры, каких свет не видел,— опять заговорил Бай.

В нем проснулся патриот, и он начал рассуждать о старой Дании и об окровавленном стяге. Но так как никто не отзывался, он впал в молчаливую созерцательность.

Слышалось только, как поскрипывает подруга. Да изредка где-то вдали кричал петух.

— Накиньте шаль,— сказал Хус.— Холодает.

И он бережно закутал синей шалью плечи Катинки. Над равниной медленно занимался рассвет.

— Надеюсь, нас покормят завтраком,— заявил Бай. Они приехали на станцию и стояли у дома в неурочный час, в сером утреннем сумраке.

— Если хочешь,— сказала Катинка.

Но Хус торопился восвояси. Он и так уже задержался.

— Ну что ж,— сказал Бай.— Дело ваше.— Он зевнул и вошел в дом. Мария потащила за ним с корзинами.

Хус и Катинка остались одни. Она прислонилась к дверному косяку. Оба молчали.

— Спасибо за поездку,— сказала она. Голос звучал тихо и неуверенно.

— Это я должен вас благодарить,— вырвалось у него. Он схватил руку Катинки, дважды, трижды поцеловал ее горячими губами.

Потом бросился к коляске.

— Какая муха его укусила? — спросил Бай и вышел на порог.— Уже удрал?

Катинка стояла неподвижно.

— Да,— сказала она.— Он уехал.

Потом оперлась рукой о косяк и тихо вошла в дом.

Катинка сидела у открытого окна. Рассвело. Над лугами заливались жаворонки и другие птицы. Летний воздух был напоен пеннием, солнцем и щебетом.

IV

Во дворе на припеке сладким сном спал цепной пес. На солнце сушились вычищенные ботинки.

Катинка открыла входную дверь,— в светлых прохладных комнатах слышалось только жужжание мух.

Она прошла через гостиную в сад. Ни души, ни звука. На крокетной площадке валялись шары и молотки. Розовые кусты поникли от жары.

— Никак это вы, милая фру Бай,— раздался приглушенный голос из беседки, и пасторша закивала Катин-

ке. — А Линде готовится к проповеди... Остальные за домом, в саду, — приехал Кьер с домочадцами да навез еще кучу своих гостей... Не очень-то это кстати... Линде как раз готовится к проповеди.

— Кьер с домочадцами, — повторила Катинка.

— Да... приехали попить кофейку... Они в саду, и новый доктор с ними... А вы, я знаю, побывали на ярмарке... Хус нам рассказывал.

— Да, мы очень хорошо съездили, — сказала Катинка. Она с трудом выговаривала слова — так колотилось ее сердце.

В дверях дома показался пастор Линде. Его голова была повязана носовым платком. Носовой платок извлекался на свет божий вечером по пятницам, когда пастор садился за свою проповедь.

— А-а, это вы, милая фру Катинка, — сказал пастор. — Как поживаете?

Старый пастор вошел в беседку. Ему хотелось послушать про ярмарку.

Катинка едва соображала, что говорит. Она рассказывала, а сама чувствовала только одно — мучительную тоску о Хусе.

— Вот уж воистину хороший человек, — сказала фру Линде в ответ на какие-то слова Катинки, и Катинка пунцово покраснела.

— Превосходный человек, — поддержал пастор.

Он снял с головы носовой платок и положил его перед собой на стол. А сам продолжал расспрашивать о ярмарке.

— Наши люди вернулись домой только под утро, — сказал он. — Да ведь надо же им когда-нибудь и погулять.

Старый пастор расспрашивает о том, о сем, и Катинка отвечает, сама толком не зная, что говорит.

— Дорогой Линде, не забудь о проповеди...

— Правда твоя, матушка. Да, милая фру Бай, не успеешь оглянуться, как уже суббота.

И старый пастор плетется в дом с носовым платком в руке.

— А вы не хотите пойти к гостям, милая фру Бай? — спрашивает фру Линде...

— Не могу ли я вам помочь... по хозяйству...

— Да нет, спасибо... накормлю гостей чем бог послал... у меня есть окорок да горошек...

Катинка встает.

— Пройдите двором,— советует фру Линде.

Катинка не видела Хуса три дня, с самой ярмарки. Как она ждала и надеялась и боялась своих надежд. А сейчас она его увидит.

Смех и шум в саду были слышны еще издали. Катинка отворила калитку и вошла в сад.

— А вот и моя прелесть,— закричала Агнес. На большой лужайке играли в горелки.

Катинка видела только одного Хуса — он стоял посреди играющих. Как он был бледен и подавлен...

Катинка подумала: «Он тоже не спал эти ночи». И она робко улыбнулась ему, чуть склонив голову набок, как девочка.

Она оказалась в паре с Агнес, и они вдвоем подошли к Хусу.

— Знаем мы вас,— сказала Агнес Хусу.— Опохмелялись небось. Вот и не показывались три дня... А вас тут ждали... Вчера фру Бай даже кофе нам не подала, все хотела, чтоб мы дождались вас.

Катинка потупила взгляд, но не перебивала Агнес. У нее было такое чувство, будто это она сама говорит ему, как его ждала.

— Разве так ведут себя, когда у вас на попечении две нежные голубки,— сказала Агнес.

Те двое молчали. Катинка чувствовала, что он смотрит на нее, и так и стояла перед ним, склонив голову.

Игра в горелки продолжалась. Она видела только его одного. Они обменивались только теми словами, что полагались по правилам игры, да и то вполголоса. Ни ему, ни ей не хотелось говорить громко.

Катинка не замечала, что ее рука задерживается в его руке и выскользывает из нее словно нехотя.

Ужин решили накрыть в беседке. Пришли старый пастор с Андерсеном, а с ними Луиса-Старшенькая и фрекен Иенсен.

— Ага,— сказала Агнес.— Кажется, нас все-таки потчуют окороком.

До ужина Луиса-Старшенькая успела попрыгать перед новым доктором и продемонстрировать ему свое «украшение».

Когда все расселись вокруг стола в беседке, старый пастор выглянул в сад:

— Не засиделась ли какая-нибудь парочка на скамье любви?

«Скамьей любви» называли старую прогнившую скамью между двумя деревьями у плотины.

— Тьма там хоть глаз выколи...— сказала фру Линде.— Помню, когда сыновья еще пешком под стол ходили, вечно оттуда появлялась какая-нибудь парочка... вернее, приходили-то они врозь — и прямо сюда, в беседку... да, как сейчас помню...

«Скамья любви» была неиссякаемой темой для фру Линде.

— Что ни говори, Линде, а кое-кто нашел там свое счастье,— сказала она.

И она стала перечислять всех тех, кто нашел жениха или невесту в пасторской усадьбе. Такой-то, такая-то и такой-то...

И начался веселый застольный разговор о романах и поمولках.

— А помнишь... то лето, когда обручились оба, и Рикард и Ханс Бек?

— Агнес небось все знала, недаром, бывало, гремит засовом, прежде чем открыть дверь.

— А тропинка-то в орешнике...

— Вечно там кого-нибудь да испугнешь...

— Так и слышишь, как кто-то шмыгает в кусты...

— Помню, у фрекен Хортен была препротивная желтая юбка... она просто пылала...

— Вот-вот,— говорит старый пастор,— остерегайтесь носить яркие юбки...

— Но в орешнике уж очень хорошо! — вырывается вдруг у какой-то девушки.

И все хватаются за животы от хохота.

— Линде, а Линде,— восклицает пасторша.— Не забудь, что сегодня суббота.

Пастор хохочет так, что заходится кашлем.

— А ведь правда, там из-под каждого кустика слышатся поцелуи...

— Ну и что ж,— отзывается пасторша, которая смотрит на дело с практической стороны.— От этого вышло немало добра...

— Почему бы нам, старикам, не выпить по этому случаю,— говорит пастор.— Ваше здоровье, милая фру Катинка.

Катинка вздрагивает:

— Спасибо...

Разговор переходит на молодую пару, последнюю из тех, что нашли свое счастье на «скамье любви». Недавно у них родился сын.

— Разве сын, а не дочь?

— Да, сын, славный мальчуган.

— Родился восьми фунтов,— сообщила фру Линде.

— И живут они душа в душу...

— А уж разговоров-то было...

— Воркуют, точно голубки, будто у них все еще медовый месяц...

Отужинали — фру Линде сделала знак пастору.

— Ну что ж,— сказал пастор,— последний тост за здоровье хозяйки.

— Спасибо за угощение.

Все встали из-за стола — веселый гомон выплеснулся в сад. Катинка прислонилась к стене. Ей казалось, шум и голоса раздаются где-то за тридевять земель,— она видела перед собой только бледное, взволнованное лицо Хуса, любимое ею лицо.

Пришли две служанки убрать со стола, Катинка вышла в сад. Там затеяли играть в прятки. Агнес уже начала считалку: «Заяц белый, куда бегал...»

Старый пастор попрощался с гостями.

— Ничего не попишешь — суббота,— объяснил он. У калитки он столкнулся с Баем.— Спокойной ночи, начальник, иду готовиться к проповеди...

Луиса-Старшенькая водила. Она стояла у зарослей жасмина. А от куста к кусту перебежали и прятались какие-то тени.

— Она подглядывает, подглядывает,— крикнул кто-то, порхнув мимо жасмина.

Потом все стихло.

— Я иду искать.

Катинка вернулась в беседку. Прикрыла за собой дверь. Она чувствовала бесконечную усталость. Застольная болтовня навалилась на нее огромной, неизбывной болью.

Так она и сидела в тишине, когда дверь вдруг открыли и снова закрыли.

— Хус...

— Катинка, Катинка...— В его голосе были мука и слезы. Он упал перед ней на колени, порывисто схватил ее руки и целовал, целовал их без конца.

— Друг мой, друг мой.

Катинка высвободила руки и на мгновение положила их на его плечи, а он так и стоял перед ней на коленях.

— Да, Хус, да.

По ее щекам катились слезы. С невыразимой нежностью провела она рукой по его волосам. Он плакал.

— Милый Хус... пройдет время... вам станет легче... А теперь... теперь...— Она перестала гладить его голову и оперлась рукой о край стола.— Вы уедете... мы больше не увидимся...

— Не увидимся?

— Да... Хус... раз все так получилось... Но я никогда не забуду вас — никогда...

Она говорила ласково-ласково, и голос ее был полон бесконечной горестной нежности.

— Катинка,—выговорил Хус и поднял к ней лицо — оно было залито слезами.

Катинка глядела на его лицо — она любила в нем каждую черточку. Глаза, рот, лоб — больше ей никогда их не увидеть, никогда не быть рядом с ним.

Она сделала шаг к двери. Потом обернулась к Хусу, который стоял у стола.

— Поцелуйте меня,— сказала она и припала головой к его груди.

Он взял голову Катинки в свои ладони и целовал ее, повторяя ее имя.

...А в саду бегали и резвились. Луиса-Старшенькая так мчалась по тропинке в орешнике вдогонку за новым доктором, что едва не сбила с ног Бая и Къера.

— Да,— рассказывал Бай.— Съездили мы на ярмарку, славный провели денек... Была там парочка толковых девчонок — лихие девчонки... в сапожках с кисточками... Вот это я называю *проветрились*, старина Къер.

— Хус тоже рассказывал,— говорит Къер.

— Хус.— Бай останавливается и понижает голос.— Ох, уж этот Хус... Я знаю, что говорю,— ни черта он не смыслит в девчонках... «Соловушки» поют, а он жмется, точно мокрая курица... просто жалость глядеть, старина Къер, ей-богу, жалость глядеть,— мужчина видный собой...

У жасминового куста Луиса-Старшенькая рухнула прямо в объятия нового доктора.

Начало смеркаться. По саду разбрелись парочки. Кого-то окликнули с тропинки.

— А-у! — отозвался голос с луга у плотины.

А потом зазвонили вечерние колокола, и сразу все притихло. Все молчаливо потянулись к сложенной из дерна скамье, голоса зазвучали реже и глуше.

Катинка сидела рядом с Агнес. Пасторская дочь, как всегда, ластилась к своей «прелести».

— Спойте, фрекен Эмма,— попросила Агнес.

Все расселись на скамье из дерна, и крошка Эмма запела. Это была песня о господине Педере, которому «был введом рун язык». Девушки подхватили припев.

Агнес тоже подпевала и тихонько раскачивалась взад и вперед, обвив рукой Катинку:

Нежных клятв слова
Счастья мне не дали.
Краток счастья миг,
Долги дни печали.
Краток счастья миг.

И снова все стихло.

Они пели песню за песней,— один голос заводил, остальные подтягивали.

Катинка по-прежнему сидела рядом с Агнес, молча прижавшись к ней.

— Подпевайте же, моя прелесть,— сказала Агнес и склонилась к Катинке.

Стало уже совсем темно. Кусты теснились вокруг, точно громадные тени. После жаркого дня воздух наполнился свежестью росы и душистыми ароматами.

Кто-то из мужчин обратился к Хусу, он ответил. Катинка слушала его голос.

— «Марианна» очень красивая песня,— сказала фрекен Эмма.

— Правда, спойте «Марианну».

Агнес и фрекен Эмма запели.

— Только не уходите,— сказала Агнес Катинке.

Здесь, под камнем, схоронили
Нашу Марианну.
Ходят девушки к могиле
Бедной Марианны.
В сердце змей вонзил ей жало.
В жизни радости не стало
Бедной Марианне!

— Вы озябли, моя прелесть?

— Пора домой,— сказала Катинка.

Она встала.

— Уже поздно,— сказала она.

Они стояли за оградой сада. Она уже простилась с ним.

Когда он склонился над нею, она увидела его лицо, горестное, бледное. Почувствовала, как он судорожно, до боли стиснул ей пальцы, услышала голос Бая:

— До скорого, Хус. Всего наилучшего!

Кто-то что-то сказал, она не расслышала, принужденно рассмеялась и поспешно стала прощаться за руку со всеми остальными. Агнес обняла ее за талию и бегом повлекла к садовой калитке.

Калитка стукнула раз, другой и захлопнулась...

В саду продолжали петь.

— Пойдем вот этой дорогой,— сказала она.

Тропинка тянулась через поля, вдоль пасторского сада. По ней приходилось идти гуськом.

Катинка медленно шла позади Бая.

— Спокойной ночи,— услышали они. Старый пастор вышел на пригорок в саду. На голове у Линде был носовой платок.

— Спокойной ночи, господин пастор.

— Спокойной ночи.

Они пошли дальше по полю. Когда пастор сказал «спокойной ночи», из глаз Катинки вдруг брызнули слезы. Она продолжала беззвучно плакать. Раза два она обернулась и поглядела на пастора, стоявшего на пригорке.

— Ты идешь? — спросил Бай.

Они вернулись домой.

Бай осмотрел путь, потом долго болтал, расхаживая по комнате, и наконец затих. Она тоже ходила из комнаты в комнату и делала все, что положено: накрыла чехлами мебель, полила цветы, заперла двери.

Но все было как в тумане, как во сне.

Наутро она встала и занялась привычными делами. Пришел и ушел десятичасовой поезд, и она сидела под окном, выходящим на поля, которые были такими же, как и вчера.

Она разговаривала, выслушивала привычные вопросы и привычно отвечала. Хлопотала на кухне.

Мария завела какой-то длинный разговор, но хозяйка вдруг перебила ее и сказала:

— Я пойду в церковь.

И не успела Мария открыть рот, как она исчезла за дверью.

По такой жаре через поле и бежит чуть ли не бегом.

Несколько дней спустя Катинка уехала «домой».

Один из ее братьев вел торговое дело в их родном городе; у него она и остановилась; других братьев разбросало по белу свету.

Невестка Катинки была славная маленькая женщина, она каждый год рожала по ребенку и вечно ходила с животом, стесняясь своей беременностью и тяготясь ею. Она стала на редкость апатичной и даже немного придурковатой. Ее хватало только на то, чтобы рожать детей и кормить их грудью.

Дома всегда оставалась какая-нибудь комната, где не успевали повесить занавески. Выстиранные и накрахмаленные, они свисали со спинок стульев. Малышей с утра до вечера приходилось обстирывать, куда ни глянь, всюду были протянуты веревки, на которых сушились пеленки и носки. Еда никогда не поспевала вовремя, а когда наконец садились за стол, обязательно не хватало тарелок.

— Крошка Ми будет есть из одной тарелки с мамой,— говорила маленькая невестка.

В доме непрерывно хлопали двери и каждые полчаса раздавался крик, точно резали поросенка. Это кто-то из малышей шлепался на пол. Дети были все в синяках и шишках.

— Опять начинается,— говорил брат.

— Ну что я могу поделать, Кристоффер? — отвечала жена.

Она вечно твердила: «Ну что я могу поделать, Кристоффер?» — и смотрела растерянным взглядом.

С приездом Катинки в доме мало-помалу водворился порядок. Катинке нужно было чем-нибудь заняться и чувствовать себя полезной. И она бесшумно ходила по дому, успевая переделать все дела.

Невестка садилась где-нибудь в уголке,— она всегда сидела в уголке возле секретера или у дивана,— и с облегчением улыбалась ей благодарной и жалкой улыбкой.

Катинка охотней всего проводила время дома. Здесь ее окружали знакомые с детства вещи, знакомая старая мебель: дубовый шкаф с резными фигурками на дверцах — лучшее произведение отца, в детстве он стоял в парадной комнате, в простенке между окнами.

«Это Моисей и пророки»,— объяснял отец. «Дяденьки» казались Катинке настоящим чудом красоты.

И купленный на аукционе столик, с мраморной доской — на нем были симметрично расставлены «парадные» вещи: серебряная сахарница, кувшин и серебряный кубок — подношения отцу от его подмастерьев.

Катинка наводила порядок в комнатах, и, к чему ни притрагивалась, все пробуждало в ней воспоминания: то старая чашка с надписью, то пожелтевшая картина, то три-четыре уцелевших тарелки...

Старые тарелки, и на них рисунок — синие китайцы, сад с тремя деревьями и маленький мостик через речушку... Каких только историй про этих китайцев не рассказывали они друг другу детьми по воскресным дням, когда подавали парадный сервиз.

Катинка спросила — можно ли ей взять себе старые тарелки.

— Можно ли? И ты еще спрашиваешь?..— сказала маленькая невестка.— Боже мой, да они все битые (в доме не было ни одной целой вещи) — у нас все бьется и ломается... ну, что я могу поделать?

Катинка, как уже говорилось, охотнее всего сидела дома, а не то шла на кладбище. Здесь у могилы родителей ей было особенно хорошо. Часто ей казалось, что она вдова и сидит у мужниной могилы.

Он умер так внезапно, они так недолго прожили вместе, и вот она осталась одна-одинешенька.

Она читала надпись на надгробном камне, имена отца и матери.

Любили ли они друг друга? Отец вечно брюзжал, ему все подавали... А мать,— как она неузнаваемо изменилась после его смерти — точно сразу вдруг расцвела.

Как мало Катинка знала своих родителей.

Как мало люди знают друг друга, даже те, что всю жизнь живут бок о бок...

Катинка прислонялась головой к плакучей иве. Ее охватывала незнакомая ей прежде горькая печаль.

По улицам или к центру города она ходила редко. Слишком много было здесь перемен, все стало другим. Незнакомые лица, незнакомые имена, люди, которых она никогда прежде не видела.

Побывала Катинка и в старом отцовском доме. Там, где была мастерская, понастроили каких-то комнатушек.

Пробили новые окна и двери, а в старой голубятне соорудили чердачные каморки.

Больше Катинка в старый отцовский дом не ходила. На улице она повстречала Тору Берг.

— Неужели, — какой знакомый голос, — неужели это Катинка...

— Я.

— Детка — как ты сюда попала?.. И ни капельки не изменилась...

— А ты откуда? — спросила Катинка и всплакнула.

— Господи помилуй, да я здесь живу еще с весны... нас сюда перевели... Да, дружок, много воды утекло... у тебя, видно, нет детей?

— Нет.

— Так я и думала. Поблагодари бога, детка, у меня их четверо... да еще пятеро нахлебников... На одном капитанском жалованье далеко не уедешь... Но ты сама... вы оба... где вы живете, детка... все на прежнем месте... Да, боже мой, это мы, военные, кочуем с места на место...

Тора продолжала говорить. А Катинка шла рядом и смотрела на нее. Казалось, это было прежнее лицо, но черты его стали резче, а подбородок заострился и пожелтел.

— Разглядываешь меня, детка... — сказала Тора. — Да, жизнь состоит не из одних вечеринок...

Тора пообещала зайти за Катинкой и повести ее к себе.

— Правда, сейчас в гимназии повторяют пройденное, и мы по уши увязли во французских глаголах...

Они простились. Катинка постояла, глядя ей вслед. На Торе был куций бархатный жакет и желтое платье. Одежда сидела на ней вкривь и вкось, казалось, будто Тора из нее выросла.

Подруги снова встретились только через неделю, в церкви.

— Не успеваю носа высунуть на улицу. Каждый день собиралась к тебе зайти... — сказала Тора. — Знаешь что, приходи к нам в среду... в среду в три часа... среда самый спокойный день, — сказала она.

Катинка пришла в назначенную среду.

Тора хлопотала на кухне, Катинке пришлось подождать в гостиной. Гостиная была слишком просторной для стоявшей в ней мебели — Ториного приданого; ме-

бель выцвела и потерлась, казалось, старые вещи, расставленные вдоль стен, тщетно снытся дотянуться друг до друга. У окна примостилась модная этажерка с кактусом и бамбуковый столик, покрытый вышитой скатертью. Это была парадная мебель.

На столике лежало несколько томиков стихов в потрепанных переплетах и две панорамы Рейна — воспоминание о свадебном путешествии капитана и Тора.

На высоких, оклеенных желтыми обоями стенах в узеньких позолоченных рамках висели картинки с изображением цветов. Это были розы и анютины глазки, а на их лепестках блестели крупные капли росы, похожие на стеклянные бусины. Катинка узнала цветы — такие картинки Тора рисовала в юности.

— Как видишь, пришлось тряхнуть стариной, чтобы украсить дом, — сказала Тора, она вошла как раз в ту минуту, когда Катинка разглядывала розы, усыпанные стеклянными бусинами.

Капитан в домашней куртке с мягким воротничком распахнул дверь.

— Поесть когда-нибудь дадут? — спросил он.

— У нас гости, Даль, — сказала Тора. Дверь захлопнулась. — Даль чертит карты, — пояснила она.

Вернулся капитан, уже в сюртуке.

— Очень мило, очень мило, — сказал он и начал расхаживать из угла в угол. Когда капитан не чертил карты и не проводил учения, голова его была занята мыслями о платежах и сложными арифметическими выкладками. Вот что пришло на смену былому офицерскому житью и свадебному путешествию с двумя панорамами Рейна.

Тора болтала, не закрывая рта. А Катинка думала: какие беспокойные у нее стали глаза, — она щебечет, а глаза так и бегают от двери к Далю и обратно.

— Четверть уже пробило, — сказал капитан.

— Но мальчики еще не пришли, — отозвалась Тора.

— Поэтому нам и не дают есть, — сказал капитан. — Имейте в виду, фру Бай, в этом доме командуют мальчишки.

Тора промолчала. Капитан сел поодаль на стул возле письменного стола. Спинка стула отвалилась.

— Чтобы я больше не видел этого стула, — сказал капитан.

— Хорошо, Даль...

— Спинка отломилась полгода назад, фру Бай, —

сказал капитан и слегка поклонился Катинке.— Такие уж в этом доме порядки.

Грохот на чердачной лестнице оповестил о появлении мальчишек.

— Вот и они,— сказала Тора.

Перешли в столовую. Капитан подал руку Катинке, Тора незаметно приставила к стулу сломанную спинку и прислонила его к стене.

— Где вы были? — спросил капитан.

— Купались,— ответили мальчишки. На самом деле они битый час курили где-то на задворках, а потом окунули головы в кадку с водой.

— Вот это мон,— сказала Тора. Под «монми» она разумела девятилетнего мальчонку и трех маленьких прилизанных девочек.

За едой капитан принимал соду и после каждого глотка обтирал выхоленную, нафабренную наполеоновскую бородку, еще более подчеркивающую усталое выражение его лица.

Капитан говорил о том, какое жалование получают железнодорожные служащие.

Пятеро оболтусов были сыновья богатых землевладельцев, проходившие курс в реальном училище. Хозяйкиных «четверых» они именовали голодранцами и постоянно «жали масло» из девятилетнего мальчишки. В остальном они были вполне добродушные малы.

Аппетит у них был волчий, они всегда жаловались, что голодны, и досыта наедались только «дома, в усадьбе».

Девятилетний малыш переводил большие, старчески умудренные глаза с мальчишек на Тору.

— В честь дорогих гостей пошли в ход остатки былой роскоши,— сказал капитан. Он протянул Катинке салат из огурцов на щербатом блюде.

— Посуда так легко бьется, господин капитан,— сказала Катинка.

Один из мальчишек вполголоса бубнил, что хочет еще картошки, он видел, что на блюде больше ничего не осталось.

— Вот огурцы,— сказала Тора.— Хочешь прибавки, Даль...

— Но ты сама ничего не ешь, дорогая,— сказала Катинка.— Не хлопочи о нас...

— Милая фру Бай,— сказал капитан.— Ей это доставляет удовольствие. В этом доме не знают, что такое покой.

Тора порезала на кусочки мясо для младшей из прилизанных девочек.

— Ты заметила, у капитана сегодня прекрасное настроение,— сказала она и засмеялась.— Правда, капитан?

— Настроение как настроение.

— Что ты получил по географии, Густав?

— Четверку с минусом,— прогудел бас над тарелкой.

— Ты полагаешь, Густав, что твой отец очень обрадуется?

— Отцу наплевать,— прогудел бас.

Встали из-за стола. Вслед мальчишкам по всему дому захлопали двери.

— Так мы и живем, фру Бай,— сказал капитан.— Среди Ториных головорезов... Она боится, как бы у нас в доме не настали тишь и благодать.

Капитан ушел чертить свои карты. Тора стала готовить какую-то сложную кофейную смесь.

— Дай же я помогу тебе,— сказала Катинка.

— Спасибо, детка.

На щеках Торы выступили красные пятна, она сжала себе виски.

— Понимаешь, днем такая уйма всяких дел,— сказала она.

— Не принимай этого слишком близко к сердцу, Тора,— сказала Катинка, но сама она тоже сидела как на иголках.

— Что поделаешь, детка, с утра до вечера верчусь как белка в колесе,— сказала Тора.

Она присела у столика для рукоделия, но ей так и не удалось передохнуть. То и дело хлопала дверь. Мальчишки сговорились, что не дадут хозяйке «покалякать за чашкой кофе». Они поминутно скатывались с лестницы и спрашивали какое-нибудь правило грамматики.

Тора прижимала ладонь ко лбу и переходила с английского на немецкий.

Десятилетний мальчик сел играть гаммы в столовой.

— Николай, приспичило тебе играть гаммы, когда у меня голова раскалывается... Перестань.

Николай тихонько сполз с табурета у фортепиано. Тора всегда обрушивалась на собственных детей, когда ее изводили «объедалы».

Тора устроилась в уголке на диване, поджав под себя ноги, как, бывало, в юности.

Заговорили о местных жителях.

— Сплошь новые люди, старожилы все разъехались.

— Да, старожилы разъехались,— сказала Катинка. Она смотрела на Тору — та откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. Как глубоко они у нее запали...

— По-моему, скоро никого из старых не останется — один твой брат,— сказала Тора.

— Да, правда...

Тора рассмеялась.

— Господи, несчастная твоя невестка,— говорят, она опять на сносях?

— Да, бедняжка.

Обе помолчали. Вдруг Тора открыла глаза и сказала:

— Ах, чего там! Для того мы все и живем, чтобы плодиться.

Тора закрыла глаза, и подруги снова замолчали.

— Да,— сказала Тора,— странная штука жизнь.

Остаться к чаю Катинка отказалась. Она объяснила, что обещала пораньше вернуться домой. Ей хотелось выйти на свежий воздух и побыть одной. На улице ей пришло в голову заглянуть к «фрекен». У старушки было так тихо и никогда ничего не менялось. Катинка свернула на улицу, где жила фрекен. Она увидела три липы под окнами, и у нее сжалось горло. Она с самого прихода к Торе еле-еле удерживалась от слез.

Катинка поднялась по ступеням узкой лестницы, рядом с которой разросся куст волчьего лыка, и постучала. Из открытой двери пахнуло запахом роз и летних яблок.

Фрекен колдовалá у кровати над лепестками роз, разложенными на газетной бумаге.

— Девушки из Хольмструпа тоже недавно наведывались ко мне целой гурьбой... Хотели полакомиться яблочками, да они уже сходят...

Катинке пришлось выйти во двор и посмотреть и яблопо, и «мои розы»...

— Последние три розы пошли на венок для мадам Бюстрем... На этом кусте они и цвели, все три... Как раз три...

Они вернулись в дом. Фрекен стрекотала, расхаживая

из комнаты в комнату, ее слова иной раз терялись где-то за дверями. Катинка сидела у окна и только изредка вставляла «да» или «нет». В открытую дверь кухни был виден зеленый сад, в комнату доносился птичий щебет.

Как тихо было здесь, словно за стенами не существовало никакого другого мира.

Катинка смотрела на старые картины, пожелтевшие, в покосившихся рамках,— она знала их все до одной. На столике дорогой кофейный сервиз, серебряный кофейник и шесть чашечек, на тумбочке перед потемневшим зеркалом изящные безделушки, прикрытые носовыми платками, и у каждой двери коврик, а на подушках мурлычут кошки.

Все это ей хорошо знакомо.

Фрекен по-прежнему стрекотала, то выходя на кухню, то возвращаясь. Катинка уже не слушала ее. В комнате, затененной липами, стало смеркаться— в старом доме воцарился полумрак.

Вот уже второй раз до Катинки донеслось из кухни имя Хуса, произнесенное фрекен. Катинка вздрогнула. Ей почудилось, будто она сама, задумавшись, произнесла его вслух.

— В вашем приходе тоже есть какой-то господин Хус.

— Да, управляющий Хус,— сказала Катинка.— Вы его знаете?

Фрекен остановилась в дверях. Да как же ей его не знать! Он троюродный брат Карла из Керсхольма, а тот приходится двоюродным братом самой фрекен. Семья из Керсхольма дважды породнилась с Лундгордами.

И фрекен стала рассказывать о Хусе и его матери, урожденной Лундгорд, из Лундгордов с острова Фальстер, об их усадьбе, и об их родне, о двоюродном брате Карле из Керсхольма, и вообще обо всей семье, а сама все расхаживала взад и вперед.

Она зажгла в кухне свет и снова стала возиться с розами в спальне, а Катинка сидела в своем углу и слышала только одно — его имя, которое повторялось снова и снова.

Она слышала его впервые за много недель.

— Ну, а что он за человек? — спросила фрекен. Она вошла в комнату, подняла с кресла спящего кота и села неподалеку от Катинки, положив кота себе на колени.

Катинка стала рассказывать какими-то ничего незначащими словами, запинаясь, словно думая о чем-то дру-

гом. И вдруг ее словно прорвало: она может говорить о нем, называть его имя, просто называть его имя.

И она рассказала о том, что было на рождество, и о синей шали, и как он приехал в санях в новогоднюю ночь, и о зимних вечерах, когда они провожали его по дороге, освещенной звездами...

— Да,— сказала со своего кресла фрекен,— хорошие они все люди, Хусы.

А Катинка продолжала говорить приглушенным голосом из полутемного угла.

И как пришла весна, и он помогал ей в саду, и высаживал розы, и какие у него золотые руки...

— Да,— говорила фрекен,— прекрасная семья.

Рассказала про лето, и про ярмарку, и про все, про все...

Фрекен начала клевать носом в своем кресле — фрекен всегда клонило ко сну, когда ей приходилось слушать,— и вскоре она задремала, прижав к себе кота.

Катинка запнулась и умолкла. На улице зажглись газовые фонари — они осветили комнату: картины на стенах, старые часы и фрекен, которая спала, свесив голову на грудь, с котом на коленях.

Фрекен проснулась и подняла голову.

— Да,— сказала она,— прекрасный человек.

Катинка не слышала ее слов. Она встала — только бы уйти, поскорей уйти. Но когда она шла по вечерней прохладе окраинными улицами, она чувствовала, как с каждым шагом все растет и растет ее тоска по нему.

Через несколько дней с утренней почтой пришло письмо от Бая. «Вот так фортель выкинул Хус,— писал он.— На прошлой неделе сказал, что едет по делам в Копенгаген. А потом написал оттуда Кьеру,—веришь ли,— что просит его уволить. Ему, мол, представился случай поехать в Голландию и Бельгию,—веришь ли, ему дают стипендию, и он, мол, пришлет вместо себя заместителя, и этот заместитель вчера прибыл. Кьер рвет и мечет, да и я расстроился, все мы привыкли к этому рохле».

Распечатанное письмо лежало на столе перед Катинкой. Она снова и снова перечитывала его: она и не подозревала, что все-таки на что-то надеялась, воображала, будто ей все пригрезилось и случится *чудо*. Она увидит его, он никуда не уедет.

Но он уехал. Уехал навсегда.

Племянники гомонили вокруг над тарелками с молочной кашей.

— Тетя, тетя Тик!

Самый младший свалился со стула и поднял рев.

— Господи Иисусе, Эмиль упал! — сказала маленькая невестка.

Катинка подняла Эмиля, утерла ему нос и, сама того не сознавая, опять взялась за письмо.

Уехал.

И ее вдруг потянуло *домой* — ей захотелось очутиться у себя, не здесь, среди чужих ей людей. По крайней мере, очутиться дома.

Дело было под вечер накануне отъезда. Дети ушли гулять с нянькой.

Катинка сидела вдвоем с невесткой в гостиной. Невестка что-то перешивала детям.

Вдруг, ни с того ни с сего, маленькая женщина уронила голову на коробку с шитьем и разрыдалась.

— Мария, — сказала Катинка, — что ты, Мария...

Она встала и подошла к невестке.

— Что с тобой, Мария? — сказала она.

Маленькая женщина продолжала рыдать, уткнувшись в рукоделие.

Катинка прижала к себе ее голову, стала ласково уговаривать:

— Мария, успокойся, не надо.

Маленькая женщина подняла голову.

— Ты уезжаешь, — сказала она. — Ты была так добра ко мне... — Она опять разрыдалась и уронила голову на коробку с шитьем. — Так добра ко мне... А я всегда беременная... Всегда...

Катинка была тронута, она опустилась на колени рядом с маленькой женщиной и взяла ее за руки.

— Мария, — сказала она, — но ведь когда-нибудь это кончится.

— Кончится. — Маленькая женщина продолжала плакать, прижавшись к золовке. — Когда я стану старухой или вообще умру...

Катинка отвела руки невестки от ее лица и хотела было что-то сказать.

Но увидела мокрое от слез детское личико и несчаст-

ную обезображенную фигурку и молча вернулась на свое место, а та продолжала плакать.

Вечером Катинка пошла на кладбище. Проститься с мамой и папой.

На кладбище она встретила Тору. Тора принесла венки на могилу матери — был день рождения покойной.

Подруги постояли у могилы.

— А-а, всех нас когда-нибудь вынесут ногами вперед, — сказала Тора.

Они простились у могилы родителей Катинки.

— Может, еще свидимся на этом свете, — сказала Тора.

Катинка вошла в ограду могилы и села на скамью под ивой. Она глядела на мертвый камень и надпись на нем и чувствовала, что у нее больше не осталось ничего — даже воспоминаний детства.

Во что они все превратились? Потускнели — стали мучительными и горькими.

Она вспомнила Тору с ее беспокойными глазами, услышала голос капитана: «В честь дорогих гостей пошли в ход остатки былой роскоши...» Увидела невестку всю в слезах.

И здесь — эта могила, мертвый камень и два имени — вот и все, что уцелело на память о юности и родном доме.

Катинка долго сидела у могилы. Она вглядывалась в ту жизнь, которая ждала ее впереди, и ей казалось, что ее окружает, на нее наваливается со всех сторон сплошная, непроглядная, безысходная тоска.

Она вышла из вагона на платформу, подставила Баю щеку для поцелуя, отдала вещи Марии, а в мыслях у нее было одно — поскорее в комнаты, в дом.

Ей казалось, будто там, в доме, ее ждет Хус.

Она опередила всех, открыла дверь в гостиную — чистую и прибранную, потом в спальню, потом в кухню, где все сияло чистотой и — пустотой.

— Господи, как похудела хозяйка, — начала Мария, которая внесла за ней багаж.

И пошло, и пошло. Бледная, усталая Катинка опустилась на стул — и на нее посыпались местные новости. Где что случилось и кто что сказал. На постоялом дворе — летние постояльцы, повезли кроватей и всякого добра, и у пастора полон дом гостей...

— А Хус вдруг взял да уехал... здорово живешь. Чужало мое сердце... он сюда заходил в аккурат последний вечер... меня как стукнуло: ходит и словно бы прощается,— вот тут в гостиной посидел... и в саду... и на лестнице, где голуби.

— Когда он уехал? — спросила Катинка.

— Вот уже две недели...

— Две недели...

Катинка тихонько встала и вышла в сад. Она побрела по тропинке к розовым кустам, к беседке у бузины. Он приходил сюда, чтобы проститься с ней — побывал в каждом уголке, у каждого кустика. Глаза у нее были сухие. Словно совершалось какое-то тихое таинство.

С дороги послышалось веселое «ау!». Это был голос Агнес в хоре других голосов. Катинка чуть не опрометью бросилась из сада — она не могла видеть их сейчас в этом месте.

Агнес едва не сбила Катинку с ног, точно огромный пес, обрадовавшийся приезду хозяина. Пасторских гостей пригласили пить шоколад в саду, под бузиной, а потом гости решили дожидаться восьмичасового поезда.

Поезд с грохотом укатил прочь. Разошлись и гости — их веселые голоса еще долго слышались на дороге; стрелочник Петер унес с платформы бидоны с молоком. Катинка осталась на платформе одна.

— Чуть не забыл,— сказал из конторы Бай.— Хус просил тебе кланяться...

— Спасибо.

— Гм, рано стало темнеть... И чертовски холодный ветер... Шла бы ты в дом...

— Сейчас приду.

Бай закрыл окно.

Голоса пасторских гостей замерли вдали. Стало тихо и пусто.

Катинка сидела, глядя на безмолвные, сумрачные поля. Здесь ей теперь предстояло жить.

Весь последний месяц Малютка-Ида писала об этом в каждом своем письме. И все-таки фру Абель не смела надеяться. Малютка-Ида была слишком жизнерадостна.

Теперь фру Абель плюхнулась с письмом в руке у плиты прямо на мокрую тряпку и запричитала.

Луиса-Старшенькая ушла собирать шампиньоны вокруг дома доктора. Когда она вернулась, вдова все еще раскачивалась на табурете в кухне.

— Ну, что там еще? — спросила Луиса. Уж очень странный вид был у матери.

— Ида, малютка моя, — завела было вдова.

— Вздор, — отрезала Луиса-Старшенькая. Фру Абель протянула ей письмо жестом матери из классической трагедии.

Луиса-Старшенькая прочла письмо, не моргнув глазом.

— Тем лучше... — сказала она, — для нее... Впрочем, не мудрено — у нее в запасе было целое лето.

Луиса села в гостиной за фортепиано и заиграла что-то бравурное. Но вдруг уронила голову на клавиши и тоже заголосила.

— Надо поздравить, — внезапно объявила она, перестав рыдать.

— Что?

— Поздравить надо, говорю, — заявила Луиса и осушила слезы. Она стала применяться к обстоятельствам.

— Ты права, дитя мое, — покорно сказала вдова.

— Я сама отнесу телеграмму. Зайду в пасторскую усадьбу... А ты к старухе Иенсен и к мельничихе... — Луиса-Старшенькая разрабатывала план кампании. Она поняла, что ей, во всяком случае, довелось стать хотя бы свояченицей.

Она ребячилась, бегом возвращаясь со станции, кричала: «Да здравствует почтовое ведомство!» — и размахивала зонтиком.

Он служил в почтовой конторе.

Счастливая вдова тем временем побывала у фрекен Иенсен и у мельничихи и плакала, что ей предстоит лишиться своей голубки.

— Иоаким Барнер — из благородных Барнеров, — говорила вдова. — Служит в почтовом ведомстве.

В пасторской усадьбе вдова сошлась со своей Старшенькой.

— Ах, мне хотелось самой сообщить новость нашему духовному наставнику. — И вдова снова прибегла к носовому платку. — Ведь это такая важная минута в жизни, — сказала она.

Старый пастор довольно похлопывал себя по животу. На столе появилась клубничная наливка с печеньями.

Фру Линде уселась на диване рядом с фру Абель — ей хотелось разузнать, «как все сладилось». А «сладилось» все в беседке... на пляже...

Старый пастор чокнулся с Луисой-Старшенькой.

— Ну, лиха беда начало... Теперь дело пойдет,— сказал старый пастор.

— Ах, господин пастор, одна мысль о том, что я должна лишиться их обеих... лишиться единственной, которая у меня осталась...— И вдову охватил прилив пугливой нежности к «единственной».

По случаю торжественного события «единственная» была ласкова, как молодой жеребенок.

— Вот увидишь, она еще может стать хорошим человеком, Линде,— сказала пасторша; гости уже ушли, и она собирала со стола тарелки.— Сердце у них все-таки доброе, Линде.

— Бог знает, что на это скажет Агнес...

Агнес ушла в лес с компанией молодежи.

— Слава тебе господи,— сказала она, когда, вернувшись домой, услышала новость.

— Господи помилуй, да они задушат бедного карапуза,— сказала Агнес, стоя у калитки на платформе и глядя, как семейство Абель встречает новоиспеченного зятя.

Маленький зять беспомощно перелетал из одних родственных объятий в другие, точно горошина, попавшая в мельничные жернова.

— Сразу видно, звезд с неба не хватает,— сказала Агнес.

Она обвинила Катинку за талию, и они вошли в сад.

— Ну, что ж,— сказала она,— у этих теперь «все холосо».

Они сели на скамью под бузиной. Вдруг Агнес сказала:

— А я уезжаю... на той неделе. Я уже предупредила своих... Сил моих больше нет.— Агнес рвала в мелкие клочки осыпавшиеся на садовый стол листья.— Пора положить этому конец.

Катинка смотрела прямо перед собой.

— Вы думаете, можно уехать от своего горя, Агнес? — тихо спросила она.

— Да ведь надо и работать... Попробую сдать на учи-

тельницу. Другого не остается... Сидеть за окошечком на почте — в мои годы смешно... а для чего-нибудь серьезного — слишком поздно.

Катинка кивнула.

— Да, — сказала она. — Вы правы.

— Эх, да что там, — сказала Агнес. — Такая уж судьба у нас, женщин. Первые двадцать пять лет жизни танцуем и ждем, пока нас возьмут замуж, а последние двадцать пять сидим и ждем, пока нас похоронят...

Агнес поставила локти на стол и подперла ладонями голову.

— Куда как хорошо, — сказала она в пространство.

И вдруг закрыла лицо руками и разрыдалась.

— До чего же я буду тосковать, — сказала она.

Она долго плакала, закрыв лицо ладонями. Потом уронила руки на стол. И взглянула на Катинку: «моя прелесть» чуть подалась вперед и опустила руки на колени, по ее щекам медленно катились слезы.

— Какая же вы добрая... — сказала Агнес, потянувшись к ней. — Моя прелесть...

Через неделю Агнес Линде уехала.

Семейство Абель было точь-в-точь стайка голубков. Друг с другом разговаривали не иначе, как сюсюкая и повизгивая:

— Меня он зовет Мушка-душка, — говорила вдова. — Всем-то он нам придумал прозвища.

В присутствии посторонних жених с невестой сидели, развалиясь на стуле, потом кто-нибудь из них говорил «Путя-Кутя», и оба исчезали из комнаты.

— Это у них особый язык, — объясняла вдова. Особый язык несколько озадачивал посторонних.

Когда гости собирались уходить, приходилось минут десять кричать: «Пуся!» «Дуся!»

— Наверное, они в саду, — говорила вдова.

Пуся и Дуся вечно торчали в саду, они прятались повсюду, где кусты давали мало-мальски густую тень.

Из кустов Пуся и Дуся выходили красные и ошалелые.

Луиса-Старшенькая и карапуз-жених вели между собой нескончаемую пикировку. Карапуз осыпал свояченицу родственными поцелуями и щекотал ее за дверью.

В гостях все трое клевали носом и прятались по углам. За столом вдова сладким голосом говорила «своей тронце»: «Пуся-Туся». Она сама толком не знала, что это значит.

Дома по вечерам света не зажигали.

— Мы сумерничаем всей семьей,— говорила вдова.

Карапуз сидел на диване между Пусей и «Лисе-Лусей». Фрекен Иенсен и вдова изредка произносили в потемках словечко-другое. Диван поскрипывал в ответ. Так продолжалось часами.

Возвратившись домой, фрекен Иенсен целовала мопса в холодный нос.

А Пуся и Дуся шли полями к вечернему поезду. Они прогуливались по платформе и заглядывали друг другу в глаза. Стоило им замедлить шаг, и карапуз целовал Пуся-сю в ушко.

Катинка сидела на скамье на платформе, закутавшись в синюю шаль Хуса.

После ухода поезда она еще долго слышала, как жених и невеста воркуют, возвращаясь домой через поле.

Катинка вставала и шла в комнаты. Дни становились короче, чай приходилось пить уже при свете.

— Зажги лампу, Мария,— говорила она.

Мария вносила лампу и ставила ее на фортепиано. Свет падал на осунувшееся личико Катинки, на ее бледные, прозрачные руки, лежавшие на клавишах.

— Скажи Баю, чтобы шел пить чай,— говорила Катинка. Вставая, она опиралась на фортепиано. Она всегда чувствовала такую усталость, будто ее ноги были налиты свинцом.

Они пили чай, за грогом Бай читал газеты.

Катинка открывала книгу, взятую из библиотеки. Это всегда были какие-нибудь «новомодные» книги. Агнес и Андерсен вечно спорили из-за них.

Раскрытая книга лежала возле лампы. Катинка еще ни разу не прочла больше двадцати страниц: правды в этих книгах не было, и вымысла, который отвлекал бы от горьких дум,— тоже.

Она вынимала альбом со стихами. Она переписала туда «Марианну» и поставила дату. Перед тем как убрать альбом в ящик, она подолгу стояла перед открытой шкапулкой. В ней лежал маленький японский поднос, обернутый в пожелтевшую фату.

Иногда она выходила в кухню. Здесь у нее тоже было излюбленное место — в уголке на колоде для разделки мяса. Мария шила за столом при свете восковой свечи и болтала без умолку. Преданная душа, она хранила верность старой любви.

Она всегда говорила о Хусе и о том, как пусто стало без него.

Катинка молча сидела в своем углу. Иногда она вздрагивала, точно от холода, и крепче прижимала руки к груди.

Мария продолжала болтать, и свет одинокой свечи падал на ее крупное румяное лицо.

— Не пора ли на боковую, — говорил Бай, открывая дверь.

— Сейчас, Бай... Спокойной ночи, Мария.

Осень окутала поля унылой туманной дымкой. Небо было покрыто тучами, и дни тянулись в полумгле от ночи до ночи.

— Подбодритесь, дорогая фру, — говорил молодой доктор. — Вам надо взять себя в руки.

— Хорошо, доктор.

— И надо гулять. Вы должны побольше двигаться. У вас упадок сил.

— Хорошо, доктор, я буду гулять.

— Ну, а что слышно новенького? — Доктор вставал. — Пишет ли вам фрекен Агнес?

— Недавно было письмо.

— Говорят, Андерсен собирается уезжать...

— Я тоже слышала, — говорит Катинка. — Все разъезжаются...

— Почему же, милая фру, кое-кто остается...

— Да, доктор, *мы* остаемся.

— Не нравится мне что-то здоровье вашей жены, — говорит доктор в конторе, закуривая сигару.

— Тьфу, черт, скверная история, — говорит Бай.

— Упадок сил... Ну, всего доброго, начальник.

— Черт побери... Всего наилучшего, доктор.

— Тебе надо больше ходить, Тик, — говорит Бай, проведив товарный поезд. — Ты ничего не делаешь, чтобы поправиться.

Катинка ходит. Она бредет через поля, несмотря на ветер и слякоть.

Она идет в церковь. Задыхаясь, присаживается отдохнуть на каменном выступе в церковном дворе. За белой оградой тянется плоское кладбище, где уже отцвели цветы. Только кусты самшита торчат вокруг стоящих торчком крестов с именами покойников.

Домой Катинка возвращается лугами. По мосту с шумом проносится двенадцатичасовой поезд и исчезает вдаль. Некоторое время клубы дыма еще выделяются в серой мгле пятном потемнее, потом рассеиваются.

На дальнем берегу идет пахота. Длинные отвалы дерна отмечают след старательного плуга.

Катинка приходит домой.

У Бая она застает мельника, а иногда управляющего Кьера.

— Толковый парень этот Свенсен,— говорил Бай Катинке,— Очень толковый. И наслышан обо всем.

— Уж не знаю, конечно, хороший ли он работник,— говорил Бай Кьеру.

Кьер бормотал что-то невнятное.

— Но парень толковый, старина Кьер, и главное — свой брат.

Свенсен коллекционировал порнографические открытки. Он приносил их на станцию, и они с Баем рассматривали их за стаканом грога.

— Пороемся в «архиве»,— предлагал Свенсен.

— С удовольствием.— Бай всегда изъяслял готовность.

Свенсену присылали «новинки» из Гамбурга наложенным платежом.

— Экие скоты,— радостно говорил Бай. Когда они рассматривали «архив», он всегда понижал голос, хотя дверь в комнату была закрыта.

— Экое скотство, старина Свенсен,— говорил он, поднося открытки поближе к свету.

Они продолжали рассматривать картинки. Бай потирал колени.

— Ну это уж совсем,— говорил он.— Это уж, пожалуй, слишком,— говорил он.

Свенсен почесывал у себя под носом и сопел.

— Знатная баба,— говорил он,— знатная.

Покончив с открытками, они молча потягивали грог. Бай как-то вдруг оседал.

— Все это хорошо,— говорил он.— А каково прихо-

дится в жизни, Свенсен... А, старина? *Каково* жить с большой женой?

Свенсен не отвечал.

Бай со вздохом вытягивал ноги...

— Да, старина,— говорил он.— Ничего не попишешь.

Свенсен философски помалкивал. Потом вставал.

— Кабы знать, что кому на роду написано,— говорил он.

Бай поднимался и открывал дверь в гостиную.

— Ты что ж это сидишь в потемках?— говорил он.

— Да так.— Катинка выходила из своего уголка.— Посидела немного... Тебе что-нибудь нужно, Бай?

— Я пойду провожу Свенсена,— говорил Бай.

Катинка входила в контору, чтобы попрощаться с гостем.

— Фру еще немного бледная,— говорил Свенсен, ощупывая карманы, чтобы удостовериться, на месте ли коллекция.

Бай надевал пальто, и гость откланивался.

— Боже сохрани, фру, не выходите на улицу — прохладно.

— Я только до калитки,— говорила она.

Они выходили на платформу.

— Вызвездило,— говорил Бай.

— Значит, похолодает. Спокойной ночи, фру.

Хлопала калитка.

— Спокойной ночи.

Катинка стояла, прислонившись к калитке. Голоса замирали вдаль. Она поднимала голову: и правда, небо ясное и усыпано звездами...

Катинка прижималась к влажному столбу и обвивала его руками, словно хотела излить свое горе мертвому дереву.

Теперь по вечерам на станцию часто приходили пастор с женой. Старики скучали по Агнес.

А тут и Андерсен надумал уезжать.

— Он давно уже собирался переменить приход,— говорил старый пастор.— Боюсь, не прислали бы вместо него какого-нибудь проповедника «живого слова».

Пастор Андерсен получил приход на Западном побережье.

Фру Линде плакала, забившись в уголок.

— О, господи, я ведь видела, все видела,— говорила она.— Но они сами не знают, чего хотят, фру Бай. Сами не знают, чего хотят, дорогая моя... Такая нынче молодежь — не то что в мое время, милая фру Бай. Они все гадают да сомневаются, любят они или нет, а потом разъедутся в разные стороны и мучаются всю свою жизнь... Помню, я ждала, что Линде посватается ко мне, и тоже гадала, да только на яичном белке. И вот мы с ним делим и радость и горе скоро уже *тридцать* лет... А теперь мы, старики, закроем глаза, и наша Агнес останется одинокой старой девой.

Входили мужчины. Старый пастор непременно должен был сыграть партию в вист.

В присутствии старого пастора Катинке становилось легче на душе. От него веяло каким-то удивительным покоем.

Особенно когда он сидел за картами, играл по маленькой, и его старческое лицо лукаво улыбалось из-под бархатной ермолки.

— Вот вам, батенька,— приговаривал он и брал взятку.

Старики ворчали друг на друга.

— Я же говорила тебе, Линде...

— Уж поверь мне, матушка...— И старик открывал взятки.— Вам ходить, милая фру, вам ходить.

Катинка задумалась. Она не сводила глаз с обоих стариков.

— Бубновая дама... А ну-ка, батюшка...

Последний роббер играли с болваном. Катинка выходила, чтобы распорядиться насчет ужина. В доме начальника станции кормили все вкуснее. Бай любил хорошо поесть, и Катинка готовила ему его любимые блюда.

Бывали дни, когда она спозаранку шла на кухню и начинала жарить и парить по разным рецептам и поваренным книгам. Она что-то шинковала и рубила для каких-то мудреных яств.

Выбившись из сил, Катинка опускалась на колоду для разделки мяса и кашляла.

— Ей-богу, фру, наживете себе чахотку, тем дело и кончится, а все для того, чтобы кто-то набивал себе брюхо,— твердила Мария.

— Хочешь полынной водки? — говорит Катинка.

— Отчего же, если у тебя есть.

Когда Бай кивал головой, было видно, что у него двойной подбородок. Бай вообще заметно раздобрел. Под рубашкой наметилась небольшая кокетливая округлость, а на суставах ямочки.

— Вот, пожалуйста,— говорит Катинка.

— Спасибо, детка,— говорит Бай.

В последнее время у Бая появились этакие султанские повадки. Возможно, из-за дородности.

— Спасибо, детка, вот только доиграем,— снова говорит он.

Катинка садится на стул у стола и ждет. Старый пастор смотрит на Бая, который сидит по ту сторону накрытого стола, потом на его молчаливую жену. Катинка оперлась головой на руку.

— Ах, вы, паша вы этакий,— говорит Баю старый пастор.

Катинка встает. Забыли подать еще какое-то лакомство... Дверь закрывается за ней, старый пастор снова переводит взгляд с нарядного стола на Бая, который держит карты как раз над кокетливой округлостью.

— Да, инспектор,— говорит старый пастор,— такая жена, как у вас, счастье для мужа.

Под конец подают молочный пунш и хворост.

— Кто любит сладкое, тот хороший семьянин,— говорит фру Линде.

Бай норовит наложить себе на тарелку побольше хворосту.

И все снова едят и пьют в уютном свете лампы.

— Поиграйте нам,— просит фру Линде.

— Или спойте что-нибудь из того, что пела Агнес,— говорит старый пастор.

Катинка идет к фортепиано. И слабым голоском негромко поет песню о Марианне.

Старый пастор слушает, сложив руки, фру Линде роняет на колени вязанье.

Здесь, под камнем, схоронили
Нашу Марианну.
Ходят девушки к могиле
Бедной Марианны.

— Спасибо,— говорит старый пастор.

— Спасибо, милая фру Бай,— говорит госпожа Линде.

Ей приходится отирать глаза, чтобы попасть в нужную петлю.

Катинка сидит спиной к Баю и гостям. По ее щекам на клавиши медленно стекают слезы.

— Да, чего только не придумывает нынешняя молодежь,— говорит старый пастор. Он смотрит прямо перед собой и думает об Агнес.

Старики собирались уходить, фру Линде надевала пальто в спальне. Перед зеркалом горели две свечи. В спальне было светло и уютно—белое покрывало на кровати, белые салфеточки на туалете.

— Ах,—говорила фру Линде.—Дожить бы нам до того, чтобы у Агнес такая была семья.

Завязывая ленту шляпы, она все еще продолжала всхлипывать.

— Я провожу гостей,—говорил Бай.—Маленький моцион...

— Правильно,—говорил пастор,—после такого заливного угря полезно пройтись.

— Слишком вкусно у вас кормят, инспектор. Жена велит мне по субботам носа не показывать на станцию.

— Дальше я, пожалуй, не пойду,—говорила Катинка, останавливаясь в дверях.—Доктор велел мне беречься из-за кашля.

— И то верно, идите домой, осень самое ненадежное время.

— Спокойной ночи. Спокойной ночи.

Катинка вернулась в дом. Она достала старое письмо Агнес, измятое и зачитанное, и положила на стол возле лампы.

«...И еще я надеялась, что первые дни самые тяжелые и время лучший целитель. А оказывается, первые дни — это ничто, это *благодать* в сравнении с тем, что бывает после. Потому что вначале душа болит, но *все* еще близко. А потом день ото дня неотвратно, как земной круговорот, *оно* уходит куда-то в *прошлое*, и каждое новое утро только отдаляет нас друг от друга. А нового нет ничего, Катинка, ничего,—только все старое, все воспоминания, и ты перебираешь, перебираешь их... и кажется... будто к сердцу присосалась огромная пиявка. Воспоминания — это проклятье для тела и для души».

Катинка прижалась затылком к холодной стене. В ее лице, освещенном светом лампы, не осталось ни кровинки. Но слез больше не было.

Вернулся Бай.

— Поздно уже,— сказал он.— Вот черт, как бежит время... Я прошелся немного с Кьером... Кьер уговорил меня... Я его встретил... На обратном пути...

— Разве уже так поздно? — только и сказала Катинка.

— Второй час...— Бай начал раздеваться.— Черт бы побрал эти провожания,— сказал он.

Бай теперь вечно «провожал» кого-нибудь. И заходил в трактир. «Ну, пора и домой — охранять семейный очаг», — говорил он, прощаясь с завсегдатаями.

«Охранял» он его у трактирной служанки; летом под пышными короткими рукавчиками он приметил пару пухлых рук. Бывало, пробьет час и два, а Бай все еще «охраняет семейный очаг».

— А ты чего не ложишься? — говорил он Катинке.— Сидишь в холоде.

— Я не знала, что уже так поздно...

Скрипела кровать — Бай вытягивался на постели.

Катинка составляла на пол горшки с цветами. Когда ей приходилось наклоняться, она кашляла.

— Чертова подагра,— говорил Бай.— Все тело ломит.

— Давай я натру тебе руки,— говорила Катинка.

Это стало теперь обычной вечерней процедурой. Катинка натирала руки Бая чудодейственной мазью от подагры.

— Ну, хватит,— говорил Бай. Он еще раз-два переворачивался с боку на бок и засыпал.

Катинка слышала, как проходил ночной поезд. Он с грохотом катил через мост, пытая, шел мимо станции и уносился прочь.

Катинка зарывалась лицом в подушку, чтобы не разбудить Бая своим кашлем.

Пришла зима и с ней рождество. Дома гостила Агнес, а под праздник к семейству Абель прибыло «почтовое ведомство».

Старушка Иенсен, как и в прошлом году, была приглашена со своим мопсом на станцию. Бель-Ами теперь носили на руках уже совершенно официально.

— Он ослеп,— говорила старушка Иенсен. Собака настолько обленилась, что даже не открывала глаз.

Зажгли елку, Бай принес запечатанную телеграмму и положил ее на столик Катинки.

Телеграмма была от Хуса...

Бай и Малыш-Бентсен дремали в конторе. Катинка и фрекен Иенсен сидели в гостиной у догоравшей елки.

Старушка Иенсен спросонок потряхивала головой, потом привалилась к фортепиано...

Катинка смотрела на погасшую елку. Ее рука тихо поглаживала телеграмму Хуса, лежавшую у нее на коленях.

VI

Миновала зима, потом весна и улыбающееся полям лето.

— Дело дрянь, старина,— говорил Бай Кьсеру,— вчера пришлось перебраться в комнату наверху. Человеку, днем занятому делами, по ночам нужен покой.

Кашель Катинки разносился по всему дому.

Мария приносила хозяйке разбавленное водой вино и оставалась стоять возле ее кровати. Грудь Катинки так и разрывалась от кашля.

— Спасибо, спасибо,— говорила она.— Иди ложись,— говорила она. И тяжело переводила дух.— Который теперь час?

— Половина четвертого...

— Только-то.— Катинка откидывалась на подушки.— Так рано.

Мария босиком на цыпочках возвращалась к своему дивану, и вскоре оттуда слышалось ее ровное дыхание. Ночник у кровати отбрасывал светлое пятно на безмолвный потолок. Катинка с закрытыми глазами лежала на подушке.

Незадолго до полудня она вставала и, закутавшись в одеяла, садилась на солнце на платформе.

Двенадцатичасовой поезд вел стройный машинист в нескромных панталонах. Он соскакивал на платформу и справлялся о здоровье фру Бай.

— Вот увидите,— говорил он,— чистый осенний воздух...

— Может быть,— говорила Катинка и протягивала ему влажную, слабую руку.

Бай провожал машиниста по платформе.

— Оба легких,— говорил Бай. У него появилась прищечка — двумя пальцами смахивать слезинки...

— Все в воле божьей,— говорил он и вздыхал.

Поезд трогался. Нескромный прыгал на подножку паровоза. И долго оглядывался на Катинку, которая сидела на солнце — исхудалая и бледная.

Жаль, ей-богу, жаль... Такой прискорбный случай... А зимой ему даже померещилось было... Вечно она сидит на перроне, и глаза тоскливые-тоскливые...

Он раза два заходил к ним выпить с Баем стаканчик грога, но понял, что ошибся,— тут дело не выгорит...

Она, оказывается, просто-напросто была больна.

Паровозный свисток замирал за далью лугов. Небо и равнина светились в прозрачном осеннем воздухе.

Скворцы собирались стайками, гомозились на телеграфных проводах.

— Улетают,— говорила Катинка. И провожала глазами птичьи вереницы в безоблачном небе.

Приходил доктор и садился рядом с ней на скамью.

— Ну, как наши дела?

— Да вот, сижу и собираюсь с силами,— отвечала Катинка.— Для завтрашнего дня.

— Для завтрашнего? Ах да, завтра ведь день рождения.

— Да.

— Только помните наш уговор, дорогая фру.

— Да, да, как только отужинают, я лягу....

Это был день рождения Бая. Катинка не хотела лишать его привычной партии в ломбер. Она уже давно начала упрашивать доктора: она встанет и посидит за столом с гостями, а потом они все равно уйдут играть к Баю и даже не заметят, что она нездорова...

— Всего один день,— говорила она.

— А теперь вам пора домой,— сказал доктор.

— Хорошо.— Катинка встала...

— Позвольте, я помогу....

— Спасибо, это все из-за лестницы,— сказала она.—

По лестнице мне трудно.

Ее бедные непослушные ноги еле-еле одолевали три низенькие ступеньки.

— Спасибо, доктор. Там моя шаль...

Доктор берет со скамьи синюю шаль.

— Ваша любимица,— говорит он.

На пороге Катинка оглядывается и смотрит на поля.

— Нынче здесь так красиво,— говорит она.

В полдень она попросила принести в гостиную все, что нужно для приготовления салатов. И сама стала резать на маленькой доске свеклу и картофель.

Пришла фрекен Иенсен. Катинка кивнула ей головой.

— Вот видите, на это я еще гожусь,— сказала она.— Что слышно нового? — спросила она. Она откинулась на спинку стула. У нее устали руки — когда она поднимала их кверху, сильно болело в груди.— Я давно не видела ни фру Абель, ни ее дочерей...

— Они ждут, что Барнер получит назначение,— говорит старушка Иенсен.

— Ну да, он ведь подал прошение...

Фрекен Иенсен угощают чашечкой кофе.

— Дай мне масла, Мария,— говорит Катинка.

Мария расставляет на столе целую батарею бутылок и салатниц.

— Какая тяжелая,— говорит Катинка, она с трудом поднимает большую бутылку с уксусом. Потом перемешивает салаты и пробует их.

— Нет,— вдруг говорит она и отодвигает салатницы...— Нет, я больше не чувствую вкуса.

Она сидит усталая, закрыв глаза. На ее щеках красные пятна.

— Дайте я помогу вам,— предлагает фрекен Иенсен.

— Спасибо, Мария поможет. Мне, пожалуй, лучше прилечь.

Но до самого вечера Мария то и дело вносит и уносит разные блюда, чтобы Катинка собственными глазами увидела — все ли в порядке. В груди у Катинки жжет, но она приподнимается в постели.

— Пусть все будет так, как привык Бай.

Она заставляет Марию принести в спальню праздничный сервиз, бокалы и столовое серебро, все начистить, протереть и расставить на столе.

Лежа в постели, Катинка считает и пересчитывает тарелки, и глаза у нее лихорадочно блестят.

— Кажется, все,— говорит она.

Она устало откидывается на подушку и трется о нее сухим, пылающим в лихорадке лицом.

— А ложки для грога, Мария,— говорит она вдруг.— Мы совсем забыли про ложки.

— Их можно положить на поднос, который подарил Хус,— говорит Мария. Она вносит ложки на маленьком японском подносе.

— Нет, не надо.— Катинка приподнимается в постели.

— Дай мне его,— говорит она. Она прикладывает горящие ладони к прохладной лакированной поверхности. И тихо лежит, держа в руках подаренный Хусом поднос.

Входит Бай и оглядывает расставленные на столе сверкающий фарфор и бокалы.

— Очень глупо, детка,— говорит он.— Очень глупо — я ведь говорил... Вот увидишь, тебе станет хуже и ты сляжешь... Тик.— Он берет ее за руку.— Да ты вся горишь...

— Пустое,— говорит Катинка и тихонько отпихивает руку.— Лишь бы не упустить чего...

Бай разглядывает посуду.

— А компота разве не будет? — говорит он.

— Конечно, будет.

— А где же тогда компотницы?..

— Забыли... Вот видишь, Бай, надо самой входить во все мелочи,— говорит Катинка и откидывается на подушки.

В гости приглашена была «старая гвардия» — как выразился Бай.

— Мы, «старая гвардия», понимаем друг друга с полуслова,— говорил он.— Все свойские ребята.

«Свойские ребята» были трое помещиков во главе с Кьером, четвертым был сам Бай.

Сверх комплекта пригласили еще и Свенсена.

— Душа общества,— говорил о нем Бай Катинке.

Катинка никогда не замечала, чтобы Свенсен был душой общества. В ее присутствии он не проявлял себя ничем — только и знал, что полировал ногти и жевал кончики усов.

— Прихвати его с собой, Кьер,— сказал Бай,— пусть будет пятым, с ним не соскучишься.

...Катинка сама открыла дверь в контору.

— Все готово, Бай,— сказала она.

Гости вошли в столовую. На Катинке было нарядное платье с высоким рюшем, подходившим вплотную к ее худенькому, осунувшемуся лицу.

За столом она сидела рядом с Кьером.

Заговорили о ее болезни.

— Вот увидите, зима свое дело сделает... чистый морозный воздух укрепляет силы.

— Морозный воздух, да, конечно.

— Выпьем за это,— предложил Бай.

Выпили.

— До дна,— сказал Бай.

У каждого из «своих ребят» под подбородком была приколотая булавкой салфетка. Прежде чем отправить в рот очередную ложку салата под майонезом, они его обнюхивали.

— На оливковом масле,— сказал помещик Мортенсен и засопел.

Перед Катинкой стояла почти пустая тарелка. Из-за болсы в груди она сидела совершенно прямо. Когда она пыталась есть, вилка дрожала в ее руке.

— Убери тарелку, Мария,— сказала она.

Подали уток, Кьер предложил тост за здоровье Бая.

— Вот уж у кого золотое сердце, вот уж кто друг так друг. Твое здоровье!

Гости оживились, усердно чокались друг с другом. Заговорили о центрифугах, о новых ценах на рогатый скот.

— А ну, старина,— за удачный год!

Бай выпил еще стакан.

Щеки Катинки пылали, лица гостей виделись ей сквозь какую-то мутную пелену. Она прижалась к спинке стула и смотрела на жующего Бая.

— Оно *само* течет в рот, просто *само* течет в рот,— убеждал Катинку Кьер, наливая ей в бокал старого бургундского.

— Спасибо, спасибо.

Помещик Мортенсен попросил разрешения поднять бокал... Мортенсен встал и освободил шею от салфетки... Словом, он просит разрешения поднять бокал...

Когда помещик Мортенсен поднимал бокал, он становился набожным... В пятой фразе он непременно поминал тех, «кто ушел ранее нас» и взирает на нас с горних высот...

Еще не было случая, чтобы не нашелся кто-нибудь, кто взирает на Мортенсена с горних высот...

«Своиские ребята» повесили носы и уставились в тарелки.

Катинка почти не слышала, что говорит Мортенсен. Она крепко ухватилась руками за сиденье стула, кровь то прилиwała к ее щекам, то сбегала с них.

Господин Мортенсен закончил свой тост и пожелал отведать еще кусок утки.

— Милая фру, ваши утки — объедение.

Катинка слышала смутный гул голосов. Когда она встала, ей пришлось опереться о край стола.

Гости перешли в кабинет Бая, Катинка снова рухнула на стул. Бай возвратился.

— Все сошло отлично, Тик, просто блестяще... И ты держалась молодцом...

Катинка выпрямилась на стуле и улыбнулась.

— Да,— сказала она...— Сейчас вам подадут грог...

Бай удалился. Катинка сидела за опустевшим столом, уставленным бутылками и недопитыми стаканами.

Из кабинета доносился хохот и громкий нестройный говор — слышался голос Къера...

— Отнеси туда лампы,— сказала Катинка. Каждый раз, когда Мария открывала дверь кабинета, до Катинки долетали взрывы хохота.

— Вы бы легли, фру,— сказала Мария.

— Еще успею...

— Ради этих-то обжор.— Мария так хлопнула кухонной дверью, что Катинка вздрогнула.

Посреди стола осталась одна-единственная свеча... Большой, неприбранный стол грустно глядел в полумраке.

Катинка так устала. Посидеть бы здесь тихонько в уголке и собраться с силами.

Мария расхаживала из кухни в кабинет, хлопая дверями...

Как они веселятся... Кто-то запел,— кажется, Свенсен...

Катинка сидела в своем уголке, прислушивалась к голосам и смотрела, как Мария проходит в освещенную дверь со стаканами и бутылками...

Все будет точно так же и тогда, когда она умрет и о ней забудут...

— Мария,— сказала она.

Она попыталась встать и уйти, но не смогла и ухватилась за стену. Мария довела ее до кровати.

— Представляли комедию, а теперь вот и платите,— сказала Мария.

Катинка села на край кровати и зашлась в долгом приступе кашля.

— Закрой дверь,— попросила она и снова раскашлялась.

— Надо покормить Бентсена,— сказала она.

— Нажрется еще, успеет,— сказала Мария. Она раз-

дела Катинку и теперь ходила взад и вперед и бранилась на чем свет стоит.

Свенсен густым басом пел в кабинете:

О мой Шарль, ты пришел мне письмо
Как, бывало, когда-то...

Звякали бокалы.

— Тише,— кричал Кьер.— Эй вы, приятели, тише!

...Катинка задремала было, но проснулась. Вошел Бай.

— Ну, повеселились на славу,— сказал он. От большого количества спиртного голос его звучал возбужденно.

— Они ушли? — спросила Катинка.— Который час?

— Кажется, полтретьего... В веселой компании время бежит незаметно...

Он присел на край кровати и начал разглагольствовать.

— Тыфу ты, дьявол, какие анекдоты рассказывает этот Свенсен, ну просто умора.— Бай пересказал несколько анекдотов, с хохотом похлопывая себя по ляжкам.

Катинка горела как в огне.

— А вообще-то, наверное, все вранье,— заключил Бай.

Перед уходом на него вдруг нашел приступ нежности, и на пороге он рассказал Катинке еще один анекдот про жницу Мортенсена...

— Ну, тебе, пожалуй, не мешает отдохнуть,— сказал он.— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Утром Катинке стало хуже. Доктор навещал ее теперь по два раза в день.

— Тыфу черт, вот история,— говорил Бай.— Во время дня рождения она держалась молодцом, доктор.

— Да — но больше она уже молодцом не будет, господин Бай,— сказал доктор.

Он запретил кому бы то ни было навещать Катинку. Ей нужен полный покой.

Трактирщица госпожа Мадсен знала об этом. Но неужто нельзя потешить больную и поболтать с ней — небось лежит одна в потемках и утирает слезы.

Мадам Мадсен подошла к кровати Катинки.

В комнате с опущенными занавесями было темно.

— Кто там? — спросила Катинка с подушек.

— Я,— сказала мадам Мадсен.— Трактирщица Мадсен.

— Здравствуйте,— сказала Катинка и протянула ей пышущую жаром руку.

— Ох, какая у вас рука — кожа да кости,— сказала мадам Мадсен.

— Да.— Катинка чуть-чуть шевельнула головой на подушке.— Мне что-то нехорошо.

— Хорошего мало... что и говорить,— сердито сказала мадам Мадсен. Она всматривалась в темноте в поху-девшее лицо Катинки.

— Вот до чего доводят пирушки,— сказала она.

— Наверное, я немного устала...

— Еще бы не устать,— сказала мадам Мадсен тем же сердитым голосом.

Чем дольше она сидела в этих печальных сумерках и глядела на несчастное, бледное личико на подушках, тем сильнее распирал ее гнев.

— Да, хорошего мало,— повторила она.— Но ему поделом.

И в ярости она рассказала все: про Бая, и про свою служанку, и как давно все это тянется...

— Впрочем, и Густа тоже кое-чем поплатилась...

Катинка сначала не поняла... она была такая вялая, ко всему безучастная.

И вдруг ее словно озарило,— широко открытыми глазами она уставилась в лицо мадам Мадсен.

— И вот ради такого аспида женщина себя вгоняет в гроб,— сказала мадам Мадсен.

Она помолчала, ожидая, что скажет Катинка.

Но Катинка лежала молча. Только две слезинки скатились по ее щекам.

— Ну, ну, не надо,— сказала мадам Мадсен совсем другим тоном.— Я тоже хороша, дура этакая.

И мадам Мадсен удалилась.

— Мария,— сказала Катинка.— Открой занавески, пусть будет светло.

Мария раздвинула занавеси, дневной свет залил постель Катинки.

— Вы плачете, фру? О чем? — спросила она.

Катинка повернулась к свету.

— Болит грудь? — спросила Мария.

— Нет, нет,— сказала Катинка.— Мне хорошо.

Она плакала беззвучными отрадными слезами.

Потом слезы иссыкли, и она лежала неподвижно, с несказанным миром в душе.

Настали последние дни золотой осени. По утрам яркое солнце затопляло кровать Катинки. Она предавалась сладким грезам, и руки ее тихо поглаживали нагретое солнцем одеяло.

— Фру так хорошо выглядит,— говорила Мария.

— Я и чувствую себя хорошо.— Катинка кивала, не открывая глаз, и снова тихо лежала в лучах солнца.

— Завтра я встану,— говорила она.

— А вы и впрямь теперь можете, фру...

Катинка обернулась к окну.

— Словно лето вернулось,— сказала она.— Если бы только я могла завтра встать...

Она все время твердила об этом: только бы встать. Спуститься к беседке под бузиной.

— Какая она сейчас, бузина? Листья еще не опали? А розы? А вишни?.. Как она цвела, вишня, в прошлом году...

— Когда фру уезжала, все соседи наварили варенья,— сказала Мария.

— Вокруг было белым-бело...

Катинка все время вспоминала о саде. И каждую минуту говорила:

— Как ты думаешь, он мне позволит, разрешит мне...

— Наверно, если выдаться солнечный день...

Доктор не пришел, и после обеда. Марии пришлось самой отправиться к нему.

Уже стемнело, а Мария все не возвращалась. Катинка лежала, не зажигая света. Она звонила в маленький колокольчик у кровати.

— Еще не приходила? — спрашивала она.

— Да ведь пока она дойдет туда, пока обратно,— говорил Бай.

— Как долго,— говорила Катинка. Щеки ее пылали лихорадочным румянцем.

Она прислушивалась к каждому скрипу двери.

— В кухне открылась дверь,— говорила она.

— Это метельщик.

— А ее все нет,— говорила Катинка.

— Этак ты опять захвораешь,— говорил Бай.

Она притихла, больше не звонила и ни о чем не спрашивала. Потом услышала, как Мария открыла дверь конторы. Катинка с бьющимся сердцем замерла под одеялом, но не произнесла ни слова.

— Что он сказал? — спросил Бай из конторы.

— На полчаса днем можно,— ответила Мария,— если будет солнечно. А хозяйка спит?

— Кажется, да...

Мария вошла в комнату. Катинка лежала молча. Потом спросила:

— Это ты?

— Да, фру, он разрешил немножко посидеть на солнышке, он сказал — в полдень...

Катинка отозвалась не сразу. Потом вдруг взяла Марию за руку.

— Спасибо, Мария,— сказала она.— Ты очень добрая.

— Какая у вас горячая рука, фру...

Ночью у Катинки был жар. Глаза у нее горели, она не могла заснуть. Но Марию она разбудила только под утро.

Мария выглянула из окна на улицу.

— Кажется, будет ясно,— сказала она.— Поглядите, как хорошо,— сказала она.

— Выгляни в кухонную дверь,— попросила Катинка с кровати.— С той стороны всегда набегают тучи.

Но и в кухонную дверь смотрело чистое небо.

— Я сама, я могу сама,— говорила Катинка. Держась за стенки, она шла по прихожей к выходу, на платформу.

— Как тепло,— говорила она.

— Тут ступеньки... Так — хорошо...

Ей было трудно идти по гравию. Она прислонилась к плечу Марии.

— Голова такая тяжелая,— сказала она.

Через каждые три шага она останавливалась и глядела вдаль, на поля и лес. Казалось, солнце высвечивает каждый лист в пестрой листве.

Катинке хотелось дойти до калитки перрона. Она стояла, прислонившись к забору.

— Какая она красивая, роща,— сказала она.

Она поглядела вдаль, на залитую солнцем дорогу.

— Там подальше межевой камень,— сказала она.

Потом снова залюбовалась полями, лугами, чистым небом.

— Да,— сказала она, и голос ее был едва слышен,— как здесь красиво...

Мария украдкой утирала слезы...

— Но листья уже облетают,— сказала Катинка. Она повернулась и несколько шагов прошла одна.

Они вошли в сад.

Катинка умолкла. Они спустились через лужайку к беседке.

— Бузина,— только и сказала она.

— Здесь я хочу посидеть,— сказала она.

Мария укутала ее одеялами, и она, поникнув, молча глядела на залитый солнцем сад.

Лужайка была усыпана желтыми листьями с вишневых деревьев, на розовых кустах еще доцветали несколько мелких роз.

Мария хотела их сорвать.

— Не надо,— сказала Катинка.— Жалко, пусть цветут.

Она продолжала сидеть на скамье. Губы ее шевелились, точно она шептала что-то.

— Хус, бывало, любил здесь сидеть,— сказала Мария. Она стояла у скамьи.

Катинка вздрогнула. Потом сказала с тихой улыбкой:

— Да, он пришел бы посидеть сюда.

Они пошли обратно.

У калитки Катинка постояла немного. Оглянулась в сторону сада.

— Кто будет здесь гулять теперь? — сказала она.

Она очень устала. Она тяжело оперлась на руку Марии, а в прихожей ухватилась за стенку:

— Открой дверь во двор,— попросила она.— Мне хочется видеть лес.

Она подошла к двери, прислонилась к дверному косяку и с минуту глядела на лес и дорогу.

— Мария,— сказала она,— и еще я хочу посмотреть на голубей.

С этого дня Катинка больше не вставала. Силы быстро оставляли ее.

Вдова Абель принесла ей винное желе.

— Оно так освежает,— сказала она. Она сквозь слезы глядела на Катинку.

— И лежите вы тут одна-одинешенька,— сказала она.

Фру Абель решила прислать к Катинке Луису-Старшенькую.

— Моя старшенькая ни дать ни взять *сестра милосердия*,— сказала фру Абель,— *настоящая сестра милосердия...*

Днем явилась Луиса-Старшенькая — она расхаживала на цыпочках в белом переднике. Катинка лежала так тихо, должно быть, спала... Луиса-Старшенькая накрыла на стол и приготовила кофе.

Во время завтрака дверь в спальню притворили...

Бай был благодарен от души. Вдова утирала слезы. — *Друзья* познаются в беде, — говорила она.

После обеда приходила фру Линде и садилась у постели с вязаньем. Она рассказывала всякую всячину обо всех жителях прихода, о себе и о своем Линде.

Под вечер за женой заходил старый пастор, и старики еще немного сидели вдвоем в сумерках у постели.

Разговору только и было что об Агнес.

— Линде просто жить без нее не может, — говорила фру Линде. Сама она втихомолку проливали слезы о дочери с утра до вечера.

— Что поделаешь, матушка, в ней вся моя отрада, — говорил старый пастор.

— Вот увидите, она приедет, — говорила Катинка.

— И останется старой девой. — В руках фру Линде мелькали спицы.

Мысль, что Агнес останется «старой девой» не давала фру Линде покоя.

Они болтали о том, о сем; перед уходом старого пастора угощали стаканчиком черносмородиновой настойки.

— Хороша, — говорил старый пастор, — и в голову не ударяет.

И старики ковыляли домой по темной осенней дороге.

Бай частенько отлучался из дому.

— А что, если мы сыграем партию в ломбер? — говорил Кьер. — Тебе надо развеяться, старина.

— Твоя правда, дружище Кьер. — Бай подносил руки к глазам.

— Хотя бы раз в неделю, — говорил он. — Спасибо тебе... Спасибо за дружбу. — Растроганный Бай хлопал Кьера по плечу. В последнее время Бая было очень легко растрогать.

Он уходил из дому и до поздней ночи играл в ломбер.

Возвращаясь домой, он будил Катинку — не мог же он заснуть, «не узнав, как она себя чувствует».

— Спасибо, хорошо, — говорила Катинка. — Тебе было весело?

— Какое уж тут веселье, когда ты лежишь больная, — отвечал Бай. Он сидел у постели и вздыхал до тех пор, пока Катинка не просыпалась окончательно.

Тогда он говорил ей: «Спокойной ночи».

— Спокойной ночи, Бай.

Когда днем Мария отлучалась из дому, дверь в контору Бая оставляли открытой. Катинка с постели прислушивалась, как постукивает телеграфный аппарат.

— Ни минутки-то он не отдохнет... — говорила она. — Чего только не сообщает.

— Бай, — окликнула она. — Это сюда, местная...

Бай громко выбранился в конторе...

— Постою-ка, — он подошел к двери спальни, — будь я проклят, если это не пастору.

— Пастору. — Катинка села на постели. — Должно быть, от Агнес, — сказала она.

Бай ничего не ответил и стал метаться как угорелый. Он то хватал синий карандаш, то искал мундир, так его и не надев, второпях записывал телеграмму, записал неправильно и изорвал ее в клочки.

— Бай, — сказала Катинка, — так это вправду от Агнес...

— Да, будь я проклят...

Бай сам умчался отнести телеграмму незадолго до прихода вечернего поезда.

Баю еще ни разу не приходилось видеть, чтобы люди были так счастливы. Старики то смеялись, то плакали.

— Господи... неужто это правда... Господи... неужели правда...

— Ну да, матушка... Да... — Старый пастор старался держаться спокойно.

Он шикал на жену и гладил ее по голове.

Но потом молитвенно сложил руки.

— Нет, — сказал он, — это слишком большое счастье. — И заплакал сам, утирая слезы бархатной ермолкой.

— Да, да, — сказал он. — Господь милосерден, я всегда говорю, господь милосерден...

Старый пастор хотел сам сообщить новость Катинке, он взял пальто, шляпу и рукавицы, потом снова все отложил и схватил Бая за руки:

— Довелось все-таки, начальник, — сказал он. — Довелось нам, старикам, дожить — дожить до этого счастья, начальник.

— Гм, конечно, у каждого свое...

— Теперь Андерсен поймет, *поймет*, что он потерял,— сказал старый пастор.

Он бестолково суетился и никак не мог закончить сборы.

На прощанье пасторша угостила их земляничной наливкой.

По дороге старый пастор то и дело насвистывал песенку «Солдатик храбрый наш».

Пастор сидел у кровати Катинки.

— Да,— говорил он.— Господь соединяет любящие сердца.

Через неделю Агнес возвратилась домой.

Она влетела с платформы прямо в контору. В открытую дверь она увидела Катинку — та лежала на подушках с закрытыми глазами. Агнес с трудом узнала ее.

Катинка открыла глаза и посмотрела на Агнес.

— Да, это я,— сказала она.

Агнес вошла в спальню, взяла руки Катинки в свои. Опустилась на колени у кровати.

— Моя прелесть,— сказала Агнес, сдерживая слезы.

Она приходила каждый день после полудня и оставалась у Катинки до вечера.

Разговаривали они мало. Катинка дремала, а Агнес, уронив на колени шитье, вглядывалась в худенькое личико на подушке. Из груди Катинки вырывалось слабое, свистящее дыхание.

Стоило Катинке шевельнуться, и Агнес снова бралась за шитье и проворно орудовала иглой.

Катинка лежала без сна. Она чувствовала бесконечную слабость, говорить она была не в силах. Начался приступ кашля. Она выпрямилась на постели, кашель разрывал ей грудь.

Агнес поддерживала ее. Катинка обливалась холодным потом.

— Спасибо,— говорила она,— спасибо.

Она снова откинулась на подушки и затихла. Из-за полога кровати она глядела на лицо Агнес, такое круглое и здоровое, на ее руки, решительно управлявшиеся с шитьем.

— Агнес,— сказала она,— поиграйте мне, пожалуйста, немножко.

— Вам лучше поспать,— сказала Агнес.

— О нет. Поиграйте, пожалуйста.

Агнес встала и подошла к фортепиано. Она негромко наигрывала одну мелодию за другой.

Катинка лежала, не шевелясь и выпростав руки из-под одеяла.

— Агнес,— просила она,— спойте ее... пожалуйста.

Это была песня о Сорренто. Агнес запела низким грудным голосом:

Там высокие темные пинии
Виноградник от зноя хранят,
Вечерами там рощ апельсиновых
Над заливом сильнее аромат;
Там качают лодку воды,
Там кружатся хороводы
И к мадонне в небо своды
Воссылают голос свой.
Сколько б не жил я на свете,
Не забуду дали эти,
Эти ночи в лунном свете,
Твой, Неаполь, рай земной.

Она еще посидела немного у фортепиано. Потом встала и вернулась в спальню.

— Спасибо,— сказала Катинка.

Она помолчала.

Потом сказала еле слышно:

— Какой прекрасной могла быть жизнь.

Агнес опустилась на колени возле кровати. И они обе затихли в темноте. Катинка провела рукой по волосам Агнес.

— Агнес,— сказала она.— Мне не надо... не надо надгробного слова...

— Катинка, но...

— Пусть только помолятся за меня,— сказала она.

Она снова умолкла. Агнес тихо плакала. Катинка перебирала завитки ее волос.

— Но есть,— она говорила тихо-тихо, словно робея, и убрала руку с головы Агнес,— есть один псалом... Мне хотелось бы... пусть его споют... над моей могилой...

Ее шепот был почти беззвучен. Агнес зарылась лицом в подушки.

— Свадебный псалом,— еле слышно прошептала Катинка, как ребенок, который не решается высказать свою просьбу.

Агнес заплакала навзрыд, она схватила руки Катинки и целовала их и всхлипывала.

— Катинка... Катинка...

Катинка сжала ладонями ее голову и чуть подалась вперед:

— Вы с ним теперь будете счастливы,— сказала она. Она умолкла. Агнес продолжала плакать.

На другой день старый пастор соборовал Катинку. Бай был в отъезде в Рандерсе.

Ночью перепуганная служанка со свечой в руках разбудила Агнес:

— Фрекен... За вами прислали... со станции... фрекен просят сейчас же прийти.

— Со станции...— Агнес соскочила с кровати.— Кто там? — спросила она.

Она окликнула человека, стоявшего внизу, в сенях.

— Это я,— сказал Малыш-Бентсен.

Агнес вышла, накинув на себя какие-то платки.

— Она умирает, фрекен,— сказал Малыш-Бентсен. Он был бледен, у него зуб на зуб не попадал. Малыш-Бентсен еще никогда не видел умирающих.

— За доктором послали? — спросила Агнес.— Фонарь, Ане.

— Некого было послать...

Агнес взяла зажженный фонарь и вышла во двор. Она постучала в людскую. Стук отозвался эхом в сарае...

— Ларс, Ларс...

Лошади завозились в стойлах.

Вышел заспанный Ларс и остановился в дверях в свете фонаря.

Агнес зашагала через двор обратно к дому. Малыш-Бентсен вышел на крыльцо,— он боялся оставаться один в темноте.

— Вы поедете с Ларсом,— сказала Агнес и прошла мимо него в дом.

В сени выскочили перепуганные служанки.

— Сварите кофе,— сказала Агнес.— Да поживее.

Она отправилась к себе переодеться. Малыш-Бентсен остался в сенях один. Все двери в доме были распахнуты и поскрипывали в темноте. Полуодетые, заспанные девушки сновали из комнаты в комнату, каждая со свечой

в руке. Один подсвечник кто-то забыл на столе. Пламя колыхалось на сквозняке.

Батрак вынес из конюшни во двор зажженный фонарь и поставил его на каменный выступ, а сам снова куда-то ушел,— в темноте вокруг фонаря лежало светлое пятно.

Хлопнула дверца коляски, вывели лошадей. Каждый звук громко и жутко отдавался в ночной тишине.

Агнес прошла мимо Бентсена.

— Я иду,— сказала она.— Что у нее — судороги?

— Она кричит,— сказал Бентсен.

Агнес выглянула во двор.

— побыстрее,— крикнула она. Батрак побежал по двору с фонарем.

В кухне на подоконнике стояли две свечи, их мерцающее пламя освещало лошадей и коляску во дворе.

В столовую вышла фру Линде в халате старого пастора.

— Ложись, мама,— сказала Агнес.

— О боже мой, боже мой,— приговаривала старая фру Линде.— Так внезапно... Так внезапно...—И она тоже стала бродить из комнаты в комнату со свечой в руке.

Батрак распахнул ворота,— от грохота все вздрогнули,— в дверях кухни показался Ларс, ему налили чашку кофе.

Малыш-Бентсен вышел и взобрался на козлы... Он видел лицо пасторши — она всхлипывала и раскачивалась на стуле в колеблющемся пламени свечи.

Они выехали из ворот и рысью покатали в темноте по дороге — колья ограды проносились мимо них, точно танцующие привидения.

Ларс крепко натягивал поводья.

— Лошади чувствуют, когда едешь к покойнику,— сказал он.

И разговор оборвался. Свет фонарей от коляски скользил по растревоженным кольям ограды.

Бай расхаживал по прихожей из угла в угол, взад и вперед.

— Это вы,— сказал он.— Вы пришли. Ох, как она кричит.

Агнес отворила дверь в контору. Она услышала стоны Катинки и голос сиделки: «Ну же, ну, ничего, ничего».

Вошла Мария.

— А доктор? — сказала она.

— За ним поехали, — сказала Агнес.

Она вошла в спальню. Сиделка завела руки Катинки над ее головой. Под одеялами тело больной извивалось от конвульсий.

— Подержите, — сказала сиделка.

Агнес сжала запястья Катинки и тут же выпустила их — они были в холодном поту.

Руки умирающей судорожно забились о полог.

— Держите же, — повторила сиделка.

Агнес снова стиснула руки Катинки.

— А язык, язык... — сказала она. — Скорее ложку! Язык.

Катинка обмякла — на полуоткрытых губах сквозь стиснутые зубы выступила голубоватая пена.

Мария выронила ложку, не нашла ее на полу, стала искать другую, держа в руке свечу.

— Голову, — сказала сиделка. — Держите голову.

Мария стала поддерживать голову Катинки, сама дрожа всем телом.

— Господи Иисусе... всеблагой Спаситель, — повторяла она. — Господи Иисусе... всеблагой Спаситель...

Агнес прижимала руки Катинки к одеялу.

— Придерживайте голову, — говорила сиделка. Она почти легла на постель, пытаясь просунуть ложку между зубами умирающей.

Вокруг ложки выступила пена.

— Вот так, — прошептала сиделка. — Хорошо.

Катинка открыла глаза, огромные, испуганные, и устремила их на Агнес.

Она так и не сводила с нее испуганного взгляда.

— Катинка...

Умирающая застонала и обмякла... Ложка выпала у нее из рта...

— Сейчас ей полегчает, — сказала сиделка.

Глаза Катинки закрылись. Агнес выпустила ее руки. Женщины сели по обе стороны постели, прислушиваясь к слабому, неровному дыханию умирающей.

— Сейчас ей полегчает, — повторила сиделка.

Умирающая забылась дремотой и только изредка стонала.

С дороги послышался шум коляски. Дверь распахнулась, раздался голос доктора.

Агнес встала.

— Т-сс! Она спит,— сказала она.

Доктор вошел в спальню и склонился над кроватью.

— Да,— сказал он,— теперь уже недолго.

— Она страдает? — спросила Агнес.

— Кто это может знать,— ответил доктор.— *Сейчас* она спит.

Доктор и Агнес вышли в гостиную. Они слышали, как Бай расхаживал взад и вперед по конторе.

Агнес встала и вышла к нему.

— Что он говорит? — спросил Бай. И опять принялся расхаживать по комнате.

Агнес не ответила и молча опустила на стул.

— Я не могу поверить,— сказал Бай,— не могу в это поверить, фрекен Агнес.

Он метался взад и вперед, от двери к окну,— снова остановился возле Агнес и сказал, не глядя на нее:

— Не могу поверить, фрекен Агнес.

Доктор открыл дверь.

— Скорее,— позвал он.

Конвульсии начались снова. Баю пришлось держать руку Катинки.

Но он ее выпустил.

— Не могу,— сказал он и вышел, закрыв лицо руками. Было слышно, как он рыдает у себя в конторе.

— Оботрите ей лоб,— сказал доктор.

Агнес отерла пот со лба Катинки.

— Спасибо,— сказала Катинка и открыла глаза.— Это вы, Агнес?

— Да, Катинка. Это я.

— Спасибо.

И она снова впала в забытие.

Под утро она очнулась. Все сидели у ее кровати.

Глаза умирающей потускнели.

— Бай,— сказала она.

— Я здесь....

— Попроси ее сыграть.

— Сыграйте,— сказал доктор.

Агнес вышла. Она играла, не слыша того, что играет, и слезы стекали ей на пальцы и на клавиши фортепиано.

Катинка снова затихла. Только грудь подымалась и опускалась со свистом.

— Почему она не играет? — вдруг спросила она.

— Она играет, Тик...

— Она уже не слышит...

Умирающая покачала головой.

— Я не слышу,— сказала она.— Псалом,— прошептала она,— псалом.

Она снова ненадолго затихла. Доктор считал пульс умирающей, вглядывался в ее лицо.

Вдруг она поднялась и вырвала у доктора руку.

— Бай,— закричала она.— Бай!

Агнес вбежала в спальню. Все столпились вокруг кровати. Бай опустился на колени и зарыдал.

Вдруг все вздрогнули: в открытую дверь конторы застрекотал телеграф — он объявлял о приходе поезда...

Катинка открыла глаза.

— Смотрите, смотрите,— сказала она и приподняла голову.— Смотрите, солнце,— сказала она.— Солнце над горами.

Она подняла руки, снова уронила их, они скользнули вниз по одеялу.

Доктор быстро склонился над нею.

Агнес опустилась на колени у изножья кровати, рядом с Марней, и прижалась лицом к постели.

В комнате слышались только громкие рыдания.

Доктор поднял повисшие руки умершей и сложил их у нее на груди.

— Гм, вы что, заснули тут все, что ли, Бентсен? — Нескромный прыгнул на платформу.— Что новенького?

— Она умерла,— сказал Бентсен. Он дрожал как в ознобе.

— Что? О, черт...

Нескромный постоял, окинул взглядом маленькую станцию — она была такой же, как всегда.

Он повернулся и тихо ступил на подножку паровоза.

Поезд скрылся в зимней мгле за далью полей.

VII

Был первый день зимы. Воздух прозрачен, прихваченная легким морозцем земля покрыта тонким слоем снега.

Возле церкви стали собираться мужчины, торжественные, в высоких старомодных цилиндрах. Они шептались,

сбившись в кучки, и по очереди подходили и заглядывали в могильную яму, вырытую у самой стены.

В церкви несколько женщин бесшумно расхаживали вокруг гроба и поправляли венки, а дьячок и старушка Иенсен раскладывали на пюпитрах тексты псалмов.

Наконец всё было готово.

— И над могилой семьсот пятьдесят третий псалом,— сказала старушка Иенсен.

По случаю «печального события» старушка Иенсен стала чем-то вроде распорядителя. Она с первой минуты взяла усопшую на свое попечение и дома и в церкви. В связи с трауром «институт» был распущен на «осенние каникулы».

Фрекен Иенсен сглядела убранство церкви и подошла к гробу вместе с дьячком: с хоров правильными полукружиями свисали гирлянды, над свечами в алтаре двумя колбасами тянулся траурный креп.

— Прекраснейший вышел гроб по зимнему времени,— сказал дьячок.

Они стали рассматривать венки.

— Красиво плетут венки на мельнице,— сказала фрекен Иенсен.

— Не то что *некоторые*,— заметил дьячок, он передернул плечами и покосился на венок, присланный семейством Абель.

— Еще бы,— подтвердила фрекен Иенсен,— тут ведь никакого «интереса» нет.

Фрекен Иенсен отошла на несколько шагов и окинула гроб испытующим взглядом.

— Да,— сказала она,— хорошо, что мы выбрали дубовый.

— Позволю себе заметить, и для покойника оно опрятнее,— сказал дьячок.

Зазвонили колокола, фрекен Иенсен вышла из церкви на кладбище. Она здоровалась с отцами своих учениц и одновременно подсчитывала присутствующих.

Пришел Бай в сопровождении двух мужчин в теплых гамашах; все приподняли шляпы. Старушка Иенсен пожала Баю руку в часовне.

Когда все заняли в церкви свои места, появилось семейство Абель. Шествие возглавляла вдова — по ней было видно, что она одевалась второпях. Оба «птенчика» были в траурных вуалях, точно вдовы.

Луиса-Старшенькая возложила на гроб крест, сплетенный из плюща.

Агнес сидела рядом с пастором. Она не слышала пения и не открывала своего псалтыря. Она сидела и смотрела сквозь слезы на гроб, в котором покоилась ее «преlestь».

Пение стихло. Старый пастор встал и вышел вперед.

Когда Бай увидел, что пастор стоит, сложив руки, у гроба, он заплакал навзрыд.

Старый пастор безмолвно ждал, устремив глаза на гроб. Потом заговорил, почти не повышая голоса. Через окна хоров на гроб и венки струилось зимнее солнце.

Старый пастор говорил о тихих душах в земной юдоли.

Она была тихой — и тихо прожила свою жизнь. Всемогущий господь, который ведает своих избранников, даровал ей счастливую жизнь с добрым супругом и в неизреченной милости своей ниспослал ей мирную кончину. Да примет душу ее он, единственный, кому ведомы помыслы и сердца наши, да ниспошлет утешение — он, единственный утешитель наш, тем, кто ныне скорбит о ней.

Аминь.

Старый Линде умолк. Стало совсем тихо.

Вошли носильщики с дьячком и фрекен Иенсен; старушка начала убирать с гроба венки.

Все встали и смотрели вслед гробу, который выносили из церкви под звуки свадебного псалма:

О, как отрадно вдвоем идти
Тропою жизни рука с рукою,
И крест свой легче вдвоем нести,
И счастье сладостней там, где двое.
О да, отрадно
В пути быть вместе,
Когда сияет твой свет, любовь.

Агнес неотрывно смотрела вслед гробу. В распахнутые двери церкви заглядывал солнечный день.

Твой свет, любовь...

Подожли к могиле. Гроб покачивался на руках у мужчин, конец веревки выскользнул из рук могильщика и упал на дно ямы.

Все ждали, пока поймают веревку и перекинут ее вокруг гроба...

Бай схватился за какой-то куст, точно собирался его сломать, веревка натянулась, гроб подтолкнули и стали опускать вниз.

Агнес закрыла глаза.

О, как печально для двух сердец,
Когда разлуки час наступает.
Но в милосердьи своем творец
Сердца навеки соединяет.
О да, отраднo
Соединиться
Там, где нетленен
Твой свет, любовь...

— Ну, ну, зять.— Гамаша с двух сторон поддерживала рыдающего Бая.

Пение смолкло. Все затихло, над обнаженными головами ни звука, ни ветерка.

Горсть песка тяжело упала на гроб из дрожащих рук старого Линде.

Отче наш, иже еси на небеси.

Все было кончено. Гамаша пожимали руки и благодарили «за сердечное участие».

Госпожа Абель остановила их у ворот ограды. Она приготовила скромное угощение для Бая и его шуринов.

Без всяких церемоний, запросто — чтобы не сидеть в доме одним...

Фру Абель промакнула слезы.

— Тот, кто *сам* познал, что такое утрата...— сказала она.

Толпа разошлась.

Агнес осталась у могилы одна. Она смотрела в яму на гроб, на венки, присыпанные песком...

Потом взглянула на дорогу — по ней шли люди, возвращавшиеся домой, к своим повседневным делам.

Вот Бай между двумя дамами в вуалях — в длинных траурных вуалях... И два господина в гамашах... Катинкины братья... они благодарили присутствующих от имени семьи.

После всех своих трудов фрекен Иенсен приглашена отобедать к мельничихе. Фрекен Хелене ковыляет в маленьких, не по размеру, сапожках...

Вот они все уходят...

Торопятся.

Агнес склонила голову. Ее охватила гневная досада против всей этой мелочной суеты, которая вновь потекла по привычному руслу.

Сзади послышались шаги. Это был Малыш-Бентсен с большой коробкой.

— Тут венок, фрекен,— сказал он.— Я решил лучше сам принести. Его доставили двенадцатичасовым.

Бентсен вынул венок из коробки.

— Это от Хуса,— сказал он.

— От Хуса,— повторила Агнес. Она вынула венок и посмотрела на уже начавшие вянуть розы.— Какой красивый он был.

— Да, очень,— сказал Бентсен.

Они постояли у могилы, Агнес преклонила колени и осторожно опустила венок на могилу. Розовые лепестки осыпались на лету.

Агнес обернулась — Малыш-Бентсен плакал.

К ним подошел сторож.

— Фрекен... может, вы... пора закрывать...

— Сейчас идем... Дьячок позволил мне побыть здесь,— сказала Агнес.

Агнес и Бентсен молча побрели по дорожке. Сторож уже ждал их у ворот.

Засунув руки в карманы пальто, Агнес смотрела, как сторож закрывает ворота и навешивает на них замок.

Малыш-Бентсен попрощался и ушел, все еще всхлипывая.

Агнес долго стояла у запёртых ворот.

Бай зачастил к семейству Абель.

Вдове Абель была невыносима мысль, что он остался один-одинешенек в пустых комнатах... Да еще когда сама сидишь в уютном доме, у зажженного огонька,— говорила фру Абель.

Они с Луисой-Старшенькой заходили за Баем после отправления восьмичасового поезда.

— Просто посидим в уюте, у огонька,— говорила фру Абель.

Луиса-Старшенькая чувствовала себя на станции, как дома. Перед уходом ей во что бы то ни стало надо было хоть на скорую руку полить цветы.

Фру Абель помогала ей.

— Она их так любила, наша милочка,— с умилением говорила она.

«Милочка» была Катинка.

— А «бабын сплетни»,— говорила Луиса-Старшенькая.— Им ведь тоже хочется пить.— И она кивала «бабын сплетням» в подвесном вазоне.

Луиса поила «бабын сплетни», Баю приходилось держать стул. Она поднималась на цыпочки с кувшином в руке и показывала свое «украшение».

— Ничего-то она не забывает,— говорила фру Абель. «Бабын сплетни» поили до тех пор, пока вода не выплескивалась на пол.

— Ничего, Мария подотрет,— ехидно заявляла Луиса-Старшенькая, косясь в сторону кухни. На пороге кладовой Луиса задерживалась для «осмотра». У Луисы были на редкость проворные руки, когда дело касалось лакомого кусочка, припрятанного на тарелке в кладовой.

И они шли домой на огонек.

Луиса-Старшенькая в белом переднике разливала чай.

Малютка-Ида никогда не являлась по первому зову.

— Она *пишет*,— поясняла вдова из своего уголка.

Малютка-Ида писала всегда почему-то в дезабилье.

— Пуся-ся забыла надеть манжеты,— говорила вдова.

— Ах да, правда,— отвечала Пуся-ся.

У Пуси-си вообще был совершенно растерзанный вид.

— Ведь он *в отъезде*,— поясняла вдова.

После ужина Бай читал «Дагстелеграфен» и пил грог. Луиса-Старшенькая вышивала. Вдова сидела в уголке и «умнялась»:

— Вы должны чувствовать себя у нас, как дома, это наше единственное желание.

Бай дочитывал газету, и Луиса-Старшенькая садилась за фортепиано. Под конец она всегда играла одну из Катинкиных пьес.

— Наша милочка любила ее играть,— говорила вдова и бросала взгляд на портрет Катинки — он висел над диваном под зеркалом в венке из бессмертников.

— Да,— говорил Бай. И складывал руки. У огонька, пропустив стаканчик грога, он всегда разнеживался при мысли о своей «утрате».

Вдова его *прекрасно* понимала.

— Но у нас остается светлая память,— говорила она.— И надежда на свидание.

— Конечно.

Бай смахивал слезинки двумя пальцами.

Ему наливали второй стакан грога, и начинался разговор о «дорогой покойнице».

Старушка Иенсен сидела в темноте у своего окна — она хотела услышать, как Бай будет уходить.

Старушка Иенсен теперь частенько навевывалась в пасторскую усадьбу.

— Вдова Абель и ее дочери не хотят, чтобы им мешали,— говорила старушка Иенсен.

В первые недели после похорон фрекен Иенсен была частым гостем на станции.

— Женщина всегда старается помочь чем может,— говорила она мельничихе.

— Понятное дело,— отвечала мельничиха.

Фрекен Хелене вытягивала ноги и рассматривала свои войлочные туфли.

— А милая Катинка,— после смерти Катинки фрекен Иенсен стала называть ее по имени,— милая Катинка так его избаловала.

Фрекен Иенсен взяла на себя нечто вроде верховного надзора за домом Бая.

— От служанки много ли проку,— говорила она.

По окончании уроков она являлась на станцию с плетеной корзиной и мопсом. У Бель-Ами завелась теперь собственная корзина возле печи.

Фрекен Иенсен бесшумно ходила по кухне и готовила Баю его любимые блюда.

Накрыв на стол, она надевала пальто. Бай просил ее всенепременно остаться и перекусить с ним за компанию.

— Ну что ж, если вам приятно, я останусь,— говорила старушка Иенсен.

— Все-таки живой человек в доме,— скромно добавляла она.

Мопса снова укладывали в корзину и садились ужинать.

Старушка Иенсен не навязывалась с разговорами. Она просто всем своим видом выражала молчаливое сочувствие, а Бай накладывал себе любимые кушанья. К нему мало-помалу возвращался аппетит.

После ужина они играли в пикет, изредка обмениваясь двумя-тремя словами.

В десять часов фрекен Иенсен собиралась восвояси. — Я была на могиле, — говорила она. — Отнесла цветочки.

Фрекен Иенсен присматривала за могилой.

Мопс повизгивал по дороге домой. Но фрекен Иенсен не брала его на руки.

Она была поглощена своими мыслями. Фрекен Иенсен подумывала о том, чтобы продать школу.

Ей гораздо больше подошло бы место, где дама с образованием чувствовала бы себя хозяйкой дома.

Однако в последние два-три месяца фрекен Иенсен стала редким гостем на станции.

Она не из тех, кто любит навязываться.

Но фру Абель она просто *не может* понять.

По вечерам фрекен Иенсен сидела у окна, чтобы удостовериться, удалось ли Баю вообще вырваться домой.

— А о могиле забочусь я, — говорила она мельничихе.

— Носит этих девиц нелегкая, так и вьются под ногами. — Кьер обмахивался шляпой в конторе, точно отгонял мух. Мимо него только что прошмыгнула в дверь Лунса-Старшенькая.

— Так и вьются, черт их дери, — сказал Кьер.

Кьер собирался в Копенгаген и уговаривал Бая поехать с ним.

— Тебе полезно, старина, ей-богу, во как полезно... Проветриться... Не сидеть бобылем... Сразиться в кегли, — говорил он.

Бай никак не мог решиться...

— Понимаешь — еще так мало времени прошло... А впрочем, проветриться, пожалуй, следует...

Через неделю они собрались. Фру Абель с Лунсой уложили его чемодан.

Поезд тронулся, Бай откинулся на спинку сиденья и понюгал бицепсами.

— Далеко собрались? — спросил Нескромный. Они увидели его из окна на какой-то промежуточной станции. — Холостяцкая вылазка... Два бравых молодца... — Нескромный засмеялся и прищелкнул языком.

— Да вот, решили прокатиться — тряхнуть стариной, — сказал Бай. Он хлопнул Кьера по коленям и повторил: — Тряхнем стариной, а, дружище...

Поезд тронулся, они замахали Нескромному, а он что-то кричал им вслед.

Они вдруг сразу развеселились, стали сквернословить и похлопывать себя по ляжкам.

— Стало быть, привелось еще разок, еще один разок,— говорил Бай.

— Однова живем,— говорил Кьер.

— Сыны Адама, дружище Кьер,— говорил Бай.

Они смеялись и болтали. Кьер был доволен.

— Вот теперь я тебя узнаю,— говорил он.— А то нашел занятие — протирать штаны «у огонька»... Но теперь я тебя узнаю.

Бай вдруг сделался серьезным.

— Не говори, дружище,— сказал он.— Это было печальное время.

Он два раза вздохнул и снова откинулся на сиденье.

Потом заговорил повеселевшим голосом:

— Слушай, давай прихватим Нильсена.

— Какого еще Нильсена? — спросил Кьер.

— Помнишь, лейтенантика... Мы ведь новых мест не знаем, Кьер... Помнишь, у пастора... Разбитной такой парень... Да ты его видел... Уж кутить так кутить...

Они начали позевывать и притихли; потом заснули каждый на своем сиденье и проспали до самого Фридеритса.

Там они вволю нагрузились коньяком, чтобы «не озянуть ночью».

Бай вышел на платформу. Поезд переводили с одного пути на другой, свистели свистки, гудел гудок, в ушах стоял сплошной гул.

Бай остановился под фонарем, вокруг сновали и толпились люди.

— Ну, что скажешь, старина,— сказал он Кьеру, потирая руки и оглядывая платформу.

— Жизнь есть жизнь,— сказал Кьер.

Дамы в дорожных шляпках, розовые со сна, порхали вверх и вниз по ступенькам вагонов.

— И красоток хсть отбавляй,— сказал Бай.

Вокруг кричали, зазвонил колокол.

— Пассажиры на Стриб — пассажиры к парому...

В половине одиннадцатого Бай прибыл в Копенгаген. Лейтенанта Нильсена они обнаружили на пятом этаже в доме на улице Даннеброг. Вся меблировка комнаты составляли платяной шкаф с покосившейся дверцей, в котором сиротливо висела форменная тужурка, и бамбуковый табурет с умывальником.

Лейтенант лежал на продавленном соломенном тюфяке.

— Я тут по-походному, начальник,— сказал он.— Зимние квартиры у нас «anderswo»¹.

Бай сказал, что они хотят «посмотреть город».

— Этакие места,— сказал он.— Понимаете...

Лейтенант Нильсен *отлично* понимал.

— Хотите посмотреть «ярмарку»? — сказал он.— Положитесь на меня — вы ее увидите.

Он натянул брюки и стал звать какую-то мадам Мадсен. Мадам Мадсен просунула в дверь голую руку с куском мыла.

— Мы тут по-семейному,— сказал лейтенант, намыливая руки до локтей мылом мадам Мадсен.

Они договорились, где встретятся, прежде чем отправиться полюбоваться голыми ножками в казино.

— А потом заглянем на «ярмарку»,— сказал Бай.

Лейтенант выманил у мадам Мадсен три эре и без промедления отправился в «кабак».

Кабак был небольшим питейным заведением на Пиллеаллеен, где «шайка» обычно играла в кегли и карты.

«Шайка» состояла из трех младших лейтенантов и двух белобрысых студентов Высшей сельскохозяйственной школы.

Когда Нильсен явился в кабак, все они уже играли в ломбер, сняв пиджаки и сдвинув шляпы на затылок.

— Здорово, братцы,— сказал Нильсен.— Как картишки?

— *Разбавляем* помаленьку,— сказал один из белобрысых, передернув плечами.

— *Сногшибательно*,— сказал один из лейтенантов.

— *Сногшибательно*, и весьма,— сказал другой.

Компания пристрастилась к словечку «сногшибательно». Каждые четверть часа все по очереди повторяли его с особым выражением, поигрывая пальцами.

— *Сногшибательно*.

— Не пора ли разбавить? — сказал Нильсен.

«Шайка» разбавляла ломбер пивом и «женским полом».

— Я подцепил парочку «толстосумов»,— объявил Нильсен.

¹ В другом месте (нем.).

— Толстосумов? Черт возьми, Нильсен, да неужели? — Белобрысы сдвинули шляпы еще дальше на затылки.

— Парочку престарелых толстосумов, братцы...

Братцы застучали по столу пивными кружками во здравие удачливого ловца.

Вечером Нильсен с Кьером и Баем посмотрели «голые ножки», а потом вся «шайка» собралась на Вестербро.

Нильсен привел с собой нескольких розовощеких девиц, — они тянули шведский пунш и кокетливо похлопывали по пальцам «двух старичков-провинциалов».

Бай приговаривал: «Шикарно», — и щеголял другими словечками из времен своей армейской молодости.

Белобрысы быстро опьянели. Они несли какую-то невинятицу, повторяли:

— Эй, старые кабаны! — и трясли Бая и Кьера за плечи.

Попойка продолжалась.

— Ну, сильны, старые хрычи!

— Прошу без рук. — После обильных возлияний Бай стал щепетилен.

...Что было потом, Бай не помнил. Лейтенанты вдруг куда-то исчезли с розовощекими девицами.

— Сбежали, — сказал Кьер.

— Господа, наверное, скучают в одиночестве...

Дамочка не первой молодости подседа за их столик...

Прошла неделя.

По утрам Кьер занимался делами. Бай чаще всего спал.

Кьер возвращался, входил в комнату.

— Ты что, еще спишь? — удивлялся он.

— Да, неохота вставать, — отвечал Бай с дивана и протирал глаза. — Который час?

— Два.

— Значит, пора. — Бай поднимался. — Не диван, а гладильная доска, черт его дери. — У Бая затекали руки и ноги.

Потом он одевался.

Ему надо было выбрать надгробный памятник. Бай надумал купить памятник Катинке в Копенгагене.

Они побывали уже у трех или четырех каменотесов, но Бай все никак не мог выбрать.

Кьеру уже изрядно надоело таскаться за Баем от одной надгробной плиты к другой.

— Конечно, это благородно с твоей стороны, старина, очень благородно. Но, ей-богу, твоей жене и так лежитя неплохо.

Но Бай пришел даже в некоторое умиление, разгуливая среди цоколей с мраморными голубками и ангелочками.

Однако сегодня истекал последний день, пора было решаться.

Бай выбрал большой серый памятник—крест, две мраморные руки, которые встречаются в пожатье, и над ними мотылек—быстротечная жизнь.

Бай долго стоял перед памятником с изображением двух рук и мотылька.

— Красивая мысль,— сказал он и смахнул слезу двумя пальцами.— Вера, надежда и любовь.

Кьер не всегда понимал ход мыслей Бая, когда тот скорбел.

— Да, мысль недурна,— сказал он.

Вечером они пошли в Королевский театр.

После театра собирались заглянуть в Варьете.

— Нет, спасибо, с меня хватит,— сказал Кьер.— Протирать штаны в ожидании этих прохвостов.

И Кьер отправился домой.

Бай потащился в Варьете один. Черт побери, по крайней мере, никто не сможет сказать, что он остановился на полдороге.

Бай вошел в зал. Никого из шайки лейтенанта не было видно. Бай устроился на галерее и стал ждать.

— Спасибо, ничего не надо... стакан содовой.

Он смотрел сквозь табачный дым вниз на восемь девиц, которые кружком сидели на эстраде, и на зрителей.

— Черт подери, одни юнцы...

«Мошенники»,— думал Бай. Он смотрел в зал, подперев щеку рукой.

— Одни юнцы,— повторил он снова.

В зале кричали, стучали тросточками: английская танцовщица энергично задирала юбки выше головы. Бай все эти вечера любовался задранными юбками.

Он почти со злостью глядел вниз, на беснующиеся тросточки.

— Есть от чего с ума сходить,— проворчал он.

Он потягивал содовую и смотрел вниз на восьмерых девиц, которые сидели рядком, точно сонные куры на насесте, и на юнцов, которые орали, чтоб убедить самих себя, что им весело...

Он прождал почти три четверти часа — шайка так и не явилась.

— Ну и пусть, может, оно к лучшему, что нет ни их, ни их розовощеких «кукол»....

А подцепить престарелую «девицу» он может и без их помощи.

Да еще эти двое мужланов обзывают их «старыми хрычами».

Бай посмотрел в дальний угол зала: двое юнцов кокетничали с двумя девицами. Одна была совсем молоденькая, свеженькая, с ямочками на щеках...

Молодой человек наклонился к ней и под покровом вуалетки украдкой сорвал с ее губ поцелуй.

Шайка все не приходила. Бай смотрел, как милуются два голубка, и в его душу закрадывалась горечь и обида...

— Черт побери, никого... Обобрали, и след простыл.

Зал мало-помалу пустел. Поредела толпа внизу, парочки с галереи одна за другой исчезали на лестнице.

Дым и пивные пары тяжелой, плотной пеленой висели над столиками с недопитыми стаканами.

По галерее семенила взад и вперед только одинокая дама средних лет и искусительно кивала Баю.

В зале уже прикрутили лампы, а Бай все сидел, подперев голову ладонями, и смотрел в опустевший, грязный зал.

Потом чертыхнулся и встал.

Дама средних лет засуетилась у балюстрады:

— А вы все еще здесь, сударь...

— *Катитесь к черту.*

Весь запас своей злости Бай вложил в пинок, которым он наградил даму средних лет.

— Как вы смеете, — взвизгнула дама, — так обращаться с дамой... с домовладелицей!..

Кьер уже лежал в постели.

— Ну что, — спросил он, — весело было?

Бай стащил с ног сапоги.

— Они не пришли, — пробормотал он.

— Подонки, — сказал Кьер.

Бай молча разделся.

Он еще немного полежал при свете. Потом погасил лампу.

— Захандрил, старина? — спросил Кьер.

— Да не то чтобы...

— Ну тем лучше... Спокойной ночи.

— Стареем мы, брат, — сказал Бай. — Да, — медленно повторил он. — В этом вся загвоздка...

Кьер повернулся в постели.

— Чушь, — сказал он. — Не принимай этого близко к сердцу, старина... Просто нельзя терять сноровку... И дело пойдет на лад, старина, — сказал он. — Да еще как пойдет.

Кьер умолк. И вскоре захрапел. Но Баю не спалось. Полночи ему мерещился запах пива, и он ворочался с боку на бок.

На другой день Бай складывал чемодан, — из него выпала фотография Катинки, вложенная между двумя новыми платками.

Ее положила туда фру Абель.

Она умиленно посмотрела на фотографию и обернула ее папирсной бумагой.

— Милочка, — сказала она.

Луиса-Старшенькая, «моя единственная», обозлилась:

— Пф, может, еще дашь ему с собой музыкальный ящик. Чтобы наигрывал «мелодии милочки»...

У Луисы, «моей единственной», была дурная привычка передразнивать маму, когда что-нибудь было ей не по нраву.

Вдова молча положила портрет между двумя носовыми платками:

— Пусть увезет с собой частицу дома...

...Бай поднял портрет с пола и долго смотрел на него увлажнившимися глазами.

Семейство Абель встречало Бая на станции. В доме убрали, как перед праздником. Висели накрахмаленные занавески, пахло чистотой.

Бай восседал за столом на диване.

— В гостях хорошо, а дома лучше, — говорил он. — Дома, в родном гнезде.

Он пил и ел так, словно с самого отъезда у него во рту не было маковой росинки.

Фру Абель долго и любовно глядела на «нашего дорогого путешественника» и даже прослезилась.

Бай рассказывал о поездке.

— Театры,— говорила вдова.

— Разгар сезона...

— И памятник купил... бешеные деньги...

— Тут уж не приходится считаться,— говорила вдова.— Последний знак любви.

— Вот-вот, я так и сказал Кьеру... последний знак любви,— поддакивал Бай.

Луиса-Старшенькая изощрялась во все новых и новых сюрпризах.

— Не смотрите,— приказала она и закрыла Баю глаза, а вдова тем временем снимала крышку с очередного блюда — рагу.

— Чего она только не наготовила,— с улыбкой сказала вдова.— Моя старшенькая.

— Все мы домашние животные,— сказал Бай. Он положил обе руки на стол и вкушал отдых с видом счастливого довольства.

Был октябрь. К приходу вечернего поезда на платформе собралось очень много народу. Пришла старушка Иенсен, пастор со своими домашними и мельничиха с дочерью.

Вдова Абель собиралась уезжать, чтобы устроить гнездышко для своей Малютки-Иды.

— Луиса приедет позже,— говорила вдова и стискивала ладонями голову своей «единственной».— Она у меня домоседка.

— Она приедет к самой свадьбе,— говорила вдова.

Свадьбу должны были сыграть в доме «моей сестры, статской советницы».

— Там они обрели друг друга,— говорила вдова.

Объявили о приближении поезда. Бай принес багажную квитанцию и билет.

— Он — мое *провидение*,— сказала вдова и закивала ему.

За лугом показался поезд.

— Кланяйтесь Иде,— сказал старый пастор.— Мы будем думать о ней в день ее свадьбы.

— О, мы знаем,— отвечала вдова.— Мы знаем, что у нас есть друзья.— Она была растрогана и раздавала поцелуи направо и налево.

— Ах,— говорила она,— я еду навстречу утрате...

Поезд прибыл.

— Ну же, милая фру,— сказал Бай.— Пора.

— Ах... моя Луиса. Берегите ее...

Бай уже затолкал вдову в купе...

— До свидания, фру Линде... до свиданья...

Луиса вскочила на подножку — «поцеловаться»...

— Последний раз,— говорила она.

— Луиса,— кричала вдова.

Поезд тронулся.

Бай подхватил на руки Луису, «мою единственную»...

И все кивали и махали, пока поезд не скрылся из глаз.

Пастор Линде с домочадцами и мельничиха с дочерью шли по дороге к дому.

Луисе-Старшенькой зачем-то понадобилось заглянуть в почтовый ящик, и она ворвалась впереди Бая в контору. Их громкий хохот разносился по всей платформе.

Старушка Иенсен понуро прислонилась к столбу семафора. Стрелочник Петер унес с платформы бидоны с молоком и перевел стрелку. А фрекен Иенсен все еще стояла одна-одинешенька, прислонившись к столбу.

...Пастор с женой и дочерью вернулись домой.

Старый пастор сидел в гостиной с Агнес, пока «матушка» заваривала чай.

Было сумеречно. Пастор едва различал фигуру дочери, сидевшей за фортепиано.

— Спой что-нибудь,— попросил он.

Пальцы Агнес медленно прошлись вверх и вниз по клавиатуре. И своим низким грудным голосом она негромко запела песню о Марианне:

Здесь, под камнем, схоронили
Нашу Марианну.
Ходят девушки к могиле
Бедной Марианны.

В темной комнате стало тихо.

Старый пастор дремал, сложив руки на коленях.

ТИНЕ
РОМАН



ПЕРЕВОД
С. ФРИДЛЯНД

Памяти матери моей посвящаю

Эта книга принадлежит тебе.

Когда ты была еще счастлива и полна сил, мы однажды под вечер пошли с тобой куда глаза глядят, по улицам нашего города, как не раз хаживали в пору моего детства; в витринах магазинов мы выбирали все, чего душа пожелает, делили сокровища, которые не принадлежали нам, и даже ссорились из-за них. Задержались мы и перед книжной лавкой, ты прочла все названия на корешках и сказала: «Если ты когда-нибудь напишешь книгу, упомяни мое имя на ее страницах».

Много спустя, когда ты уже болела и мы частенько гуляли по облетевшим аллеям «Дубравы» — тебя влекло нежаркое сентябрьское солнце,— ты однажды взяла меня за руку и сказала голосом, полным тревоги и ласки: «Мой мальчик, пообещай хоть изредка вспоминать обо мне, когда я умру, а ты станешь писателем».

И ты расплакалась, ибо предчувствовала близкую смерть,

Я не забыл твоей просьбы.

И вот я ставлю твое имя на первой странице этой книги. Я сознаю, что она не достойна ни твоей любви, ни твоего сердца, ни твоего ума. Но повесть эта в моей душе неразрывно связана с памятью о тебе и о том уголке, где ты произвела меня на свет. До самой смерти ты называла его родным домом.

Годы войны, торжество завоевателей осквернили этот мирный приют, даривший тебя радостью и покоем, суливший счастье и солнечный свет. В наш старый дом пришел враг, в нашу семью — горе.

Вот почему сегодня, много лет после твоей смерти, я ставлю твое имя на первой странице книги, которая повествует о поражении и об утерянном доме.

Я делаю это сейчас, когда юность моя миновала, когда все, что я за десять лет написал ради того, чтобы жить, — и ради того, чтобы писать, — представляется мне бесконечно далеким и бесконечно простым.

Две силы противоборствуют в моих книгах, и спору этому не будет конца, две силы — старый отцовский род и ты, чужачка, пришедшая в него со стороны. С радостным смирением приняла ты имя отцовского рода. Ты любила его не меньше, чем я. Сотни лет из поколения в поколение наш род давал государственных деятелей, чьи имена никогда не забудет благодарное отечество, давал знаменитых врачей, самых великих и любимых в нашей северной стране.

А потом наш род захирел и стал давать лишь священнослужителей, падавших в обморок при виде крови, да праздных бездельников, чьи пустые сердца нуждались в искусственном воспламенении.

Ты не раз толковала мне о славе нашего рода. Один из его сыновей, великий врач, поведал мне обо всех его заблуждениях и болезнях. Поучения ради он хотел вплести свою нить в нашу родословную.

Это дух моего рода, живущий во мне, так часто водил моим пером, когда я был молод.

Но и ты, мать, тоже водила моим пером.

Стелла Хюг и Нина, фрекен Агнес и фру Катинка — все это твоя кровь. Их образы — это ты и только ты. Они детища твоего счастья — и твоего несчастья. У них твое лицо и твой голос. Они любят и страдают твоим сердцем.

Они, как и ты, молодыми сошли в гроб,— их свело такое же горе.

И если моим героиням суждена жизнь, пусть даже недолгая, ты не будешь забыта.

На первой странице этой книги я ставлю твоё имя, как память о светлых временах и о доме — обо всем, что мелькнуло предо мной сквозь приоткрытую на мгновение дверь. Когда война обрушилась на наш старый дом, вслед за ней нагрянули беды и смерть.

I

Тине с плачем бежала за каретой, а фру Берг выкрикивала сквозь непогоду и мрак последние наставления:

— Значит, приготовьте... в голубой комнате... сегодня... прямо сегодня.

— Да, да,— отвечала Тине. Слезы мешали ей говорить.

— Привет передай... Привет! — плача выкрикивала фру Берг. Ветер относил слова. В последний раз Тине хотела схватить ее протянутую руку, но не сумела. Тогда она остановилась, и карета огромной тенью скользнула в темноту. Потом затих и стук колес.

Тине миновала аллею, прошла через двор, где робко поскуливали охотничьи собаки, открыла дверь в переднюю, и пустота встретила ее. Пустые вешалки, пустой уголок Херлуфа, откуда вынесены все игрушки. Тине заглянула на кухню, там среди невымытой с последнего чаепития посуды чадила оплывающая свеча.

В людской прислуга молча сидела за столом, старший работник Ларс — на главном месте.

— Велели кланяться,— сказала Тине вполголоса, и снова воцарилась тишина. Только Марен, что сидела возле печи, накрыв голову фартуком, словно оживший узел тряпья, откликнулась на ее слова протяжными всхлипываниями.

— Да,— задумчиво сказал Ларс немного спустя.— Теперь они далеко.— И подтвердил свои слова энергичным кивком.

— Давай перенесем постель для господина лесничего,— сказала Тине все тем же приглушенным голосом и вышла в сопровождении горничной Софи.

Из коридора Тине открыла дверь гостиной. На пустом столе мирно горела лампа, три других двери стояли настежь, скалясь, словно черные разверстые пасти, на покинутую комнату.

— Швейную машинку она взяла с собой,— сказала Софи.

— Да,— вздохнула Тине. Место на возвышении у окна опустело.

— И портреты тоже,— кивнула Софи.

Вокруг зеркала зияли на обоях светлые пятна — воспоминание об увезенных портретах.

Тине почувствовала, что сейчас расплачется, и отвернулась.

— Ну, давай начнем,— промолвила она и поднялась с лампой по лестнице в спальню. Две кровати стояли одна подле другой, застеленные теми покрывалами, что Тине связала к прошлому рождеству, а в ногах у кроватей стояла пустая кровать Херлуфа.

При виде этой пустой кровати Софи, не выпуская из рук свечи, снова уронила слезу и начала вспоминать младенческие годы «малыша»; она была его первой нянькой, и никто в целом свете не мог, на ее взгляд, с ним сравниться.

— Он только родился, меня к нему сразу и приставили,— рассказывала она своим столичным, как бы усеченным говорком. Казалось, ей трудно открывать рот, отчего она проглатывала почти все «е».

— Он ни к кому не шел на руки, кроме как ко мне, ну и к матери,— после каждого слова Софи всхлипывала,— нет, ни к кому не шел... Я несколько раз носила его по утрам к фру... он просился,— Софи неожиданно улыбнулась сквозь слезы,— погреться хотел, негодник,— и снова заплакала.

— Да,— поддакнула Тине, сидя на краю кровати.

Она вспоминала зимние рассветы, когда, укутав голову платком, спешила поутру к господскому дому и трижды, как было условлено, хлопала ладошкой по дверям спальни, чтобы разбудить сладко спящих фру Берг и Херлуфа.

Сонная фру Берг садилась в постели.

— Это Тине, это Тине! — кричала она и била руками по перине.

— Ко-фе! Кофе! — выкрикивала она, и ее веселый голос доносился до самой кухни, а Херлуф принимался от

радости, словно белочка, прыгать по кровати в своей длинной ночной рубашке.

За разговором Тине снимала туфли, забиралась под перину, чтобы не замерзнуть, и устраивалась в ногах кровати господина лесничего.

Так они могли болтать часами. Херлуф, растопырив пальцы, изображал китайца и кувыркался по всем перинам и подушкам, фру Берг и Тине смеялись, кровати ходили ходуном, а Софи, слив остатки в полоскательницу, надолго застревала у дверей, чтобы принять участие в общем веселье. Правда, порой ее разбирала досада, и она ни с того ни с сего заявляла:

— Ребенку не следует так много прыгать и кривляться,— после чего подхватывала Херлуфа и уносила в гостиную, где потеплее, чтобы одеть его.

А фру Берг и Тине оставались в постели и болтали обо всем на свете,— в обществе Тине фру Берг не умолкала ни на минутку, до тех пор, пока Тине вдруг не соскакивала на пол, услышав шум распахиваемой двери.

— Лесничий!— кричала она, с перепугу не попадая ногами в туфли...

— Запри дверь,— говорила фру Берг.— Скорее, скорей!— И Тине поворачивала ключ в замке.

— Да, да, Хенрик, я одеваюсь,— отвечала фру на его стук и заставляла Тине колотить об умывальный таз, чтобы он поверил, будто она уже на ногах и умывается.

...Софи все так же со свечой в руках стояла перед опустевшей кроваткой, вспоминала про своего Херлуфа и заливалась слезами.

— Ну и сорванец же он был,— всхлипывала она.— Ну и сорванец.

А Тине все так же сидела на краю постели и улыбалась.

— Да, уж фру Берг была гораздо на выдумки.

Она припомнила одно утро, когда господин лесничий вошел в дом, а они как раз с фру Берг так славно разговорились, сидя на постелях, и фру Берг внезапно схватила ее за ноги — лесничий уже поднимался по ступенькам — и затолкала под его перину — лесничий уже открыл дверь — и шепнула: «Тише, тише!» — лесничий уже стоял посреди комнаты. Тине лежала тихохонько, как мышка.

И фру Берг заговорила с мужем, а он слушал, слушал, да и сел на свою кровать.

— Ты на Тине сел!— закричала фру Берг и зашла от смеха.— Ты на Тине сел!— А Тине выпрыгнула из постели, покраснев до ушей и чуть не плача, выскочила из комнаты, стрелой пронеслась по коридору, на крылечко, дальше, к школе, а потом целых три дня со стыда глаз не казала к Бергам.

...Тине встала, начала снимать белье с постели лесничего и складывать его возле двери.

— Унеси отсюда свечку,— попросила она Софи; ей не хотелось видеть пустую комнату. Они спустились по лестнице с перинами и тюфяками и пронесли их через все комнаты, не закрывая за собой дверей.

— До чего ж пусто, будто все как есть уехали,— сказала Софи.

— Да,— ответила Тине, тащившая тюфяк.

В голубой комнате для гостей было холодно, как в погребе,— здесь с лета никто не жил. Одну из кроватей пришлось вынести, а вторую придвинули к стене.

Покуда Тине и Софи возились с простынями и умывальными принадлежностями, за дочерью пришли старики Бэллинги.

Когда мадам Бэллинг через анфиладу комнат добралась до гостиной, она со слезами остановилась на коврик, всплеснула руками и промолвила:

— Вот они и уехали.

Старики сели на свои привычные места, на два стула перед диванным столиком, чуть сдвинутые к середине комнаты,— в доме лесничего они ни разу не согласились сесть на диван, диван— это было законное место фру Берг.

Тине тем временем сновала с вещами взад и вперед, а Софи таскала дрова и складывала их перед голубой изразцовой печкой, успев между делом обмотать голову платком.

Платок на голове означал, что после отъезда фру Берг у Софи разыгралась «дикая головная боль». Боль эта, надобно сказать, разыгрывалась у нее по меньшей мере пять раз в неделю и приводила Софи в самое мрачное расположение духа, так что от нее, бывало, кроме «да» и «нет», ничего не добьешься и делать она тоже ничего не делала, кроме самого необходимого. После каждой большой стирки Софи, как правило, на восемь дней уходила в свою головную боль и тиранила весь дом.

Тине появилась в дверях комнаты лесничего.

— Не хотите взглянуть? — предложила она. — У нас все готово.

— Хотим, хотим, — отозвался старый Бэллинг, и они прошли через кабинет лесничего в голубую комнату, где у голубой стены одиноко стояла узкая кровать и было так холодно, что старики задрожали.

Все трое остановились перед кроватью — в головах Тине повесила портрет фру Берг.

— Здесь ему будет уютно, — сказал Бэллинг и пытался выдавить какое-то подобие улыбки, ибо все трое уже изнемогали под бременем горестей.

— Когда печка протопится, — уточнила фру Бэллинг, — когда печка протопится, тогда и станет уютно.

Они вернулись в гостиную и заняли прежние места — Тине, как обычно, на возвышении, где стоял раньше швейный столик. Разговор не вязался, они сидели, погруженные в одни и те же мысли, и только чье-нибудь слово изредка нарушало тишину.

Мадам Бэллинг непрестанно качала головой и поглядывала в соседнюю комнату.

— А ведь был воистину прекрасный дом.

Старые Бэллинги часто употребляли словечко «воистину», для них это был, так сказать, знак ремесла, следствие постоянного общения с Библией.

Мадам снова молчала некоторое время, покуда ее мысли не приняли иное направление.

— А хорошо ли уложены вещи и хорошо ли запакованы? — спросила она. — Главное, надежно ли стоит в ящике ежевика?

Она имела в виду две банки ежевичного варенья собственной варки — чтобы фру Берг было чем полакомиться в Копенгагене.

— Ты ведь знаешь, Тине, — продолжала старушка, — ежевичное варенье она любит больше всего... а у них там, говорят, ежевика-то и не растет вовсе.

— Лесничий сам устанавливал банки и привязывал, — ответила Тине.

— Да, да, мы сколько раз лакомились здесь вареньем, — говорила старушка все так же тихо, — или повидлом. Сухари намазывали, — завершила она после некоторого раздумья.

— Верно, — сказала Тине, глядя прямо перед собой.

Она вспоминала те вечера, когда за ними присылали в школу — чаще, если лесничий был в отъезде, — и они

после чая приходили в усадьбу. На столе появлялись банки с вареньем и сухарики, все ели из блюдец и весело разговаривали, а фру Берг и Тине — смеялись и пели.

— Тине, спой песенку, Тине, спой! — кричала фру Берг и хлопала ладонью по подлокотнику дивана, и они запевали либо «Господин Педер», либо «Лети вперед над бурными волнами» и «В королевской роще», народную песню вдруг сменял вальс, они кружились по ковру, куда фру Берг, бывало, не выбьется из сил и не попросит молочного пуншу, который ей тотчас же подавали в большой глиняной кружке.

— Варенья хватит на много вечеров, — продолжала мадам Бэллинг, не в силах расстаться с мыслями о еживке, — пусть она и там чувствует себя как дома.

А старый Бэллинг, который сидел, молитвенно сложив руки, не слушал, о чем говорят остальные, и думал свое — что вот, мол, теперь из их прихода призвали тринадцать человек, он подсчитал — старый Бэллинг вдруг сказал:

— Да будет воля господня, — и поднялся с места.

Старики спешили домой, а Тине осталась дожидаться лесничего. Но Тине не отпустила их, а попросила сперва помочь ей: она не могла спокойно смотреть на зияние светлых пятен вокруг зеркала и надумала непременно повесить сюда что-нибудь, все равно что, лишь бы закрыть пятна. Она принесла с веранды «Короля Фредерика», «Сражение под Истедом» и «Фредерисию», дала старикам подержать картины, а сама принялась снимать зеркало.

Мадам Бэллинг держала героев Истеда, которые продолжали сражаться с белой повязкой на лбу. Она не могла оторвать глаз от картины, покуда две слезинки не упали на стекло: невольно вспомнились те, кого теперь ожидают тяжкие увечья, а может быть, и смерть.

— Давай-ка сюда, мать, — сказал старик и отнял у нее картину, но и сам он так долго держал ее, что Тине пришлось вмешаться.

Картины заняли отведенные им места, а старики, уже надевшие пальто, снова сели и воззрились на героев Истеда и на «Короля».

Тине вышла и вернулась с четвертой картиной. То был портрет короля Христиана в бытность его наследным принцем, на короле был мундир конногвардейца, висел он раньше в одной из комнат для гостей. Тине

вбила гвоздь под королем Фредериком и повесила портрет.

Все трое долго молчали, разглядывая картины.

— Воистину так,— сказал старый Бэллинг.— Это же сам король.

Старики вышли в коридор. Свеча в кухне почти догорела. Тине поставила огарок на окно, чтобы старикам было светлей идти по двору. Из прачечной доносился шум и стук—это Марен с горя затеяла среди ночи стирку, а за работой распевала «Как знать, где ждет меня могила» да таким голосом, что от стен отдавалось.

Король наш обрел нерушимый покой,
В объятиях смерти он спит.
И слезы народ проливает рекой,
Монарха покойного чтит.
Прими ж и ты любовь мою,
Не дрогну я в любом бою.

Старики шли по двору, а Тине стояла на крыльце и слушала, как скулят охотничьи собаки.

Потом она вдруг улыбнулась: она заведет собак в дом,— пусть лесничий порадует, когда воротится,— хоть кто-то живой его встретит.

Тине пересекла двор и открыла двери псарни. Аякс и Гектор выскочили, тихо повизгивая, начали прыгать вокруг, а потом, опередив ее, скрылись в дверях дома.

В гостиной Тине села на прежнее место. Никогда еще у нее не было так тяжело на душе, так грустно и одиноко, как теперь, когда она глядела в опустевший двор. Свеча на кухонном окне еще раз полыхнула, озарив белые стены риги, и погасла, и только старый орех рисовался черной тенью посреди темного двора.

А еще вчера вечером фру Берг сидела рядом с ней на возвышении у окна и глядела во двор, на голые ветки дерева. «Суждено ли мне вернуться домой раньше, чем появятся на нем новые листья?» — спросила фру Берг, и заплакала, и обняла Тине.

В прачечной не умолкала Марен, и голос ее пронзительно вторгался в ночной мрак.

Так лейся же слез нескончаемый ток.
Веселье теперь не в чести.
В сердцах благодарных сплетем мы венок,
Которому вечно цвести.
В душе не затихает боль:
Предстал пред богом наш король.

Тине сидела, сложив руки на коленях, а Гектор и Аякс лежали на коврике у ее ног и глядели на нее во все глаза.

* * *

Собаки вскочили, перед крыльцом остановился возок. Это приехал лесничий. Он вошел в сени, Софи встретила его со свечой в руках. Лесничий передал поклонь от Херлуфа и от фру Берг.

— Мне приказано явиться в полк,— односложно заметил лесничий.

Он прошел к себе в комнату. Тине шла следом, шла медленно и гасила одну за другой свечи на рояле, которые сама же и зажгла.

— Вот так оно все одно к одному,— сказал Берг.

Он словно высказал вслух мысль, занимавшую Тине: все одно к одному, но тут у нее мелькнула новая мысль, и она спросила:

— А фру Берг это знает?

— Да... мне Иессен принес мобилизационное предписание прямо на пароход.

Они сели за стол, накрытый Тине, и принялись неторопливо, приглушенными голосами толковать о том, как теперь будет со скотинной и с повседневными делами по хозяйству,— рабочих рук нынче не хватает. Ларса, того и гляди, самого призвуют, да и хусменов тоже.

— Ну, лес можно оставить как есть, в лесу и вовсе работать некому.

— Некому,— сказала Тине.

Они поговорили о тех, кто призван в армию. Почти из каждой семьи в округе кого-нибудь да взяли. Ни за что ни про что людей угоняют от родных и близких.

— Сердце разрывается глядеть на семью Андреаса-Кровельщика. Ане сегодня приходила в школу с обоими малышами... Уж так она плакала, так плакала... Андреаса взяли в армию... Что ей делать одной?... Ох, как она плакала...

У Тине и самой задрожали губы, когда она произнесла последнюю фразу.

— Да,— сказал Берг,— Андреасов брат еще с прошлой войны остался без обеих ног.

— Да,— сказала и Тине, помолчав, и продолжала чуть медленнее, чем раньше: — Вот людям и становится страшно, когда они видят такого калеку.

Оба опять ненадолго смолкли, собаки подходили приласкаться, но ни Берг, ни Тине на них не глядели. Берг снова заговорил о хозяйстве. Тут-то и без него обойдутся. Однорукий барон Штауб не откажется помочь, барон-то никуда не денется.

— Он свое уже получил,— продолжал Берг.— Нечаянный выстрел...— И почти без перехода, откинувшись к стене и глядя на свечу, промолвил: — Сейчас они уже в открытом море.

Тине почудилось, будто, произнеся эти слова, он видит перед собой корабль; ей страстно захотелось сказать что-нибудь такое, что подбодрило бы его, развеяло тоску. Ведь затем ты здесь и сидишь, внушала она себе. Теперь только не хватает, чтобы ты сама начала хныкать. Но нужные слова не шли на ум. До сих пор она никогда помногу не разговаривала с лесничим, она не осмеливалась запросто говорить с ним, как говорила, например, с окружным судьей или с капелланом из Гётше, короче, с теми, перед кем не испытывала такого почтения. В усадьбе лесничего запросто разговаривали только с хозяйкой, с фру Берг. Наконец Тине все же сказала тоном, который должен был прозвучать бодро:

— А мы так торопились прибрать голубую комнату, Софи и я, только зря, выходит, торопились.— Она встала.

— Уже готова? Какой ты молодец! — Берг взял ее за руку, отчего Тине вся залилась краской. Впрочем, бывая в усадьбе, она краснела от любого пустяка.

— А вы сами взгляните, господин лесничий,— сказала она и распахнула дверь, потом вдруг остановилась посреди кабинета и пропустила его туда одного.

— Как там уютно и тепло,— сказал Берг, воротясь.

Тине собралась уходить. Ей как-то было не по себе, словно они остались вдвоем, одни — на весь заброшенный дом. Но лесничий подошел к столу и сказал:

— В газете описано погребение. Может, почитаем?

Для Тине всегда было праздником, когда лесничий вслух читал свежие газеты,— их доставляли по средам и субботам,— либо вынимал из шкафа книгу и читал какую-нибудь из трагедий Эленшлегера.

— Спасибо,— сказала она.— Только Софи тоже рада будет послушать.— Тут Тине вышла, отыскала Софи,

которая, замотав голову платком, дремала у печки, привела ее и усадила в уголке возле книжного шкафа, где та всегда сидела во время чтения.

Берг медленно развернул обведенный черной каймой газетный лист и на мгновение сложил руки поверх листа.

— Теперь он обрел вечный покой,— сказал Берг про-никновенно и тихо.

Затем он вполголоса начал читать про «Последний путь короля». В большом доме не слышалось ни звука, кроме его приглушенного голоса.

Тине не различала слов, она внимала только звукам этого голоса, знакомого по множеству таких же мирных вечеров, и вновь видела, как фру Берг сидит перед лампой, вновь слышала ее смех — фру Берг всегда смеялась над плачущей Тине, а слезы и теперь вперегонки бежали по ее щекам...

— «...но вот вспыхнули факелы и свечи, освещая путь короля к месту последнего упокоения, и все, кто ни жил вдоль этого пути, стремились опередить остальных в воздании королю последних почестей. На всех колокольнях звонили колокола, в каждой усадьбе, каждом доме, вплоть до самого бедного,— в окнах горели свечи. Там и сям в глубокой ночной мгле собирались кучками безмолвные зрители...»

Доносившиеся из угла всхлипывания Софи перешли в громкий плач, лесничий же читал дальше:

— «...Катафалк остановился перед станцией железной дороги, восемь лошадей в черных пополах были выпряжены конюшими, которые весь путь проделали пешком за высокими господами, над катафалком натянули парусину, чтобы защитить и самый катафалк, и гроб от начавшегося дождя. Гусары встали в последний ночной караул у тела короля Фредерика Седьмого...»

Берг умолк, голос у него начал хрипнуть.

Тине сидела, глядя прямо перед собой: она вспоминала многократно читанные трагедии — трагедию об Акселе и другую, о королеве Зое... В последнем действии фру Берг тоже всегда начинала плакать, а когда Берг читал особенно трогательное место, они украдкой пожимали друг другу руки под столом.

Берг продолжал читать про церемонию похорон и надгробную речь. Голос его так дрожал, что порой трудно было разобрать слова:

— «Господь взял его от нас и призвал к себе, но любовь народная провожает его до могилы словами сердечного прощания. Они раздаются во всех слоях общества, из уст воинов, которые сражались за короля и отечество, из уст того, кто в мирных свершениях понял, как возросло при короле здоровое предпринимательство и народное благосостояние; из уст честного крестьянского сословия, ради которого Фредерик Седьмой завершил все начатое Фредериком Шестым...» Да,— сказал Берг,— это правда.

Тине вздрогнула, когда он прервал чтение, когда же он продолжил, она начала внимательно вслушиваться,— ведь это было их последнее вечернее чтение, и одному богу известно, надолго ли.

— «...Затем гроб был снят с катафалка и перенесен в часовню, где у входа выстроились герольды и часть погребальной свиты. С духовенством во главе процессия влилась в двери часовни. Гроб занял свое место, епископ Зеландский взошел на затянутую крепом кафедру и сотворил молитву, состоялась последняя погребальная церемония, и орудийные залпы перед церковью возвестили, что гроб с телом короля Фредерика поставлен в склеп...»

Софи закрыла руками лицо. Тине неотрывно смотрела, как читает Берг.

— «...Под звуки органа траурный кортеж в молчании покинул церковь, после чего Их Величества вернулись в Копенгаген».

Берг сложил газету и, прежде, чем кто-либо успел вымолвить хоть слово, Тине встала.

Тогда Берг, прислонясь головой к стене, обвел комнату долгим взглядом и так же внезапно сказал:

— А как Херлуф плакал, когда садился в шлюпку...

Софи вызвалась проводить Тине, и они зажгли фонарь. Его трепетный свет прыгал по деревьям и кустам.

Софи толковала о вещих знамениях.

— Их не перечесать... Нынешним летом в лесничестве жутковато было... по ночам особенно такие страсти...

Стук «Кареты», Софи, к примеру, своими ушами слышала три раза, последний раз — ясней ясного, как она подъехала к парадному крыльцу.

— Мы выходим, а кареты никакой и в помине нет... и в помине, фру то же самое говорила. А ведь всякому известно,— всхлипнула Софи,— чего надо ждать, когда трижды услышишь карету...

Тине не отвечала, и они молча продолжали свой путь в темноте. На дворе у Пера Эриксена залаяла дворовая собака, а у барышень Иессен проснулся мопс.

— Бог да хранит господина лесничего и его жену,— произнесла Софи таким тоном, словно уже бросала комья земли на крышку их гроба.

Тине глубоко вздохнула, как вздыхает человек, проснувшийся от холода.

— До чего ж холодно сейчас возле Данневирке,— сказала она.

Они подошли к повороту дороги у трактира, а Тине знала, что Софи боится по ночам подходить слишком близко к кладбищу.

— Теперь я одна доберусь,— сказала она.— Спасибо тебе за компанию. Проследи, чтобы чай у лесничего был нынче не хуже, чем всегда.

— До свидания, фрекен Тине.

— До свиданья.

Медленно приближаясь к школе, Тине слышала еще, как взлаивают собаки на проходящую мимо Софи.

Тине постучала, услышала сперва, как затыквал Даге, потом — как мать спустила ноги с кровати.

— Это я, мама,— сказала она.

Мадам Бэллинг в ночной кофте и полосатом чепце отворила ей дверь.

— Лесничего берут в армию,— едва войдя в сенцы, выпалила Тине.

— Ах ты, господи,— запрочитала мадам и, не затворяя дверей, побрела обратно к своему старику,— ах ты, господи.

— Этого и следовало ожидать,— сказал Бэллинг, садясь в постели.

Тине должна была все объяснить по порядку — как Иессен пришел и принес предписание прямо на парход...

— Стало быть, и фру все знает, стало быть, и фру все знает,— твердила мадам Бэллинг и никак не могла остановиться.— Стало быть, и фру все знает. Бедняжка...

— Не оставь нас, господи,— сказал Бэллинг, молитвенно складывая руки, когда жена его наконец смолкла.

Тине очень устала и пожелала родителям спокойной ночи. Она дернула дверь «школы», чтобы проверить,

заперта ли она, затем поднялась по лестнице, держа свечу с превеликой осторожностью — из-за соломы, на которой были разложены надгробные камни.

У себя в комнате она завела будильник, сняла с подоконника желтофиоли и поставила их на пол.

Внизу шептались родители, а слышно было так, будто они в этой же комнате.

— Боже сохрани и помилуй нас всех,— еще раз сказал отец.— Вот уже и четырнадцатого забрали в нашей округе.

Потом старики мало-помалу смолкли, и Тине услышала их дыхание, ровное и ритмичное.

Сама она не могла уснуть. Она лежала и вспоминала один осенний день... Когда они последний раз были в лесу — фру Берг, Херлуф и она. Они собирались отполдничать в Малом лесу и уговорились встретиться с лесничим у первой просеки. Навстречу им попала семья арендатора из Рэнхаве, арендатор ехал к епископу в своей коляске, они остановились, всласть поболтали и только после этого разошлись в разные стороны.

Побрели дальше, Херлуф не пропускал ни одного куста — искал ежевику. С каждого дерева свешивались спелые орехи, и Тине мимоходом срывала их.

Только они хотели свернуть в поле, как позади завопил Херлуф,— он запутался в цепких кустах ежевики, не мог выбраться и громко ревел, а лицо у него было все черное от ягод.

— Погляди на Херлуфа, погляди на Херлуфа! — кричала фру Берг, и Тине пришлось выручать мальчика, а фру Берг побежала вверх по распаханному склону.

— Сюда, сюда! — звала она, взобравшись наверх.— Как здесь красиво!

Воздух был так ясен, что весь остров виделся как на ладони — холмы и доли в нежной зелени. Далеко на горизонте облаками синели леса, домики улыбочиво глядели из пестрой зелени, а над головой раскинулся бездонный небосвод.

— До чего красиво, до чего красиво,— твердила фру Берг.

Но Херлуф не дал им отдохнуть. Он захотел играть в догонялки, и все трое помчались вокруг холма.

— Красивей нашего острова на свете нет,— воскликнула Тине и, схватив Херлуфа, подбросила его, а потом все трое упали в клевер.

Подем добрались до самого леса и сели на бревна в начале просеки; здесь еще светило солнце и было тепло. Женщины достали из карманов вязанье и начали болтать.

— Из Рэнхаве неблизкий путь до епископа — а они уже второй раз едут.

— Третий — за две недели.

— А сзади-то сидел староста — четвертым к висту.

Разговор лился без умолку, Херлуф не отставал от взрослых и время от времени вставлял свое веское слово. А уж кому и знать, кто куда ездит, как не Бэллингам, — обитатели школы видят каждый экипаж, потому что все дороги скрещиваются перед ее дверями; кивнуть-то всякий кивнет или даже остановится, если завидит на крылечке старого Бэллинга, мадам или Тине.

Фру Берг и Тине ненадолго умолкли и молча продолжали вязать, сидя в тени деревьев.

— Просто удивительно, что лес до сих пор зеленый.

— Все из-за дождей. Много было дождей.

Да. Но в прошлом году, Тине хорошо помнит, в прошлом году — обе враз опустили вязанье и глянули на побуревшую опушку — лес уже к сентябрю весь пожелтел.

Поговорили о лесе, начали выяснять, когда они были здесь последний раз в прошлом году и когда в позапрошлом...

— Нет... в прошлом мы даже орехов набрать не успели...

— А в пятьдесят девятом, мне помнится, мы в октябре гуляли по лесу, — сказала фру Берг.

Неподалеку из-за деревьев раздался крик Херлуфа, он звал Тине, пусть Тине непременно придет к нему. Толстый, согнутый сук свисал до самой земли, Херлуф непременно хотел влезть на него, чтобы Тине его покачала, Тине принялась качать, Херлуф смеялся и плакал от восторга. Потом она уселась на сук, и фру Берг стала качать ее:

— Гооп-ля, гооп-ля!

— Сук трещит! Трещит! — кричала Тине. — Я слишком тяжелая!

А фру Берг знай себе раскачивала, так что юбки Тине раздувались колоколом.

Внезапно из кустов выскочили Аякс и Гектор и,

задрав морды, начали облаивать бумажные чулки на ногах у Тине.

— Лесничий! — в ужасе воскликнула Тине и — хлоп — очутилась на земле. Фру Берг так хохотала, что даже прислонилась к дереву, чтобы не упасть, и, лишь успокоившись, смогла принять участие в ужине, который Тине приготовила меж тем на разостланной скатерти.

Берг вынырнул из кустов так же неожиданно, как секундой ранее его собаки, он сел на поваленный ствол перед скатертью и заговорил с Тине о розах в усадьбе: пора уже подумать о них, ночи стали холодные.

Сад всегда был для Берга и Тине общим делом. Берг был помешан на розах и фуксии тоже разводил, а фру Берг, уроженка Хорсенса, так и не стала настоящим садоводом. Вот почему во всех начинаниях лесничего ему пособляла не она, а Тине. Больше всего им доставалось весной. По вечерам фру Берг восседала на ступеньках террасы, закутавшись в шаль, глядела, как они работают, да перекинулась с ними через газон, а они и подрезали, и поливали, и еще много чего делали. Потом начинало смеркаться, и фру Берг не могла больше разглядеть их, только смутно видела две тени среди розовых кустов.

...Еду увязали в скатерть и собрались уходить. Херлуф и Тине затеяли игру в пятнашки и гонялись друг за другом по просеке, а сзади под руку следовали господин и фру Берг.

Вышли на проселок; прозрачный и чистый вечерний воздух поднимался над вспаханymi полями — и надобно было слышать, как хохочет Тине у поворота дороги.

— Воздух прямо как по заказу для нашей Тине, — сказал Берг и остановился. Он хотел этим сказать то же, что говорил всегда: у Тине голос, созданный для того, чтобы звучать под открытым небом, — радостный, чистый голос, каким ее наградила господь.

— Сюда, Тине, сюда, — окликнула ее фру Берг. — Давай споем. — Фру Берг обняла Тине, и они медленно, с песней побрели дальше.

Когда они как следует распелись, Берг начал подтягивать приглушенным басом:

Лети вперед над бурными волнами,
Тебе навстречу выступает ночь,
Сокрылось солнце где-то за лесами,
И ясный день уходит с грустью прочь.

Поторопись в гнездо свое скорее:
Твоих птенцов пугает ночи мгла.
А зорька лишь над лесом заалеет,
Расскажешь нам, как ночь ты провела.

Рабочий день кончался, повсюду со дворов выходили работники и хуторяне, все спокойно курили трубку.

— Добрый вечер! Вечер добрый,— доносилось до Бергов и Тине.

— Добрый вечер, Андерс Нильс, добрый вечер, Ларс Петерс,— отвечала Тине. Она знала всех по имени.

У ворот Ларса Эрика они задержались. Старика вконец измучил ревматизм.

— Как здоровье отца? — спросила Тине.

— Да вроде малость получше,— протяжно отвечал Ларсов зять.

— Вот и слава богу.

— Доброй ночи, Ханс,— сказала Тине и пошла своей дорогой.

Берги тем временем все пели, а Херлуф взял отца за руку. Впереди завиделись церковь и школа. Небо за старой колокольней окрасилось багрянцем.

Лети вперед над бурными волнами,
Любовь тебе велит лететь домой,
Качаясь меж зелеными листьями,
Свою любовь ты и для нас пропой.
Ах, если б мог я наравне с тобою
В эфире неба радостно парить,
К любимой я помчался бы стрелой,
Чем в роще воздыхать и слезы лить.

Они умолкли и последний отрезок пути, до школы, прошли в полном молчании между двумя рядами живой изгороди. Сине, жена хусмена Ганса, которая на ночь глядя вывела корову немного попасться, перед тем как загнать ее в хлев, поклонилась им, когда они проходили мимо, не переставая вязать.

На крыльце школы сидел старый Бэллинг со своей трубкой. Он встал и поклонился. Мадам поджидала их в дверях — тоже с вязаньем, она как раз испекла сегодня слоеных крендельков. Фру Берг с Херлуфом поднялись и сели на скамеечку, а Бэллинг остался внизу разговаривать с Бергом о лесном аукционе.

Ниже по дороге, у пруда, кузнец закрывал на ночь кузню, выше, из трактира, вышла мадам Хенриксен,

мощная и широкоплечая, и уселась на скамейку между двумя белыми столбиками. Начался громкий обмен приветствиями — через всю площадь, поздоровались они и с кузнецом, который возвращался домой вместе со своей собакой.

Казалось, будто от самого воздуха этой площади люди здороваются, крепнут и наливаются соком, такой здесь у всех был цветущий вид — у Бэллингов ли, у трактирщицы или у кузнеца. Зазвонили колокола, все приутихло. Только Берг и Бэллинг, понизив голос до шепота, продолжали разговор. Сине неторопливо гнала через площадь свою корову на водопой. Корова напилась, замычала, и ее мычание гулко разнеслось над прудом.

Колокола смолкли.

— Пора домой, — сказала фру Берг. Темный багрянец неба озарил луга и кусты. Тине пошла с Бергами.

Дома, в гостиной, еще немного посумерничали — фру Берг села за рояль и спела песенку о маленькой Грете. Лесничий прошел в свой кабинет, но дверь за собой не закрыл.

Херлуф устал от прогулки и заснул на своей скамеечке, уронив голову на диван. Фру Берг присела рядом и вскоре задремала тоже. Потом она наполовину проснулась.

— Тине, посмотри, как там с ужином, — сказала она сонным голосом, и Тине вышла поглядеть, чем занимается Софи. Фру Берг, бывало, никогда не проснется, пока не зажгут большую лампу и не подадут чай. В таких случаях она изумленно восклицала:

— Нет, вы только посмотрите, чай уже на столе, — и тотчас вскакивала как встрепанная. После чая она заставляла Берга садиться за вист с «болваном». От каждого роббера, сыгранного с лесничим, бедную Тине бросало в жар.

А не то Берг читал, сидя посреди большой полутемной гостиной, где светло было только в кругу от лампы. Чаще всего читал он Эленшлегера или Палудана-Мюллера, и Тине всегда держала наготове носовой платок.

Позднее, когда Тине собиралась уходить, они с фру Берг забегали в кладовку, наскоро хватали банку с вареньем и торопливо ели из одной вазочки.

— Да, да, Берг, минуточку. Берг, мы уже идем, — кричала фру Берг и задувала свечу, раньше чем они успевали долизать остатки. — Мы здесь, дорогой.

Берг с фонарем дожидался в сених. Было уже совсем поздно, и он вызвался проводить Тине. Они шли по дороге, слева и справа густыми тенями выступали из тьмы дома и дворы. Собаки негромко ворчали спросонок. Берг высоко поднимал фонарь, чтобы отыскать, где посуше.

— Сюда, Тине,— звал он,— здесь не грязно.— И Тине осторожно шла вслед за его фонарем, высоко поднимая юбки. Заполучить в провожатые самого господина лесничего — большей чести Тине себе и представить не могла.

— Ну, до встречи,— говорил Берг на прощанье.

— А меня провожал лесничий,— прямо с порога сообщила Тине. Однако мадам Бэллинг сообщение Тине отнюдь не смягчало. Куда это годится возвращаться домой так поздно?!

Раз уж она все равно их разбудила, Тине подходила к родительской постели с докладом: после вечера, проведенного у Бергов, всегда было о чем рассказать или расспросить.

Потом Тине поднималась наверх, к себе, а родители продолжали разговор. У мадам Бэллинг была привычка: если ее среди ночи поднимут с постели и ей придется надеть нижнюю юбку, она потом ни за что сразу не ляжет, вспомнит про тысячу всяких дел и начнет снова из спальни в кухню, громко переговариваясь на ходу с мужем.

— Очень порядочные люди, дай им бог здоровья! — поддакивал Бэллинг внизу.

— Тине! — вдруг крикнула мать.

— Да, мама! — отозвалась Тине из своей комнаты.

— Не забудь, детка, завтра про кусок масла, который я припасла, такое, знаешь ли, хорошее сбилось масло, вот я и отложила его... пусть они полакомятся.

— Хорошо, мама,— отвечала Тине и под звук родительских голосов сладко засыпала.

— Да, очень сердечные люди,— заключала мадам Бэллинг, после чего распускала наконец завязки юбки и возвращалась к Бэллингу.

В эту ночь Тине долго не могла уснуть. Сонное дыхание родителей наполняло дом. А Тине не спала. Она перебирала в памяти годы, проведенные рядом с Бергами, в их доме, где все теперь перевернуто вверх дном,

где нет теперь Херлуфа и фру Берг, вспоминала даже свое собственное детство. Те зимние утра, когда все «папины детишки» еще затемно приходили в школу и мать уводила их в спальню и помогала выбраться из множества одежек, а Тине, сидя на постели, с удивлением глядела на них. Потом она пила кофе, а дети пели утренний псалом.

По воскресеньям перед домом стояла пасторова карета с застекленными окошечками, а мальчики из хора сидели в кухне на скамеечке и подставляли плошки, прихваченные из дому, и мадам Бэллинг наливала им кофе, чтобы они хорошенько отогрелись, покуда пастор читает свою проповедь.

Но дни мало-помалу становились длиннее, оседал и чернел снеговик, и в школе кройки и шитья у барышень Иессен теперь даже к концу дня не зажигали света. Кончались вечерние занятия у отца в школе, в последний раз «папины детишки» высыпали на площадь и разбежались по домам, после чего площадь до позднего вечера оставалась в полном распоряжении Тине и Катинки, что из трактира. Они с ней каждый вечер дотемна играли в классики.

Мать и мадам Хенриксен появлялись в дверях, на каждой вязаный платок, отец стоял на крыльце и курил трубку.

— Зиме конец,— кричал он через площадь кузнецу.

— Точно,— отвечал кузнец, подковывая чалуую кобылку Ларса Эрика.

Прилетали скворцы и занимали все пришкольные скворечни, потом наконец появлялись аисты; на трактире, как раз посреди крыши, всегда селился один и тот же. Мальчики и девочки на переменах становились в круг и приманивали аиста песней. Всякий, кто шел в трактир либо в церковь, непременно высказывал свои соображения касательно аиста. Как он летит, высоко или низко, сядет он на болото или не сядет,— с этим было связано множество примет и предсказаний: насчет предстоящего лета, весеннего сева и дождей на Ивана Купалу.

— Поздно он прилетел, значит, жди тепла,— говорил Бэллинг. С тридцать девятого года, с тех пор как Бэллинг учительствовал в этой школе, он помнил все даты его прилетов. В своем немецком календаре он записывал все про скворцов и аистов.

Пришла весна, в школе распахнули окна. Оттуда доносился неумолчный шум,— библейские тексты, география, катехизис. Под конец мальчики запевали во весь голос, а Бэллинг отбивал такт большой указкой; мадам Хенриксен очень часто выглядывала из дверей лишь затем, чтобы лучше слышать.

— Эти старые мелодии освежают душу,— говорила она.

Над площадью разносились то народные песни, то псалмы, потом дети с радостными криками разбежались по домам, а Бэллинг выходил на крыльцо освежиться после дневных трудов.

По вечерам, когда звонарь отправлялся в церковь, Тине, уцепясь за его руку, шла вместе с ним. Звонарь поднимался на колокольню, а Тине садилась на камушек у дверей, за кустами самшита, и сидела там, задумчивая и тихая.

Теперь, при хорошей погоде, ни один экипаж не проезжал мимо школы без остановки. Торговец, и арендатор из Гаммельгора, и мадам Эсбенсен, повивальная бабка; всем им подавали кофе прямо в экипаж.

— Весной в вашем приходе всегда много работы,— стрекотала мадам Эсбенсен... Это вообще один из лучших приходов — в мае. А все дело в том,— продолжала она,— что живут здесь умные люди, которые вовремя управляют с урожаем.

К кофе ей подавали вафли, и потому разговор о родинах и крестинах затягивался перед крыльцом на целый час.

— Ну и, конечно, это приносит свои плоды.— Мадам Эсбенсен кивком прощалась со всеми и уплывала на своем пружинном сиденье. Тине уносила чашки и блюдца, а мадам Бэллинг оставалась на улице, чтобы дать подробный отчет мадам Хенриксен, которая выходила из дому порасспросить, как и что.

— Небось к Хансу Лоренцу? Так я и думала. Как раз пора... У них и каждый год об это время,— говорила мадам Хенриксен.

— Да,— отвечала мадам Бэллинг и чуть вздохнула,— на все божья воля.

Затем обе расходились по домам.

...Однажды вечером, когда Ане принесла с выгона полный подойник, мадам Бэллинг и Тине сидели на крыльчке. Могильщик возвращался с кладбища домой.

— Ну, Нильс Ларс,— окликнула его мадам Бэллинг.— Все готово?

— Да, мадам,— отвечал могильщик.— Все готово.

— Вот и слава богу, уж так она намучилась... Вот и слава богу... Доброй тебе ночи.

— И вам того же.

Могильщик с заступом на плече ушел вниз по улице, свернул за трактир, и все стихло. Воздух благоухал буксом, липой и бузиной.

На другое утро площадь посыпали песком и листьями. Носильщикам нелегко было дотащить гроб в один присест, поэтому они остановились перевести дух на середине площади, поставив гроб на черные козлы, после чего продолжали свой путь до кладбища. Могила была вырыта у самой стены, а потому мадам Бэллинг и Тине слушали надгробную проповедь прямо у себя на кухне.

Вечером мадам Бэллинг ходила взглянуть на венки, после чего села с вязаньем на крылечко. Мадам Хенриксен уже сидела перед своим домом на скамейке между белыми столбиками.

— Вот она и обрела покой,— начала мадам Бэллинг.— И слава богу, что обрела, довольно она настрадалась.

— Да, счастья ей бог не дал,— подтвердила мадам Хенриксен.

— Но бог в урочный час дарует избавление,— сказала мадам Бэллинг, и обе молча занялись вязаньем.

Тине и Катинка, взявшись за руки, выбежали из-за трактира. Они теперь вместе ходили на занятия к пастору. Перебегая через площадь, усыпанную песком и буксом, девочки громко пели.

Годы шли.

Праздник, и будни, и уборка урожая — неделя за неделей, от воскресенья до воскресенья.

В причетниковом доме женщины теперь ходили в церковь по очереди — либо мать, либо Тине, одной надлежало оставаться, чтобы после богослужения пастор мог выпить чашку настоящего кофе.

Тот день выдался такой теплый и тихий, что Тине раскрыла окна на обе стороны. Солнце озаряло стол и обтянутую дамастом кушетку; все комнаты были наполнены ароматом роз и желтофиолей.

По саду разлился псалом, исполняемый множеством дискантов. Мальчишки пели «Прекрасен мир», и Тине, хлопоча по хозяйству, начала подтягивать.

Из церкви вышла какая-то прихожанка, за ней на паперть высыпали мальчишки-хористы и с веселым гамом помчались вдоль буксовой изгороди.

— Не смейте мешать господину пастору! — крикнула Тине. Мальчишки приутихли и начали играть в орлянку у церковной ограды.

Накрыв стол белой скатертью и разложив приборы, Тине сама села на приступочку перед домом в такой благочестивой позе, будто слова проповеди доносились и до нее.

Когда же ей доводилось слушать проповеди молодого пастора в церкви, она пряталась позади органа, и слезы лились из ее глаз, словно вода из разбитого кувшина, до тех пор, пока он не сходил с кафедры. Этим летом у нее вообще глаза были на мокром месте, на нее то и дело накатывало, любая мелочь вызывала у нее безмерное волнение, так что Катинка, дочь мадам Хенриксен, хозяйки трактира, вечно смеялась над ней, просто заходила от смеха.

— У тебя любая царапинка здесь становится раной, — говорила Тинка и хлопала подругу по груди.

Итак, Тине сидела на приступочке. Перед ней лежала тихая, озаренная солнцем площадь. Мальчишки-хористы, разомлев, устроились под стеной, у трактира сидел пасторов Нильс без пиджака и при красной жилетке, сидел на солнышке, вальяжно раскинувшись, и поплеывал.

Снова запели псалом, несколько мужчин украдкой выбрались из церкви, чтобы, затолкав пальцем табак в трубку, выкурить ее у ворот. Вслед за ними вышли другие, а кой-кто прямым ходом направился в трактир, где на столах тотчас появился кофейный пунш и колоды карт, как можно было углядеть через открытое окно.

На площади парни с трубками становились кружком, а девушки стыдливо толпились возле церковных дверей.

У причетника в доме за стол усадили четверых-пятых крестьянок, они и сидели окаменело вокруг бэлинговой миски со сливками, а Тине потчевала их и пастора кофе. Ей казалось, будто у нее сводит плечи и

руки налились свинцом, а все потому, что к ним пришел пастор. Когда же он заговаривал с нею, у нее прямо дух захватывало.

Из-за трактира донесся стук колес, и Тинка, которая хихикала посреди площади с сыновьями лавочника из Ноттмарка, поглядывая на Тине и пастора в окне школы, проворно отскочила, чтобы дать дорогу гаммель-горовским гнедым, которые неслись к дому Бэллингов. Картежники в трактире тоже повернулись.

— А, это сам, он всегда так погоняет,— сказал кузнец Кнуд, и все возобновили прерванную игру.

Стен-Толстяк весь в поту, задыхаясь, вылез из экипажа и, с трудом передвигая затекшие от долгого сидения ноги, поднялся на крыльцо школы.

— А у меня новости,— сказал он после того, как вошел, поздоровался со всеми за руку и сел.— К вам, друзья мои, назначили нового лесничего. Позавчера. По имени Берг.— С этими словами он протянул пастору свежий номер «Берлингске тиденде».

— Значит, не из Гростена назначили,— сказал Бэллинг.

— И хорошо сделали,— пояснила мадам Бэллинг.

Пастор прочитал вслух:

«Имя Х.-Р. Берг, старший лейтенант запаса».

Завязался спор, из каких он Бергов и кто он вообще такой.

— Может, из Граммовских? — предположил Бэллинг,— у них был в двадцать девятом году советник лесного управления...

Мадам тоже помнила того Берга. Но тот был родом из Коллинга...

— Очень была хорошая семья,— добавил Бэллинг.

Две крестьянки, сидевшие на углу стола, тоже завели шепотом разговор о старом советнике: им довелось обмывать госпожу советницу — а под головой у покойницы лежали ее псалтырь и ее Библия... И крестьянки продолжали свой рассказ о том, как обряжали советницу, о похоронах, говорили, говорили, растрогались до слез и принялись вытирать глаза сложенными носовыми платочками, а та, что сидела посредине, продолжала макать крендельки, испеченные мадам Бэллинг, в кофе, и поглощала их медленно, но упорно.

— Нет, родом он из Копенгагена,— объяснил Стен, получив из рук Тине чашку кофе,— и совсем еще моло-

дой, как мне ленсман рассказывал. Но уже женат, фрекен Бэллинг.— И Стен взял Тине за руку.

Тине, которая в присутствии пастора становилась крайне неразговорчивой и вздрагивала, если кто-либо заговаривал с ней, отвечала, встрепенувшись:

— Неужели? — таким тоном, что все рассмеялись. Крестьянка, сидевшая посредине, наконец-то управилась со всеми крендельками и спокойно поставила чашку на стол.

Кучеру Стена подали стакан кофейного пунша прямо через окно, после чего он пошел сообщать новость в трактир. Игроки, покрасневшиеся от жары и пунша, на свой лад прокомментировали событие:

— Наконец-то проведут аукцион после прежнего лесничего. Впрочем, там и продавать почти нечего.

— А лошади-то? Они еще могут пригодиться как ломовые, — сказал кузнец.

У причетника встали из-за стола.

— Причетникова Тине по уши влюблена в нашего пастора, — сказал своему кучеру Стен на обратном пути.

Площадь понемногу опустела. Молодежь небольшими группками разошлась по домам.

Мадам Бэллинг громко крикнула Тине, что собирается к мадам Хенриксен обсудить новости. Но никто ей не ответил. Тине стаяла на церковном дворе, забившись в угол, и провожала глазами коляску пастора, пока та не скрылась за изгородью.

Тогда Тине вернулась домой — достать песенник. За лето она записала в этой маленькой синей тетрадке так много песен. У себя в комнате она открыла тетрадь на той странице, где был записан «Рыцарь Огэ», тот самый, что взвалил «свой гроб себе на плечи». Стихотворение было переписано каллиграфическим почерком от первой до последней строчки.

На площади половые из трактира сражались в кегли, раздавались возгласы играющих в карты.

Со звоном колоколов вернулась домой мадам Бэллинг. Она ходила на кладбище проведать могилу старого советника. Стыдно глядеть, до чего запустили ее звонари, она хоть крест обсадила левкоями.

Мало-помалу разбрелись по домам игроки, половые шептались на скамейке, а мадам Бэллинг и мадам Хенриксен сидели в белых чепцах каждая перед своей дверью и молча вязали.

Тине больше не различала буквы и села у окна. Вечер был прохладный и туманный. Из сада и с кладбища веяло ароматом цветов. Ясно слышался каждый звук, смех над полями, шорох кустов в «Райской аллее», за церковной оградой, где гуляли парочки.

На площадь выехала коляска и остановилась перед школой. Тине услышала голоса: разговор шел о новом лесничем.

— Да,— задумчиво сказала мадам Бэллинг,— соседями будем.

Коляска поехала дальше, и стук ее колес смолк вдали.

Мимо пролетела то ли летучая мышь, то ли сова; тихий вечер лег на поля и доли, только из «Райской аллеи» доносился негромкий треск кустов.

— Тине,— окликнула с крыльца мадам Бэллинг.

— Иду, мама,— вскочила Тине и достала платок, чтобы вытереть глаза.

— Доброй вам ночи, мадам Хенриксен,— опять донеслось с крыльца.

— И вам того желаю, мадам Бэллинг.

Одна за другой закрылись все двери.

Осенью прибыл новый лесничий, потом родился Херлуф, мальчик подрастал, зима проходила за зимой, лето за летом.

На Иванов день у лесничего весь дом кишел гостями, приезжали из Копенгагена, из Хорсенса. Тине заглядывала в лесничество по утрам, ненадолго, приносила что-нибудь из своего сада либо кувшин свежих сливок. Впору было подумать, что четыре коровы Бэллингов дают больше молока, чем четырнадцать Берговых, недаром мадам Бэллинг все время изнывала от жалости к «бедной фру Берг, которой приходится кормить такую ораву».

— Для горожанки куда как трудно,— говорила мадам Бэллинг.

Когда Тине по утрам появлялась в лесничестве, на всех окнах комнат для гостей еще были спущены шторы. Фру Берг осторожно приоткрывала дверь спальни и появлялась на пороге в ночном туалете.

— Это Тине? — шепотом спрашивала она.

— Она самая.

Тине заходила в дом. Фру Берг садилась на постель.

Она утверждала, что всю ночь не смыкала глаз, поджидая Тине. И что надо бы испечь сдобный крендель.

— Вы ведь знаете, Тине,— и фру Берг беспомощно хлопала ладошками по простыням,— вы ведь знаете, мне на крендели почему-то не везет... (Надобно заметить, фру Берг не везло не на одни только крендели.)

— Я могу поставить тесто.

— Спасибо, Тине, спасибо,— говорила фру Берг и потягивалась.— А теперь откройте окно.— И фру Берг снова ныряла под теплую перину.

Фру Берг любила вздремнуть напоследок при открытых окнах.

Покуда Тине колдовала над кренделем, лесничий возвращался домой; перед окном кухни он замедлял шаги.

— Где вы так долго прятались? — восклицал он, глядя, как проворно управляются с тестом ее округлые руки.

— Ты знаешь, Мария,— говаривал он порой,— Тине иногда выглядит просто красавицей... по утрам.

Отобедав, мадам Бэллинг с Тине сидели у окна в гостиной, а Бэллинг после конца школьных занятий большую часть дня проводил в поле.

— Тине, Тине,— окликала мадам Бэллинг свою дочь, которая тем временем вожила пряжу,— Тине, рэнхавенские едут...

Из-за угла трактира выезжал огромный рыдван, битком набитый гостями.

— Десятка два, не меньше,— заключала мадам Бэллинг.— И где они место берут... куда они всех укладывают? — ахала она и начинала прикидывать, каким образом можно разместить в Рэнхаве такую уйму гостей.

Тине кивала да кивала на каждое слово матери, пока карета не скрывалась за углом.

— Те трое, в шляпах,— те были в прошлый четверг,— заключала мадам Бэллинг и возвращалась к своему вязанию.

Проезжали мимо ноттмаркцы, проезжал лесничий со своими гостями в шарабане. Тут начинались поклоны, воздушные поцелуи, и фру Берг кричала из экипажа:

— В лес! В лес!

А гости пели всю дорогу.

Ах, как наш край хорош,
Омытый синим морем и весь в густых лесах.

Мужи так величавы
И жены так прекрасны
На датских островах.

— А брюнет кто такой? Брат фру Берг? — любопытствовала мадам Бэллинг.

— Да... а ты видела, как поклонился лесничий? — И Тине роняла шитье на колени.

Потом проезжал в карете епископ, а с ним две пожилые дамы-патронессы из Валлэ; мадам Бэллинг отвешивала поклон чуть не до земли. Стеново семейство проезжало мимо со своими студентами: теперь по всему острову, во всех домах были гости.

Катинка, не покидавшая до самого вечера насиженного места на скамеечке перед трактиром, не вытерпев, бежала отвести душу. Летом ей приходилось нелегко.

— Понимаете, мадам Бэллинг, эти копенгагенские, они все посматривают на меня, все посматривают... К Стену приехали студенты, а тот, смуглый, — откуда он только взялся... из Рэнхаве, верно... Очень все симпатичные. — И Катинка подбоченивалась, отчего начинала схватывать на кувшин с двумя ручками.

Но мадам Бэллинг, по совести говоря, ничего симпатичного в этих шалопах не находила.

— Вот лесничий — так уж точно интересный мужчина... Очень даже интересный... — О каких бы мужчинах ни зашла речь, мадам Бэллинг неизменно кончала разговор этой фразой.

Фангели выезжали из-за трактира и как раз под окнами школы демонстрировали свои корзинки с провизией. Фангели собирались в Малый лес — на небольшую прогулку.

— Ну и разъездились, — говорила мадам Бэллинг. — Оно и понятно: благодарение богу, очень у нас места красивые.

— Как бы они не забыли взять с собой ложки для пудинга, — тревожилась Тине. Она думала только про своих Бергов.

— Ты бы сбегала туда. Право, сбегала бы. Мало ли что там может понадобиться... Мыслимое ли дело — столько гостей, и все с ночевкой...

Тине уходила в лесничество, поглядеть «что и как», пока хозяева прохлаждались в Большом лесу.

По вечерам Тине долго сидела на скамейке у крыльца. Одна за другой возвращались коляски с полусонными гостями.

— Добрый вечер,— приглушенным голосом говорил кучер.

— Вечер добрый,— отвечала Тине.

А гости сонно кивали, проезжая мимо школы.

Наконец Тине поднималась к себе,— родители давно уже лежали в постели.

Издалека доносился стук колес, в подъезжавшей карете пели, песня становилась ближе, ближе и затихала вдали...

Нивы Дании златые,
Рокот синих вод.
Вновь сыны ее лихие
Выступят в поход...

— Тине,— слышался с нижнего этажа протяжный и приглушенный голос — чтобы не разбудить уснувшего Бэллинга.

— Да, мама?

— Это лесничий проехал?

— Да, мама.

Тине подходила к окну и слушала, как замирает вдали песня.

...Против всяких иноземцев,
Против вендов, против немцев.
Лишь одна в саду беда:
Расшатались ворота.

Вот они уже подъехали к лесничеству и свернули в ворота.

Теперь ночную тишину нарушал только ноттмаркский торговец, тяжело заворачивавший лошадей за угол трактира.

...Когда фру Берг возвращалась из Сэндерборга, проводив последних гостей, она падала на старый диванчик в Бэллинговом доме и вздыхала.

— Слава богу,— смеялась она.— Наконец-то уехали. Слава богу.

На столе появлялся кофе, а в кухне радостно колдовала над вафельницей мадам Бэллинг, готовя свежие вафли.

Приходила осень, а с ней сбор яблок, забой скотины. У Бергов весь дом благоухал имбирем, тимьяном и перцем. Фру Берг, Тине, горничные, накинув душегрейки и платки, садились в пивоварне вокруг мисок с кровью и набивали колбасы. Фру Берг рассказывала при этом приличествующие случаю истории, а Марен пела. Голос ее раздавался, словно трубный глас, а сама она несколькими энергичными движениями набивала круглую колбасу. Фру Берг подхватывала припев.

Любовь, колбаска и вино —
Вот что на радость нам дано.

Тине размешивала начинку к белым колбасам, а Софи, укутанная вдвое против остальных и с обмотанной головой, словно тяжело раненный воин, чистила миндаль, чтобы обварить его потом кипятком.

— Мы, городские, мало что в этом смыслим, — приговаривала Софи, ибо родом она была из Хорсенса. По большей части она не работала, а только наблюдала за остальными, сложив руки под фартуком.

Специи надлежало добавить в белый колбасный фарш, и фру Берг понадобилось немножко ванили. Взяв свечу, они с Тине бежали порыться в секретере, где ваниль хранилась вместе с фамильным серебром.

А свечу ставили на откинутую крышку секретера.

Фру Берг болтала, выдвигала один ящик, задвигала другой, ванили нигде не было. Были носовые платки... и еще письма. Фру Берг вываливала письма на крышку и смеялась:

— Это все Берговы письма, в первый год после нашей помолвки... — Она развязала ленточку и разложила на крышке секретера большие голубые листы, потом начала читать при свече. Рассмеялась, и продолжала вслух — и сплошные звезды, и не забывай, и строки стихов, и чего здесь только не было.

Тине смеялась вместе с фру Берг, они стояли, закутанные во множество шалей, потом вдруг фру Берг сказала:

— Боже милостивый, ведь было когда-то и так, — и перестала читать. — И это принимают за любовь. — Она хлопнула ладонью по пачке писем и снова рассмеялась.

Они возобновили поиски и все-таки нашли ваниль. В кухне на плите уже стояли шкварки, из трубы валил дым.

Явились жены хусменов, уселись на скамеечке у дверей с ведрами и терпеливо дожидались: когда у Бергов забивали свиней, это было праздником для всех хусменов.

— Добрый вечер, добрый вечер,— говорила фру Берг,— шкварки уже на плите, а ну, Тине, пойдём-ка за колбасами.

Они пошли в кладовую, где готовые круглые колбасы длинными рядами вытянулись на соломе, и отделили для каждой ее долю.

— И эту туда же,— восклицала фру Берг и кидала похожий на толстого ужа батон кровяной колбасы кровельщицкой Ане.— Ртов-то много,— говорила фру Берг и все раздавала, раздавала колбасы, а женщины бережно заворачивали их в ситцевые фартуки и целовали ручку у «фру» и у «барышни».

— Ну, будет, будет, Ане,— говорила фру Берг, отдергивая руки,— ешьте на здоровье. И не забудьте про шкварки.

Женщины большими ложками черпали жир.

— Ну и запах,— говорила одна из них и даже потягивалась вся, как кошка перед теплой печкой.

— Так в носу и щекочет,— поддакивала фру Берг и смеялась от удовольствия.

Получив свою долю, женщины медленно удалялись.

— Ладно, ладно, ну ладно же.— Тине не могла остановить поток благодарностей из уст Ане. Ане уходила последней с ведром и связкой колбас.

Когда они вернулись в пивоварню, Софи удобно уселась под лампой, как раз на месте фру Берг.

— Да, да, я и сама слышала, я и сама слышала.— И Софи так и вытягивала шею над мисками с кровяным фаршем, чтобы послушать еще раз.

Одна из служанок рассказывала о мнимой смерти дочери Ларса Эриксона, как та вдруг села в гробу прямо в саване.

...Тине собралась домой, лесничий вызвался ее проводить, но она ушла одна, на дворе было полнолуние и светло, как днем.

И вот что странно: когда она по холодку бежала домой, ей вновь вспомнились обрывки старых Берговых писем; она могла бы повторить их наизусть, слово в слово.

Приближалось рождество. В последние дни Тине пришла на выручку фру Берг. Та никак не могла управиться с рождественскими подарками, еще и в самый праздник повсюду валялись незаконченные вышивки.

— Эка беда,—говорила фру Берг.— Дошьем после праздников.

Поэтому Тине перетаскивала часть подарков к себе и вышивала по ночам, при свече, разложив канву поверх одеяла. Пальцы у нее леденели — такой стоял холод.

Рождество пришло и прошло. Накануне крещенья Тине вечером пошла к Бергам. Фру Берг сидела у окна и пыталась читать при последних отблесках дневного света.

— Любовь, любовь, только и разговору что о ней,— сказала она, захлопывая книгу. Потом уютно устроилась рядом с Тине возле изразцовой печки.

— Да,—согласилась Тине и задумчиво поглядела в огонь.— Но что такое любовь?

Фру Берг громко расхохоталась, до того глубокомысленный вид был у Тине.

Потом она вдруг оборвала смех и сказала, глядя, как и Тине, в огонь:

— По-моему, это когда два человека вместе. И когда они счастливы друг с другом,— последнее было сказано уже не таким решительным тоном, и обе замолкли, глядя в огонь, а потом отправились зажигать елку.

Лесничий, фру Берг, Тине сидели и болтали о всякой всячине, пока не догорела на елке последняя свеча: болтали о рождественских праздниках и о новогодних пирах — после Нового года такое начинается веселье, выездных лошадей просто не успевают развести по стойлам.

Фру Берг запела псалом, они вполголоса допели его до конца, фру Берг и Тине,— псалом о «Трех королях», допели, не сводя глаз с елки.

Херлуф сидел тихо, прижавшись к отцовским коленям, и глядел на свечи.

— Папа, рождество уже кончилось? — вдруг воскликнул он, когда оставались гореть только последние свечки, которые ему надлежало задуть. Но Софи должна была увидеть это своими глазами — и прочая прислуга тоже. Херлуф бегал по дому и собирал всех домашних — вплоть до Ханса-хусмена. Все говорили «добрый вечер» и в синих носках толпились у дверей.

Огни на елке почти все погасли, комната тонула в полумраке, горело только шесть-семь свечек. Берг поднял Херлуфа, и тот задул их: «Ф-ф-ф — вот и конец рождеству...»

— Ф-фф-ф — вот и конец рождеству, — приговаривал Херлуф с такой гордостью, будто собственной властью с каждой погашенной свечой изгонял праздник из дома; остальные внимательно следили за его действиями.

— Последнюю! — воскликнула фру Берг. — Последнюю!

Погасла и последняя свеча, стало совсем темно, лесничий осторожно поставил сына на пол.

Фру Берг взяла мужа под руку, и в полном молчании все вышли из комнаты.

Пужинали при лампе вареньем и сухариками, Тине заторопилась домой. Фру Берг тоже не прочь была прогуляться по такой отличной погоде, и они вышли втроем. Подморозило, все дороги покрыл снег.

Вдоль больших канав мальчишки накатали ледяные дорожки. Фру Берг и Тине решили прокатиться, Тине первая. Фру Берг упала и засмеялась, а Тине тронулась с места так широко и уверенно, как фрегат по воде.

И опять они шли молча, а снег скрипел под ногами. Издалека доносились звуки скрипки и флейты.

— У Ларса Андерса танцы, — сказала Тине.

На площади было светло, снег покрыл ограды и церковную крышу. В трактире и в школе было совсем тихо. Ни огонька, ни звука.

— Да, — промолвил Берг. — Рождество кончилось.

Они остановились и постояли молча перед замерзшим прудом.

— Да, — сказала и фру Берг, и голос у нее дрогнул. — Но ведь здесь, здесь всегда хоть немножко да похоже на рождество, верно, Хенрик?

— Да, — шепнула Тине. — Здесь так красиво.

И все трое, борясь с волнением, поглядели на белые поля под высоким звездным небом.

Так прошло последнее рождество.

Тине уткнулась щекой в подушку и начала всхлипывать. Долго плакала она и все не могла уняться.

Тяжелый экипаж выехал из-за угла. Тине прислушалась. Конечно, это торговец. Значит, скоро рассветет.

С этими мыслями она наконец погрузилась в сон.

У однорукого барона были гости. Они начали собираться рано, сразу после полудня,— в дни, когда решалась судьба оборонительного вала Данневирке, люди старались держаться вместе,— и отобедали на веранде. Теперь все сидели за пуншем в гостиной, где воздух стал сырым от дыма трубок.

Под окнами стояли открытые ломберные столы, но никто к ним даже не приблизился, если не считать доктора Фангеля и Зелигемера, да и те задремали, не начав игры, потому что никак не могли залучить к себе третьего партнера. Больше ни один не соблазнился картами, люди ходили, ходилиц взад и вперед, собирались по углам в группки и говорили, говорили без умолку о Буструпе, об укреплениях, о Мисуне и о минувшей войне.

Все голоса заглушал голос капеллана Гро: тот стоял перед Стеном из Гаммельгора, едва доставая своему собеседнику до пояса. Он говорил о битве под Истедом и о дорогом короле, под которым подразумевался покойный Фредерик Седьмой. Излив на слушателя бурный поток слов и попутно усеяв брызгами слюны его жилет, капеллан вынес своего рода резюме:

— Да, тут одержали победу датские сердца.

Капеллан умолк, и улыбка веры озарила его лицо. Был он грундтвигианцем, а когда говорил, квакал, как лягушка.

В углу у книжного шкафа слушатели обступили почтмейстера из Аугустенборга — почтмейстер рассказывал о битве при Фредерисии — он был тогда в деле — прорыв на шанцы, укрепления в огне, штыковая атака под радостный бой барабанов. Когда враг засыпал их ядрами, они велели полковым музыкантам играть погромче, а перейдя в наступление, и сами запели.

Они тогда вырядились жнецами и заманили пруссаков на ржаное поле.

Разговор у шкафа стал всеобщим, перепархивал от Фредерисии к Истеду, от Истеда к Бову, от одной победы к другой.

Стен из Гаммельгора тоже был тогда в деле, он сражался под началом Хельгесена.

— Да, настоящий был сорвиголова,— сказал Стен,— а уж дрался, что твой атаман.

Разговор продолжался, вспомнили слова Рюе: «За-

хватить — и вперед»; вспомнили Шлеппегрелля и де Меца, менявшего перчатки под градом пуль. Каждый зычным голосом рассказывал про свое — каждый, кроме камергера, пробста и самого барона, те стояли посреди комнаты и говорили о правительстве, которое, — а как же иначе? — сознает свою ответственность.

Если не считать этой беседы, кругом разливалась победная песня о нанизанных на штыки пруссаках; война фанфарами гремела в комнате под аккомпанемент солевой шуточки и бодрых кликов. Наконец Фредерик Клинт, студент, гостивший здесь и не могущий принять участие в кампании из-за пальца, отстреленного по нечаянности в стрелковом фереине, схватил свой бокал и воскликнул, разгоряченный пуншем и войной:

— Пусть они сунутся сюда, мы приготовим им хорошую встречу.

Тост подхватили, у всех загорелись глаза, внезапно они хором затянули песню о храбром датском солдате, затянули громкими, высокими голосами, все, кроме пробста, который спокойно ходил по комнате, словно у себя в ризнице в дни больших праздников, да камергера, который молча стоял, поблескивая белым пластроном рубашки, и чему-то улыбался.

Старый Фангель при звуках песни очнулся от дремоты. «Во имя божье», — сказал он. Эта фраза знаменовала для него переход от сна к дальнейшим заботам дня. Сказавши так, старый Фангель подхватил напев, а певцы забирали все вверх и вверх (студент даже на стул залез) и каждый раз при слове «немцы» возвышали голос до такого крика, будто тут же ударом кулака отправляли на землю парочку-другую супостатов.

Пришла Софи с обвязанной головой, принесла газеты и почту, певцы, словно по команде, смолкли.

— Наконец-то! — воскликнул пробст, задохнувшись от волнения, и выхватил газету у нее из рук. Уже много часов они дожидались почты.

— Явилась, слава тебе, господи, — вскричал барон, судорожно отыскивая в стопке свою газету.

— Летать-то по такой гололедице не полетишь, дай бог ползком добраться, коли не хочешь переломать ноги, — обидчиво возразила Софи.

Все столпились у лампы, по два-три человека на каждую газету, так что читать толком никто не мог. И тогда Стен сказал:

— Пусть пробст читает вслух.

— Да, пусть их преподобие читает,— взмолились все и сели вокруг стола, а пробст открыл газету от третьего января; депеши были уже знакомы, но зато в газете сохранилась корреспонденция с Данневирке, вот ее-то он и решил прочесть.

— Читайте, читайте,— кричали все.

Тогда его преподобие вскинул седую свою голову, увенчанную львиной гривой, и громким, благозвучным голосом, наполнившим комнату, прочитал ясно и отчетливо всю корреспонденцию, как читал бы воззвание, а слушатели не отводили глаз от его лица, преданно молчали — кое-кто даже молитвенно сложил руки — и внимали каждому слову.

Софи стояла у рояля и плакала.

В корреспонденции сообщалось о телегах, груженных «первосортным мясом», о горах хлеба, о мешках крупы и о боевом духе «верных» солдат. Затем корреспондент переходил к описанию позиций, и его преподобие невольно повысил голос, начал говорить еще более выразительно и страстно, словно поэт, с любовью зачитывающий творение собственной музыки:

— «Вам, без сомнения, известно, как выглядят наши позиции: это длинный укрепленный вал, наш старый, славный Данневирке, за который мы вот уже тысячу лет ведем бой и который до сих пор ни разу не побывал в руках врага. Известно вам также, что вдоль вала открыты шанцы и что позиция эта делается еще более неприступной при наводнениях. Больше вам знать незачем, больше рассказывать не положено. Какая отрада подняться на бруствер, из коих каждый есть настоящая крепость, и с каждого готова обрушиться на врага лавина огня, сея в его рядах смятение и смерть; какая отрада окинуть взором всю местность и представить мысленно, как наш огонь преградит дорогу врагу. Пусть только пожалуют. Мы приготовили им теплую встречу...»

Стен схватил своей ручищей руку арендатора из Воллерупа и бессознательно пожал ее. Студент снова вскочил, а господин Гро замахал маленькими кулачками.

Пробст же читал дальше:

— «Да, вид позиций меня порадовал, усладил мой ум и слух, ибо отрадно было слышать, с каким пылом и усердием готовятся солдаты к боям. Дороги скользкие, вспаханные поля, которыми я проезжал, скованы моро-

зом, и моему коню было нелегко пробраться между замерзшими отвалами пахоты. Но чем трудней приходилось моему коню, тем веселей становилось у меня на душе. Ибо наши враги тоже столкнутся с этими трудностями. Нелегко пройти войску и протащить пушки по этим дорогам, да еще под ураганным огнем. Наступление станет противнику недешево...»

— Так, так,— пробормотал студент сквозь стиснутые зубы.

— «...когда его солдаты будут скользить по ледяным дорогам, да еще спотыкаться о клубни мерзлой земли, а наши пули будут меж тем косить его ряды и вражеская кровь окропит белые поля».

Пробст умолк. Но в комнате не раздалось ни звука — слово перед горящим взором слушателей уже встали и белые поля, и красная кровь.

— «...Не один полный сил воин,— продолжал пробст,— останется лежать в чужой земле, не одно материнское сердце будет потрясено известием, страшней которого не может быть ничего. Пусть одно служит нам утешением: на голову врага обрушится куда больше несчастий, чем на наши головы, и в домах его будет пролито куда больше слез. Так не обернется же наша уверенность постыдным воспоминанием, да не пропадет втуне наш боевой дух, и пусть очередное сообщение состоит из одного только слова: победа. Я уповаю на это, мы все уповаем, но дело решит бог».

Пробст умолк и опустил газету на колени, а капеллан, до предела раскрыв глаза, произнес:

— Бог да хранит свою Данию.

Тогда пробст встал, кряжистый и массивный, наклонился, покачал царственной головой, потом ударил рукой по столу:

— Да, слова, прочитанные нами, выражают надежду всей нации. Это наши упования и наши надежды...— он поднял голову, и белый пластрон рубашки сверкнул боевым панцирем,— на то, что дни Данневирке пробудят нашу старую страну. Мы ждали пятнадцать лет, за время ожидания мы почти погрузились в сон. И смирились,— голос пробста упал, с легкостью перейдя на певучий ямб,— пока почти не стали нацией рабов...

— Верно, верно! — раздалось из всех углов, и те, кто еще сидел, тоже вскочили...

— ...рабов, не смеющих творить свою волю в собственном доме. Скорбная тень постыдного компромисса легла на страну. Однако настал день, когда лучшие сыны датского народа поняли народное смятение, и настал долгожданный час. Да, да.— Пробст снова заговорил громче, и словно ток прошел через его слушателей, которые внимали, стоя плечом к плечу.— Да, да, нам известно их слово о том, что они продумали «со всей глубиной ответственности». Ибо кровное дело Дании — и они знали это — не решится без боя. Нельзя нам долее ползать, словно псам, у немецкого стола — они постигли это, — если мы не хотим невозвратно лишиться самого священного своего наследия и забыть, что существует на свете самоуважение...

Все закричали: «Браво! Браво», и «Слушайте, слушайте», и другие страстные, но неразборчивые слова, после чего снова уставились на пробста, разинув рот.

— Да, — воскликнул пробст и чуть поднял руку.— Да, да, — он тяжело перевел дух, — эти люди пожелали спасти нас на прямом пути. Честь Дании — вот чья судьба решается в этот час.

Он смолк.

Крики больше не раздавались. Все молчали, потом Стен и арендатор из Воллерупа воздели руки, словно поднимая непомерную тяжесть. И снова все рассыпались на группки, и снова заговорили о «победе», и о «Шлезвиге», и о «праве».

— Да, — заглушил остальные голоса голос Гро.— Бог да осенит творение королевы Торы.

А камергер, который стоял рядом с горестно поникшим пробстом и хотел произнести «несколько слов», но решительно не находил их, повернулся наконец к почтмейстеру и сказал голосом, чуть гнусавым от слез:

— Мой дорогой, вот такие ораторы и создали нашу страну.

Все продолжали пить и беседовать, Клинт распахнул окна, в комнату ворвался свежий воздух. Табачный дым расплзался по комнате трепетными полотнищами — словно облака проплывали над головой.

Во дворе кучера стали готовить лошадей в обратный путь, а в комнате господ продолжали шуметь и кричать, обступив хозяина, барона, — тот намеревался произнести речь. Он хотел поговорить о войне и для этой цели залез на стул.

— Война, друзья мои, есть испытание,— начал он,— но такое, которое укрепляет национальный дух, война есть очищающая стихия...

— Верно, верно,— воскликнул арендатор из Воллерупа. А Стен, сидевший среди комнаты и непрерывно барабанивший стиснутым кулаком по здоровенному своему колену, твердил одно:

— Мы их разобьем! Мы их разобьем!

Лишь камергер и пробст слушали барона, остальные, разгорячась, бегали по комнатам, обнимались, перекидывали друг друга, говорили обо всем вперемешку — о войне, о генералах, о немцах и — вдруг — начали хулить короля, короля Христиана.

— У него в груди не датское сердце.

Первым выкрикнул это почтмейстер, крик подхватили остальные.

Но барон по-прежнему стоял на стуле и обрушивал на буйные головы потоки слов — о войне, о датском солдате, о том, кому отдано сердце датской женщины и кто всегда отыщет верный путь. Барон говорил, а пустой рукав, подхваченный ветром, то и дело задевал лицо его преподобия.

Вдруг у окна поднялся страшный шум, все бросились туда, и барону пришлось кончить свою речь. Оказалось, что Клинт и капеллан Гро через окно угощали пуншем хусменов и кучеров, передавая во двор стакан за стаканом, пусть, мол, выпьют за здоровье своих братьев, отстаивающих Данневирке.

Все поторопились распахнуть остальные окна и увидели в саду множество неясных теней — то кучера стали в круг. Лиц было не различить. Потом кучера разом подняли и осушили свои стаканы; еще долго сквозь порывы ветра в комнату доносилось приглушенное девятикратное «ура», звучавшее, словно клятва.

Господа у окон смолкли, растроганные криками своих кучеров, а пробст, стоявший рядом с камергером, произнес дрожащим голосом, указывая во тьму:

— Вот, господин камергер, перед вами — герои Истеда.

Старый доктор Фангель смахнул украдкой слезу со щеки и сказал своему соседу, землемеру:

— Вот те, кому предстоит умереть.

Едва все отошли от окон, студент вскочил на стул, весь бледный, откинув назад волосы, и заговорил — бес-

связно, мяся дымный воздух искалеченной рукой, словно хотел удержатъ вставшие перед ним видения. Сбравшиеся остановились и начали слушать.

— Здесь шла рѣчь о вождах,— скорей выкрикнул, чем проговорил он,— и вожди действительно вели за собой старшее поколение, но нас, молодых, тех, кому теперь предстоит сражаться, нас-то вели другие: наши поэты подарили нам видение мира и возвестили новые времена... Тот, кто призвал народы Севера к единению, кто привел нордическую молодежь к славному содружеству,— вот чьи идеи привели нас к этому дню. И не вздумайте говорить,— студент нетерпеливо рассек рукой воздух,— будто мечтания не сбылись... они еще могут претвориться в действительность... Но, государи мои, пусть даже иллюзиям суждено остаться иллюзиями, все равно, они вскормили нас, стали хлебом нашим насущным... И если воины...— он повернулся лицом к саду, и батраки, не разбиравшие слов, но слышавшие раскаты молодого голоса и видевшие сияние на его лице, подтянулись к подоконникам, восторженно глядя на говорящего,— бдят денно и ночно за датским оборонительным валом, пронзая грозным взглядом ночную тьму, где притаился супостат... то именно он и его единомышленники взлелеяли надежду этих людей и привели их туда; он — наша ответственность и наша честь... многая лета ему и тем, кто с ним.

Дальше Клинт не мог говорить, последние слова застряли у него в горле, но будто самое имя поэта стало выражением всеобщих чаяний и всеобщих надежд, его повторяли снова и снова, в гостиной и во дворе, сопровождая криками ура, и крики отдавались от стен и разносились над лугами и лесами.

Из кучеров ни один не слышал звуков шагов, и едва ли кто обернулся, чтобы взглянуть на Бэллинга, который промчался мимо них с непокрытой головой и еще со двора начал звать дочь:

— Тине! Где Тине? Где Тине?

С тем же пронзительным криком он взбежал по лестнице:

— Тине! Тине! Где Тине?

В сенях он без сил опустился на ступеньку, но ничего не сказал и только покачал головой. Лицо у него было землисто-серое.

— Господи Иисусе, что-то случилось! У Бэллингов

что-то случилось! Ах, господи Иисусе, что же у них случилось? — И Софи заметалась вокруг старика, размахивая снятым от возбуждения головным платком.

— Отец, отец! — Тине прибежала со свечой и наклонилась к нему. — Отец! — еще раз в испуге окликнула она. — Что-нибудь с мамой?

Бэллинг сперва не ответил, потом притянул к себе голову дочери, что-то шепнул ей на ухо, и Тине, побелев, как и он, бессильно прислонилась к стене, воздела руки и снова их уронила.

Бэллинг все еще не мог говорить и подняться тоже не мог, он только указывал пальцем на дверь гостиной.

Тогда Тине пошла, и распахнула дверь, и опустилась на стул возле книжного шкафа: ноги не держали ее.

Пробст и Клинт стояли в центре круга.

— Что, кареты поданы? — спросил у нее пробст. — И Тине ответила, — сама не ведая как, — и слова ее были беззвучны и мертвы.

— Говорят, говорят, они говорят... что мы отошли от Данневирке...

— Что вы сказали? Что вы сказали? — завопил пробст. Тине видела над собой его склоненное мертвенно-бледное лицо — но ответить не могла, указала только на отца, сидевшего без сил на ступеньке, возле забытой свечи.

— Вы что сказали? — продолжал кричать пробст, хватая Бэллинга за плечи. — Вы, верно, рехнулись? Вы, верно, рехнулись? — и сам весь затрясся, едва устояв на ногах. — Объясните же толком, что вы сказали.

Но причетник его не слышал, он лепетал одну фразу, раз за разом, как после удара или — как идиот...

— Они оставили, они оставили, — лепетал он, тщетно пытаясь поднять руку, в которой была зажата бумага — телеграмма; пробст взял ее, и прочел, и уронил, а сам остался стоять, словно окаменев на глазах у выбежавших из комнаты людей.

Потом он вернулся в комнату. Стен поддерживал его. Все уже знали, что случилось, но никто не проронил ни слова. Так продолжалось с полминуты, не меньше. Потом арендатор из Воллерупа вскочил, дрожа как осиновый лист, ударил по стене сжатыми кулаками и зарыдал, словно безумный.

Тут со всех сторон слышались рыдания бледных, ожесточенных и бессильных людей; почтмейстер из Аугу-

стенбурга метался по комнате, приговаривая: «Не может быть — не может быть — армия — армия», — и опять одно и то же слово: «армия» — и яростно жестикулировал кривыми пальцами.

За дверью плакали горничные и кучера, потом они молча вернулись к оставленным во дворе экипажам.

Стен, сидевший напротив капеллана, положил руки на его плечи и горестно поглядел маленькому человечку в лицо.

— Позор, какой позор, — сказал он и уронил голову на стол, словно не мог больше держать ее.

Тут пробста вдруг что-то толкнуло, он поднялся и прокричал:

— Этой ночью была предана Дания, — после чего снова опустился на место.

Казалось, его выкрик облек в словесную форму общее отчаяние и стыд, дал исток бессильному гory, развязал бурю выкриков; раздавались исступленные вопли, пылали лица, слово было найдено: предательство. Клинт внезапно выскочил из своего угла вне себя от ярости, со стоном замахнулся искалеченной рукой и, как ядро, метнул свой бокал над самой головой его предподобия в портрет короля Христиана, вдребезги разбив стекло.

На мгновение стало тихо, и в этой тишине раздавался только звон осколков да портрет сорвался с гвоздя; от удара качнулись датские флаги над портретом покойного короля и попадали на диван вместе с имморталями, но мгновение спустя снова поднялся шум, все опять принялись поносить генералов: Шееля, Плессена, Блуме, Бликсена-Финеке, всех без разбора, а пробст, тем временем несколько успокоившийся, сказал, опершись о стол одной рукой и эффектно взмахивая другой:

— Народ еще потребует их к ответу, будет и на нашей улице праздник.

Никто не слышал, как отворилась дверь, но все узнали голос вошедшего и застыли растерянные, словно пробудились внезапно ото сна.

— А, здесь, оказывается, гости! — Это был епископ, изящный, маленький, с желтоватой кожей и белой бородой; какое-то мгновение он разглядывал стол, бокалы, опрокинутые стулья, добавил: — И немало гостей! — после чего посмотрел как бы сквозь пробста, который окаменел у стола в позе государственного мужа.

Все застыли, растерянные, посреди поля брани, капеллан хотел было, тихонько обогнув стол, подойти к портрету короля, но оставил свое намерение: все равно его преосвященство все видел.

— А, и вы тут, господин камергер,— только и выговорил епископ, поворачиваясь.

Камергер как-то особенно лихо сделал полный оборот на своих стройных ногах, коим был, собственно говоря, и обязан высоким званием: «Луиза хочет видеть при дворе ноги, на которых хорошо сидят брюки»,— изрек покойный король при даровании титула, и эта неприятная шутка часто повторялась в кругах, близких ко двору,— даже епископ и тот удостоил взглядом подвижные ноги камергера.

Затем уже другим тоном, мягким и снисходительным, сказал:

— Да, господа, всем нам предстоит немало сделать и того больше пережить.

Он снова умолк.

— Я, собственно, хотел побеседовать только с бароном,— заговорил епископ далее.— Скоро следует ждать «войска».— На слове «войска» голос его дрогнул, и он сказал: — Но сперва проводите ваших гостей.

Гости вышли, зашумели в прихожей, разбирая шубы, захлопала на ветру дверь, во дворе не было света,— фонари погасли,— и гости заскользили к своим экипажам по гладкой, как зеркало, земле. Слышны были крики кучеров, а Стен опять разрыдался, прислонясь к боку одной из своих гнедых.

Первые уже уселись и шагом поехали со двора под фырканье лошадей; остальные последовали за ними вниз по аллее, навстречу ветру, в крошечной тьме, трудно и медленно.

Тине сидела на кухне, возле печки, ей удалось затащить сюда и отца.

— Папочка, ну папочка же,— говорила она и гладила и гладила отца, а старый Бэллинг сидел, будто неживой, потом привалился к печке и заплакал. Так они сидели рядышком долго, безмолвно.

Наконец Тине отняла от головы руки и, словно разбуженная внезапной тишиной, сказала:

— Значит, лесничий вернется домой.

Она продолжала сидеть возле отца и глядела прямо перед собой огромными глазами.

Фангель последним надел свою шубу; он никак не мог попасть в рукава. Выйдя из дому, он обо что-то споткнулся на ступеньках крыльца,— там, сгорбившись, сидел капеллан.

— Господи боже,— выкликнул доктор,— вы же до смерти замерзнете, сидючи здесь. Встаньте, ну, встаньте же.— И Фангель начал трясти капеллана.

Но маленький человечек, казалось, не заметил даже, что его трясут. Оборотя к Фангелю свое крохотное, измученное личико, он только спрашивал:

— Что же господь бог уготовил Дании? Что же будет с Данией?

И старый Фангель почувствовал, как глаза у него наполняются слезами, когда, приведя в чувство капеллана, он направился к своему возку.

Епископ остался один. Долго стоял он, обводя взглядом разоренную комнату,— ветер трепал гардины, на столе в беспорядке теснились бокалы, чаша из-под пунша, трубки,— словно после веселой пирушки студентов-первогодков. Газета «Бладет» упала со стола, и сквозняк трепал ее листы. Епископ поднял ее, пробежал глазами несколько строк, лицо старого «реакционера» исказилось то ли болью, то ли презрением, он сложил газету в длину — раз, потом еще раз, словно хотел свернуть ее в трубку, и, сложив, уронил на стол между пустых бокалов.

Потом он как бы очнулся от раздумья, подошел к софе и с великим почтением поднял портрет короля. Бережно, хотя свет лампы бил ему в лицо, он вытащил из рамы осколки стекла и повесил портрет на прежнее место.

Флажки он тоже прикрепил заново.

Потом наконец он поднял взгляд на короля Фредерика.

Долго разглядывал епископ лицо покойного государя — разглядывал со странной, непочтительной усмешкой.

Окна хлопали под порывами ветра. Вдали слышался тяжелый и медлительный перестук колес — и чудилось, будто из дома выехал нескончаемый траурный кортеж.

III

Дело было за полдень, и везде, в воротах, в дверях амбаров и сараев лесничества, сидели и лежали солдаты, покуривая трубочки. Ларс — старший работник со-

бирался в поле, и покуда он выводил лошадей, запрягал их и выезжал со двора, глаза собравшихся лениво провожали каждое его движение. Но вот он уехал, и двор снова опустел. Только в амбаре люди перекинулись парой слов касательно лошадей.

Из дверей прачечной вышла Софи с ведром — собралась на колодец. Головы она теперь не заматывала и даже выпустила из-под сетки по несколько локончиков за ушами.

— Нельзя ли мне тут пройти? — спросила она сидевших на ступеньках солдат; у нее в последние дни появилась новая, очень кокетливая манера разговаривать, вытянув губы трубочкой; солдаты со всего двора молча проводили глазами появившуюся «юбку».

У колодца тоже болтались солдаты. Они помогли ей вытащить ведро.

— Просто не продохнуть от мужчин, — по десять раз на дню сообщала она Тине и кокетливо улыбалась при этом. — Того и гляди, на кого-нибудь наступишь.

С полным ведром она заспешила обратно, и солдаты так же молча глядели ей вслед, пока она не скрылась в прачечной.

— Ну, рано или поздно начнется же, — сказал капитан, сидевший в гостиной на диване, то подбирая, то вытягивая от нетерпения свои длинные ноги; здесь в сотый раз, наверное, зашла речь о тех, «наверху», и об их бездеятельности.

— Пожалуй, что так, — задумчиво ответил его сосед и, встав с дивана, присоединился к группе расхаживавших по комнате офицеров, те втроем-вчетвером бродили взад и вперед неверной походкой, словно на корабельной палубе.

Еще тишину нарушало шлепанье карт — примета тянувшегося с полудня неизменного виста на столах под окнами, да голос Тине, когда она внесла кофе.

— Благодарю, господин лейтенант, благодарю, — говорила она. Чтобы попасть в комнату или выйти из нее, ей каждый раз приходилось перешагивать через парую другую лейтенантских ног.

Тут со двора донеслись раскаты хохота, и офицеры поспешили к окнам. Оказывается, Врангель потерял винтовку. «Врангель» был чем-то вроде чучела, которое солдаты соорудили из нескольких жердей, шляпы да старого одеяла и водрузили на коньке крыши; винтовку

ему заменила метла, но теперь порыв ветра вырвал метлу у него из рук и сбросил на землю.

Солдаты хохотали во все горло, а офицеры им вторили, потом они вернулись на свои места и возобновили прерванный ради такого случая вист.

Разнося кофе, Тине добралась до застекленной веранды, где два капитана сидели каждый у себя на койке и тупо созерцали свои вытянутые ноги, а может, и вообще никуда не смотрели; в саду два офицера, сунув руки в карманы, обходили лужайку, то и дело меняя направление, чтобы не закружилась голова. Ходили они таким манером уже около часа.

Офицеры на койках встрепёнулись при появлении Тине. Они не упускали случая что-нибудь сказать ей, а у нее всегда был наготове ответ и всегда находились два-три добровольца с эполетами, готовых покалякать с ней о том, о сем. Где бы она ни хлопотала, по двору ли, по дому ли, всегда кто-нибудь оказывался рядом. «Мы с тобой, девонька, тоже на линии огня»,— говорила Тинка из трактира, ударяя себя кулаком в грудь, и действительно, не меньше дюжины лейтенантских глаз провожали каждое движение девушек. «А нам что, жалко, что ли»,— говорила та же Тинка, которая весьма благосклонно позволяла целовать себя в укромных уголках.

— Да, фрекен Бэллинг,— сказал один из капитанов, вставая с постели,— сегодня все должно решиться.

— Часам к шести?— спросила Тине и неожиданно улыбнулась.

Капитан кивнул и потянулся.

— Оно и хорошо,— сказал он.— Все-таки перемена,— добавил он на полтона ниже и огляделся по сторонам, словно увидел перед собой неизменные шанцы, где они стояли много недель подряд и куда им суждено вернуться вновь, наблюдательный пункт днем, сторожевой — ночью, в бурю, дождь и мороз, и все выжидали, выжидали, не сделав ни единого выстрела.— Должно же это случиться рано или поздно,— сказал он и неосторожно стукнул чашкой об стол.

— Сегодня очередь Бергова полка смениться с позиций,— сказал второй капитан.

— Да,— сказала Тине и чуть вздрогнула,— сегодня лесничий вернется домой, к шести часам.— И она дважды кивнула, глядя прямо перед собой.

Тине повернулась и вышла, унося поднос. В прихо-

жей были навалены шинели, чемоданы и прочий багаж, там же сидели на сундуке два офицера; они любили перехватывать Тине, чтобы немножко покалякать с ней, но сегодня ей удалось прошмыгнуть мимо.

— Мне домой пора,— бросила она со смехом, вырываясь из чьих-то объятий: лейтенантские руки всякий раз обвивались вокруг ее талии, стоило ей на минуту замешкаться.

Немного спустя она выбежала во двор, накинув платок, но ветер срывал его с плеч. В самом конце аллеи к ней подскочил, прыгнув через ограду сада, лейтенант Аппель.

— Можно мне проводить вас? — спросил он звонким, почти детским голосом и пошел рядом.

Аппель был самый молоденький из всех офицеров, его и призвали-то недавно, поэтому он ни разу еще не бывал под огнем и не стоял у Данневирке. В кругу офицеров он всегда молчал, только сидел робко, отдавшись своим мечтам, а порой улыбался огромными глазами, словно перед ним вставало радужное видение; иногда он вставал, без всякой причины выходил из комнаты, спускался к запруде, где в эти дни не было ни души, и начинал ходить вокруг пруда.

Однажды, когда Тине шла из дому в лесничество, он повстречал ее во дворе и тотчас начал с ней разговаривать, боязливо — а может быть, просто нерешительно — о том, о чем говорил всегда: о родном Виборге.

— А по дороге вдоль озера (это очень красивое озеро,— пояснял он с улыбкой, словно видел его перед собой, все залитое солнцем) идут девушки вечером и по воскресеньям из церкви, всегда по двое, потому что так ходят у нас в Виборге.

Он замолк, улыбаясь по-прежнему.

— У нас в Виборге такие красивые девушки,— задумчиво добавил он и снова умолк.

С этого дня он начал по пятам ходить за Тине. Обычно он появлялся под вечер. Однажды Тине сидела в комнате лесничего — здесь все-таки было поспокойней — и пыталась написать письмо фру Берг, но тут пришел Аппель, и сел, и начал говорить без умолку, а Тине сидела, сложив руки на коленях, и мысленно сочиняла письмо и рассказывала фру Берг обо всем — о самом Берге и вообще...

Аппель вспоминал.

Это случилось на рождество. Они были на балу. Ночь выдалась ясная, звездная, и с бала все пошли домой пешком, и кавалеры и дамы, веселой гурьбой — в Выборге так заведено — и ввалились к родителям Аппеля чего-нибудь выпить... И всю ночь до утра не расходились.

— Да, да,— говорила Тине, когда Аппель смолкал.— Вы еще увидите со своими близкими, господин лейтенант.

И она улыбалась, а он вдруг вскакивал со своего места и принимался бегать по темной комнате, внезапно охваченный мыслью, которой он ни с кем не смел поделиться и которая неотступно терзала его: мыслью об «огне» и о том, «когда все начнется», и о том, как оно все будет, когда начнется.

— Когда же наконец? — восклицал он, не останавливаясь.

Потом он снова садился, но уже подальше от Тине, и снова заговаривал с ней.

— Должно же оно начаться,— и оба долго молчали.

...Сегодня они молча шагали друг подле друга по дороге. Тине шла очень быстро, почти бежала.

— Скоро и нам выступать,— вдруг нарушил молчание Аппель.

— Да,— только и отвечала Тине.— Пора.

— А еще говорят, что «их» можно ждать с минуты на минуту.— Аппель шел, не поднимая глаз от земли.

Тине, признаться, слушала его в пол-уха. В последние часы перед возвращением лесничего надо было вспомнить и переделать такую уйму дел, а полки то и дело уходили и возвращались, и уже давным-давно шел разговор, что «их» можно ждать с минуты на минуту.

— Вас куда пошлют? — спросила она.

— Второй бастион,— торопливо ответил он и залился краской и больше ничего не добавил. Некоторое время они шли молча, потом он вдруг произнес два раза подряд, не глядя на нее:

— Не успеешь оглянуться — и ты уже под огнем... Не успеешь оглянуться.

Тине взбежала по ступенькам своего крыльца, Аппель отправился в обратный путь, по переулку, мимо трактира. Ему никого не хотелось видеть, ему хотелось побыть одному, он не верил в свои силы, и он начал бродить взад и вперед на небольшом отрезке улицы, между ма-

ленькими домишками, словно задался целью измерить этот отрезок шагами, а про себя он думал только одно: вот, вот оно начинается, огонь, огонь,— это слово не шло у него из головы.

Тине вошла в комнату, где было полно офицеров,— как и в лесничестве. Даже в гостиной — дверь была распахнута — лежали на постелях несколько капитанов в расстегнутых мундирах.

Мадам Бэллинг мыла на кухне посуду. Вид у нее был совсем измученный. Вокруг глаз обозначилось множество мелких морщинок. Она вела неустанную борьбу со «всей этой грязью» — а грязь была и на полу — от сапог, и на стенах — от шинелей, и на столах — от трубок, словом, во всех углах.

— Для нас самих уже и места не осталось,— сказала она.— Но жаловаться нельзя, нет, нет, никак нельзя жаловаться.

Мадам Бэллинг присела и снова вскочила. Ей вспомнилось, что она кое-что «припасла» для лесничего:

— Сегодня он вернется домой, сегодня он вернется домой...

Ради этого Тине, собственно говоря, и явилась. Она знала, что мадам Бэллинг всегда приготовит что-нибудь сверх обычного меню, если лесничего ждут на побывку; а в лесничестве, при таком огромном постое, просто минуты свободной не улучшить для всяких разносолов.

Мать принесла накрытую крышкой мисочку.

— Только здесь очень мало,— пожаловалась она.— А из чего готовить-то? Из чего готовить, доченька? А Бэллинг, а Бэллинг? — Мадам теперь все повторяла по два раза — следствие некоторой мозговой усталости.— Загляни к нему, доченька, загляни к нему.

Старый Бэллинг сидел у окна в спальне — единственной комнате, которую старики сохранили для себя. Он так и не оправился после той ночи, казалось, он волочит правую ногу, да и правое веко не хотело как следует подниматься.

Тине присела, держа на коленях заветную мисочку с угощением для лесничего.

— Ну как там дела? — спросил старый Бэллинг. Даже язык у него двигался с заметным трудом.

Тине начала веселым голосом рассказывать отцу, что и как, а сама тем временем поплотней укутала его ноги.

— Чтоб тебе не было холодно,— объяснила она.— Придерживай одеяло, вот и все.

И продолжала рассказывать.

В соседних комнатах начались сборы, поднялся ужасный шум по всему дому.

— Они уходят, отец,— шепнула Тине прямо на ухо старому Бэллингу.

Но Бэллинг ее больше не слушал, он только повторял, тяжело ворочая языком: -

— Да, да, а чем это все кончится? — и глядел на Тине ничего не выражающими глазами.

Тине встала, погладила его по голове, улыбнулась.

— Ничего, отец, может, все еще кончится хорошо. Нельзя же терять надежду.

Тине вышла на крыльцо. Перед трактиром толпилось множество солдат — они в последнюю минуту запасались табаком и наполняли фляжки. Отовсюду, из-за всех заборов, со всех дворов, стекались солдаты, и над полями разносились призывные звуки трубы.

Возле кузнецова поля тоже собрались солдаты. Ветер колыхал зеленые волны ржи, а зрители обсуждали виды на урожай.

— Хорошая здесь земля,— сказал один задумчиво.

— Да-а-а,— протянул другой.

— Нет, уж такой благодатной земли, как у нас в Лолланде, вы здесь не найдете,— так же протяжно возразил третий.

— Да, в Лолланде совсем другое дело,— подтвердили все и замолкли, опершись на ружейные приклады и созерцая зеленую ниву.

— До свиданья, мама,— крикнула Тине матери, взглянув в сенцы.

— До свиданья, Тине, кланяйся господину лесничему,— крикнула мадам Бэллинг, выглядывая из дверей.

Тине пересекла площадь, здороваясь и прощаясь то с одним, то с другим: по меньшей мере половину собравшихся она знала в лицо. По дороге мимо нее проходила одна часть за другой, из лесничества доносилось бряцанье прикладов, крики офицеров, мерный солдатский шаг.

Во дворе лесничества было уже совсем пусто. Тине обошла дом и растворила окна в задымленных комнатах. Еще надо было застелить постель лесничего. С улицы слышались слова команды, солдаты запели.

По саду промчался Аппель, уже в шинели. Он торопливо вбежал в дом и остановился перед ней, растерянный и бледный.

— Того и гляди, «они» пожалуют,— сказал он, заикаясь от волнения, схватил ее за руки и больно сжал: — Того и гляди, пожалуют, это адъютант говорил.

Мгновение он стоял так, не отводя глаз от Тине и судорожно сжимая ее руки в своих, потом выскочил, пронесся по саду, и полы его шинели развевались на ходу: он просто не мог уйти, не увидев ни одного человека и не сказав ни слова про «них».

Тине невольно последовала за ним — на крыльцо, оттуда спустилась во двор. Потом она повернулась и вышла в заднюю калитку. Если глядеть с холма, можно увидеть полки, когда они возвращаются на постой.

Солнце садилось, воздух был холодный и ясный. И везде, куда хватал глаз, на всей необъятной равнине, на холмах, на дорогах виднелись черные, подвижные колонны, одни возвращались, другие уходили им на смену. Воздух гудел от команд и сигналов, и поступь уходящих батальонов замирала за холмами, как отдаленный гром.

Вдруг она увидела, как Аппель остановился посреди не дороги и взмахнул саблей.

За холмами снова молнией сверкнули штыки, издали послышалась песня возвращающихся частей. Уходящие тоже пели — отрывисто и четко.

Тине не сознавала, что сама, с вершины холма, подпевает солдатам. Воздух был пронизан звуком солдатских шагов, звоном оружия, песнями, а солнце опускалось все ниже и ниже.

Наконец она увидела полк лесничего — там, на соседнем холме, — да, да, это были они. Ах, как они пели!

Тине спустилась вниз и бегом побежала домой.

Офицеры сели за стол, где уже дымились миски с едой; когда Софи входила и выходила из комнаты, звон тарелок, смех, разговоры разносились по всему дому. В людской ужинали унтер-офицеры, прислуживала им Марен, а по двору носились солдаты, веселые и горластые.

Берг сидел верхом на чурбаке, возле плиты, где Тине жарила яичницу. Теперь, когда он возвращался домой, чурбак стал для него излюбленным местом: у самого ды-

мохода, в приятной теплоте, рядом с захлопотавшейся, раздумывавшейся Тине. За время отсутствия у него накапливалось так много вопросов, к тому же здесь был относительный покой.

— Тине! — крикнул Берг и оттащил ее за рукав от плиты: ему на миг почудилось, что у нее вот-вот от близкого огня займется юбка.

Но Тине только засмеялась и продолжала свой рассказ.

В людской запели сержанты; сильный запах жареного сала и яблок вырывался в коридор всякий раз, когда Марен открывала дверь.

— Вот прорва ненасытная, — сказала Софи, снова воротясь от офицеров с пустыми мисками.

— Готово, готово, — отозвалась Тине и подала ей очередную порцию яичницы. Берг при свече читал письмо жены. Внизу, по наведенным линейкам, Херлуф с чьей-то помощью написал крупными буквами: «Привет Тине».

Заговорили о фру Берг, говорили долго, вполголоса.

Они почти всегда говорили о ней, когда сходились вместе.

— Ей не очень там нравится, — сказал Берг.

— Солнца мало, — объяснила Тине.

— Да, вот в чем беда, — промолвил Берг, глядя в огонь. — Мари любит, когда много солнца.

Офицеры в гостиной наконец откушали. Кто-то заиграл на пианино, в печку подбросили еще немного дровец. Из людской доносилось пение, весь дом был полон запахами еды и веселым шумом. Во дворе несколько солдат слушали песни и курили у калитки, прежде чем улечься в амбаре на ночь.

Берг по-прежнему сидел на чурбаке, — в конце концов, хозяином здесь был барон, — и разделялся с фрикасе, приготовленным руками мадам Бэллинг.

— Пицца творит чудеса, — изрекла Софи, проходя через кухню в людскую, которая стала ее штаб-квартирой. Каждую свою беседу с сержантами она начинала следующим разъяснением: «Я, знаете ли, родом из Хорсенса», — и кокетливо перебирала сложенными под фартуком руками, словно курица при виде петуха.

— Спасибо за угощение, — сказал лесничий, прикончив курицу мадам Бэллинг, и взял Тине за руку.

— Это мама для вас приготовила, — ответила Тине. — На здоровье.

Берг откинул голову и оглядел Тине. Она поставила на огонь воду для грога и вынимала из буфета стаканы.

— Да вы обе одна другой лучше,— сказал он задумчиво и нежно.

Уж очень ему не хотелось покидать уютное, насиженное местечко у огня.

В гостиной там и сям сидели офицеры в облаках дыма, поднимавшегося от трубок, сидели сытые и ублаженные. Разговоры мало-помалу смолкли, они просто сидели, наслаждаясь тишиной, теплом, уютом, а Тине в белом фартучке ходила от одного к другому, такая цветущая, крепкая, и потчевала всех желающих грогом. Офицеры наклонялись к ней и шептали что-то на ушко, а лейтенант Лэвенхельм знай себе барабанил по клавишам «Песенку об Оле».

Возле печки два капитана беседовали с личностью явно еврейского вида — корреспондентом из Копенгагена, который намеревался предстоящей ночью изгнать Берга из удобной постели, чтобы на собственном опыте узнать, как «расквартированы наши части в деревне», — о вчерашнем сражении: речь шла о восьмом полку — тот хорошо показал себя в деле, но подробностей капитаны не знали.

— Три убитых, господин капитан,— сказал Лэвенхельм, на мгновение перестав играть.

Старый майор, изъяснявшийся на стопроцентном голштинском наречии, сидел на диване и жаловался Бергу, что обе его дочери мечтают приехать сюда и стать сестрами милосердия.

— Скажите по совести, зачем здесь женщины? Здесь им не место,— тянул майор.

И вдруг на всю комнату прозвучал звонкий, радостный голос Тине, стоявшей возле рояля:

— Нет, господин лейтенант, спасибо,— отчего все громко расхохотались, а Тине громче всех. Тогда майор удалился от темы «мои дочери» и, положив руку на колени сидевшему рядом Бергу, сказал:

— Очень мила! Очень мила! — провожая глазами девушку в ослепительно белом фартучке,— кстати, сам Берг тоже не сводил с нее глаз.

Майор встал, остальные последовали за ним. Началась беготня по лестницам, поднялся шум в комнатах для гостей. Один за другим летели на пол снятые сапоги. Лейтенанты на застекленной веранде резвились, словно

во время вакаций, и хлопали ладонями по стенам — подавали сигналы. Казалось, будто застоявшиеся духи жизни вырвались на свободу лишь тогда, когда люди скинули с себя форму и легли в хорошие кровати с чистым бельем. Бурное веселье охватило всех, кто добрался до постели, а постели стояли в каждом углу.

— Ох, и здорово же, — доносилось с веранды под радостный стук в стену. А с верхнего этажа стучали саблями в пол, требуя тишины.

Тине хозяйничала в кладовой, которая стала ее комнатой. Она сняла матрац со своей кровати: раз лесничему придется спать на диване, пусть ему, по крайней мере, будет мягко.

На диване, под портретами королей, она начала устраивать постель. В комнате оставались только однорукий барон и корреспондент. Барон развлекал корреспондента рассказом о своих англичанах. Англичане барона — это были два представительных джентльмена, облаченных в меха, они изъявили желание «увидеть войну своими глазами», приехали на Альс, и барон несколько дней мотался с ними по острову и по шанцам, как заправский чичероне, пока не изнемог от усталости.

— Да, любезный друг, — говорил барон, — ну не трогательно ли? Они говорят: *наши* части, они говорят: *наши* раненые, словно это их друзья, их соотечественники, да, это поистине трогательно...

Барон умолк, и тогда корреспондент сказал:

— Да, эти люди болеют за наше дело.

— И вы можете спокойно упомянуть их имена в своей газете, — ответил барон. — Вполне спокойно, сударь мой, они возражать не станут, — продолжал он таким тоном, будто со стороны облаченных в меха господ было поистине королевской милостью дать свои имена для газеты.

Прежде чем улечься на кровать лесничего, корреспондент записал их имена.

Тине тем временем постелила лесничему. В доме все стихло. Только на веранде еще не смолкала веселая болтовня и дымились трубки: лейтенанты курили, сидя на своих кроватях. Один лейтенант, услышав шум в гостиной, передвинулся в изножье своей кровати, не слезая с нее, распахнул дверь и крикнул:

— Эй, кто там?

— Это я! — громко отозвалась Тине и со смехом убе-

жала; за последнее время она успела привыкнуть к бивуачной жизни.

В дверях она столкнулась с лесничим. Его очень беспокоили многочисленные топки и свечи при таком обилии людей, и перед тем, как лечь, он обошел весь дом.

Они задержались на крыльце. Ночь была непроглядно темная, надворные строения рисовались черными тенями, все затихло, и только одна беспокойная животина возилась в хлеву. Потом вдруг послышался шорох за дверью прачечной.

— Что это? — спросил Берг, вздрогнув.

— Наверно, дверь в людскую скрипнула, — ответила Тине и на какое-то мгновение смутилась. В прачечной, где раскинула свои шатры Марен, всегда по ночам подзрительно поскрипывала дверь.

Они еще немного помолчали, стоя рядом в глубокой тьме.

— Покойной ночи, — сказал Берг и поискал ощупью ее руку.

— Покойной ночи.

Тине вошла в дом, села к себе на кровать, но тут за дверями раздался шорох.

— Тине! — прозвучал голос лесничего. — Вы опять подложили мне свой матрац...

Тине вздрогнула.

— Нет, нет, — закричала она, — ничего я не подкладывала.

— Будь по-вашему, — нежно продолжал за дверью тот же голос, — но я этого не заслужил, право слово... спасибо вам.

Сидя на краю постели, она слушала, как затихают его шаги. В глазах у нее стояли непрошенные слезы. Она медленно разделась и тихо легла.

До чего ж становилось спокойно на сердце, когда лесничий был дома. Когда его не было, на нее по вечерам вдруг накатывал страх, бессмысленный, глупый страх при полном доме людей, спавших и громко дышавших во всех углах и закоулках дома; ей вдруг чудилось, будто это ожил сам дом, мертвый, неодушевленный дом.

Лесничий был на позициях, и сердце томилось неизвестностью.

Зато сегодня вечером все так спокойно, тихо и спокойно...

Тине лежала и улыбалась. Она вспомнила письмо

фру Берг, и «привет» от Херлуфа, вспомнила лесничего, как он сидел на чурбаке у плиты.

Да, да, подумать только: она совсем перестала стесняться лесничего.

...Кто-то в одних чулках прошмыгнул по коридору из людской. Это была Марен.

Теперь ничто не нарушало тишины.

Тине вскочила с постели и босиком помчалась на кухню.

Ее разбудил первый сигнал трубы, который она услышала еще во сне.

Да... вот оно... тревога...

Во всех комнатах люди вскакивали с постелей и бежали на ветру через двор. Тине не могла найти свечу, в потемках натянула платье, высунула голову в коридор и позвала:

— Софи! Софи!

По всему дому раздавались шаги и звучали голоса. Тине еще раз крикнула: «Софи, Софи!» — вернулась, зажгла свечу, но сквозняк снова задул ее.

По темному коридору пробежали офицеры. Денщики сновали из комнаты в комнату с мигающими свечами. Посреди коридора стоял Лэвенхельм, бледный и растерянный. Он то застегивал мундир на все пуговицы, то расстегивал его снова.

— Тине, Тине! — крикнул, выбегая из кухни, Берг. — Поставь свечи на окна, да поскорей, поскорей!

— Сейчас, сейчас! — отвечала Тине. — Начинается? — робко спросила она, когда Берг на секунду остановился.

— Возможно. — И ушел.

За сараем, за амбарами — всюду теперь пели трубы, во двор выводили лошадей.

Тине зажигала одну свечу за другой, фигуры солдат и офицеров, бледных, взволнованных, мелькали во дворе на фоне пламени. Когда распахивались двери, были слышны голоса со двора — там командовал майор, но ветер относил слова команды.

И барон требовал подавать карету.

Растерянный корреспондент метался во все стороны, потом начал одеваться прямо посреди комнаты, мелкими шажками бегал взад-вперед, потирал руки и вдруг изрек:

— Дело будет серьезное, дело будет серьезное.

— Вы думаете? — с испугом спросила Тине, отворачиваясь от свечи.

— Да, все думают, что сегодня начнется,— продолжала стенать чернильная душа, не попадая с перепугу в рукава.

— До свиданья, Тине,— вдруг сказал Берг у нее за спиной, взял ее за руку и крепко пожал.

Тине поглядела на него, потом вышла следом — и глядела, пока он не скрылся из глаз.

Дом опустел. Слышались лишь шаги, торопливые шаги, затихающие в конце аллеи...

Явилась Софи со свечой и в ночной рубашке.

Она сказала:

— И все-то они, бедняжечки, погибнут, и все-то они, бедняжечки, погибнут,— и, рыдая, вернулась в комнату.

Тине ее не слушала. Она выбежала во двор, в сад. Еще никогда ей не было так страшно. В темноте она налетела на дерево, зацепилась за куст, но все бежала, бежала — к холму.

Лишь огромной тенью увиделась ей с холма уходящая колонна.

Она стояла долго, она силилась разглядеть среди уходящих *одно* лицо, но не видела ничего. Длинная, нераспознанная тень уходила в молчании все дальше и дальше, во тьму, которая поглощала звук шагов.

Тине спустилась с холма и пошла домой. На окнах все еще горели свечи, сквозняк гулял из двери в дверь. Перед раскрытыми, неубранными постелями на полу оплывали кой-где забытые огарки.

Софи уселась в кухне на чурбаке и тотчас начала клевать носом; в людской на раскладной кровати, поставив рядом свечу и вытянувшись во весь свой рост, спала Марен, и лицо у ней набрякло от долгого сна.

Тине себе места не находила от беспокойства и не могла уснуть. Она погасила свечи на окнах и решила сесть за письмо — к фру Берг, за уже начатое письмо.

Но ей не писалось. Она пригнулась к лампе и перечитала написанное.

Все про лесничёго, каждая фраза, каждое слово — все.

И вдруг она отложила письмо и вышла на веранду, в полную тьму. Здесь она уронила голову на холодный мрамор стола и горько заплакала...

День заявил о себе робкими проблесками рассвета. Серое утро занималось над неубранными постелями, над разоренным и покинутым домом.

Хлопали открытые двери.

Но Тине не встала с места. Все в той же позе встретила она наступление сумрачного дня.

Издали еще раз донеслись сигналы боевых труб, разодранные в клочья ветром. Они звучали, как птичий крик.

И вдруг Тине улыбнулась. Она вспомнила, как он сказал: «До свиданья, Тине».

В этот день, рано утром, заговорили пушки с Бронгера.

IV

Передышка кончилась. Громовые раскаты орудийных залпов сотрясали беспокойный воздух, час за часом, много часов подряд, меж тем как дороги гудели под ногами солдат и адъютанты скакали взад и вперед на взмыленных лошадях; в этот день тревогу трубили дважды.

Все строения лесничества сотрясала дрожь — стены, полы, крыши, — словно то были живые существа, дрожащие в ознобе.

Заботы дня совершались своим порядком: еду подавали, еду уносили. Части возвращались, части выступали.

Вечерело. Сама того не сознавая, Тине умышленно задерживалась в комнате, переходила от группы к группе и все слушала, слушала, не в силах оторваться: ей казалось, что она должна быть здесь, должна слушать.

Комнаты наполнились шумом и гулом, офицеры говорили громкими, почти радостными голосами.

— Подумать только, пятьсот ядер! — воскликнул один.

Другой утверждал, что ядер было не пятьсот, а семьсот, и, однако же, укрепления не потерпели ущерба.

— Они даже расходов на порох не оправдали, — сказал адъютант.

Самая многолюдная группа собралась возле печки. Стоял там среди прочих капитан с наполеоновской бородкой и трубкой в зубах. Он сказал:

— Ранен младший лейтенант Апель.

— Да ну? Новобранец?

— Он самый,— отвечал капитан.

А другой, гревший спину у печки, добавил:

— Такой шуплый, белокурый, помните?..

Посредине комнаты собралась другая группа. В основном — молоденькие лейтенанты, они покусывали усики и обсуждали события нарочито профессиональным тоном.

Тине прошла мимо.

Возле книжного шкафа шел разговор о взлетевшем на воздух блокгаузе. Тридцать человек погибло под обломками. Здесь Тине остановилась и долго слушала.

— Какая вы нынче бледная, фрекен Бэллинг,— сказал ей один из капитанов, отделяясь от остальных и оборотясь к ней.

— Вы так думаете, господин капитан? — отвечала Тине, а сама продолжала слушать.

— Между прочим, там погибло не тридцать, а целых сорок человек,— заметил кто-то.

В Тине жила одна только мысль: «А там стреляют, до сих пор стреляют...»

Наконец она стряхнула с себя оцепенение и вышла: надо было поставить на огонь воду для грога и постелить на всех диванах и кушетках.

В коридоре какой-то лейтенант пристроился на чемодане под коптящей лампой. Он остановил Тине и рассказал, что был на передней линии у того самого блокгауза. Тине, хоть и слушала, но не понимала ни слова. Вдруг, глядя на него, она спросила тихим голосом:

— Очень было страшно?

Лейтенант продолжал свой рассказ: собственно говоря, он был не на передней линии, а на десятом бастионе, куда за весь день упало два снаряда.

— Да, дело было жаркое,— сказал он,— но ко всему можно привыкнуть, даже к огню.

Он вытянул ноги и продолжал болтать, а сам, как бы ненароком, взял безвольную руку Тине и положил ее себе на колено.

— Вы видели убитых? — спросила Тине, не противясь.

Тут кто-то вышел из комнаты, и лейтенант вполголоса чертыхнулся.

Тине пошла на кухню, вскипятила воду, подала грог,

постелила все постели, ответила на все вопросы. От Софи не было никакого проку. Она весь день с обмотанной головой хоронилась по углам, горько рыдая.

Теперь она приползла в каморку к Тине.

— Кто знает, что с нами будет завтра,— ныла она под гром орудий.— Всех нас ждет одна судьба... ахнуть не успеешь...— Голос у нее окреп.— Кто знает, что с нами будет...

Тине сидела у печки. Ей казалось, что к ночи канонада стала много сильнее.

То возвышая, то понижая голос и проливая попутно горькие слезы, Софи продолжала говорить: о лесничем и об «этакой напасти», о Марен, которой «все равно кто, лишь бы в брюках», будто сумасшедшая. Да, да, будто сумасшедшая, после чего Софи заговорила о фру Берг.

— Это же надо, какое личико-то доброе.— Софи подняла глаза к портрету фру Берг, висевшему над кроватью, и Тине проследила за направлением ее взгляда.— Сидит она,— продолжала скулить Софи,— и улыбается... а никому не дано знать (Софи возвысила голос), что может случиться и кто в эту минуту испускает последний вздох.— Софи зарыдала в голос:— А похожа до чего... а похожа до чего... ну точь-в-точь такая она и была перед отъездом.

Тине сняла портрет и долго его разглядывала.

— Да, очень похожа,— сказала она, держа портрет так, словно хотела молитвенно сложить над ним руки. Слезы показались у нее на глазах, первый раз за минувшие сутки.

По всему дому офицеры встали из-за стола и ложились отдыхать.

Тине накинула на плечи шаль и пошла обходом по усадьбе, раз самого лесничего нет дома. Лесничий, конечно же, почувствует себя спокойнее, если будет знать, что она следит за порядком.

В прихожей на прежнем месте сидел лейтенант. Со свечой в руках Тине обошла всю усадьбу. Все стихло во дворе, только земля чуть заметно вздрагивала от каждого залпа. У калитки кто-то метнулся ей навстречу. То был лейтенант из прихожей, который счел целесообразным принять участие в ночном дозоре.

Но, увидев в пламени свечи бледное и застывшее лицо Тине, он тотчас изменил намерение.

Тине прошла через прачечную. Посреди комнаты на

полу оплывала свеча, а Марен по обыкновению куда-то скрылась.

У себя в каморке Тине медленно разделась, легла, внезапно вспомнила: «А ведь Аппель-то ранен»,— и снова забыла об этом.

Стекла дребезжали едва слышно. В хлеву беспокоились коровы и мычали порой, тревожно и глухо, как перед грозой.

Бомбардировка не прекращалась уже третий день, и Бергов полк до сих пор не вернулся с позиций.

Глубокой ночью опять протрубили тревогу. Полк уходил за полком, теперь все до единого были в деле.

Под утро уехал в карете барон.

В большом опустелом доме не слышалось ни звука, ни шороха. Тине на выдержала тишины и сбежала к родителям.

Мадам Бэллинг воспользовалась передышкой и извлекла на свет божий все ведра. Две хусменовских жены скребли пол, где песком, где руками, Тине подоткнула юбку и начала помогать.

— А что толку, доченька,— жаловалась мадам Бэллинг, намыливая своими старческими руками оконные рамы.— Все равно от пыли никуда не денешься, а грязь каждый тащит за собой через порог.— Мадам Бэллинг окинула взглядом лужи на площади.— С каждым днем все грязней и грязней,— пробормотала старушка и снова взялась за мыло.

Яростно надравная дверной косяк, Тине только и сумела ответить:

— Да, мама, да,— когда мадам Бэллинг на мгновение смолкла.

По ту сторону площади в дверях трактира между столбиками явилась Тинка.

— Решили навести порядок? — крикнула она.— А мы оставили все как есть. Пускай грязь накапливается.

Тинка припустила по переулку, так что брызги жидкой грязи разлетелись во все стороны.

Незадолго до полудня снова загремела канонада. Такой сильной они еще ни разу не слышали. Стекла, протираемые мадам Бэллинг, так и дребезжали под ее руками.

— Ох, господи, помилуй, ох, господи, помилуй,— бормотала она, протирая дрожащие стекла.

Тине оставила немытую дверь и, побелев как полотно, опустилась на стул, глядя прямо перед собой.

У плиты над кипящим котлом как ни в чем не бывало препирались помощницы.

Они уже управились с работой, и мадам Бэллинг надумала проводить Тине. Ей захотелось посмотреть, как выглядит усадьба. Площадь и дорога превратились в сплошное жидкое месиво. Мадам Бэллинг подобрала юбки и остановилась в нерешительности, не зная, куда поставить ногу.

— Тине! Тине! — выкликнула она в промежутках между залпами и оглядывалась на дочь, которая все время шла сзади.

«Бедняжка ходит как во сне... и похудела, до чего ж похудела».

— Вот беда-то, вот беда-то! — вздыхала мадам Бэллинг и брела дальше.

По комнатам лесничества она прошла в носках — чтоб не нанести еще больше грязи. И без того хватает, и без того хватает...

Мадам Бэллинг только ахала, глядя на полы и потолки. И на мебели везде царапины, и на стенах пятна, и все, решительно все сдвинуто с места.

— Ах ты, господи, ах ты, господи, — причитала мадам Бэллинг, глядя на это разорение, и говорила о том, какой был «прекрасный дом» в былые дни.

— А теперь-то! А теперь-то!.. — Мадам Бэллинг остановилась и заплакала.

— Вот здесь стоял ее швейный столик, — сказала она и пошла дальше, по расшатанным половицам. В каждом углу был какой-нибудь непорядок.

— Хоть бы ты малость приглядывала за домом, — сказала мадам Бэллинг с некоторым раздражением.

— Хорошо, мама, — ответила Тине.

Да разве она сама не видит, какая грязь набилась во все углы, не видит, какая кругом мерзость запустения? Видеть видит, но просто руки не поднимаются... Это выше ее сил.

Мадам Бэллинг продолжала ворчать:

— Хоть что-нибудь могла бы сделать. И за прислугой могла бы присмотреть.

— Да, мама, да-да... Но ведь все, — и тут голос у нее прервался, словно горло сдавили слезы, — ведь все перевернуто вверх дном.

— Да, да, доченька,— ласково сказала мадам Бэллинг и сама заплакала, поглаживая руки дочери.

...Мадам Бэллинг вышла во двор и побрела к калитке.

Тине устало опустилась на чурбак возле печки; какие-то люди говорили, она их не слышала, какие-то люди проходили мимо, она этого не сознавала, ибо все ее существо было полно одной мыслью, одной лишь мыслью, день и ночь одной, вытеснившей все остальное:

А вдруг его принесут домой израненного и окровавленного... израненного и окровавленного...

Выйдя из калитки, мадам Бэллинг свернула на полевою тропинку. Она решила навестить Пера Эрика. Бедняга в последнее время совсем расклеился, а у кого нынче есть время заботиться о больном?

Но на пригорке, на самой маковке, она вдруг увидела своего мужа возле Ларса, старшего батрака, занятого пропашкой.

— Это ж надо, куда Бэллинг забрался.— Мадам чуть не вприпрыжку побежала по бороздам.— С его-то здоровьем стоять на ветру и на холоде!

— Бэллинг, Бэллинг! — кричала мадам, но не услышала ничего, даже собственного голоса она не слышала, ибо с каждым ее шагом все усиливался грохот пушек. Наконец она поднялась наверх.

Словно гигантский занавес, изрешеченный вспышками залпов, висел над землей дым. А на фоне его вырывались из земли и уходили в небо, подпирая его, могучие черные столбы, оплетенные красными всполохами огня,— то горели дома и села.

Мадам Бэллинг не произнесла ни слова. Ее затрясло от страха, и в полном молчании она воздела и уронила руки, сложенные как для молитвы.

Бэллинг увидел ее, но не двинулся с места. Он только взял свою палку, дрожащей рукой обвел горизонт — от одного столба к другому — и заговорил, натужно ворочая языком:

— Это Рансгор.

— Это Ставгор.

— Это Дюббель.

Мадам Бэллинг не могла промолвить ни слова. Плакать она тоже не могла и лишь беспомощно воздевала и роняла сложенные руки.

— Это Дюббель,— повторил Бэллинг.

— Тебе нельзя тут стоять,— сказала мадам Бэллинг и повлекла больного мужа за собой, почти унесла на руках прямо по пахоте.— Тебе нельзя тут стоять.

Канонада как будто утихала. Бэллинг шел, подергивался, и голова у него дрожала. Поддерживая мужа, сама волоча ноги, как в параличе, мадам не находила в своем помраченном мозгу нужных слов и лишь повторяла недавние слова Тине: «Все перевернуто вверх дном... все перевернуто вверх дном...»

А позади на взгорке Ларс-батрак заворачивал лошадей.

Тине встала с чурбака. Она поднялась по лестнице и заглянула в бывшую спальню: там было грязней всего.

Но она даже не подумала взяться за уборку, она просто села на постель фру и загляделась на подушки.

Во двор въехала карета. Тине узнала голоса барона и его преосвященства.

Оба вошли в дом.

Барон воротился из Сеннерборга. Он был в восторге, в неподдельном восторге от своих англичан.

— Ах, ваше преосвященство, под градом пуль они стояли перед шанцами... словно бросая вызов смерти.

Барон был вне себя от возбуждения.

Но его преосвященство интересовался англичанами куда меньше. Он говорил лишь о Сеннерборге и о бомбардировке. Он был потрясен, исполнен негодования и отводил душу в страстных восклицаниях.

— Это попрание народных прав... открытый город... позор нашего столетия...

Тине слышала его раскатистый и властный голос, полный горечи, которую не мог заглушить гром пушек, слышала даже здесь, в спальне фру Берг.

— Но мы не останемся в долгу... Мы ответим,— продолжал он, меряя шагами пол.— Уж на море-то наша сила. Мы примем меры... наше правительство перейдет к решительным действиям...

Он говорил непрерывно, говорил все громче и громче, призывал проклятия на все города Балтийского моря, на каждое торговое судно в отдельности, на все, что могло стать военной добычей, и мерил и мерил шагами пол, а пушки подчеркивали значение его слов гулом канонады.

— Думаете, Европа так это и оставит?.. Чаша переполнилась. Это была последняя капля... Последняя капля... Европа поднимется... можете мне поверить...— И, внезапно остановясь перед бароном, его преосвященство спросил: — А англичане ваши что говорят?

Барон подробно живописал возмущение двух дженгльменов и полностью привел ругательства облаченных в меха господ.

Его преосвященство кивал молча, а сам стоял посреди комнаты, глядел прямо перед собой, словно уже видел полки, спешающие на помощь со всех концов земли.

— Да,— сказал он,— свободолюбивые народы еще восстанут, либеральные силы еще соберутся вокруг нас.

Барон поддакивал, говорил о верховном командовании, об ответственности и размахивал своей единственной рукой.

— Не след удерживаться от критики,— сказал его преосвященство,— она не повредит. Если они не решаются, мы вдохнем в них энергию.— Речь шла о наступлении.

— Инициативы у нас нет,— сказал барон.— Что мы делаем? Что мы, спрашивается, делаем?— И барон, словно знаки вопроса, растопырил свои пять пальцев:— Мы стоим на месте. Ждем, пока нас обстреляют... и это наш способ ведения войны, когда нужно лишь одно: наступление.

У барона захватило дух, он умолк.

— Да,— сказал его преосвященство,— не правительству недостает энергии, не в Копенгагене иссякло мужество. Но,— голос его стал резким,— но одно нельзя отрицать: правительство рассчитывало на другую армию...

Тине слышала, как распахнулась входная дверь, и Софи промчалась по коридору с криком:

— Едут! Едут!

— Кто? — криком же ответила ей Тине.

— Раненые, раненые едут,— зарыдала Софи, бегая взад и вперед по коридору.— О, господи, о, господи, раненые едут,— да как много, да как много!..

— Где? — Тине схватила ее за руку.

— Ох, господи, ах, господи,— стонала Софи,— ведь если лесничего тоже убили, значит, Херлуф (она завывала во весь голос) останется без отца...

Тине ее больше не слушала, она сбежала с крыльца и припустилась по дороге, слыша, как барон что-то кричит ей вслед.

Она не оглянулась, она бежала по Сеннерборгской дороге, мимо вестовых, мимо кареты епископа, мимо, мимо, тут за холмом раздался тяжелый стук колес,— это они! — и Тине остановилась возле дома Андерса-Кровельщика, но отсюда их не было видно, а стоять на месте она не могла.

И тогда она повернулась и вошла в дом со словами:
— Раненых везут.

Ане встала, держа на руках обоих малышей.

— Наверно, в Херупхав,— протяжно ответила Ане и обмахнула передником табурет.

— Да, вот и они отвоевались,— сказал калека. Он сидел возле печки, за спиной у Тине.

Тине поспешно обернулась и боязливо поглядела на него: на его лицо, ссохшееся, словно лицо гнома, на обрубки ног, которые култышками свисали вниз.

— Ох, господи, ох, господи,— застонала она и уронила голову на скамью.

Они слышали, как приближаются повозки, грохоча, словно возы с тяжелой поклажей. Калека на костылях подобрался к окну и выглянул.

— Вот и они,— сказал он,— гляньте, возницы-то идут пеши...

Тине подняла голову, бледная, в лице ни кровинки. Ломовые лошади протащили мимо первую повозку. Тине встала, раздвинула лакфиоли на подоконнике. Ей почудилось, будто сквозь мерцающую перед глазами красноту она видит бледные лица, белые, бескровные лица... но то были незнакомые, сплошь незнакомые лица.

Раздавались тихие стоны. Калека решил поглядеть вблизи и заковылял к своему камню у дороги.

Тине все стояла у окна, придерживая руками листья лакфиолей; боже мой, как они стонут. А мимо катил возок за возком, возок за возком.

Ане подошла с малышами на руках.

— Ай-яй-яй... какое горе их ждет, какое горе! Охти, господи! Вы гляньте, вы только гляньте; как кровь-то капает...

Тине и глядела,— возок за возком...

Ане стояла позади и толковала о своем зяте; хорошо бы пристроить его торговать теплым пивом — ежели торговать вразвоз теплым пивом, можно бог весть сколько заработать.

— А уж калека наверняка сбудет весь товар,— гово-

рила Ане. И тут же: — Охти, господи, охти, господи.— Ане переметнулась к другому окну.— А вот тяжелораненые... Они укрытые...

Но Тине уже не было в комнате. Она налетела на калеку, сидевшего у дороги, она ничего больше не видела. Почти не сознавая, что делает, она подбежала к крытой повозке и крикнула кучеру:

— Их можно уложить поудобнее, давайте уложим их поудобнее,— лишь ради того, чтобы приподнять шинели и одно за другим заглянуть во все эти землистобледные лица.

— Им, подикось, уже все едино, как они лежат,— задумчиво сказал кучер..

Тине немножко приотстала и бесцельно побрела за печальной процессией, а слезы бежали у нее по щекам.

Позади Тине услышала смех англичан и вздрогнула всем телом, когда они пробежали мимо. Они суетились вокруг повозок, стремились остановить каждую, чтобы обменяться рукопожатием с кем-нибудь из раненых, они заглядывали стонущим в лица и твердили без умолку:

— О, храбрый народ, о, храбрые парни!

Издали Тине углядела барона и его преосвященство: они стояли на вершине холма, в саду лесничества. Здесь печальная процессия остановилась — англичане вступили в переговоры с одноруким,— и протяжный стон, вызванный внезапной остановкой, прокатился от возка к возку. Его преосвященство воздел руку и сказал:

— Да, эти храбрецы отдали свою кровь за отчизну.

Возки тронулись снова, Тине машинально последовала за ними, но тут барон закричал со своего места:

— Фрекен Бэллинг, фрекен Бэллинг! Есть записка от лейтенанта Берга... Он жив и невредим... Мистер Эрбоун привез ее...

Тине замедлила шаг, не сразу поняв его слова. Затем она осторожно поднесла руку к глазам и остановилась. Она как бы внезапно увидела и раненых, и оборванных возчиков, и взмыленных лошадей и, увидев, улыбнулась.

Торопливо — с улыбкой — подошла она к ближайшему возку: там едва слышно стонал тяжелораненый, откинувшись головой на дощатый борт возка; Тине побрела рядом, приподняла его голову и ласково поддержала рукой.

— Так лучше? — спросила она.

— Да,— ответил он и улыбнулся.

Тине шла рядом, не отнимая руки.

— Пить хочется,— прошептал раненый.

— Сейчас принесу,— сказала Тине, осторожно опустила его голову, пробежала вдоль изгороди к домику Иенса-хусмена и вынесла оттуда кружку и кувшин с водой.

— Ну, полегчало? — спросила она. Она снова подсунула руку под его голову, в другой же держала пустую кружку.

— Да, спасибо.

Он открыл затуманенные глаза.

— А остальным? — едва слышно спросил он.

— Сейчас,— ответила Тине, и на глазах у нее снова выступили слезы. Она опустила раненого на прежнее место и пошла вдоль возков. Она улыбалась страдальцам, заглядывала в их лица, поправляла солому, на которой они лежали, говорила с ними, наливала воду из кувшина и передавала наполненную кружку сперва одному, потом другому. Она пробежала мимо всех повозок, добежала до трактира и, приблизясь к двум столбикам на крыльце, громко крикнула своим звонким голосом:

— Тинка! Тащи воду и стаканы! Стаканы и воду!

Тинка выскочила из трактира, и все служанки — за ней следом. Стаканами и чашками они черпали воду из ведер.

Тине распорядилась, Тинка подсобляла. Вышла и мадам Бэллинг с фруктовым соком и водой.

Тинка и остальные девушки не раз принуждены были отворачиваться, чтобы скрыть подступающие слезы, когда раненые с благодарностью пожимали им руки.

Процессия медленно тянулась по площади; ненадолго освеженные водой и лаской, раненые попритихли.

Мадам Бэллинг поднялась к себе и стала рядом с мужем у открытого окна.

— Такие молоденькие, такие молоденькие,— твердила она, провожая глазами последний возок, медленно сворачивавший за угол.

Тине остановилась посреди площади возле пустых ведер. Она увидела у раскрытых окон своих родителей и вдруг, бросив все, вошла в дом.

Ей не хотелось ночевать в лесничестве. Ей хотелось побыть дома, провести здесь хотя бы один вечер, постелить на диване — чтобы меньше возни. Бэллинг сидел у себя в углу и держал ее руки в своих. Он был так счастлив, словно впервые увидел дочь после долгой разлуки.

Начало смеркаться, Тине накинула шаль и вышла на крыльцо — посидеть на скамеечке. Отгрохотали пушки, воцарилась тишина — благодатная тишина. Только из кузни доносился привычный и успокоительный стук молота.

Потом и молот умолк: подмастерье закрыл кузню и навесил засов, а кузнец пробрел через площадь, и собака шла следом.

— Вот и стихло все, фрекен Бэллинг, — сказал он, кланяясь Тине.

— Да, — отвечала она.

— Боже, упокой тех, кого уже нет с нами, — печально сказал кузнец. — Доброй вам ночи.

— И вам того же, Кнуд.

Кузнец, а за ним собака свернули в переулок. Тине осталась на скамейке. В наплывающих сумерках шумели высокие ветлы.

У Бэллингов отпили чай. Бэллинг задремал в своем кресле, а мадам занялась надвязыванием чулок. Тине сидела на приступочке у окна, сложив руки на коленях.

Мадам Бэллинг тревожилась: как они там — фру и маленький Херлуф.

— Ах, как ей, должно быть, тяжело, бедненькой, — уехала и не знает, что с ним, — ах, как ей, должно быть, тяжело.

— Да, — сказала Тине ласково и грустно.

Она прислонилась головой к старому комоду, стоявшему в простенке, и начала полунапевать-полунаговаривать песенку о маленькой Грете.

Ах, ювелир дражайший, увы, моя песенка спета,
Сегодня в Копенгаген от меня уезжает Грета,
И я хотел просить вас, мой мастер дорогой,
Золотое колечко выковать и текст написать такой:
«Прощай, прощай, моя Гретхен».

Мадам Бэллинг подхватила припев, не переставая работать спицами.

— Ах, она так красиво пела эту песню, — сказала мадам Бэллинг, когда Тине кончила.

Сама Тине молчала, положив на колени стиснутые руки

— Пожалуй, время спать, — сказала она, встала и поцеловала отца.

Тине все еще была дома, в школе, когда часов около шести начали возвращаться на отдых очередные части. Тине начала помогать матери по хозяйству — то там, то тут.

— Но, Тине, — укоряла ее мать, — там ведь полон дом народу. — Надобно сказать, что и в школе народу было не меньше. — Уж мы как-нибудь и сами управимся, как-нибудь и сами управимся... — Она хотела поскорей отправить дочь в лесничество.

— Хорошо, мама, — отвечала Тине, хлопоча возле Бэллинга: тот снова почувствовал себя хуже. — Хорошо, сейчас пойду. Ну, папочка, я пошла, — сказала Тине и погладила его по голове. Она была сегодня какая-то тихая и благостная. — До свиданья, дорогой. — Потом она заглянула на кухню, сказала матери: — До свиданья, — и убежала.

Она открыла садовую калитку, через прачечную прошла в дом, наткнулась в коридоре на Софи, разносившую завтрак.

— Господи, увидеть господина лесничего живехоньким-здоровехоньким, это ж такая радость, такая радость. — Софи от волнения забыла даже про свои обязанности. — Ах, господи, если б фру могла увидеть его хоть одним глазком.

— Да? — только и спросила Тине и улыбнулась.

Софи входила, выходила, накрывала на стол, — в кухне она даже всплакнула:

— До чего ж господин лесничий хорош из себя, до чего ж хорош, — глаза совсем как у Херлуфа, совсем как у Херлуфа. Но и у Лэвенхельма, — тут она вдруг улыбнулась, — и у него фигура очень даже статная. И подумать только, они побывали на поле смерти, а воротились живехоньки и здоровехоньки. — Софи входила и выходила... — Да, да, у Лэвенхельма очень даже статная фигура, — заявила Софи снова. Она и вообще была склонна отыскивать все новые и новые достоинства у тех, кто вернулся «с поля смерти».

Тине не перебивала ее, но ничего не говорила в ответ. Она тихо прошла на кухню и занялась стряпней: когда кто-нибудь открывал дверь, ей время от времени слышался голос Берга.

Потом, растопив печь, она села к окну у себя в каморке и вдруг услышала шаги Берга — и еще чьи-то, а затем увидела и самого Берга, стройного и цветущего.

Берг подошел к окошку и спросил:

— Где это вы прячетесь? (А ведь он и не думал ее искать.)

Тине отворила окно, он задержался возле нее.

— Вам не икалось? — спросил он, глядя на нее. — Я вас вспоминал.

А сам по-прежнему не сводил с нее глаз. Тине не ответила на его вопрос. Она только проговорила медленно, с нежной улыбкой:

— Подумать только, вы вернулись.

Берг вошел к ней, сел возле печки, заговорил о чем-то, но, должно быть, и сам не слышал, о чем. Он неотрывно глядел на нее, а она сидела перед ним крепкая, чистая, цветущая, такая, какой он привык ее видеть и видел всегда, раньше и теперь, в ночи, в холоде, на шанцах.

— Вам передали от меня привет? — спросил он, не отводя взгляд.

— Да.

Берг, верно, и сам не знал, почему он вскочил так поспешно, когда за дверью послышался шорох, вскочил поспешно, словно сидел непозволительно близко к Тине.

— Войдите.

Это оказалась мадам Бэллинг. Она все-таки улучила минуту, чтобы замесить крендель, и вот сейчас принесла его.

— Приходится выкраивать время, в доме-то народу полным-полно, а Бэллинг опять плох... уж так плох. И Тине ходит как потерянная, да, да, Тине, я дело говорю, и обмирает от страха, я ж по глазам вижу, когда пушки гремят. Но вы живы и здоровы, — завершила мадам Бэллинг и поглядела на Берга своими добрыми глазами. — Я скажу Бэллингу, что вы живы и здоровы.

Она пристально глядела на него. Берг взял ее руку, чуть торопливо пожал и вышел.

Мадам Бэллинг и Тине заглянули на кухню: там лежал крендель.

По саду мимо окна прошел Берг с группой офицеров.

— Вот смотри, доченька, они не падают духом, — сказала мадам Бэллинг, стоя у окна и глядя на ладных подтянутых офицеров.

Тине ничего не ответила.

...Немного спустя она отправилась проводить мадам Бэллинг.

Во дворе трактира мадам Хенриксен громким криком сзывала разбежавшихся служанок, а колокола уже за благовестили к вечерне.

V

На площади солдаты курили трубки и грелись на солнце. В открытых окнах трактира и школы виднелись офицеры.

Тине помогла Бэллингу спуститься с крыльца и не переставала поддерживать его, когда он шел вдоль флигеля.

— Да, Бэллинг наш совсем плох,— сказала мадам Бэллинг, наблюдая за мужем из дверей трактира: она решила по хорошей погоде прогуляться до мадам Хенриксен.

Отсюда она наблюдала за мужем и дочерью и высказала опасение, что Тине тоже «долго не продержится», она ведь так много времени проводит с Бэллингом, так с ним возится.

— В обед приходит, вечером приходит,— говорила мадам Бэллинг,— а уж до чего она у нас душевная, вы и сами знаете... и до чего добрая, никто не умеет поправить Бэллингу подушку так хорошо, как это делает Тине.

— А «там»,— продолжала мадам Бэллинг, слышав голос Берга,— он теперь частенько навещался к офицерам, расквартированным в школе, и все больше после обеда,— «там»,— горестно повторила она,— уже все потолки от грязи почернели.

Мадам Хенриксен ничего не отвечала, вся уйдя в слух: в трактире смеялась и напропалую кокетничала Тинка.

— Да еще говорит, что пойдет в лазарет,— сказала мадам Бэллинг после некоторого молчания, господи, это ж надо выдумать — в лазарет, будто здесь, у нас... господи, спаси и помилуй... здесь у нас не лазарет.

Мадам Бэллинг покачала головой, словно отказываясь понимать свою дочь.

— Будто ей надо перебираться в Аугустенбург, чтобы было за кем ходить. Впрочем, все мы теперь малость не в себе.

— Да,— согласилась и мадам Хенриксен, по-прежнему думая о своем и слушая, что делает Тинка в зале трактира.— Да, нашим слабым котелкам такого не выдержат...

— И еще я точно знаю,— продолжала мадам Бэллинг, чьи мысли перепархивали с одного на другое и не могли остановиться,— точно знаю: господин лесничий ходит сюда потому, что дома у него сплошное разорение. И Тине нынче такая молчаливая, словно замок на губы навесила.

Обе женщины умолкли, глядя прямо перед собой. А в трактире Тинка со смехом захлопнула дверь перед носом у каких-то лейтенантов.

За площадью начало медленно садиться солнце. Артиллеристы в замызганных мундирах повели лошадей на водопой к пруду. Мадам Бэллинг вернулась к себе.

Берг сидел у окна, что поближе к крыльцу— отсюда видна была стена, вдоль которой в предзакатном солнышке прогуливался Бэллинг, поддерживаемый Тине.

— Да, ползает помаленечку,— сказала мадам, поднявшись на крыльцо и перехватив взгляд Берга.— Пусть хоть немножечко погрееется.

Берг вышел, пересек площадь и приблизился к гулявшим.

— Да, господин лесничий, здесь тепло,— сказал Бэллинг, беря его руки в свои.— И Тине меня поддерживает. Она у нас сильная, Тине-то.

Они продолжили свою прогулку уже втроем: Берг рядом с Бэллингом. Старик из последних сил ворочал коснеющим языком. Он толковал про «былые времена».

— Нет, нет... вы этого, пожалуй, и не помните, это еще до вас случилось... за год до смерти госпожи советницы... и Тине была еще во-о-от такусенькая... Как раз когда новый трактир сгорел, помнишь, Тине, у тебя были голуби белые, два белых голубя, они в огонь полетели, два голубя, ели прямо с руки и полетели в огонь... а ты была еще вот такусенькая...

— Да, папочка, да,— повторяла Тине, как бы пытаясь унять отца, ее округлая рука легла на отцовские плечи, и, повернув обратно, они медленно побрели по площади.

Но Бэллинг знай твердил свое, и с чего бы он ни начинал, любая его тирада кончалась словами о Тине. Ежедневно навеваясь после обеда в школу, Берг узнал подробности всей ее жизни.

— Да, Тине у нас сильная,— сказал Бэллинг, когда Тине почти внесла его на ступеньки крыльца,— очень даже сильная. Красивой ее, конечно, не назовешь,— он

остановился на пороге и оглядел дочь,— но зато она крепкая, крепкая и здоровая.

— Ах, папочка, ну что ты, папочка,— говорила Тине.

— И еще она у нас добрая.— Он погладил дочь по волосам.

Звонарь пересек площадь, и солдаты большой толпой сгрудились у церковных ворот. Зазвонили колокола. Старого Бэллинга завели в дом, Тине и Берг остались вдвоем на крыльце.

На площади все стихло, некоторые солдаты молитвенно сложили руки при первых ударах колокола. Только из трактира слышался голос Тинки, она бежала по всему дому, словно играла в нескончаемые пятнашки.

Колокола смолкли, и солдаты начали маленькими группками расходиться по домам.

— Вы здесь останетесь? — с неожиданной горячностью спросил Берг, спускаясь по ступенькам.

— Нет... я, пожалуй, приду.

Непрошенный румянец залил их щеки; теперь это случилось весьма часто, когда они разговаривали друг с другом, а разговаривать они стали тише, чем прежде, и как-то боязливо — особенно если при разговоре присутствовал кто-нибудь посторонний.

— Благодарю,— только и сказал Берг и ушел.

По дороге Тине забежала в трактир, чтобы прихватить с собой в лесничество и Тинку.

— Пойду, и даже с удовольствием,— сказала Тинка, набрасывая шаль.— Если вдуматься, сейчас трактир в любом доме, но у вас всего веселей.

— Вот так,— сказала Софи, попавшаяся им навстречу в дверях прачечной и сопровождаемая каким-то сержантом.— Наше дело — сохранять спокойствие. Огонь не повредил наших укреплений...— Софи совершенно ошалела от всех двусмысленностей, которых наслушалась среди унтер-офицеров.

Тинка весело захохотала над ее остротой и проследовала в каморку к Тине.

— Я вижу,— сказала она,— тебя караулит все семейство.— Над кроватью Тине рядом с портретом фру Берг прибавился еще один: Херлуф на коленях у лесничего.

Тинка не могла долго усидеть на одном месте. Она услышала, что Лэвенхельм прошел в кладовую вместе с Тине, чтобы снять с потолочного крюка копченый окорок.

Поэтому она вышла из комнаты и побежала вверх по лестнице, а лейтенант, разумеется, последовал за ней.

Тине сновала по всему дому, хозяйничала, приносила, уносила. Через открытую дверь она увидела лесничего, тот сидел и что-то писал при свете лампы.

Один из офицеров созвал остальных к столу, ударив в старый поднос, стоявший в коридоре. Тинка стремглав бросилась вниз с окороком и загашенной свечой. Стоило Тинке задержаться где-нибудь в укромном углу, она неизменно выходила оттуда запыхавшаяся и разгоряченная и отряхивалась, словно утка после купанья.

В комнату вошел майор и отечески пощекотал у Тине под подбородком,— дальше его стариковские пальцы не доставали.

— Ах, какая мягкая шейка, какая мягкая шейка,— сказал он и сел к столу, а Тине стала громко звать Софи, запропастившуюся, по обыкновению, где-то в людской, где обедали унтер-офицеры.

— От воинов так легко не вырвешься,— заявила Софи, внося наконец еду.

Тинка села, скрестив ноги, на чурбак, и начала пыхтеть и отдуваться.

— Да, девочки, вам нелегко приходится,— сказала она Тине, должно быть, смутно чувствуя, что ей следует как-то объяснить свое поведение.

После обеда Тине ушла в свою каморку вместе с Тинкой. Туда же заявился и Берг. Сперва он стоял в дверях, прислонясь к дверному косяку, и курил, потом Тине сказала, потупившись:

— Не желаете ли присесть, господин лесничий? — и поднялась со стула.

Но Берг торопливо опустил на край ее постели.

— Зачем вы встали? — спросил он.

Разговор шел между ним и Тинкой, больше говорил он. В последнее время он почти всякий раз вспоминал свое детство,— как он учился в школе, а потом стал лейтенантом,— о «первых годах» и о «счастливой поре».

— Когда в груди билось горячее сердце, верно, господин лесничий? — И Тинка с хохотом похлопала себя по левой стороне груди.

Берг тоже рассмеялся и продолжал рассказывать.

Тине молчала, в свете маленькой лампочки она проворно водила иголкой, счастливая сознанием, что он говорит для нее.

Потом она встала, принесла молочный пунш и три стакана, и они выпили за маленьким столиком, покрытым белой гипюровой скатертью, под неумолчную болтовню Берга и Тинки.

На весь дом разнеслись звуки рояля — играл Лэвенхельм — и голос майора.

— Подумать только, как быстро все проходит, — сказал Берг.

Они помолчали.

— А до чего же здесь уютно и спокойно, — добавил он, оглядываясь по сторонам.

— Да, здесь благодать, — сказала Тинка, хлопая ладошками по своим коленям.

Берг встал, но задержался в дверях и ушел не сразу.

— Вот теперь с ним можно иметь дело, — сказала Тинка, когда Берг скрылся. — Война всех мужчин научит хорошим манерам. Вот только грязищи они наносят — невпроворот. — И Тинка отряхнула то место на покрывале, где сидел Берг.

Тине достала из кармана письмо от фру Берг. Последнее время, когда приходили письма, она читала их так бегло и тревожно, она словно летала глазами по строчкам, а потом засовывала письмо в карман и ждала, пока представится случай прочесть его «в спокойной обстановке». Поэтому чаще всего письма перечитывались вслух, при Тинке.

В гостиной запел лейтенант Лэвенхельм. Было слышно каждое слово.

— Скажи-ка, страж, где бой кипит?

— А там, где Обенбру лежит.

— Ах, боже мой, выходит, бой

Всех вшей пристанища лишит.

Юлия, Юлия, гоп-са-са.

Письмо состояло главным образом из тревожных впросов, воспоминаний о прошлом, «а вы помните, как», и еще, и еще раз «а вы помните?..».

Тинка раскачивалась в такт песне, а Тине одолевала длинное письмо, страницу за страницей.

— Да, — сказала Тинка, когда Тине кончила читать, — с тех пор уже много воды утекло.

— Да, — вздохнула и Тине, откладывая письмо. — Ох, как много.

Нет, теперь за словами письма ей не слышался больше голос фру Берг и между строк не виделось ее лицо,

сколько Тине ни пыталась увидеть и услышать: Все это отодвинулось далеко-далеко, и воспоминания не дарили теперь покоя.

В гостиной Лэвенхельм бил по клавишам и разливался соловьем; Тинка, хихикая, подтягивала:

И тот, кто сладким сном уснул,
Портки, проснувшись, натянул,
Но тот, кто стоя спать горазд,
Тот жизнь задаром не отдаст.
Юлия, Юлия, гоп-са-са.

Пение смолкло.

— Знаешь,— сказала Тинка и ткнула пальцем в направлении гостиной,— он очень интересный.

Тине оторвала взгляд от письма, все еще лежавшего перед ней. Она не признавала, что уже в который раз перечитывает одни и те же слова.

«Почему Хенрик так редко мне пишет, а если и напишет, то очень коротко, словно второпях? Знаешь, Тине, у меня такое впечатление, будто его последние письма не говорят ни о чем».

— Уже пора готовить постели,— сказала она, унося пуш.

...Она вошла в кабинет лесничего, чтобы немножко прибраться там.

Под лампой на распахнутом бюваре все еще лежало письмо жене — то самое, которое лесничий писал, писал и никак не мог довести до конца.

Вот и сегодня он не сумел его кончить.

Тине постояла у лампы и закрыла бювар, не помня себя от счастья.

...Тинка собралась уходить, и Тине попросила Софи проводить ее.

— Нет, девонька, спасибо, нам бури нипочем,— крикнула Тинка и выбежала из дому. На гребне холма перед ней вдруг возник Лэвенхельм и вызвался в провожатые.

...На сей раз Берг как бы по забывчивости дважды обошел дозором свои владения. Ночь была тихая. Лишь один раз отдаленный гром гулко прогремел в ночи. Враг не дремал.

По всем дорогам войска с пением уходили на позиции. Бледные, исхудалые, потемневшие от порохового дыма, солдаты с пением возвращались назад.

И лишь нескончаемая вереница раненых на медленных возках, тянувшаяся по дорогам, омрачала радость.

Но песня не смолкала, ее подхватывали в свежем по-весеннему воздухе, взрослые и дети выбегали из домов, не покрыв голову, и подбрасывали шапки вверх.

Опять мы пруссаков идем воевать,
Бояться нам не пристало.
Ведь нам уж не раз их случалось бывать,
Хоть много их, а нас так мало.
В открытом бою мы свершим чудеса,
Бумаги исход не решают,
Ведь после грозы тем ясней небеса,
А тучи дышать нам мешают.

Со временем все образуется —
Нам всякий об этом твердит,
Но только открытая битва
Немецкую мощь сокрушит.
Так грянем же громко «ура»
За родину и короля.

Тине стояла на холме и размахивала шалью. Буря над Дюббелем отбушевала.

Дом гудел от шумной суеты. По саду бегал барон и пожимал руку каждому встречному, задавая один и тот же вопрос:

— Что вы испытывали? Скажите мне, друг мой, что вы испытывали? — и приказывал подать пуншу.

Софи металась по дому как угорелая, одаряла улыбками всех налево и направо и твердила:

— Надо устроить нашим воинам вечерок для души. Они заслужили такой вечерок.

По всем комнатам офицеры укладывались на покой, как были, не раздеваясь, смертельно усталые, но и лежа в постелях, они перекликались на весь дом звонкими, веселыми голосами. А с дороги доносилось пение возвращавшихся батальонов.

Берг зашел в каморку к Тине. Вернувшись из школы, она сразу увидела его — он сидел перед печуркой.

Сияющие глаза Тине наполнились слезами, он взял ее руки, ее дрожащие руки и, не выпуская их, сказал:

— Какой нынче был счастливый день.

Она молчала, она не могла говорить, потом промолвила ласково и нежно:

— Ах, как фру будет рада.

Берг ответил:

— Какая вы добрая, — и выпустил ее руки.

Тине даже не чувствовала, что по ее щекам бегут слезы.

...Барон отправился в трактир заказать ром для пунша. Тинка и Иенсенова Августа сами приволокли чан, держа его за обе ручки. Солдаты, варившие суп на костре перед домом, приветствовали их появление громовым «ура».

Тинка и Густа тотчас принялись колдовать на кухне, во всех мисках бешено завертелись мутовки и венчики. Через раскрытые двери прачечной видна была Марен в облаках пара.

В саду пели солдаты; сквозь сумрак ярко сверкали их костры:

Я подвигом ратным прославлю свой полк,
Я жизни не стану падать,
Пусть немец лютует, как бешеный волк,
Меня ему не победить.
И если мы встретимся в ближнем бою,
Ему покажу я ухватку свою.
Не будет соваться в чужой огород,
Незванным гостям от ворот — поворот.
Со временем все образуется —
Нам всякий об этом твердит,
Но только открытая битва
Немецкую мощь сокрушит.
Так грянем же громко «ура»
За родину и короля.

— А ну живей, а ну живей,— подзадоривала Тинка. Она работала, засучив рукава — от мутовки, которой она сбивала белки, только звон шел — и при этом напевала песенку Лэвенхельма:

И тот, кто сладким сном уснул,
Портки, проснувшись, натянул,
Но тот, кто стоя спать горазд,
Тот жизнь задаром не отдаст.
Юлия, Юлия, гоп-са-са.

— Вот и хорошо, вот и хорошо,— изрекала Софи, вносящая и выносящая тарелки.— Надо, надо устроить им вечерок для души.

Тине в кладовой резала мясо. Улыбаясь про себя и сама того не замечая, она мурлыкала песенку Тинки.

Барон — он поджидал своих англичан, которые собрались домой и теперь разъезжали с прощальными визитами,— начал готовить пунш, офицеры тем временем ужинали, а Тинка, Густа и Софи принесли пунш в амбар, где Ларс-батрак развесил на балках несколько фонарей.

Громовое «ура» солдат разрывало вечернюю тишину всякий раз, когда их чем-нибудь потчевали.

Софи попевала всюду и вдохновляла солдат приветственными кивками.

— До дна пейте, до дна,— уговаривала она их.

Несколько солдат извлекли гармоники, каждый играл на свой лад, а остальные пели. Друг друга никто не слышал, гармоники вдруг заиграли полечку, и в песню вступила Марен.

И вдруг все солдаты пустились в пляс, тут же, не выходя из амбара, так что закачались фонари и воздух наполнился пылью.

У дверей собрались офицеры.

Один пригласил на танец Софи, а кавалер Марен танцевал, обхватив свою даму за шею.

— Ну прямо переходишь из рук в руки,— сказала Софи, уморившаяся так, что ее ноги уже не держали, и, однако, послушно следовавшая за очередным кавалером. Гармоники повизгивали, солдаты отбивали такт.— Просто грех отказывать,— сказала Софи Густе и умчалась в танце.

В сад через открытые окна доносились звуки Лэвенхельмова рояля.

Тине пошла убираться в гостиной, Тинка и Густа прибежали ей на подмогу. Казалось, что офицеры лишь теперь окончательно проснулись — все двери стояли настежь, по комнатам разносились смех и гомон.

Майор зажал Тинку в углу, она стояла там и стонала от смеха. В амбаре ключом било веселье.

— Эй, Иенсен, давай польку,— крикнул Лэвенхельм и встал из-за рояля.

Лейтенант Иенсен заменил его, а Лэвенхельм помчался в танце с Тинкой. Офицеры сдвинули стулья к стене, чтобы освободить место. Вслед за Тинкой вышли в круг Густа и Тине — теперь танцевали три пары. Офицеры оживленно разговаривали. Два капитана, прихватив стаканы с пуншем, вышли на веранду. Они снова толковали про восьмой полк, который так хорошо показал себя в деле.

Лейтенант Иенсен внезапно заиграл вальс, кавалеры сменились, раз, другой. В кабинете у Берга запели сидевшие там офицеры, а посреди всего этого гама на веранде, вытянувшись на постели во весь рост, спал сладким сном какой-то измученный лейтенант.

— Теперь, пожалуй, наша очередь? — сказал Берг, внезапно возникнув перед Тине.

Она растерянно подняла на него глаза, сказала просто: «Да», — и они закружились в танце.

Растерянность прошла, теперь Тине слышала и воспринимала все так, словно у нее была тысяча глаз и тысяча ушей — и, однако ж, она видела только его, его, чей взор за все время долгого танца не оторвался от ее лица.

Майор снова принялся рассказывать свои бесконечные истории, потом до нее донеслись голоса двух капитанов. В кабинете Берга подпевавшие роялю офицеры запели полным голосом.

Барон выходил и входил: прибыла карета с его англичанами.

Берг ничего не говорил, он неотступно глядел в лицо Тине, и они все танцевали, все танцевали, а из амбара снова и снова доносилось громкое «ура».

Потом Берг вдруг остановился, но какое-то мгновение еще продолжал судорожно стискивать ее пальцы.

Англичане вошли из темного коридора и принялись усиленно пожимать всем руки.

— Какое чистосердечное веселье! Какое невинное веселье! — восклицали они.

Лэвенхельм закружил Густу, приподняв ее над полом.

Тине уклонилась от разговора с незнакомцами и медленно прошла к себе в комнату.

... В амбаре уже все стихло, в гостиной смолк рояль. Вошла Тинка и села на кровать. Она расстегнула несколько пуговиц на корсаже и, разговаривая, не переставала отдуваться.

Она трещала без умолку, а Тине отвечала ей односложными «да» и «нет».

Потом, глядя в огонь, она вдруг спросила:

— Скажи, Тинка, а ты не могла бы вести хозяйство здесь?

— Где? — спросила Тинка, которая рассказывала о чем-то совершенно другом, и уронила руки на колени.

— Здесь, — повторила Тине таким же тихим голосом, все так же не отрывая глаз от огня. — Я хочу уйти в лаварет. — И добавила совсем тихо: — Там нужны люди.

Обе помолчали. Потом Тинка сказала:

— Да, без женщины здесь не обойдешься, — и принялась застегивать корсаж. — А к тому же, девонька, лаза-

ретный воздух, возможно, полезнее для здоровья...— Она говорила теперь совсем иным тоном и тоже смотрела в огонь.

— Конечно, надо «спасаться»,— продолжала Тинка.— Они уже совсем перестали церемониться.— И Тинка таким решительным движением запахнула шаль, словно отбивалась от насильника.

— Доброй ночи,— сказала она.

Тине встала и пошла провожать ее до конца аллеи. Кругом было тихо, слышалось только тьяканье собак да удаляющиеся шаги Тинки.

Тине повернула к дому. Приблизясь к флигелю, она торопливо шагнула в тень.

— Это вы?— сказал Берг, обходивший привычным дозором усадьбу.

— Да.

Казалось, будто, притянутые неодолимой силой, они помедлили друг подле друга секунду, тысячную долю секунды.

— Доброй ночи,— сказал наконец Берг и пошел дальше.

— Доброй ночи.

Тине вошла в дом и принялась хлопотать на кухне. Она переложила масло в бочонки, собрала корки в специальную корзину, завернула сыр в полотенце.

Потому что лечь она не могла — нельзя, нельзя ложиться, надо что-то делать.

Вдруг она вспомнила про белье, которое надо будет с утра пораньше замочить. Придется разбудить Софи и втолковать ей, что и как.

Она вышла в коридор прачечной — миновала людскую и открыла дверь в комнату горничных.

Широкая двуспальная кровать была пуста.

И вдруг Тине опустилась на колени прямо на каменный пол и, уткнувшись головой в грязную, измятую, испоганенную постель, горько зарыдала.

Расшатавшиеся двери прачечной так и хлопали, так и хлопали на ветру.

На другой день в школу прибыло несколько полковых врачей. В школе хотели разместить раненых, и Тине взялась все приготовить к их приему.

Раненые прибыли после полудня. Это были те, которые

раньше лежали в Аугустенборге; из возков их перекладывали на носилки и поднимали на крыльцо. Среди них был и лейтенант Аппель.

Тине его даже не признала сразу. Круглые щеки ввалились, глаза выцвели, как у человека, который плакал много дней и ночей подряд. Он был ранен в бок, и пуля повредила легкое.

Все шестеро были тяжело ранены, от переезда у них появился жар, по дому разносились стоны, тяжелый запах достигал даже прихожей.

Теперь Тине не могла отлучиться ни на минутку.

— А ведь все равно твердит про Аугустенбург, — жаловалась мадам Бэллинг, бегая от кухни к спальне и обращаясь на ходу то к Бэллингу, то к хусменовой Петре, а то и к себе самой, потому что все в эти дни сдвинулось с привычных мест и она не знала, какой еще ждать напасти.

— Сам-то сидит и шагу ступить не может без помощи, хватает у нас и больных, которые вот-вот отдадут богу душу, дом битком набит, не продохнешь. А Тине хочет уехать. — И мадам Бэллинг, качая головой, в сотый раз останавливалась перед Петрой.

Сколько ни думай, мадам Бэллинг решительно не понимала — и не могла понять свою дочь.

— У нас у самих все крыльцо в крови. — И мадам Бэллинг возобновила свой безостановочный бег по дому.

Кровь на крыльце была от того, что санитары прислоняли к нему окровавленные носилки.

Но вот мадам Бэллинг утомилась. Вконец обессиленная, она присела возле Бэллинга.

Тут ей вдруг пришел на ум лесничий: вот к нему-то она и пойдет. Он «имеет влияние на Тине», да, да, она пойдет к лесничему, пойдет к лесничему. И, бросив все дела, она ушла, она решила немедленно повидать лесничего.

Накинула платок поверх пальто и ушла.

По дороге она продолжала беседовать сама с собой о Бэллинге и о раненых.

— Дорога-то непроходимая. — И немного спустя опять: — Непроходимая дорога... А Тине хочет уехать... — Словно отъезд Тине имел хоть малейшее касательство к непроходимой дороге, к ступенькам, залитым кровью, ко всему на свете.

Когда мадам Бэллинг вошла, Берг мерил шагами кабинет.

— Это вы? — торопливо спросил он и круто остановился.

Мадам Бэллинг села и тотчас начала оправдываться и извиняться, что вот-де она «вечно ему надоедает, а у него и без нее хватает забот»...

— Но дело в том, что Тине хочет от нас уехать, — проговорила она. — Как же нам быть?

— Уехать? — спросил Берг, и этот поспешный вопрос прозвучал как-то по-особому тепло.

— Да, в аугустенбургский госпиталь.

Оба помолчали, мадам Бэллинг ждала ответа. Но Берг так же торопливо промолвил:

— Да, там нужна помощь, — и отвернулся.

Мадам Бэллинг подняла на него недоумевающий взгляд.

— Нужна помощь? — переспросила она. — Помощь? Это кому же? Кому нужна помощь? Раненым? Больным? А Бэллинг разве здоровый?

И внезапно мадам Бэллинг заговорила громко, сердито, тоном убежденным и полным отчаяния, какого Берг никогда у нее не слышал.

— А кто будет помогать здесь, когда она уедет? Кто? Разве здесь не нужна помощь? В школе... да и в лесничестве... Кто будет? Разве господин лесничий сам не видит, что и его родной дом приходит в упадок? Что в нем нет ни одного чистого угла, ни одной чистой стены, всюду грязь, пятна... а вещи, прелестные вещички фру все сломаны и исковерканы...

Мадам Бэллинг, разгорячась от собственной речи, указывала то на серые от грязи гардины, то на сбитые половики, то на запыленные столы, она сварливо наседала на побледневшего Берга, не давала ему вставить ни единого слова, — он лишь беспомощно прижимал к груди стиснутые кулаки, — и под конец расплакалась:

— Нет, такого никто не выдержит, никто не выдержит, — причитала она.

— Значит, она должна остаться, значит, должна, — сказал наконец Берг и смятенно, с мукой, не слыша собственного голоса, повторял: — Должна, должна, — лишь бы заставить мадам Бэллинг успокоиться, лишь бы остановить этот плач, этот раздирающий душу плач.

— Она должна остаться с отцом, это ясно.

Он прошелся по кабинету взад и вперед.

— У нее нет никаких причин уезжать.

Казалось, при звуке собственных слов Берг и сам почувствовал неожиданный прилив спокойствия после многих часов безмолвного возбуждения.

— Вот и я то же говорю.

Мадам Бэллинг сразу успокоилась, начала вытирать глаза и, словно прося прощения, сказала:

— Да, да, господин лесничий, может, я и делаю из мухи слона... Но кто сейчас способен рассуждать здраво? Кто способен рассуждать? В такие времена...

Мадам Бэллинг собралась домой. Лесничий обещал ей поговорить с Тине.

Когда мадам уходила, лесничий стоял на крыльце и глядел прямо перед собой.

— Нет, нам без нее не обойтись,— сказал он.

— Не обойтись, никак не обойтись,— поддакнула мадам Бэллинг и побрела домой.

...Когда в школу пришел Берг, Тине сидела у постели Аппеля. Она сразу заметила его необычную бледность.

— Вы не могли бы выйти со мной ненадолго? — спросил он несколько возбужденным тоном.— Вам не грех подышать свежим воздухом.

— А погода хорошая? — спросил Аппель.

— Да,— ответил Берг, а сам подумал: «Сколько ей пришлось выстрадать».

— И солнце светит?

— Да.

— Тогда ступайте,— сказал Аппель.— Тогда ступайте.

И Тине встала без единого слова.

В полном молчании они вышли из дому и с площади, где гомонили солдаты, свернули на тропинку вдоль церковной ограды. Тут Берг остановился и, как от внезапно толчка, заговорил — бессвязно, сбивчиво, словно обращаясь к самому себе. Он облек в звуки все думы, которые терзали его, он оправдывал себя всеми оправданиями, которые подыскал за долгие ночи. Он объяснял страсть, которую не хотел назвать по имени, он объяснял ее словами, начиная с той минуты, когда она зародилась в его мыслях, он оправдывал себя всем, чем только мог, он бранил ночи, шанцы, дозоры, бранил войну, непохожую на войну, дни, лишённые обычного труда, ночи, лишённые сна.

Он снова пошел вперед, да так быстро, что она едва попевала за ним. Она поняла все. Но, словно побуждая его замолчать, словно отменяя оправдания, которые ей

были не нужны, она с ласковым укором вдруг спросила его:

— Почему вы мне все это говорите?

Берг остановился — и дважды пробормотал ее имя.

— А почему вы хотите уехать? — ответил он, задыхаясь словно от бега. — Я говорил с вашей матушкой. И нам, — продолжал он, — не пристало бояться друг друга.

— Да, — шепнула Тине и подняла голову.

Больше они не разговаривали, только шли молча друг подле друга. Воздух был мягкий и теплый, закатное небо — ясное, как всегда перед весной. Молчали пушки. Лишь однажды прозрачную тишину воздуха разрезал гром — словно прокатилась на тяжелых колесах груженная телега.

Они миновали луг и вошли в садовую калитку. Они увидели пруд и белые колонны беседки, обвитые голыми побегами роз, и оба подумали об одном и том же.

Сквозь воротца в самшитовой изгороди они подошли к дому.

Из гостиной доносились звуки рояля. Софи, кокетничавшая с каким-то сержантом у полурастворенного окна прачечной, проворно отскочила от своего кавалера. А Марен продолжала стоять как ни в чем не бывало в кругу солдат возле калитки и хохотала во все горло, поставив на землю полные подойники.

— Уберите ведра с дороги, — крикнул Берг с неожиданной злостью.

Марен без звука подхватила ведра, да так проворно, что юбки у нее взлетели колоколом и молоко расплескалось во все стороны. Офицеры, сидевшие на террасе, проводили Марен громким смехом.

Тине и Берг расстались.

Она пошла вниз по аллее — к школе. Сладковатый, гнилостный запах из комнаты для раненых проникал в прихожую. В гостиной сидели за картами офицеры.

Мадам Бэллинг была на кухне, она готовила куриный бульон для «бедняжек».

— Худо им, очень худо, — твердила она.

— Я говорила с лесничим, — тихо сказала Тине.

— Вот и слава богу, вот и слава богу, — ответила мадам Бэллинг взволнованно.

— Здесь тоже дел хватает, — продолжала Тине прежним тоном.

— Да, да, конечно, хватает, конечно, хватает... Слава богу, слава богу...— И громким, радостным голосом воскликнула:— Бэллинг, Бэллинг, она остается с нами... Я в этом и не сомневалась... уж коли он обещал...

— Ах, доченька, ах, доченька,— заговорил старик с укоризной.

Тине судорожно обвила руками его шею.

...Тине принесла тарелку с бульоном и села у постели Аппеля.

Раненые один за другим отходили ко сну.

У окна перед свечкой сидел санитар и писал. Приподнявшись в постели, раненый диктовал ему письмо для своей невесты. Дело подвигалось нескоро — думалось медленно, писалось и того медленней.

Аппель говорил о Виборге и о своей родине. Теперь он лежал с закрытыми глазами.

От окна слышался голос раненого: он отчетливо выговаривал каждую букву, словно читал по складам.

Аппель поднял веки.

— Вы себе не представляете, какие у нее красивые глаза,— сказал он, глядя на круг света под лампой, и улынулся.

Потом он уснул, и Тине бесшумно поднялась со стула.

Она пошла в лесничество. Вечер был теплый. Из-за кузнецова забора выскочила трактирная служанка, за ней по пятам следовал солдат.

В сумерках Тине увидела посреди дороги ручную тележку. Это была тележка калеки, торговавшего пивом,— он возвращался домой. Калека узнал Тине и заговорил с ней, сидя между двух колес перед пустым бочонком:

— Да, пиво расходуется хорошо... Подольше бы так... Ане здорово умеет варить слабое пиво.

Он охотно поговорил бы еще, но Тине ушла от него: он явно перебрал, сидя в трактире.

Две ночи подряд за Тине присылали из дому.

Вернее, сама мадам Бэллинг приходила и стучала в ее окно. Бэллингу стало совсем худо, речь у него почти совсем восстановилась, но голова окончательно сдала. Он несет всякий вздор, и никакие силы не могут удержать его в постели.

Был доктор, сказал, что у Бэллинга кровоизлияние в мозг.

Пришлось Тине ночевать дома.

Вот уже вторую ночь Тине сидела у постели отца.

Он говорил без умолку, он молился и заставлял ее читать вслух из Писания, петь псалмы. Тине читала без отдыха.

К рассвету он немного успокоился. Но даже во сне голова его моталась по подушке, словно у больного зверя.

Тине дремала, прислонившись головой к холодной стене. Мадам Бэллинг расстелила перинку прямо на полу в кухне, чтобы хоть немного отдохнуть.

— Какой грохот,— пробормотала она,— какой грохот.

— Да, мама, а теперь спи.

Свирепый ветер обрушивался на вздрагивающий домик, усиливая гром орудийных залпов. Он барабанил косым непрерывным дождем по стеклам и стенам, и грохот этот походил на треск выстрелов. А с дороги из темноты доносились другие звуки,— беженцы из Сеннерборга нескончаемой чередой шли мимо школы.

— Слышишь, ояять громче палят,— жаловалась мадам Бэллинг из кухни.

— Да, мама да, только усни. Скоро утро, а ты еще глаз не сомкнула.

Мадам Бэллинг задремала и чуть постанывала во сне. Начал заниматься пасмурный день. Даже Тине и та забылась, прислонясь к дрожащей стене.

В доме все спали — офицеры, солдаты, раненые, спали одинаковым сном, в который врывался глухой гром пушек.

Новый день наступил. Отец еще спал, и Тине покинула свой пост.

— Схожу посмотрю,— сказала она. Более полутора суток под грохот пушек и сигналы тревоги она почти не покидала спальни.

— Иди, детка, иди,— сказала мадам Бэллинг. Она уже вернулась к своим дневным занятиям, чувства ее дремали, как дремлют они у замученного работой коня, который только и знает ходить в ярме и тащить воз.

— А ведь сильней становится... а ведь сильней становится.

Даже ступеньки крыльца дрожали от сотрясения земли. Нескончаемая череда беженцев тянулась мимо трактира. Женщины и дети сидели на шатких повозках, мотались под дождем из стороны в сторону, словно узлы

с тряпьем, и пытались заснуть под гром пушек. Старухи, едва передвигавшие ноги, как заведенные шагали рядом с телегами, спотыкаясь об узлы с мокрыми перинами, которые они тащили за собой. Дети, ослепленные хлесткими струями дождя, натыкались на подводы, деревья, громко плакали и плелись дальше.

Никто не знал своего соседа, голосов не было слышно в реве пушек.

Тине миновала эту процессию и перелезла через забор лесничества. Там все было перевернуто вверх дном. Дверей не закрывали. Барон разрешил беженцам невозбранно располагаться в доме, так что ни о сне, ни о покое нечего было и думать. Люди входили, уходили, раздавались проклятия.

Во дворе мокли под дождем бесхозные телеги. В коридоре Тине прошла мимо трех мужчин. Они лежали, укрывшись пальто, а несколько неприкаянных детей уснули прямо на чердачной лестнице, закутавшись в шаль.

Все двери стояли настежь, а грязь, разнесенная по дому сотнями ног, засохшей коркой покрыла порог. В гостиной два совершенно чужих человека пытались растопить печку.

Кругом сидели беженцы, женщины и дети, не сознававшие толком, где они находятся; они пытались хоть немного отдохнуть, прислонясь усталой головой к дрожащим стенам. Почти никто не разговаривал. Из комнаты Берга доносился пронзительный женский голос, который твердил одно и то же:

— Все, что у нас было... ах, господи, все, что у нас было... — и женщина в горестном оцепенении хлопала себя руками по коленям.

Тине вошла. Горничные как сквозь землю провалились. В плите, за которой никто не следил, погас огонь, ветер трепал распахнутые двери прачечной, словно хотел под орудийный гул отодрать их от дрожащих косяков.

Тине громко звала девушек, но шум поглощал ее голос. Наконец она отыскала Софи — та сидела, забившись в угол позади кровати, обмотав голову пуховой шалью.

— Неужто настал Страшный суд? — завопила Софи и ничком упала на кровать. — Ах ты, господи, пресвятая троица, ах ты, господи, пресвятая троица...

Тине вышла и снова начала звать:

— Марен! Марен!

Никто не ответил.

Вдруг из прачечной раненым зверем выскочила Марен и, словно спасаясь от пожара, помчалась через весь двор к амбару, туда, где были Ларс-батрак и Андерс-хусмен. Но в амбаре никого не оказалось. Ларс и Андерс стояли на вершине холма и с ужасом глядели, как горит земля.

Неистовый ветер закручивал дым в смерчи; догорали дворы и усадьбы, и ветер задувал пламя, как жалкую свечу. Разрывы снарядов подсвечивали воздух, земля стонала под ногами, словно зверь.

А кругом, сколько хватал глаз, под проливным дождем стояли на холмах недвижимыми изваяниями мужчины и женщины, и поток беженцев, словно прибывающая в половодье река, растекался по дорогам и тропинкам олицетворением горя.

Софи твердила свое:

— Охти, господи, Страшный суд настал, охти, господи, Страшный суд настал,— и по пятам следовала за Тине, покада Тине растапливала печь, кипятила молоко и нарезала хлеб (другой еды в доме не осталось, за ночь подчистили все), чтобы накормить хотя бы детей.

— Боже, помилуй лесничего, боже, помилуй лесничего,— прошептала Софи, не отставая ни на шаг от Тине.— Он заходил к вам в комнату попрощаться с портретом фру.— Тут Софи заплакала навзрыд.— Это самый лучший из всех портретов фру,— рыдала Софи,— она на нем так похожа, так похожа... он заходил попрощаться, перед тем как уйти с полком.

— Возьмите-ка,— сказала Тине и разлила молоко по тарелкам, чтобы Софи оделила голодных.

— Боже ты мой, боже ты мой,— хныкала Софи, хоть и на полтона ниже. Со всяким, кого бы Софи ни обносила, она пускалась в длинные разговоры, чтобы еще раз послушать про «эти страсти».

— И ведь все сильнее бухает.— Софи качала головой.

Бухало и впрямь все сильнее. Гром пушек, словно рев низвергающегося водопада, сотрясал крышу дома.

Новая толпа беженцев забарабанила в двери, и барон велел впустить их. Сам он стоял в дверях гостиной с озабоченным видом, будто распорядитель на похоронах,

и от каждого требовал предъявить вместо входного билета описание ужасов бомбардировки.

В комнатах решительно не оставалось места людям, измученным дорогой, некуда было даже присесть.

— Зато хоть согреетесь,— говорил барон, обливаясь потом в нечистом воздухе, пропитанном испарениями от мокрой одежды беженцев.

Корреспондент, который сумел спасти свою жизнь, метался по комнатам, словно кошка, которая ищет, где бы окотиться. Тревожась о судьбе заказанной ему корреспонденции, он умолял ссудить его хотя бы доской, дабы положить ее на колени и использовать вместо письменного стола. Его препроводили в комнату Тине, где уже прикорнули на постели двое детишек; корреспондент извлек дюжину карандашей, заботливо обернутых ватой, и рядком выложил их на подоконник.

Люди все прибывали: промокшие, облепленные грязью, они на мгновение застывали в коридоре, заглядывали сквозь двери в переполненные комнаты и безропотно, молча уходили под дождь. Некоторые просили разрешения посидеть хотя бы недолго, хотя бы полчасика, пристраивались, не спуская детей с рук, на ступеньки лестницы, в коридоре прачечной, просто на полу и, не успев сесть, тотчас засыпали.

Теперь в доме не осталось ни единого клочка свободного места, ни единого уголка. На постель служанок уложили какого-то больного.

В комнатах начали «оживать» беженцы, они приходили в себя, причитали, окидывали мысленным взором свои утраты, оплакивали сгоревшие дома, не внимая один другому, ибо каждый был поглощен своей бедой. Люди поминали погибшее добро, деньги, хозяйство, изливали душу перед кем попало, никто их не слушал, а они все равно говорили, каждый о своей судьбе, схожей с другими судьбами, говорили запальчиво и горько,— так еврей, которого обманули на ярмарке, подсчитывает уцелевшие деньги. Отведя душу, они замолкали на полуслове, не в силах собраться с мыслями, и опять окаменевали, осознав глубину своего горя: дома уже нет — он рухнул, деревни — тоже нет, она стерта с лица земли, родного крова нет — он навсегда утерян.

Матери с детьми на коленях лили тихие слезы.

Они сбивались поближе и говорили в один голос, они заполнили все углы, словно пришли поглядеть, как будут

продавать с торгов целый дом со всем скарбом,— а барон носился по комнатам, красный как рак, выпрашивая про «новые подробности», развивая свои взгляды, смуглый же корреспондент из Копенгагена, бледный и взволнованный, уже в который раз делился своими впечатлениями, никого теперь не занимавшими.

— Это было не слишком приятно,— твердил он,— поверьте, это было не слишком приятно.

Оказывается, день назад, едва он вышел из комнаты, туда угодил снаряд и разорвался как раз на том месте, где спал обычно его английский коллега.

— Над его кроватью! Как раз над его кроватью! — И, заглушая жалобы людей, лишившихся дома и крова, он продолжал развивать свою мысль: — Да, это было не слишком приятно, ей-же-ей, не слишком.

Какие-то коммерсанты толковали о страховке; счастлив тот, кто догадался застраховать свои старые развалюхи, ведь пострадавшим от войны наверняка выплатят страховую премию, нечего и сомневаться. Но, перекрывая все разговоры, заглушая все жалобы, доносился из Бергова кабинета пронзительный голос, твердящий с маниакальным упорством душевнобольного одни и те же слова, как рефрен горестной песни.

Тине решила уйти. Она не могла больше здесь оставаться: этот дом стал для нее чужим, здесь она только слонялась из комнаты в комнату, будто глухая среди чужого горя.

Тине прошла мимо барона, который теперь стоял в дверях, и услышала, как он кричит:

— Чего они хотят? Они хотят взорвать мосты! Да, да, все дело в мостах... Я с самого начала говорил... с самого начала!.. Надо обеспечить отступление! — говорил я. Главное — мосты, говорил я! А мосты все время под ураганным огнем.

Во дворе перед фурами с убогим скарбом беженцев стояли загнанные лошади, понутив головы, но наострив уши, — слушали грохот пушек. Тине прошла мимо, заглянула в хлев, думала отыскать Ларса или Марен; коровы ревели от страха, вытягивая шеи, и глядели на нее большими испуганными глазами, а цепи тихонько позвякивали.

Одна из коров лизнула языком руку Тине. Это была Фанни, старая корова Херлуфа с белой лысинкой на лбу.

И тут, среди признавших ее коров, напуганных не меньше, чем она, доведенная до отчаяния, Тине дала волю безудержным слезам, а лысуха все лизала да лизала ее руку.

Тине вышла, коровы глядели ей вслед. Возле амбара она услышала тихое повизгивание Гектора и Аякса. Она отперла дверь, и они, дрожа всем телом, прижались к ней, охваченные непонятной тревогой; так иногда на ночной охоте псы в непонятном страхе жмутся к охотнику.

В аллее ей навстречу попались новые беженцы, кто на подводах, кто пешком.

— Места нет, — сказала Тине, — проезжайте, проезжайте. — Без спора, без звука люди повернули вспять, словно Тине гнала их перед собой, как стадо, лишенное собственной воли.

По дороге теперь было не пройти, не проехать. Пробираясь между телегами, возвращались с шанцев солдаты, полуоглохшие, бледные, почерневшие от порохового дыма. Штабные офицеры направляли своих лошадей в обход, полем, чтобы хоть как-то продвинуться вперед.

На крыльце школы стояли лекарь и штабной офицер.

— Где сейчас третий полк? — спросила у них Тине.

— Третий? — переспросил офицер. — У моста.

Тине так и застыла — давно ушли лекарь с офицером, отзвонили колокола, проехала карета пастора, Тине не уходила.

«Его полк стоит у моста».

Она услышала за спиной голос матери, хотя не сразу признала его.

— Тине, Тине, — испуганно повторила мать. Только тут Тине обернулась.

Дело в том, что отец совсем лишился разума, не желал лежать в постели, а, заслышав колокольный звон, порывался встать.

Тине вбежала в дом и силой, обеими руками, заставила отца лечь; отец не давался, выкрикивал:

— Молитесь, молитесь, восстанем и помолимся.

— Хорошо, хорошо. — Она не позволяла ему подняться.

— Пусть неверные вознесут молитвы...

— Да, да. — Тине заставила его лечь. Отец, мать, пастор, облачавшийся по другую сторону постели, все они виделись ей словно сквозь туман, и голосов она не воспринимала.

«Его полк стоит у моста».

— Вознесем молитвы,— вскричал безумный, приподнявшись на постели, его остекленевшие глаза налились кровью.— Вознесем, вознесем.— И он судорожно вцепился в лежащую рядом Библию.

Колокольный звон пересилил гром орудий. На кухне в голос заплакала мадам Бэллинг.

— Вот здесь! — кричал сумасшедший, распаяясь от звона...— Читай, слышишь, читай же, а мы все помолимся.

Тине преклонила колени. Буквы разрастались перед ее глазами во всю страницу, а она читала, читала, сама не понимая о чем.

— «Господи, помилуй нас, на тебя уповаем; будь нашею мышцею с раннего утра и спасением нашим во время тесное».

— Да, да,— воскликнул больной, выкатив глаза,— молитесь, мы все помолимся, ибо бог всемогущ.

— «И истлеет все небесное воинство... и все воинство их падёт, как спадает лист с виноградной лозы и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах,— вот для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный мною заклятию».

— Бог всемогущ, бог всемогущ!

Тине читала не отрываясь, а больной все кричал. Сама она не воспринимала слов пророка, лишенными смысла звуками отдавались в ее ушах слова Библии.

«Его полк стоит у моста».

Отец начал вторить дочери. Теперь читали оба, он даже громче, чем она, будто в экстазе, выкрикивал он одно за другим грозные пророчества Исайи.

— «Меч господя наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов; ибо жертва у господя в Восоре и большое закляние в земле Едома...»

Из церкви донеслось пение. Больной как будто начал вслушиваться — он даже понизил голос.

— «Не будут гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее; будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней».

Бэллинг мало-помалу погрузился в сон, беспокойные руки перестали двигаться.

Тине склонилась над книгой. Из церкви доносилось пение солдат.

Нам с нашей силой малой
Не выиграть войны,
Но есть у нас заступник,
И с ним мы спасены.
Господь наш всемогущий —
Вот кто побьет врагов,
Господь наш вездесущий —
И нет иных богов.
Победа будет наша.

Больной что-то бормотал во сне, но Тине не слушала; как они громко поют в церкви — те, кому суждено умереть.

Пускай, беснуясь, сатана
Грозит нас поглотить,
Его угроза не страшна,
Ему не победить.
И пусть князь тьмы ночами
Убийства сети тклет,
Ему не сладить с нами,
Спаситель наш грядет.
И словом единым его сокрушит.

Те, кому суждено умереть — умереть и обрести покой. ...Тине встала. Отец еще спал, а вернувшийся из церкви пастор разоблачался по ту сторону кровати.

Мадам Бэллинг внесла кофе и крендельки.

— Ах, мадам, — ласково сказал пастор, — стоило ли утруждать себя в такой день?

После этого он отдал должное и кофе и печенью, сидя в ногах постели и бросая порой умиленные взгляды на спящего.

— Поистине благостно возвещать слово божье перед такими слушателями, — сказал он, кивая в сторону церкви.

— Да, господин пастор, — отвечала Тине, даже не слушая, что он говорит.

Тине вынесла вслед за пастором его облачение в дожидавшийся у крыльца возок, но сдвинуться с места пастор все равно не мог, проезд между школой и трактиром сделался невозможным. Подводы и кареты застревали в непролазной грязи, лошади останавливались, дрожа всем телом и ничего не видя из-за дождя. Люди целыми семьями одолевали непогоду — дети, женщины, мужчины, согнувшись, встречали дождь и ветер, от ударов которого немели лица, — и шли вперед, только вперед...

Они шли мимо пушек и загнанных лошадей, мимо раненых, которые стонали, лежа на подводах без соломенной подстилки, мимо потерявшихся детей, которые рыдали по обочинам,— но они не видели детей, ибо то были не их дети.

Даже их собственные стенания отдавали мертвечиной. И отнюдь не самое дорогое свое достояние тащили они с собой, а то, что неизвестно для них сунул им в руки страх. Дети волокли пустячную кухонную утварь, старухи судорожно прижимали к груди, будто бог весть какое сокровище, потрескавшиеся зеркала, на поверхности которых проливной дождь размывал отражение искаженных лиц.

Женщины молили дать приют — хотя бы детям — у Иессенов, у кузнеца, в трактире, у каждой двери, но нигде не было места.

И, заглушая все звуки, заглушая бурю и канонаду, сотрясающую площадь, остриями ножей резали слух крики раненых, когда возки застревали в толпе, а санитары, изнемогшие и оцепевшие под бременем горя, обращались с несчастными без всякого сострадания.

Кузница была забита до отказа, какие-то девочки сидели на кладбище, прямо на мокрых камнях. У ворот, загородив дорогу остальным, расположилась на подводе маркитантка и распродала свой товар, деловито выкрикивая немыслимые цены, а голодные дети жадно ели что-то тут же, под дождем и ветром. Между подвод, лошадей, беженцев сновал калека, предлагая свое пиво, и тяжелый кожаный кошель со звоном бился о его костыли.

Пораженный ужасом пастор по-прежнему стоял на крыльце подле Тине, но вдруг из-за трактира прямо в водоворот телег и людей въехала еще одна коляска. Дети с криком попадали, телеги наехали одна на другую.

Все сразу узнали мадам Эсбенсен, восседавшую на пружинном сиденье. Мадам Эсбенсен, как всегда, спешила по своим делам.

И вдруг измученные, обезумевшие от горя люди начали смеяться, шутить, окликать мадам, а она сидела, могучая и довольная, возвышаясь над всеми головами. И ей уступали дорогу, и перед ней теснились в сторону, и смех не умолкал. Пастор торопливо сбежал с крыльца и сел в свою коляску, чтобы следовать в кильватере у мадам Эсбенсен, которая спокойно катила между подводами беженцев.

Толпа снова сомкнулась. Солдаты налегли на колеса пушек, чтобы выволочь их из грязи и не замучить до смерти лошадей, из-за трактира взмыленные лошади санитарной службы вывезли еще один возок с ранеными.

В этом возке были сплошь тяжелораненые. Для них необходимо было отыскать место. Их нельзя было везти дальше. Кто стоял поближе, так и окаменел от стонов, которые раздались, когда раненых начали поднимать на крыльцо школы.

За ними следовал полковой лекарь. Суетливо бегали измученные санитары — то за водой, то за порожней посудой. Они сдвинули поближе одна к другой кровати, а вновь привезенные раненые стонали, валяясь на полу. Не было полотна, не было корпии.

Тине помчалась в трактир принести то и другое, она пробилась сквозь толчею на площади. В трактире на разбросанной по полу соломе вперемежку лежали женщины и дети. Дети зябли на каменном полу, плакали, жались к печке.

Мадам Хенриксен принесла полотно и мягкие тряпки и долго отбирала все нужное в уже опустошенной кладовке, а Тине нетерпеливо ждала, ибо в ушах ее все еще звучали стоны раненых.

Мадам без всякой охоты расставалась со своим добром, она рассматривала и обнюхивала каждый лоскут, да еще приговаривала при этом:

— В доме не осталось ни крошки съестного, ничего, ровным счетом, откуда прикажете брать? И какой прок от всех служанок? На дойку их и силком не загонишь, хоть веревкой привязывай...

Не переставая рыться в тряпье, мадам бросала своим служанкам все новые и новые обвинения... от тайного страха за Тинку она с каждым днем становилась все злей.

— Может, думаете, они спят одни? Какое там, хоть крыша над ними рухни, они все равно будут валяться с мужиками, где ни попадя, была бы охалка сена... Потаскухи, все до единой потаскухи, — бранилась мадам Хенриксен, отодвигая в сторону штуку полотна.

Тине взяла все, что ей дали. Медленно, словно позабыв о цели своего прихода, вышла она из дома, и снова шум с площади ударил ей в уши. Как слепая, пробиралась она между людьми и телегами, и вдруг сквозь свинцовое оцепенение усталости ей почудилось, на мгновение

почудилось в толпе солдат лицо Берга, бледное, искаженное; тогда, словно обретя дар ясновидения, она сказала:

— Значит, он умер.

Она поднялась на крыльцо. Передала лекарю корзину и полотно. Лекарь был очень занят: он что-то делал с одним из раненых, и тот жалобно стонал.

— Ох, не трогайте, умоляю, не трогайте, умоляю, умоляю...

Руки лекаря были по локоть в крови. Тине спокойно стояла рядом и помогала.

— А вы, оказывается, легко переносите вид крови,— сказал лекарь и перешел к очередному пациенту.

— Да,— просто ответила Тине и последовала за ним.

Очередным оказался раненый сержант с землисто-бледным лицом. Он хрипел.

— Накройте его,— сказал лекарь и пошел дальше.

Санитар накрыл умирающего шинелью.

...Наконец лекарь завершил свое дело. Безмолвно и робко следили за ним больные со своих постелей. Новые так и лежали на носилках, под них только подвели козлы. Пришла мадам Бэллинг звать лекаря: Бэллинг проснулась и опять очень беспокоен.

— Уж коли есть доктор в доме,— говорила она. Ни раненых, ни контуженных она не замечала, она думала только о своем Бэллинге, у которого неладно с головой.

Доктор ушел, оставив Тине одну.

Начало смеркаться. Все чаще и чаще отворялись двери, несчастные беженцы просили приютить их на ночь,— напрасно просили.

— Это вы? — шепнул Аппель со своей кровати.

— Да.

Тине присела возле его постели, и он взял ее руку. У него снова подскочила температура и начался бред. В бреду он был дома, только дома, в Виборге, у озера, где гуляют девушки.

Гром пушек не смолкал ни на минуту, и буря не унималась; за дрожащими стеклами тянулся нескончаемой чередой — словно река в половодье — поток беженцев.

— Анни, Анни,— шепотом звал Аппель.— Вот спасибо, что пришла. Скоро похолодает.— Голос его зазвучал неподдельной нежностью.— Солнце зайдет... а здесь так красиво, когда заходит солнце... и мы вдвоем с тобой...

Он улыбнулся и пожал руку Тине, которую так и не выпускал из своей.

— Какая ты добрая, что пришла,— продолжал он, поглаживая ее по руке,— ты такая добрая... такая добрая...

Санитар повернул голову.

— Ох, уж эти женщины, вот и эта не выдержала — валяется, как куль, на полу возле кровати.

Вошел доктор, и Тине встала с пола.

— С отцом вашим очень нехорошо,— сказал доктор.— Лежать он совершенно не желает. Ну и пусть ходит, пусть ходит. Повредить ему теперь ничего не может. Ступайте к нему.

Бэллинг встал с постели. Он не хотел больше лежать. Без умолку болтая, сидел он на краю постели, а мадам Бэллинг никак не могла натянуть на него чулки.

— Боже мой! Боже мой! — Дрожащие руки плохо слушались ее.

— Дай лучше я, мама, дай лучше я,— сказала Тине и обняла больного.

— Хочу встать, хочу выйти, все должны выйти, мы все,— безостановочно лепетал он.

— Да, папочка, да.

Сейчас он обладал силой десятка здоровых мужчин, он срывал с себя все, что она ни надевала, хотя Тине не жалела сил.

— Хочу встать, идемте, час пробил!

Как Тине ни билась, одеть его толком она не смогла.

— Поднимемся на колокольню! — упорно твердил больной.— Все на колокольню, все на колокольню! Земля горит! — И он задрожал мелкой дрожью.— Неужто вы не понимаете: земля горит?

— Да, папочка, да.

— Они подожгли землю,— задыхаясь, шептал он,— земля в огне! Вы слышите, вы слышите: земля горит!

И вдруг, объятый ужасом, он вырвался под крик мадам из рук дочери, расшвырял все вокруг — одежду, одеяла, пронзительным голосом потребовал свечу:

— Дайте мне свечу! Свечу дайте! Поглядим, как горит земля.— Он захохотал.

— Идем, папочка, идем.

— Боже мой, боже милостивый! — всхлипывала мадам Бэллинг.

— Приведи Тинку,— задыхаясь, сказала Тине и поспешила за отцом; тот метался по всему дому.

— Да, сейчас, сию минуту.— Мадам Бэллинг без памяти бросилась бежать.

— Свечу! Свечу дайте! — надрывался больной.

— Даю, папочка, даю.— Тине достала свечу и зажгла ее.

Прибежала Тинка.

— Он хочет на колокольню,— поспешно шепнула Тине.— Иди следом, иди следом и не отставай.

Сумасшедший смеялся так громко, что даже канонада не могла заглушить его смех.

— Мы должны увидеть, как горит земля... Бог наслал огонь на землю,— пояснил он, поднося свечу к дрожащей от ужаса Тинке.

Он вышел из дома. Он не желал, чтоб его поддерживали. Стоя на крыльце, он высоко поднял свечу, и пламя ее озарило лица беженцев.

— Идем, отец, идем,— говорила Тине, пытаясь увести его.

Люди, телеги, лошади проплывали у их ног вереницей смятенных теней. Голоса, вопли, выкрики казались тихим лепетом в громе пушек.

Бэллинг не двигался с места. Он застыл на верхней ступеньке, высоко подняв свечу и что-то бормоча. Шапку он снял, словно она давила его голову.

— Идем, отец.

Они пошли, пробираясь, как могли, среди беженцев. Бэллинг шел первым: буря чуть не задула свечу. Спотыкаясь о камни, они шли к кладбищенской изгороди.

— Вы слышите! Вы слышите! — восклицал больной.— Похоже на землетрясение.

Аякс и Гектор, жалобно скуля, путались у них под ногами.

Ветер обрушился на дверь колокольни и с силой захлопнул ее. Но Бэллинг распахнул дверь одним рывком. В нос им ударил затхлый могильный запах.

Дверь захлопнулась перед воющими собаками.

— Мама, возьми фонарь и ступай вперед,— сказала Тине.

Мадам Бэллинг схватила фонарь. Она была бледна, казалось, тело ее свела судорога, но фонарь она взяла.

Во тьме перед ними высилась лестница. Ступени ее

были непомерно высоки, в промежутках меж ними залегла ночь, словно желая поглотить пришельцев.

— А ты иди сзади,— сказала Тине подруге.

Они обе держались позади, чтобы подхватить Бэллинга, если тот упадет. Но Бэллинг поднимался уверенно, хватаясь за ступеньки, и не умолкал ни на минуту, а колокола глухо гудели над их головами, перекрывая канонаду и бурю. В слуховые оконца хлестал дождь.

— Следи, Тинка, следи за ним в оба.

Бэллинг чуть пошатнулся в темноте. Они хотели было подхватить старика, но он уже вскарабкался наверх, а вслед за ним и они очутились на ровном полу.

— Откройте окна! Окна настезы! — кричал Бэллинг, дергая затворы. Тине помогла ему. С коротким криком разлетелись вспугнутые совы, языки колоколов, растревоженные порывом ветра, ударили, словно сзывая на пожар.

Большой смолк. Все четверо с ужасом глядели в раскрытые окна. Сквозь дождь и мрак виднелась лишь одна красная полоска, как граница моря, но за ней, на вершинах холмов, в глубине темным пламенем пылали дома, и огонь грозил перелиться и стечь вниз по склонам. Воздух, чадный воздух над горящей землей во всех направлениях бороздили огненные шары орудийных ядер. Но звуки отступления — обозы, солдаты, тысячи беженцев — доносились сюда, наверх, лишь едва слышным потрескиванием гигантского костра.

С тихим рыданием, молитвенно сложив руки, мадам Бэллинг поникла подле мужа перед распахнутым окном.

— Это горит остров,— прошептала она.

Ставни колотились о стены колокольни, казалось, будто небо, собрав воедино все свои воды, обрушило их на землю, а в красной кайме огня злыми карликами шастали облака дыма.

Тут дверь дернули, раз и еще раз. С ликующим визгом к ним ворвались собаки.

Тине повернула голову, схватила фонарь — ей казалось, что сердце у нее вот-вот остановится.

— Прекрасный остров, наш прекрасный остров,— снова и снова шептала мадам Бэллинг.

Тине высоко подняла фонарь, вынесла его в проем лестницы — она осветила путь поднимавшемуся Бергу.

«Это он, это он».

Она ничего не говорила, не шевелилась даже, она

стояла на одном месте и дрожала всем телом, а он держал ее руки.

Остальные даже не глядели в их сторону.

Он стоял так близко, и не помня себя она с глубоким вздохом упала ему на грудь. За спиной у родителей, в багровом свете, бьющем из распахнутых окон, он обнял ее и осыпал поцелуями.

Бэллинг выпрямился; все спустились вниз. Собаки радостно бежали следом.

Доктор был в школе. Он решил дать Бэллингу снотворное.

— Вам тоже необходимо поспать,— сказал он Тине, чьи блестящие глаза были распахнуты так широко, будто она видела призрак.

— *Она пойдет со мной*,— отвечал Берг.

И они ушли.

Ночь смешала воедино людей, подводы, лошадей. Берг и Тине пробирались между ними навстречу злому дождю. Собаки с лаем следовали за ними.

И под крышей своего разоренного дома, под портретом своей жены Берг утолил наконец свою мучительную, свою неотвязную, свою угрюмую страсть.

Промокши насквозь, Марен бежала через двор из амбара. Софи уже спала, она лишь наполовину проснулась, когда Марен упала рядом с ней на разворощенную постель. Приподнявшись, Софи пробормотала спросонок:

— Поношение божье, и больше ничего.

Но Марен сразу заснула как убитая и не слышала ее слов.

Дождь утих. Пожары Сеннерборга заливали землю своим светом.

VII

Все было забыто, все, что она пережила и перестрадала за шесть дней, минувшие с тех пор, как Берг ушел с полком: сегодня он возвращался домой.

Тине побежала к Ларсу-хусмену. Там она хотела дожидаться его возвращения.

Нескончаемым потоком тянулись солдаты, мрачно, без песен, увязая в жидкой грязи. Они оборачивались и глядели на Тине, бежавшую мимо. Лицо у нее раскраснелось

на ветру, из-под платка виднелся завязанный в волосах бант.

У тропки, где сворачивать к Ларсу, стоял калека со своим возком. Он за последнее время основал два «филиала» и торговал жидким подсахаренным пивом по всему острову.

Калека что-то сказал ей своим лягушачьим голосом — Тине подняла глаза к ясному небу, воздух был свеж и тепел, птицы пели.

— Да, Нильс, да, да, конечно,— ответила Тине высоким, чистым голоском и побежала дальше, к Ане.

Ане сидела за столом — двое детей ее возились на полу — и набивала мешочки медными шиллингами.

— Барыши подсчитываете? — спросила Тине.

— Да,— отвечала Ане.— Благодарение богу — все с пива.

Тине запустила руки в груды грязных монеток.

— Вот здорово,— продолжала она радостным голосом.— Не работа, а одно удовольствие.— И, повернувшись лицом к окну, добавила: — Вот только дышать у вас нечем.

Она сделала глубокий выдох, хотела распахнуть обе створки, но окно оказалось заколочено.

— Как можно в такую пору сидеть с закрытыми окнами? — удивилась Тине, выдергивая гвозди своими проворными руками.— Вот так!

В комнату ворвался свежий воздух и запахи пробудившейся земли. Тине так и осталась у окна. Под высоким небом задорно и лихо перекатывались военные сигналы.

— Сегодня должен вернуться лесничий,— сказала Тине задумчиво и протяжно.

Ане ее не слушала.

Она всем телом навалилась на стол, пересчитывая столбики монет. Пальцы и меловые черточки помогали ей не сбиться со счета.

Один из малышей нашел оброненный шиллинг, ни за что не хотел выпустить монетку из рук и громко заревел, когда Ане все-таки отняла ее.

— Иди ко мне,— сказала Тине, подхватив малыша на руки, и несколько раз обежала с ним комнату.

Вот скачет рыцарь Хлип,
Вот скачет рыцарь Хлоп,
Тип-топ.

Вот скачет рыцарь Грип,
Вот скачет рыцарь Гроп,
Тип-топ.

Малыш смеялся, а Тине поднимала его все выше.

— А потом пруссаков бей, а потом пруссаков бей,—
напевала она и в такт подбрасывала ребенка.

Наконец она утихомирилась и села к открытому окну,
не спуская малыша с колен.

Ане все считала и пересчитывала свои медяки.

— Какое сегодня высокое небо,— сказала Тине, не-
отрывно глядя вверх.

Сигналы полков, выступающих на позиции, замерли
вдали, солнце клонилось к закату.

Тине рывком опустила малыша на пол.

— Вот и они,— сказала она, вставая.

Ане по-прежнему ничего не слышала. Но за холмом
уже раздавались шаги солдат, возвращавшихся с пози-
ций.

— Они поднимаются на холм, слышишь?

— Ага,— равнодушно отозвалась Ане.

Тине все слушала, а полк все приближался, теперь он
тяжело и устало спускался с холма.

— Они не поют,— сказала Тине, понизив голос, и
склонила голову к цветам на подоконнике. Смутное пред-
чувствие беды охватило ее.

— Да, это они,— сказала Ане, насилу оторвав взгляд
от своих шиллингов.

Первые шеренги уже проходили мимо окна. Солдаты
были осунувшиеся и мрачные. Офицеры шагали впереди,
и даже под слоем пороховой копоти видно было, как
бледны их лица. Шеренга шла за шеренгой, в угрюмом
молчании, никто даже не кивнул в сторону знакомого до-
мика.

— Какие они тихие,— сказала Ане.

Тине, пригнувшись, укрылась за цветами, потом она
снова выпрямилась во весь рост.

Это он... она увидела его... Он такой же бледный и
молчаливый, как все остальные... нет, он даже головы не
повернул, он не заметил, что она стоит у окна, он шагал
устало — как все остальные... и прошел мимо, как все
остальные.

Прошли все, смолкли шаги, теперь слышался только
пронзительный голос калеки, да время от времени грома-
хал случайный залп, словно салют заходящему солнцу.

— До свиданья,— промолвила Тине уже от дверей и пошла обратно через поле. Полная предчувствием беды, так неожиданно и непонятно охватившим ее, она сказала себе:

— Сколько он выстрадал,— и улыбнулась при радостной мысли: она его утешит, она его приголубит, утешит и приголубит.

Она побежала со всех ног, не разбирая дороги.

Она не заметила, какая тишина стоит в усадьбе, хотя двор полон солдат, не заметила, что дом словно вымер, хотя там собрались все офицеры.

Она пробежала мимо Софи, которая сидела на чурбаке и плакала тихо, без слов — и кинулась к себе в комнату, где благоухали зеленые ветки ясенника, а на подоконнике стояли анемоны, голубые, недавно сорванные.

Она вытащила припрятанную скатерть в звездочках и накрыла ею столик. Она расставила тарелки и разложила приборы и проверила, в порядке ли его любимое блюдо, которое она приготовила вчера поздно вечером, когда все в доме уже спали, она достала рюмки, из которых он будет пить.

Она хлопотала над уже накрытым столом, занималась всякими пустяками, не сознавая, что он почему-то мешкает, счастливая возможностью хозяйничать для него здесь, где они будут вместе.

Тут наконец она услышала его шаги и метнулась к дверям.

Она улыбнулась, протянула руки ему навстречу, но тотчас уронила их снова; он не смотрел на нее, и она не смогла выговорить те слова, которые рвались у нее из груди; она стояла безмолвно и ждала, теперь уже без всякой цели, его невидящие глаза снова разбудили в ней предчувствие беды: они не видели ее, не узнавали комнату, ничего не выражали.

Она сделала всего лишь одно движение, внезапное движение, может быть, сама того не сознавая; она отступила на шаг и встала так, чтобы заслонить накрытый стол, а он, глядя прямо перед собой, сел возле печи.

Тине осталась стоять, в сумятице мыслей и страхов снова пробудилась прежняя мысль, которая таила искру надежды: «Сколько он выстрадал!» Рёбко, едва коснувшись его плеча, она шепнула:

— Было очень страшно?

Он словно очнулся при звуке ее голоса.

— Страшно,— только и ответил он.

Потом, будто впервые за все время вспомнив про «это», он вялым движением руки прижал ее голову к своему плечу, не говоря ни слова, а Тине потерлась щекой об его щеку, и слезы хлынули у нее из глаз.

Он склонился к ней и наполовину машинально, наполовину из жалости поцеловал холодными губами ее скорбное лицо.

Тине осторожно выпрямилась и заговорила — как человек, которого бьет озноб,— робко заговорила о ночах, о шанцах, о погибших.

Он отвечал односложно, безжизненным тоном.

И после каждого ответа Тине становилась все бледней и каждый следующий вопрос задавала все тише и тише.

В голове у нее осталась одна только мысль: скрыть стол от его глаз, задвинуть стол за кровать.

Над ними слышались усталые шаги офицеров, вялый разговор окончательно замер, а Берг, словно ему приятно было ощущать тепло ее тела, продолжал сидеть, прижимая голову Тине к своей груди.

Тине сняла его руку со своей головы и встала.

— Вы не хотите поужинать с остальными? — спросила она тусклым голосом. Она и сама не могла бы сказать, почему ее так занимала эта единственная мысль.

— Да, пожалуй, уже время,— сказал Берг и вышел.

Тине вышла следом. Она все приготовила на кухне.

Офицеры молча сошли вниз, а в людской Софи кормила сержантов, те ели с жадностью, но взгляд их воспаленных глаз оставался таким же мрачным.

Тине разложила по тарелкам кушанье для офицеров, и Софи начала разносить тарелки.

Только «блюдо для лесничего» Тине подала сама.

Офицеры молча сели к столу и принялись за еду. Софи прислуживала молчаливой компании, издавая при этом странные звуки, весьма напоминавшие плач. Тине следовало за ней, скованная и застывшая.

Иногда кто-нибудь из офицеров нарушал молчание и заговаривал, но казалось, будто говорящий не слышит собственных слов, да и ответа он не получал. И снова все умолкали и сидели за столом с одинаковым до удивления взглядом — словно все до единого углубились в раздумье,

Обнося офицеров лакомым блюдом, Тине дошла до Берга. Он взглянул на нее, но она уже сумела справиться с собой. Только лицо ее становилось все бледней и бледней, словно кровь капля по капле уходила из тела.

— А это, верно, матушка ваша приготовила,— сказал Берг.

Лицо Тине дрогнуло, она даже попыталась улыбнуться, как бы подтверждая улыбкой его слова.

Офицеры встали из-за стола и все так же в молчании расселись по креслам. Так они сидели, провожая глазами дым своих сигар. Порой кто-нибудь вставал и принимался расхаживать по комнате, как бы забыв о присутствии остальных, расхаживать механически, словно погрузившись в одну неотвязную мысль, а затем опускался на прежнее место, с которого только что встал.

Тине входила и выходила, возвращалась снова и снова, чтобы хоть поймать его взгляд, услышать звук его голоса или, на худой конец, просто чтобы быть там, где он.

Из амбара донеслось пение — певцов было немного, и голоса их звучали слишком уж пронзительно.

Один из капитанов отложил сигару.

— Это *новенькие*,— мрачно сказал он Бергу.

Песня крепла, еще несколько голосов ее подхватило, и тогда майор поднялся и сказал:

— А вы, лейтенант,— неужто вы разучились петь? Спойте что-нибудь в ответ.

Лэвенхельм подошел к роялю, откинул крышку, сел с каким-то оцепенелым видом, словно автомат, и запел:

Не примите близко к сердцу,

Новость вычитав такую,

Что один парижский герцог

Заколот жену родную.

Бедняжка однажды ко сну отошла,

О муже грустя непорочно.

Он имя носил Шуазель де Трала

И она такое же точно.

В сопровождении двух корреспондентов вошел барон — один был англичанин, второй — тот, смуглолицый, оба только что вернулись из штаб-квартиры; вошедшие поздоровались, Лэвенхельм продолжал петь, а те, кто помоложе, подтягивали, прижавшись головой к стене, глядя прямо перед собой и механически разевая рты.

...В спальню к ней служанка входит,
Мол, не будет ль приказанья,
И в кровати — ах! — находит
Труп хозяйки без дыханья.

А герцог, а герцог, какой негодяй,
Он руки отмыл от крови,
Но ужин отравленный подан ему,
Скушайте на здоровье.
Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля.

Песня смолкла, но никто этого не заметил, и сами поющие едва ли больше других.

В этой внезапной тишине неожиданно громко прозвучал голос англичанина:

— А знаете, из-за канонады даже солнца не видать.

Тине и Софи начали стелить на диванах, офицеры поднялись с мест. Теперь по всему дому слышались только тяжелые шаги расходящихся по комнатам постояльцев, но разговаривать никто не разговаривал.

В гостиной остался лишь копенгагенский корреспондент, он вцепился мертвой хваткой в замешкавшегося капитана и каждую свою тираду кончал словами:

— Верьте слову, я больше ни за какие деньги не сунусь на этот мост.

— Разумеется, разумеется,— отвечал капитан, не слушая корреспондента, ибо в ушах у него до сих пор стоял оглушительный грохот на шанцах.

— Нет,— снова заверял его представитель прессы.— На мост я больше не ходок.

Тине убиралась всюду — в кладовой, на кухне, неторопливо, словно ей надо было убить время.

Она услышала шаги Берга по коридору, поспешила к дверям, но Берг, оказалось, вышел в свой обычный вечерний обход, и Тине вернулась к себе.

Она уже не думала о том, чтобы убрать со стола приборы или скатерть, снявшую белизной возле постели, она и не видела ее; она вся обратилась в бессильное ожидание.

В дверь сильно постучали. С шумом и громом заявила Тинка.

— Ну, девонька,— сказала она,— я пришла поглядеть, цело ли лесничество, я иду от Пера Эрика.

Тине только кивнула, но ничего не ответила.

— У вас уже почти все легли,— продолжала Тинка, разматывая платок.— И у нас тоже... Да, а где лесничий? — вдруг спросила она.

— У себя, наверное, — отвечала Тине, не меняя позы. Лишь тут, услышав этот безжизненный голос, Тинка взглянула на нее и тотчас умолкла. Она увидела и стол с белой скатертью, за которым так никто и не отобедал, и свежую зелень ясенника на стене вокруг зеркала, и самое Тине, бледную до того, словно и кровь и жизнь разом покинули ее.

— Тине, — боязливо шепнула она и снова умолкла.

Казалось, лишь теперь, после того как Тинка назвала ее по имени, к ней вернулся слух, однако ж она снова повернула голову к окну.

Он прошел мимо.

Тинку пробрала дрожь, молча подошла она к подруге и взяла ее за руки, ледяные и оцепенелые, как у мертвой. Слова не шли с губ. Она лишь положила руку на голову Тине и гладила ее по волосам, гладила, не переставала гладить.

— Тине, Тине, — твердила она.

Тине лишь чуть приподняла отяжелевшую голову и поглядела на Тинку глазами раненой лани, которая умирает, не постигая смерти.

Тинка уронила руки и еще раз оглядела комнату, украшенную зелеными букетами вокруг зеркала.

— Я пойду, — сказала она. — Поздно уже.

Она взяла Тине за руки, не ответившие на ее пожатие, и молча вышла.

Когда она проходила мимо флигеля, ей навстречу попался Берг.

— Это вы? — спросил он. — Откуда?

— От Тине, — сухо ответила Тинка.

— Доброй ночи.

Тинка побежала вниз по аллее; вспоминая Лэвенхельма да еще того, другого, незнакомого, который и провел-то у них в трактире всего одну ночь, она вдруг воздела руки — словно грозила кому-то или, может быть, просто в порыве отчаяния.

Берг продолжал свой обход. В амбаре все стихло — люди заснули.

На террасе стоял какой-то офицер. Он явно не мог заснуть от усталости.

— Жарко им придется этой ночью, — сказал он, указывая в направлении позиций.

— Да, жарко, — согласился Берг.

Гром пушек разрывал ночную темь, отдаваясь в зем-

ле глухим гулом и сотрясая террасу, на которой они стояли.

— Даже сон не освежает,— задумчиво продолжал офицер.

Берг ничего не ответил, но оба они подумали про свинцовую дремоту, сморившую измученных людей, и про боевые приказы: «Прикройте Дюббель — Прикройте Авнбьерг — Прикройте Рагебэль»,— которые продолжают тревожить даже спящих.

— Да,— сказал Берг,— теперь и сон нейдет.

Они вошли в дом и расстались, пожав друг другу руки — очень крепкими сделались теперь рукопожатия боевых товарищей.

Берг открыл дверь в гостиную, и Тине у себя в каморке слышала, как замерли его шаги.

Она не двигалась, сидела на месте и дрожала, словно в ознобе.

Не все еще легли — в доме еще не все стихло — он ждет, когда все стихнет.

Канонада становилась сильнее. Сверху доносились шаги какого-то бедняги, томимого бессонницей. Других звуков в доме не было.

Но тут раздались шаги в комнате барона в мезонине, и Тине услышала на лестнице голос корреспондента.

— Нет... даже самый храбрый корреспондент не отважится больше туда сунуться,— говорил смуглолицый.

А барон отвечал:

— Как говорится... как говорится: теперь-то и следует ожидать событий.

Дверь снова затворилась. Замерли и шаги барона. Только офицер, томимый бессонницей, все расхаживал по комнате.

Должно быть, Тине уже ни на что не надеялась. Но она встала, нагнула на плечи платок и снова села — «а вдруг он все-таки придет».

...Она вздрогнула — она узнала его шаги.

Она сбросила платок, вышла на середину комнаты и встретила его улыбкой.

Он обнял ее и стиснул с такой силой, что у нее косточки хрустнули.

Она улыбнулась, сказала:

— Вы все-таки пришли.

— Да и кто мог бы уснуть в такую ночь? — ответил он и склонился к ней.

...Он долго у нее оставался. Но все оказалось в этот раз холодно и мертво. Слов у него для нее не было, одни молчаливые ласки — а она безжизненно покоилась в его объятиях, словно озябнув.

И, не в силах оторваться мыслями от сражения минувших часов, смысл которого был сокрыт от нее, она нерешительно, будто моля о прощении, спрашивала стократно — она, отдавшая все и всего лишенная:

— Вы на меня сердитесь? — шептала она замирающим голосом.

— За что? — спрашивал он в ответ, даже не поняв, о чем она говорит.

Но самый звук ее голоса под аккомпанемент пушек снова и снова пробуждал страсть в нем, изведавшем горечь поражения.

Давно занялся день.

Однако Софи всего только и успела наполовину раздеться, сидя перед большой кроватью. В этой позе она заснула.

Разбудил ее приход Марен.

Софи открыла глаза и дала волю своей досаде:

— Один бог знает, что ты себе думаешь... Белый день на дворе, а ты...

— Что ж я поделаю, раз они боятся теперь спать одни, — сказала Марен с некоторой долей презрения и, как была, нераздетая, рухнула на кровать.

Марен теперь и вовсе перестала раздеваться.

VIII

Было утро следующего дня.

Тине отпрянула от окна, увидев мать, поспешающую через сад.

Она хотела уйти, скрыться, лишь бы не встречаться с матерью. Вот уже неделю она не была дома.

Она побежала к себе, но услышала голос матери на кухне и отворила дверь.

— Я здесь, — сказала она неприветливым, почти раздраженным тоном.

— Ох, Тине, мы так давно тебя не видели, — сказала мадам Бэллинг, входя. — А отец твой был очень плох... а мы так давно тебя не видели, так давно... Худо было, очень было худо.

Мадам Бэллинг не упрекала, она просто сокрушалась. И все же, глядя на свою так внезапно состарившуюся под бременем горя мать — с каждым днем у нее становилось все больше седых волос, — Тине продолжала тем же тоном, резким и нетерпеливым:

— А здесь, думаешь, было лучше?

— Нет, нет, конечно, не думаю. — И, невольно впадая в тон дочери, она продолжала уже сварливо: — Но дом твой все-таки у нас, могла бы и показаться.

Тине огрызнулась, и разговор шел дальше в том же духе — обе раздражались по пустякам, и возбужденные голоса разносились по всему дому.

Наконец мадам Бэллинг собралась уходить.

Уже на пороге она сказала, что приехала фру Аппель и что вообще-то посылал за ней лейтенант.

Тине не удерживала мать. Когда та ушла, она не ощутила ничего, кроме глухого недовольства. А немного спустя ей уже казалось, будто все это произошло с кем-то посторонним или давным-давно...

День шел своим чередом. По комнатам слонялись офицеры, явно не находя себе места. Во двор въехали верхами два штабных офицера; они прискакали с позиций бледные, запыленные, изнемогшие от одного лишь грохота. Торопливо раскланявшись, они прошли к майору.

Офицеры собрались в небольшие группки, и вдруг — никто не мог бы сказать, откуда взялись эти слухи, — вдруг из уст в уста шепотком прошла весть, будто полки, первый и второй, наотрез отказались перейти мосты.

Пушки не умолкали ни на одно мгновение. К майору вызвали капитанов, из комнат слышались отрывистые, торопливые голоса; те, кто поменьше чином, ждали, молчаливые и растерянные.

Во двор въехала карета пробста. Его преподобие был крайне возбужден, хотел немедля говорить с майором, но ему пришлось ждать, и он стал прохаживаться среди молодых офицеров, меж тем как все жадно ловили обрывки слов, доносящиеся из комнаты майора. Во дворе солдаты предавались обычным занятиям, ничего не видя, ни о чем не думая.

Среди смятения и шума они повзводно выпивали и закусывали, а Софи вносила и выносила тарелки и плошки. Дверь из комнаты майора распахнулась, и его преподобие попытался перехватить обоих господ из штаба, но они поклонились и быстро прошли мимо, к своим ло-

шадям, оборвав его на полуслове. Они не жалели своих лошадей, да и себя самих, пожалуй, тоже, и глаза у них горели, как горят они у лощмана, когда тот вглядывается в ночную тьму.

Капитаны присоединились к остальным офицерам, но никто не начинал разговора. Из комнаты майора слышался теперь горячий и взволнованный голос его преподабиа. До него дошло известие, дошло из штаб-квартиры, что будто бы войскам приказано оставить позиции.

Он не поверил своим ушам, быть того не может, даже и подумать страшно, что упования народные будут преданы во второй раз.

Пробст говорил, говорил, но майор даже не отвечал ему. Он сидел и не отводил глаз от окна: по аллее, по-нурившись, бродили молчаливые солдаты, а на дороге, по солнышку, медленно тянулся новый обоз с ранеными.

Его преподабие ничего этого не видел. Он возбужденно ходил по комнате большими шагами, как в дни праздников по своей ризнице, и голос его звучал все громче и громче: наступление — вот единственное упование всего народа, а тут говорят о ретираде.

— Правительство помнит свой долг — оно не прикажет отступать — не захочет повторять дни Данневирке — приказы еще будут отданы.

— Они уже отданы, господин пастор, — сказал майор, не отрывая глаз от поезда с умирающими, которых по утреннему солнышку везли домой.

Оба помолчали, и его преподабие вышел с видом несколько растерянным: решил самолично навеститься в штаб-квартиру.

Он прошел через гостиную, мимо угрюмых офицеров, в прихожую, где встретил Берга и барона. Безмолвие тяготило его. Казалось, будто теперь никто уже не решается говорить громко, и лишь его голос, голос записного трибуна, не поблек от грохота пушек.

Дверь в кухню стояла настежь, за столом, выстроившись в ряд, Тине, Софи и Марен мыли посуду в двух больших бадьях и выбрасывали объедки.

Его преподабие заговорил с Тине и справился о здоровье Бэллинга.

Она лишь подняла глаза и посмотрела на него, как бы не понимая вопроса, и взгляд ее был похож на взгляд человека, охваченного тайным безумием.

Тогда, глянув на неопрятные фигуры Софи и Марен, пробст сказал барону:

— Да, женщинам тоже выпала нелегкая доля.

И его преподобие проследовал к своей карете. Барон вызвался поехать вместе с ним: надо же узнать, в чем дело.

— Да,— сказал его преподобие, когда карета уже выехала из аллеи,— если бы только энергия нашего правительства была равна духу наших войск.

Берг не слышал стука колес, он видел только лицо Тине, когда та взглянула на пробста. Напрасно прошел он несколько раз по двору, она не заметила его, не шелохнулась. Он не вытерпел, он не мог дольше глядеть на эту позу, это лицо.

Он стукнул в окно.

— Пойдем,— сказал он,— поднимемся на холм.

Она ответила тем же взглядом и машинально, словно выполняя чей-то приказ, которого не смеет послушаться, оставила работу и взяла платок.

Она не слышала, что он говорил, идя за ней по тропинке, даже голос его не достигал ее ушей. В голове у нее осталась только одна мысль: он больше меня не любит. В теле и душе жила только одна боль: ледяная дрожь минувшей ночи.

Птицы пели над лугом, на кустах блестели клейкие почки — распукалились под солнцем.

Мало-помалу у Берга иссякло терпение, он смолк, ему все равно не отвечали, и, следуя за ней,— а она ступала грузно и не поднимала головы,— Берг спрашивал себя, как он мог так страстно желать эту женщину?

Они приблизились к подножью холма; гром пушек нарастал с каждым шагом. С вершины, стоя друг подле друга, они увидели разоренную землю.

Зеленые всходы были вытоптаны, бездомный скот метался по полям. Дороги лежали черными трясынами, да высились там и сям стены обгоревших домов.

За лесом, над Рэнхаве, погребальным костром вздымался до самого неба огненный столб. Снова раздались сигналы, но бессилен и жалок был их звук в грохоте пушек. Черный дым поднимался над шанцами, превращая день в ночь.

Берг молчал; в прилив неожиданных мыслей он окинул взглядом оскверненный остров и сказал задумчиво:

— Как любила эти места Мария...

Тине услышала и прекрасно поняла его слова. Но они не причинили ей новых страданий. Ей показалось только, будто от яркого солнца и синего неба у нее разболелись глаза.

Протрубили сбор. Между молодой листвой деревьев виднелись строящиеся подразделения. По дорогам шли колонны, шли молча по дрожащей земле, напоминая нескончаемую погребальную процессию, а пушки гремели над головой в ясном, солнечном воздухе, словно разом ударяли тысячи колоколов.

Тине побрела вниз по склону.

— Вы куда? — словно очнувшись, спросил Берг.

— Домой, — только и ответила Тине, указывая на школу.

И она ушла.

Но одно это слово поразило Берга, как удар молнии, он хотел окликнуть ее, язык не повиновался ему. С болью, почти невыносимой, он понял, что натворил.

Тысячи картин — и каждая жалила острее иглы — разом встали перед ним: лица стариков, беспомощный лепет Бэллинга, мадам Бэллинг, ее глаза, глаза, которые больше не могут плакать, и глаза Тине, безжизненные, погасшие, словно душа ее уже рассталась с телом.

Вся их жизнь — прожитая для него и его близких, их дом, тоже всецело принадлежавший ему и его близким, предстали перед ним; он увидел их лица, их добрые лица, услышал их голоса, их старческие голоса.

А его, его они любили, как родного сына.

Душу пронзила боль, даже гром пушек казался ему далеким и незначущим шумом, а колонны солдат напоминали скопища муравьев.

Его они любили, как сына.

Какой-то офицер тронул его за руку.

— Канонада-то усиливается, — сказал он.

Берг повернул к нему искаженное отчаянием лицо.

— Вы считаете? — спросил Берг и побрел вниз по склону.

Офицер проводил его глазами. Берг почти шатался на ходу.

— Вот и этот готов, — буркнул офицер себе под нос и еще раз поглядел вслед своему товарищу по оружию.

Берг пересек поле. Он побывал на кладбище, вышел на «Райскую аллею». Два раза он описал полный круг, глядя на горящие в окнах школы свечи.

Потом он воротился домой.

И здесь, у себя в кабинете, он вдруг начал писать, страницу за страницей, нежные и пылкие слова — письмо жене.

...Тине пересекла луг, двор, аллею — прошла мимо офицеров, мимо солдат, никого из них не видя.

Дорогу ей преградил обоз. Это на множестве подвод везли провиант — мясо, муку, хлеб. Взгляд Тине упал на ближайших к ней лошадей. Измученные, отощавшие, с вытянутыми шеями и тупыми погасшими глазами, они выбивались из сил, а усталые возчики равномерно опускали кнуты на их спины.

Но животные шли все тем же усталым шагом, словно удары уже не причиняли им боли.

Тине остановилась, провожая подводы долгим взглядом.

Далеко по дороге слышались досадливые выкрики возчиков, тупо и устало опускавших кнут на спины лошадей.

И вдруг из глаз у Тине хлынули слезы.

Она вышла на площадь. Площадь была пуста, и в трактире стояла тишина.

Лишь на кузнецовом поле, где полегшая рожь была пересыпана свежими стружками, работали пять или шесть солдат. Они сколачивали гробы из белых выструганных досок и красили их черной краской.

Тине взшла на крыльцо и открыла дверь классной комнаты, где спертый воздух отдавал сладковатой гнилью. Фру Appель сидела у постели сына.

Много часов просидела она неподвижно, с самого приезда, не ела и не пила, только молча глядела на лицо сына, — а лицо стало маленькое, с кулачок, как у младенца, — и на его руки, его беспокойные руки.

Мадам Бэллинг входила и уходила: она так бы рада была помочь...

Но фру Appель не двигалась, и мадам Бэллинг растерянно замирала с тарелкой супа в руках, после чего снова выходила из комнаты.

Лишь один раз фру Appель подняла голову, и по щекам ее побежали слезы.

— Он ведь так молод... — шепнула она.

...Тине присела возле кровати. Она не знала, слышала ли фру Appель, как она вошла, ибо та не поздорова-

лась и не шелохнулась. Но немного спустя фру Аппель промолвила:

— Он вас спрашивал. Только теперь он спит.

И снова хлынули слезы, словно их вызывало каждое произнесенное ею слово.

Тине не ответила, обе сидели молча, будто пораженные общим горем, и глядели на бледное лицо спящего.

Санитары принесли ужин. Зазвонили колокола к вечерне, но за громом пушек звон был почти неслышен.

И снова наступила тишина, и по комнате начали растекаться сумерки.

Фру Аппель по-прежнему сидела перед постелью дремлющего сына.

Вошла мадам Бэллинг, в этой комнате она не осмеливалась даже шептать, но все же, понизив голос, она спросила у Тине:

— Ты к нам не зайдешь?

И снова вышла. До чего же бледной и оцепенелой стала девочка.

— Ах ты, господи,— сказала мадам Бэллинг.— Горя везде хватает.

Уже почти стемнело. С кровати доносились приглушенные вздохи раненых. Тине не шевельнулась. Здесь ей казалось всего лучше. Здесь был покой, здесь, где умирал человек... и уходила жизнь.

— Он просыпается,— сказала фру Аппель.

Еще в полусне он начал стонать.

Тине бесшумно встала, осторожно зажгла лампу и снова села.

Умиравший поднял веки, но уже ничего не видел,— огромные глаза затуманились, и тихий стон его сопровождался слабым хрипом.

Мать опустилась на колени перед его постелью.

— Я здесь, Макс, я здесь, очень тебе больно? Очень больно? — шептала она.— Да, Макс, я здесь... очень больно?

Отворилась дверь. Снова вошла мадам Бэллинг. Она хотела только взглянуть на Тине... должно быть, Тине все еще зла со вчерашнего дня, раз даже не заглядывает к ним.

Она не приблизилась к постели, она только постояла в темноте, глядя на дочь, потом снова тихо вышла.

Хрип умирающего стал громче.

— Я здесь, Макс, очень тебе больно?

Он снова задремал и снова очнулся.

Гром пушек за окном нарастал, как гроза, но здесь, возле постели, стояла невозмутимая тишина.

— Поднимите его, поднимите его,— шепнула мать. Сама она держала сына за руки.

Каким слабым стало его дыхание, какими холодными — руки!

— Анни, Анни,— едва слышно пролепетал он.

— Да, Макс, да.

Обе женщины прислушивались к его дыханию, а дыхание было слабое и прерывистое; мать встала, и голова у него поникла.

— Опустите его.

Они снова уложили его на подушку. Им показалось, будто он хочет приподнять голову и пытается что-то сказать.

— Анни — мама — Анни,— вы слышите, как поют птицы?

И, вытягивая холодеющие руки, он с улыбкой промолвил:

— Как прекрасна будет жизнь.

Губы его сомкнулись с последним вздохом, голова запрокинулась.

Фру Аппель с криком упала на безжизненное тело сына. Тине закрыла ему глаза.

Фру Аппель снова села на прежнее место и начала поглаживать его застывшие руки, его холодное лицо снова и снова.

Тине встала. Медленно отошла от постели. Не в ее власти было даровать утешение.

Мадам Бэллинг так и не ложилась. Она сидела на кухонном табурете за дверью. Здесь она сразу могла бы услышать шаги Тине.

— Это она... нет, мимо... она так и не зашла к нам.

Мадам взяла свечу и торопливо вышла в сени, где Тине уже открывала входную дверь.

— К отцу ты не зайдешь? — спросила мадам Бэллинг.

— Мне пора домой,— коротко отвечала Тине.

Мадам Бэллинг подошла к ней совсем близко.

— Ах, Тине, неужто и мы поссоримся, неужто и мы поссоримся?

— Нет, мама, нет.— Тине вырвалась.— Просто поздно уже. Спокойной ночи.

Она отвечала матери тем же раздраженным тоном, что и утром. Дверь захлопнулась. Тине ушла.

Мадам Бэллинг вернулась, но дальше своей табуретки у дверей она не добралась и рухнула на нее. Тайный и непонятный страх терзал ее бедную голову. Повсюду слышались шаги офицеров, — те тоже не находили покоя.

Сама того не замечая, мадам Бэллинг начала бродить по дому — как и они, — беспокойная тень металась взад и вперед в неверном пламени свечи; мадам Бэллинг не понимала, что творится, она ничего больше не понимала.

Пушки не давали даже минутного роздыху. Школа сотрясалась до основания, казалось, крыша вот-вот рухнет.

Только фру Аппель молча и недвижно сидела у постели мертвого сына.

В лесничестве царил тишина. Покуда Тине бродила по дому, она слышала только шаги наверху, больше ничего.

Она обошла дом, прибрала где смогла. Потом вдруг сама на себя удивилась — зачем ей это нужно, и бросила все как есть.

Она отворила дверь в гостиную и поспешно отпрянула.

Лесничий сидел и писал что-то при свете лампы.

Тине сразу поняла, кому он пишет, но не испытала боли. Бесшумно вернулась она к себе в комнату.

Бродя взад-вперед по комнате — а порой останавливаясь, то ли для того, чтобы собраться с мыслями, то ли для того, чтобы поймать какую-то ускользающую мысль, она складывала свои вещи одну за другой, как человек, который отправляется в дальний путь.

На рассвете она ушла домой.

— Ты здесь! — воскликнула мадам Бэллинг, хлопотавшая на кухне, и обняла безмолвную дочь. — А я только-только встала, а я только-только встала, — твердила она, не желая признаться, чтобы зря не встревожить Тине, что так и не ложилась.

Тине прошла к отцу.

Старик придумал себе новое занятие. Он извлек на свет божий старые прописи Тине, где на обложке была изображена львиная охота.

Их он и читал — часами подряд.

Тине села у его ног и загляделась на крупные детские буквы.

«Да не будет у тебя других богов пред лицом моим», — строчка за строчкой — одно и то же.

Бэллинг дрожащим пальцем водил по строчкам. Тине перевернула по его просьбе страницу.

— «Чти отца и мать своих»... «Чти отца и мать своих», — читал старик тягучим голосом, много раз подряд.

— Она хорошо писала, она хорошо писала, — пробормотал он, глядя на мадам Бэллинг.

— Да, да, ты ведь сам учил ее, — отвечала мадам.

— Она хорошо писала, она хорошо писала. — И старик снова принялся за тетрадки.

IX

Двое суток канонада не умолкала ни на минуту.

Время перевалило за полдень. В шесть часов полк должен был выступать.

Возле трактира собралась густая толпа. Многие наполняли свои фляжки по второму разу: первая порция кончилась, покуда они приводили в порядок амуницию — работа была небыстрая, — а порой про нее и вовсе забывали, прислушиваясь к «оркестру». Некоторые утверждали, будто «музыка» стала еще громче.

Калека без усталости шнырял между солдатами, но сегодня пиво у него было слишком жидкое, вот он и кричал громче обычного, предлагая свой товар повсюду, то на площади, то в переулке.

Тут же бродили несколько офицеров, они говорили со своими солдатами, но обращались только к таким, от которых можно получить остроумный ответ.

Больше других шумели четверо лолланцев — они лежали на животе и перекидывались в картишки.

Но веселье накатило и отхлынуло, словно внезапный порыв ветра, и снова на площади воцарилась тяжелая тишина. Слышался только все усиливающийся грохот пушек.

Какой-то офицер оживленно беседовал с группой солдат, столпившихся на краю кузнецова поля, где были рядом сложены гробы, два вдоль, два поперек, пока один из солдат не сказал ему спокойно и твердо:

— Да, господин лейтенант, мы и сами знаем, что боя не миновать.

Все разом смолкли, а офицер повернулся и ушел.

...В лесничестве офицеров словно ветром разметало. Кто бродил по саду, кто по конюшням и амбарам, кто садился писать, кто бросал письмо на полуслове. Они были повсюду — и в комнатах и во дворе.

Наверно, уже в двадцатый раз Берг справлялся на кухне, вернулась ли Тине.

Его занимала только одна мысль: куда она делась и что произошло в школе.

Тине не возвращалась.

— Нет, не приходила она, — ответила Софи и на всякий случай всхлипнула, — не иначе причетнику совсем плохо. Ведь всякому известно, как Тине предана вашему дому.

— Да, — сказал Берг.

— И как она всем сердцем любила Херлуфа и фру с самого первого дня.

— Да, — сказал Берг таким тоном, словно это «да» больно хлестнуло его. — Да, да.

Каждые пятнадцать минут он заглядывал на кухню с прежним вопросом. И Софи опять терзала его своей болтовней, как будто ему все еще было не довольно.

— И не только она, вся причетникова семья любила, — рыдала Софи. — До последнего денечка, — причитала она.

— Да, — подтверждал Берг, и червь точил его душу.

Потом он вставал и уходил.

Через пятнадцать минут он снова являлся спросить, нет ли каких известий из школы.

Известий не было.

Он ушел.

Он хотел сам увидеть их, побывать там.

Но вместо того снова начинал описывать круги — он побывал в «Райской аллее», в переулке, пока наконец не увязался за лекарем и вместе с ним не взошел на крыльцо.

Тине первой услышала его, но не двинулась с места.

— Тине, Тине, — закричала мадам Бэллинг, и голос ее звенел от радости, — господин лесничий пришел, господин лесничий. — Снова мы вас увидели, снова мы вас увидели. — Мадам Бэллинг не могла остановиться.

— Тине, Тине, — крикнула она немного погодя, — это лесничий.

Тине вышла. Какую-то долю секунды она испытыва-

ла облегчение, глядя на его лицо, искаженное болью, бледное, измученное.

«Он и сам тоже страдает»,— подумалось ей.

Берг сперва молчал, потом заговорил, с трудом разлепив губы:

— Бэллинг тяжело болен...

— Да, ему с каждым днем становится все хуже.

Казалось, Берг умышленно не заходит в комнату Бэллинга; взгляд его поспешно обегал стены кухни.

— Вы бы зашли к нему,— сказала мадам Бэллинг, судорожно потирая одной рукой другую,— вы бы зашли к нему.— Вы так давно, так давно у него не были.

— Да, да, сейчас найду,— с трудом промолвил Берг.

Сама не понимая, зачем, Тине последовала за ним в комнату отца.

Берг увидел Бэллинга: дряхлый и маленький, сидел тот возле кровати и явно не признал вошедшего.

— Это господин лесничий,— прокричала мадам,— он захотел навестить тебя.

— Да, да,— отвечал больной, тяжело ворочая языком и не отрывая глаз от старых тетрадей. Потом он машинально протянул руку.

— Ах ты, господи, ах ты, господи, он вам подает руку.— Мадам Бэллинг совсем растрогалась.

Берг был вынужден взять холодную, отечную руку и какое-то время подержать ее в своей.

— Да, да,— твердил при этом больной, переворачивая страницы.

Берг, как ни силился, не мог ничего сказать. Все в нем стало болью и мукой, глаза, обегавшие знакомые стены, уши, слышавшие знакомые голоса, рука, пожимавшая руку старика.

— Тине,— сказала мадам, безостановочно совершая рейсы между кухней и комнатой,— Тине, лесничий, верно, не откажется перекусить у нас... Вы ведь не уйдете просто так?

Она поставила стол по другую сторону постели и велела Тине достать чистую скатерть. Берг не посмел отказаться. Он мало-помалу начал отвечать на вопросы, хотя сам не понимал, как это у него выходит; глядел он только на Тине, накрывавшую на стол. Тине была бледней смерти, движения ее стали медлительными, словно каждый мускул причинял ей боль и отказывался служить.

— Господи, у нас почти и места не осталось, где посидеть.—Мадам Бэллинг едва протиснулась между столом и кроватью.— Что тут можно хорошего приготовить? Где взять время для стряпни?.. Но хоть что-нибудь вы должны отведать, как в былые дни.

Берг подошел к столу и взял кусочек.

— Ведь это ваше любимое блюдо,— сказала мадам Бэллинг, подкладывая ему добавку. Сама она села на стул возле комода, и старое лицо ее озарилось радостью, когда она заговорила о Херлуфе и о фру.

— Тине, ты бы тоже присела,— уговаривала она,— ты бы тоже присела.

Тине ходила по комнате, как ожившая статуя, а Берг сидел, и хотя каждый кусок становился ему поперек горла, он покорно жевал и глотал, на радость фру Бэллинг.

— Тине, потчуй гостя, Тине, потчуй гостя,— сказала мадам Бэллинг и даже привстала от волнения.

Тине повиновалась, руки ее, подкладывавшие угощенье, казались ему бледными как смерть, и он покорно продолжал есть.

— Она хорошо писала, она хорошо писала,— снова завел свое Бэллинг, сидя по ту сторону кровати.

— Да, Бэллинг, да...

— Господи, господа, у него теперь только и радости...— объясняла мадам Бэллинг.— Я припрятала старые тетрадки... Бэллинг сам ее учил, он ведь учил ее сам... а почерк у Тине всегда был отличный... всегда был отличный... Вот он и смотрит теперь старые тетрадки... а чем ему еще заниматься...

Мадам Бэллинг не забывала хозяйских обязанностей.

— Тине! Ты бы тоже съела хоть что-нибудь. Вы знаете, она ничего не ест.

Берг и сам не понимал, почему он принудил Тине разделить с ним трапезу, зачем ему понадобилось, чтобы она непременно поела. Но она послушно села за стол, и они сидели друг против друга, а мадам Бэллинг глядела на них.

— Хоть раз да собратсья вместе,— говорила мадам Бэллинг,— хоть раз, да вместе,— но, переводя взгляд с одного лица на другое, а оба были застывшие и бледные, она вдруг смолкла, охваченная тем же неясным и непонятным страхом, что и ночью. Потом она заговорила уже совершенно другим тоном:

— Да, времена переменялись... Сейчас всем очень тяжело.

Несколько мгновений никто не проронил ни звука; Тине и Бергу казалось, что они и дышать-то сейчас перестанут.

Сам того не сознавая, Берг внезапно вскочил и вышел из дому. Мадам Бэллинг стояла на крыльце и махала ему рукой, и Берг еще раз оглянулся.

Тине осталась сидеть, она не встала и не начала убирать со стола. Она не видела, как вернулась мать, и не слышала, как читает отец старые тетрадки.

Рев пушек напоминал могучий рокот морского отлива; с площади доносились слова команды, там трубили сбор.

Шум нарастал, Тине и сквозь него слышала слова команды и узнавала, как ей казалось, каждый отдельный голос.

Опять сигналы, опять слова команды, опять шаги — уходящих.

Мадам Бэллинг вышла на крыльцо и снова вернулась.

— Ах, господи,— сказала она, опускаясь на стул,— ах, господи, уходят на верную смерть.

Тине слышала лишь шаги, но и те становились все тише и тише.

Вот он и ушел.

На секунду оцепенение покинуло ее. Она заговорила с матерью взволнованным голосом. Она сказала:

— Мне, пожалуй, надо сходить в лесничество. Софи только и знает, что бездельничать.

И стрелой помчалась она по переулку,— ах, как быстро летела за ней ее тень,— через поле. Здесь ей повстречалась Тинка.

— Ты куда? — спросила она.

— Туда.

Тине, не задерживаясь, помчалась дальше.

Тинка долго стояла и глядела вслед, покуда Тине не скрылась за прудом.

Она пронеслась через сад, ворвалась в дом, обежала все комнаты, чтобы еще раз увидеть их. Она хотела быть здесь.

— А они уже ушли,— хныкала Софи, бегая за ней по пятам и повторяя одни и те же слова в разных комбинациях.

Тине села на *его* место за письменный стол, перед лампой.

— Они ушли,— плакала Софи, усевшись напротив нее на диван.— Господи, ушли они...

На раскрытом бюваре лежало письмо. Тине прочла дату: «Апреля 16-го дня».

— Один бог знает, кому из них через час придется встретить свою смерть,— рыдала Софи.

Тине перевернула первую страницу. Едва ли она сама понимала, что читает. А письмо она знала и без того. В нем были все те слова из прежних писем, которые так часто перечитывала ей фру Берг. Здесь каждая фраза звучала по-прежнему, здесь в каждой строчке стояли прежние слова, обращенные к фру.

И под хныканье Софи Тине Бэллинг тяжело уронила голову на стол лесничего.

Выходит, он просто взял ее — взял по мимолеетной прихоти.

...Сумерки растекались по комнате. Софи задремала в своем углу.

Страшно, еще страшней, чем раньше, грохотали пушки. В хлевах протяжно ревели напуганные коровы,— точь-в-точь как на пастбище, когда в середину стада ударит молния.

Тине опустилась на колени и прижалась щекой к неоконченному письму. Она почувствовала какое-то теплое прикосновение: это Аякс и Гектор легли возле нее на коврик.

Они и лизали ей руки.

Перед школой остановилась карета его преосвященства. Епископ приехал проведать старого Бэллинга.

Немного спустя он прошел мимо склонившейся перед ним мадам Бэллинг и хотел было снова сесть в карету, но тут какой-то офицер высокого звания промчался через площадь, сопровождаемый двумя адъютантами.

Офицер спешил, и, обменявшись приветствиями, они вместе с епископом прошли на кладбище.

С холма над «Райской аллеей» они поглядели на запад.

— Отступаем? — спросил епископ.

— Нет, остаемся,— отвечал офицер.— Хотят, чтоб мы остались.— Голос офицера был странно отчетлив, взгляд прикован к шанцам.

Епископ помолчал, губы его чуть дрогнули. Потом он сказал:

— Да, эти люди сознают всю глубину своей ответственности.

Некоторое время оба молчали.

Солнце клонилось к западу, опускаясь в багряную красноту, словно небо впитало всю пролитую на земле кровь.

Потом оба повернулись и, почти не разговаривая, проделали среди могил обратный путь.

Епископ уже ступил на подножку своей кареты, а офицер все еще не выпускал его руки.

Наконец епископ пробормотал: «Прощайте»,— и карета тронулась.

Час спустя на площадь вошли солдаты. Трактир был взят приступом. Солдаты изнывали от жажды.

И снова все стихло.

Только из дверей трактира доносился пронзительный голос мадам Хенриксен. Она никак не могла докликаться своих служанок, хотя крик ее был слышен даже в лесничестве.

...Гром орудий по-прежнему сотрясал ночной мрак.

В запертую уже дверь школы постучали.

— Это я,— сказала Тине.

Мадам Бэллинг открыла, и дочь темной тенью проскользнула в дом.

Ночь проходила, занимался день.

Дело шло уже к полудню, когда на площади стало известно, что начался штурм Дюббеля.

Х

...До поздней ночи они слышали стоны раненых, которых провозили мимо, в Херупхав. В ночной тишине каждый стон раздавался особенно громко.

Потом все стихло.

Настал день. Площадь казалась вымершей. Кузня была пуста, кузнец не занимался нынче своим делом, и никто не стучал в запертые двери трактира.

Мадам Бэллинг и Тине сидели, закутавшись в платки, сидели молча час за часом и глядели друг на друга. Порой мадам Бэллинг вставала со своего места в углу и принималась бродить по комнате, как хворое животное.

— Есть не хочешь? — спрашивала она.

— Нет, спасибо.

Мадам Бэллинг снова садилась. Бэллинг не спал. Слова его сливались в неразборчивый лепет, это он требовал подать ему молитвенник. Наконец Тине исполнила его просьбу и начала читать изречения, которых он не понимал, а она не слышала.

Отец снова задремал. Еще много раз вставала мадам Бэллинг и без всякой цели металась по комнате.

— Ты не хочешь сходить в лесничество? — спрашивала она.

— Зачем? — отвечала Тине все тем же безжизненным голосом.

И снова они сидели в своем углу.

В таком сидении — будто у гроба — прошел день.

Близился вечер.

Тине вышла.

В переулке, на площади, в садах, на поле не было ни души. Брошенные заготовки для гробов лежали на кузнецовом поле, среди вытопанной ржи. Бесхозяйные коровы, тревожно мыча, топтали чужие поля.

Тине шла вдоль дороги. Ее вела одна мысль: *увидеть его*, мертвого. Раз он не вернулся с полком.

Стояла тишина.

Даже птицы и те молчали. И раскисшая земля, по которой никто больше не ходил, засохла мертвым ковром.

Собаки перескочили через изгородь лесничества и увязались за Тине; она их не заметила. Она шла мимо садов и домов, она их не видела. Она думала только об одном: попасть в Улькебёль, где расквартирован штаб. Уж там-то должны все знать.

Но в Улькебёле не было штаба, и пасторат опустел, словно покинутая гостиница, и дворовая собака не подала голоса, когда Тине входила и выходила со двора.

Перед кладбищенскими воротами ревели бездомные коровы. На колокольне ударили колокола.

Тине вошла в церковь; она увидела, что церковные двери распахнуты. На хорах лежали тела убитых, одно подле другого. Тине поднялась на хоры, заглядывала в каждое лицо и шла дальше. У алтаря она наткнулась на какого-то незнакомца, но едва ли увидела и его.

— Герой, — сказал незнакомец на чужом языке. Она его не услышала.

Она обошла следующий ряд — одного за другим, а собаки робко обнюхивали голые ноги покойников.

Она вышла из церкви; незнакомец отвязывал позади церкви своего коня и смотрел ей вслед, пока она не скрылась из глаз.

А Тине уходила все дальше и дальше от Улькебёля.

Тогда, значит, штаб в Аугустенборге, уж там-то должны все знать.

Тине шла, собаки бежали следом. Солнце село, за оградами лежала тьма. Но никто не приветствовал ее, двери домов были закрыты.

Вдруг Аякс и Гектор взлаяли, опередили ее, взяли какой-то след, вернулись по нему и побежали через поле к ближайшему двору. Потом они подскочили к Тине и залаяли.

Тине свернула с дороги и пошла за собаками, она даже не почувствовала, как у нее, раз и другой, — словно от удара подкосились ноги.

На террасе никого не было; Тине тихо отворила дверь, в горнице укачивали ребенка, старушка возилась у печки. Она узнала Тине и заплакала.

— Лесничий здесь? — спросила Тине.

Старушка знай плакала, собаки лаяли.

— Куда вы его положили? — спросила Тине.

Старуха отворила дверь в соседнюю комнату, и Тине почувствовала тяжелый запах крови: он лежал в алькове.

Тине сперва увидела только землисто-бледное лицо. Она оттолкнула хозяйку и взяла у нее из рук умывальный таз, вода в нем была красной от его крови.

— Он говорил что-нибудь? — спросила она.

Хозяйка зарыдала.

— Да, он звал жену... жену и сына... он только о них и думает... Горе-то какое, какое горе...

Тине, как и дома, села рядом с кроватью. Неотрывно глядела она на это лицо.

— Очнулся, — шепнула она.

Все в ней была надежда, что он узнает ее.

Но умирающий открыл глаза и посмотрел на нее, как на пустое место.

— Мари, Мари, — слабым голосом позвал он. — Мари, возьми Херлуфа за руку, слышишь, он плачет... он плачет...

И еще что-то шептал он. Собаки поднялись при звуке его голоса и тихо подвывали.

— Поглядите на неразумных тварей,— всхлипывала хозяйка.

Умирающий, казалось, узнал своих собак и хотел повернуть голову — он даже чуть улыбнулся.

Тине не двигалась.

Так она просидела целый час. Она ждала, что он принесет ее имя, пусть даже с проклятием, которое откроет людям ее позор.

Но он больше не помнил о ней.

И тогда она встала.

— Побудьте с ним,— сказала она хозяйке.— А я сбегаю за подмогой.

И ушла. Одна. Собаки остались у его постели.

Ночь была темна, и на небе не было звезд. Она споткнулась о дорожный камень, встала, пошла дальше.

Мать еще не ложилась; бледная и несчастная, сидела она на том же месте.

— Как долго тебя не было, доченька,— сказала она.

— Я так ничего и не узнала,— ответила Тине, снимая платок.

Мать налила кофе и подала ей.

— Спасибо,— ответила Тине и жадно выпила чашку.

— Какая ты бледная,— сказала мать.

Она начала доставать белье, чтобы постелить на диванчике для Тине.

— Нет, мама,— сказала Тине все тем же тоном, от которого у мадам Бэллинг мурашки забегали по коже,— я лягу наверху.

Она все приготовила для сна. Задумчиво расставила по местам стулья — как в былые дни. Сняла с полочки свечу, зажгла и вдруг, как бы очнувшись, огляделась вокруг и поняла, что *все свершилось*.

Она увидела комнату и привычную старую мебель, словно впервые за долгий срок, увидела отца и мать, тех, кого ей предстоит покинуть.

— Что ты так вздыхаешь, доченька,— сказала мадам Бэллинг и нежно погладила ее по голове,— что ты так вздыхаешь?

Тине прижала руки матери к своим волосам, словно желая продлить эту ласку.

— Ах, мамочка, мамочка,— шепнула она.

Долго стояла Тине перед постелью отца. Все движения свои она совершала теперь медленно, словно измеряя и наблюдая их со стороны.

Она поцеловала мать и еще помешкала немного, потом наконец поднялась к себе. Свечу она несла с великой осторожностью — кругом была настелена солома.

Она все обвела взглядом: посеревшие, замызганные гардины, пол, истоптанный множеством ног, свою постель, на которой перележало столько чужих людей.

Здесь прошла вся ее жизнь.

Она присела на край постели, держа перед собой горящую свечу. Она слышала, как внизу хлопочет, говорит сама с собой и укладывается на покой мать.

— Ты уже легла? — шепотом спросила мать, чтобы не разбудить мужа.

— Да, — отвечала Тине.

— Покойной ночи, доченька.

— Покойной ночи, мама.

Все стихло, Тине сидела на своей постели. Во всем доме слышалось только глубокое дыхание обоих стариков.

Серый рассвет заглянул в комнату; свеча почти догорела. Тогда Тине встала и задула ее. Тихо сошла она вниз, с великой осторожностью отворила дверь. Она увидела трактир, и церковь, и кузницу и, обернувшись, последний раз окинула взглядом школу: вот место матери за окном, вот краешек ее стула.

Медленно шла Тине по дороге. На взгорке она перелезла через изгородь и очутилась в саду лесничества, где укутанные циновками деревья, кусты и розы, словно призраки, серели в предрассветных сумерках.

Тине поднялась на террасу и заглянула в двери. Здесь все было ей знакомо — и все разорено.

Мыслей у нее никаких не было, — наверно, мысли в ней умерли. Она никого не просила о прощении. Она знала только одно: сейчас все должно кончиться.

Она уже спустилась с крыльца, но потом раздумала, вернулась и, прижавшись лбом к стеклу, долго смотрела в свою комнатку.

Она прошла мимо комнаты служанок. Софи одна спала в большой постели, обмотав голову множеством платков.

Она услышала, как забеспокоилась в хлеву скотина, как громко прокричал петух, и тогда она торопливо пошла к пруду.

За одно мгновение ей вспомнилась тысяча всяких вещей и событий; казалось, будто все любимые ею го-

лоса разом заговорили с ней. Она вспомнила Херлуфа, и тот вечер, когда он уезжал, и тот день, когда они с Бергом перелезали здесь через изгородь, и утренний псалом, который распевали в школе, когда она была еще совсем, совсем маленькой; вспомнила Аппеля, который уже умер, отца и мать, которые останутся совсем одни на свете.

Ужас охватил Тине, и она содрогнулась... здесь ей предстоит умереть... умереть.

Нет, не может она умереть, она должна жить — не может, тысячи отговорок, тысячи уверток, тысячи предложений мгновенно отвратили ее от смерти, гнали домой, в жизнь...

И все же она медленно сняла с ног башмаки. Страх умер, задавленный привычной болью сердца.

Она сложила руки, стиснула губы и, не отводя глаз от беседки, скользнула в темную глубину.

...Поверхность пруда разгладилась.

Наступил день.

Мадам Бэллинг проснулась. Бэллинг так хорошо провел нынешнюю ночь, да и сейчас еще он спокойно спал.

Из комнаты Тине тоже не доносилось ни звука. Мадам Бэллинг сама понежилась в постели с четверть часика и лишь затем постучала палкой в потолок, чтобы разбудить Тине.

Ответа не последовало.

Мадам Бэллинг встала. Может, Тине еще не выспалась. Не грех ей разок поспать дольше обычного. Мать решила сварить кофе и принести его наверх, в светелку Тине, пусть дочка выпьет кофейку прямо в постели, когда проснется.

Сколько раз она носила кофе наверх зимними утрами, когда стоял такой холод, что Тине не хотелось вылезать из-под одеяла.

Мадам Бэллинг хлопотала над кофейником и разговаривала сама с собой. Но тут проснулся Бэллинг, а его полагалось напоить в первую очередь.

— Господи, господи... плохо дело-то.— Мадам Бэллинг обращалась к себе самой.— Плохо дело-то... скоро его придется кормить с ложечки... как малое дитя... Пей, Бэллинг, пей.

Он уже не мог сам удерживать чашку, он уже ничего не мог удерживать.

Наконец Бэллинг успокоился, и мадам Бэллинг взяла поднос и отправилась наверх.

Увидев пустую несмятую кровать, она мгновение стояла в полной растерянности, ничего не понимая, потом ноги у нее задрожали, она пробежала по чердаку к слуховому оконцу и выглянула наружу.

— Тине! Тине! — неизвестно зачем крикнула она и тут же смолкла: как бы Бэллинг не услышал.

Она пыталась собраться с мыслями, она подумала: «Конечно же, Тине у раненых, за ней прислали, она у них».

Мадам Бэллинг спустилась вниз, ноги плохо держали ее. Она отворила дверь: у раненых Тине не было. Она спросила:

— Вы не видели моей дочери? — но ответа ждать не стала. Про себя она твердила одно: — Как нехорошо с ее стороны так меня пугать. — И вдруг, снова охваченная страхом, спрашивала: — Но где же она тогда? Где же?

Мысли отказывались ей служить, она забежала по дому, словно ища потерянную иглу. Потом вдруг выскочила на крыльцо и помчалась через площадь, к трактиру.

— Где Тинка? — кричала она на бегу, словно Тинка должна была все знать.

Но когда Тинка вышла к ней, мадам Бэллинг уже не могла говорить, она только беззвучно шевелила губами, и голова у нее тряслась.

— В чем дело? В чем дело? — кричала Тинка.

— Тине! Где Тине? Ее нет... — И тут мадам Бэллинг расплакалась.

— Где ее нет? — кричала в ответ Тинка, тотчас побелев как полотно. — Где ее нет?

— Да, где, где? — бестолково твердила мадам Бэллинг внезапно севшим голосом, по несколько раз повторяя одни и те же слова и не умея связать их воедино.

— Ее не было... она пошла наверх... вчера, а ее там нет... Она хотела спать наверху... вчера... а ее там нет... Сейчас ее там нет.

— Значит, она пошла в лесничество, — сказала Тинка и накинула на плечи платок — ее бил озноб.

Мадам Бэллинг на мгновение застыла, потом она даже улыбнулась, несмотря на нервную дрожь.

— Да, да, да,— лепетала она,— Тине там, Тине там... Как это я сразу не подумала... Она пошла узнать, нет ли вестей о лесничем, о лесничем.

И она побежала вслед за Тинкой, бормоча на бегу одно и то же слово:

— Лесничий, лесничий, лесничий...

Внезапно она остановилась и, словно защищаясь от удара, обхватила обеими руками свою седую голову: страшное подозрение ожило в ее душе.

Она схватила Тинку за руки и безумными глазами поглядела ей в лицо. Казалось, она хочет заговорить, спросить: истина обрушилась на ее голову, как удар меча.

— Идем, идем,— робко молила Тинка.

Но мадам Бэллинг вырвалась и с тихим стоном, будто подстреленный зверь, который вот-вот рухнет замертво, помчалась прочь.

Она поняла.

Да, теперь она все вспомнила и все поняла. Все рухнуло.

Это лесничий — это он — отнял у нее ее дитя.

Она бегом пересекла двор, поднялась на крыльцо, распахнула дверь.

Он отнял у нее дочь.

Она тяжело упала на стул и осталась сидеть посреди разоренной комнаты. Она бормотала слова, смысл которых был ей темен, она проклинала его, оплакивала ее; молила «фру» о прощении, вздымала к небу дрожащие руки.

— Господи боже мой, ради меня... она не ведала, что творит, господи, господи, ради меня... она не ведала, что творит.

Она смешивала «фру» и господа бога, она взывала к ним обоим в одинаковых словах.

— Боже милостивый, я, которая родила ее, я, которая родила ее, молю тебя, молю тебя...

От повторения одних и тех же слов хлынули слезы, она уронила голову на стол и продолжала молиться...

Тинка кликнула Ларса. Они искали — Андерс помог им — в доме, в саду. Софи бегала за ними и причитала, держа в руке два платка.

Она и нашла в траве башмаки Тине.

Ларс начал с берега шарить багром в вязком прибрежном иле. Когда он нашел утопленницу, Андерс помог ему вытащить ее на берег.

Тинка, рыдая, упала на зеленую траву и отвела волосы с искаженного лица.

— Поднимите ее,— сказала она, и они все вместе положили тело на принесенный из дому брезент.

Тинка сняла с головы платок и закрыла им лицо подруги.

Они внесли ее в дом: ил и вода капали на пол.

Софи убежала — она не рискнула дотронуться до умершей. Но Тинка вместе с Марен начали хлопотать над телом Тине — сложили ей руки и перенесли на ее же кровать, стоявшую под портретом фру.

Тинка привела мадам Бэллинг. За один только час мадам Бэллинг стала глубокой старухой. Голова у нее тряслась, голос изменился.

— Где она? — спросила мадам Бэллинг.

Тинка не могла говорить.

Мать увидела лужицы на полу коридора и спросила:

— Она у себя?

— Да,— шепнула Тинка.

И обе вошли в комнатку Тине. Мадам Бэллинг отвела простыню с лица дочери.

— Детка моя, детка,— тихо шептала она, и мелкие слезы бежали у нее по щекам; словно желая утешить дочь, она погладила ее волосы и сказала:

— Значит, это был он.

Она уже все простила.

Прислонясь головой к дочерней постели, она начала горько плакать и жаловаться — без слов.

Потом она встала и глухим голосом, будто со сна, сказала:

— А теперь ей надо вернуться домой.

Она сама покрыла носилки простыней.

Ларс-батрак и Андерс-хусмен задами, по безмолвным полям, отнесли Тине домой.

В школе стояла тишина. По дому разносились только удары молотка, которым Тинка и Густа приколачивали в зале белые простыни.

Софи пробралась на кухню, где хозяйничала хусменова жена, и в страхе слушала доносившиеся сверху звуки.

— Ее небось обрядят в настоящий саван? — придурно шептала Софи, словно боясь собственного голоса. — Грех будет, если она не получит настоящий саван.

— Они как раз ее обряжают, — шепнула в ответ хусменова жена.

— Ай-яй-яй, обряжают, — всхлипнула Софи с непонятым удовлетворением в голосе. Под лепет Бэллинга, разносившийся по всему дому, она разулась, шмыгнула в комнату и беззвучно отворила двери зала.

Здесь стояли Тинка и Густа, обе бледные в отблеске белых простынь.

— Можно поглядеть на нее? — робко шепнула Софи.

Тинка и Густа ничего не ответили, они только указали кивком головы на белые носилки.

Софи отвела простыню с безмолвного лица, пустила слезу, обошла постель и осмотрела длинное «одеяние».

— Вы, что ли, все простынями укроете? — шепнула она.

И опять ей не ответили.

Зазвонили колокола, возвещающая погребение лейтенанта Аппеля, у трактира вышла из экипажа фру Аппель, покрытая длинной вуалью.

Мадам Хенриксен поспешила к ней и, помогая выйти, сообщила, что «Тине, ну, которая из школы», тоже умерла нынче утром.

— Когда, когда? — переспросила фру Аппель с таким видом, словно не расслышала сказанного, и даже не стала ждать ответа, будто не было на свете других умерших, кроме ее сына.

Софи вернулась на кухню.

— Да... они ее уже обрядили, — зарыдала она и снова надела башмаки, — она лежит такая миленькая, вся в белом.

Софи промакнула глаза платком и спросила вдруг совершенно иным тоном:

— А чашечки кофе у вас не найдется? Кругом такое горе, что прямо голова не выдерживает.

Хусменова жена начала варить кофе украдкой, на самой дальней конфорке, на случай, если в кухню зайдет мадам Бэллинг.

Но мадам Бэллинг не зашла. Она сидела подле мужа и все поглаживала, все поглаживала его беспокойные руки. Будь ее воля, она бы спряталась куда-нибудь далеко-далеко. Ее так страшила, так беспокоила встре-

ча с людьми, которые не преминут заявиться на похороны, со священнослужителями, которые придут — и все до единого «предадут проклятию» ее дочь.

И то уже на площади начали собираться женщины и дети. Они выползли из своих домов, наверно, впервые после штурма Дюббея, и прослышали о несчастье. Они ходили тихо, словно не решались ступить на всю ногу, они перешептывались робкими голосами перед тремя окнами, завешенными изнутри простынями.

Софи вышла на свежий воздух и исправно рыдала возле каждой группки. Рыдания не мешали ей подробнейшим образом живописать все обстоятельства дела.

— И тут я увидела в траве ее башмаки... и я сразу закричала... боже мой, боже мой, какое горе...

Три крестьянки, что по воскресеньям пивали кофе в школе, молча взошли на крыльцо. Не проронив ни слова, стояли они в передней, пока не явилась Тинка. Предводительствуемые ею, они гуськом обошли тело, величественные и безмолвные. Они не плакали, и вид у них был такой, будто они инспектируют стены. Потом они вернулись в переднюю и уселись рядом. Выражение их лиц ничуть не изменилось.

Густа откинула простыню с головы покойницы. Было слышно, как на площади собираются гости для почетного караула и подъезжают к школе первые пасторские кареты.

Их всех принимала Тинка, но, едва заслышав стук колес, мадам Бэллинг и сама поспешила на кухню: им же надо подать кофе, они же должны выпить кофе.

— Много их, Тинка? — спрашивала она, дрожа всем телом, ибо ей был страшен каждый из них. — Да, да, значит, надо взять большой кофейник... возьмите, пожалуйста... и достать воскресный сервиз... достаньте, пожалуйста.

Мадам Бэллинг смертельно боялась пасторов.

— Тинка, — прошептала она, отводя девушку в сторону и глядя на нее своими маленькими глазами, которые уже почти ничего не видели. — Что они *говорят*? — спросила она боязливо.

А пасторы почти ничего и не говорили. Самоубийство в семье причетника их немного смутило, и кофе, поданный Тинкой, они выпили в полном молчании.

Старый пастор Гётше отвел Тинку в уголок и *ока-*зал:

— Где она лежит? Я хотел бы взглянуть на нее.

И прошел с Тинкой в зал. Здесь старик долго смотрел на застывшие черты бледного лица.

— Господи, господи,— бормотал он.— Я же подтверждал ее. Ни одна из малых сих птиц не упадет на землю без воли отца нашего.

Он высморкался и вернулся к остальным, молитвенно сложив руки.

На площади было уже полно женщин и солдат, которые группками возвращались с восточной оконечности острова.

Обходя толпу, Софи добралась до трактира, где и кончила свое повествование. После небольшой паузы она, однако, добавила:

— Один бог знает, зачем она бросилась в пруд.

Мадам Хенриксен стояла чуть позади, в дверях своего трактира. Вид у нее был такой, словно она с большим удовлетворением стукнула бы Софи чем-нибудь тяжелым.

— Да, и ветви ее не будут зеленеть,— неотрывно глядя на белые простыни в окнах школы, сказала мадам Хенриксен. А уж если мадам Хенриксен призывала на помощь Библию, это чего-нибудь да стоило.

Все засуетились, когда на площадь въехала карета его преподобия. Пробст решил, что, раз собралось столько священнослужителей, не мешает и ему приехать. Момент был серьезный, и было весьма желательно по мере сил направить настроение в нужное русло.

На крыльце его встретил капеллан и шепотом сообщил о несчастье.

Его преподобие стоял несколько секунд в изумлении и растерянности. Потом он вышел, и пасторы молча поклонились ему.

— Я прослышал об этом горе,— сказал он, здороваясь с теми, кто стоял к нему ближе других.— Да, помрачение ума может охватить слабого духом... Ведь и женщинам господь послал немало испытаний... тяжелые, поистине тяжелые времена.

Пасторы согласились с ним, выказывая признаки облегчения, и колокола ударили вновь.

Пробст и пасторы прошли в зал, дверь которого больше не закрывалась, и чудилось, будто белое лицо на подушке внимательно глядит в передние комнаты.

Его преподобие пробормотал несколько слов из Писания. Пасторы сложили руки.

Затем его преподобие отошел к окну и рассказал остальным о продвижении войск и о конференции в Лондоне. Говорил он печальным и тихим голосом и покачивал своей величественной головой Цезаря.

— Если бы мы могли быть уверены, что те, кому ведать надлежит, сумели найти верный тон,— говорил он.— Сейчас первоочередная задача — не уронить достоинство нации.

Он разгорячился и заговорил во весь голос над тихим лицом, казалось, внимательно слушавшим его речи со своей подушки.

— Ибо мы сохраняем покамест свое достоинство,— продолжал он.— И каждую пядь нашей земли враг оплатит своей кровью.

На площади меж тем началась настоящая давка. Явился калека, сновал между людьми и пронзительным голосом нахваливал свой товар.

— Хорошо она лежит,— возвестила Софи, завершая обход и приближаясь к школьному крыльцу.— Гляньте, вот и они.

Пробст, а за ним остальные пасторы спустились с крыльца. Следом шествовали три крестьянки, которые все это время просидели, не шелохнувшись.

Через кладбище они проследовали в церковь. Софи же предпочла вернуться на кухню,— приспело время подкрепиться еще одной чашечкой кофе.

Солнце заглядывало в комнату, и Софи распахнула окно.

— Хоть краешком уха послушать,— объяснила она.— Их преподобие очень поучительно говорит надгробные речи,— добавила она как бы в скобках.— Да и на солнышке погреться совсем даже неплохо,— завершила она свое объяснение.

Ей подали кофе.

Мадам Бэллинг из спальни слышала, как в доме все стихло, и робко приоткрыла дверь: да, и в самом деле никого.

Как ни странно, она вздохнула с облегчением... Наконец она прошла к дочери и плотно затворила за собой двери.

А Тинка отправилась в спальню присматривать за Бэллингом.

В церкви запели. Тинка тоже отворила окна, и пение наполнило безмолвный дом:

Как знать, где ждет меня могила,
Ведь бренна, бренна наша плоть,
Ведь в миг любой иссякнут силы,
И призовет меня господь.

О, дай мне, ты, создавший нас,
Спокойно встретить смертный час.

Беспокойные руки Бэллинга замедлили свои движения, казалось, Бэллинг прислушивается.

Мадам Бэллинг встала; дрожащими руками торопливо, словно украдкой, распахнула она все окна, завешенные простынями: пусть над гробом ее дочери прозвучит хотя бы надгробный псалом, посвященный другому человеку.

Мне помоги душой отвыкнуть
От суетных мирских оков,
Чтоб я на зов твой мог воскликнуть:
Иду, о господи, готов.

О, дай мне, ты, создавший нас,
Спокойно встретить смертный час.

К школе быстро подкатила чья-то карета, и Софи выглянула из дверей посмотреть, кто бы это мог быть так поздно.

— Лиза! Лиза! — закричала она и от волнения села прямо у дверей. — Это епископ, это епископ.

Совершенно растерянная, Лиза пробежала через спальню в зал.

— Мадам, мадам! — задыхалась она. — Епископ приехал.

Мадам Бэллинг медленно покинула свое место у гроба: она не сразу поняла. Потом она промолвила: «Епископ», — и задрожала всем телом.

Ноги у нее подкашивались, когда она шла в спальню, к Тинке... Не может она сейчас его видеть... нет... не может.

Не может, но должна: ведь это епископ.

И черный чепец надобно надеть...

Чепец достали, но мадам Бэллинг никак не могла его надеть своими непослушными руками.

...Приехал, епископ, епископ... весь синклит собрался, чтобы осудить ее дочь.

Она вышла к гостю как потерянная. Епископ ждал ее в передней. Говорить она не могла, взглянуть ему в лицо не смела.

— Я слышал о вашей горе и хотел бы пройти к ней,— ласково сказал епископ, сжимая в своих руках дрожащие руки мадам.— Бедное дитя, бедная ваша девочка...

Мадам Бэллинг подняла на него глаза, и неописуемая улыбка, словно внезапный свет, озарила ее лицо.

— Господи, господи,— пробормотала она, целуя руки его преосвященства.

Епископ вырвал у нее свои руки и прошел к Тине. Долго не сводил он глаз с тихого лица, как бы погружаясь в горестную молитву.

— Да,— сказал он, поднося сложенные руки чуть ли не к глазам.— Господи, прости и помилуй нас, помилуй нас всех.

Мадам Бэллинг припала головой к подушке, на которой лежала голова ее мертвой дочери. Робко, неуверенно, словно речь шла об избавлении от высочайшего суда, она шепнула, вновь коснувшись губами его рук:

— А колокола будут звонить?

Епископ поднял голову.

— Почему ж им не звонить? — отвечал он.— Уж свои-то колокола она имеет право послушать в последний раз.

Мадам Бэллинг с рыданиями опустилась на колени, и епископ ласково погладил ее по голове.

В церкви запели снова — звучно разносился повсюду многоголосый хор. Епископ не шелохнулся.

Где ж твой агнец? И стенанья
К небу Исаак восслал,
Хоть не знал, что для закланья
Авраам его избрал.

Как ужасен вид ножа!
Исаак глядит, дрожа.
Где же агнец для закланья?
Слышатся его стенанья.

Агнец есть для всеожженья,
Иисус промовил тут.
Отче мой! В небесном царстве
Нынче жертвы вознесут.

Как ни страшен час прощальный,
Но таков удел печальный:
Только кровию невинной
Искуплю людские вины.

Пение смолкло, но епископ по-прежнему стоял у безмолвного одра. На кладбище, над свежей могилой прогремели залпы салюта.

Люди высыпали с кладбища, и на площади послышался многоголосый говор. Пасторы поспешили к школе в некотором смущении, — они узнали карету епископа.

Но когда все они были уже в передней, его преосвященство распахнул двери и вышел из зала. Он молча кивнул всем, и пасторы так же молча склонились перед ним в поклоне.

Епископ пожал руку старому Гётше и сказал ласково:

— Бедные наши Бэллинги.

И чуть тише, охваченный внезапным волнением, добавил торопливо, почти судорожно, поднося руки к глазам:

— Да, да, поистине «все мы нестоящие рабы твои, дай нам постичь знамение твое».

Он вышел, коротко кивнув на прощанье, и сел в свою карету.

Толпа на площади поредела, снова все стихло, затвердевшая земля мертвенно раскинулась вокруг.

Какая-то повозка обогнала епископову карету, так что его преосвященство даже высунул голову — поглядеть, кто бы это мог быть.

А была это мадам Эсбенсен, которую до того потрясла встреча с епископом, что она начала, как заводная, раскланиваться прямо со своего высокого сиденья. Лицо у нее было багровое и утомленное: передышки она себе не давала, ибо в это ужасное время она была нужна всем сразу.

Вот она и приседала, пока ее повозка не свернула на другую дорогу.

А епископ опять скрылся в глубине своей кареты, так и не узнав ее.

Прямо перед ним ехала фру Аппель. Она ехала одна, в каком-то странно высоком экипаже, и ветер поднимал и раздувал над дорогой ее длинную черную вуаль.

А мадам Эсбенсен, подпрыгивая на мягком сиденье, все оглядывалась, все искала глазами его преосвященство, покуда повозка мчала ее проселочной дорогой — по делам ремесла.

«...Дай нам постичь знамение твое».

РАССКАЗЫ



ПЕРЕВОДЫ

Ю. ЯХНИНОЙ, С. ТАРХАНОВОЙ,
Л. ЛУНГИНОЙ, Г. ВЕЛИЧКО

ШАРЛО ДЮПОН.

Ему исполнилось семь лет, когда, в бархатной курточке с кружевными манжетами и воротничком, его впервые выпустили на подмостки Трокадеро в программе благотворительного концерта.

Он имел успех: его пальцы с трудом удерживали смычок.

После исполнения «*Kakadu der Schneider*»¹ его расцеловали по очереди все члены благотворительного комитета.

Наутро его пригласил к себе господин Теодор Франц. Великий импресарио хотел видеть мальчика. Господин Эммануэло де Лас Форесас собственной персоной повез сына к импресарио. Господин Эммануэло де Лас Форесас был взволнован до глубины души. Он чувствовал, что долгожданный час пробил.

¹ «Какаду-портной» (нем.).

Господин Теодор Франц сидел у себя в кабинете за огромным письменным столом в своей излюбленной позе — Наполеон после битвы под Лейпцигом.

Когда господин Теодор Франц сидел в этой позе, обращаясь к нему не полагалось — полагалось ждать. Все знали: в эту минуту он покоряет мир — мешать ему нельзя. Десять лет назад Аделина Патти прождала его в этом кабинете целых десять минут.

Господин Эммануэло де Лас Форесас ждал, не решаясь даже подкрутить кончики усов. Чудо-ребенок, со знавая значительность момента, молча сосал палец.

Итак, в кабинете господина Теодора Франца стояла полная тишина, — со стен смотрели фотографии мировых знаменитостей.

— Ну-с, его имя?

Господин Эммануэло де Лас Форесас вздрогнул.

Когда господин Теодор Франц открывал рот, раскаты его голоса гремели так, словно он намеревался заглушить рояль Эрара. Люди, слышавшие господина Теодора Франца в первый раз, всегда вздрагивали, как вздрогнул господин де Лас Форесас. Господину Теодору Францу это было известно, но он считал, что для пользы дела посетителю не мешает иной раз вздрогнуть.

— Ну-с, его имя?

Господину де Лас Форесасу удалось выговорить:

— Карло де Лас Форесас.

— Гм! Происхождение? — Еле заметным движением руки господин Теодор Франц указал господину де Лас Форесасу на стул.

— Благодарю вас. — Опустившись на сиденье, господин де Лас Форесас почувствовал себя более уверенно. Он поставил чудо-ребенка между своих колен и заговорил.

А говорить господин де Лас Форесас любил. Родом он из Чили. Быть может, кое-кого удивит, что испанский гранд обосновался в Чили. Однако господин Эммануэло де Лас Форесас обосновался именно там. Причиной было пронунсиаменто. В пронунсиаменто крылась тайна биографии господина де Лас Форесаса. Произошло оно в Мексике. При чем здесь была Испания, оставалось загадкой. Впрочем, когда господин де Лас Форесас рассказывал свою биографию, с какого-то момента уследить за нитью его повествования становилось довольно трудно. Очень уж бойко перемещался он из одной части света в

другую. Иной раз было не совсем ясно, на каком берегу океана он находился в данную минуту. Так и теперь неожиданно-негаданно господин де Лас Форесас очутился на Канарских островах.

И вот тут-то господин Теодор Франц стукнул рукой по столу.

— Ясно! Он родился в Провансе.

Господин Эммануэло де Лас Форесас так и подскочил.

— В Провансе!

— Да, сударь мой, в Провансе. Вы, сударь мой, происходите из буржуазной семьи и родились в Провансе.

Господин Теодор Франц встал.

— Публике, сударь, надоела экзотика. Публика, сударь, больше не верит в аристократов на подмостках. Публика надоело шарлатанство. Публика ищет добропорядочности. Публика не желает, чтобы ее водили за нос.

Каждую из этих фраз господин Теодор Франц отчеканивал, точно военный приказ. И слово «публика» звучало как барабанная дробь.

— Публике все надоело. Публика жаждет благопристойности. Публику, сударь, надо завоевывать без шума.

По лицу господина Теодора Франца струился пот. Здравый смысл публики приводил его в экстаз.

Господин Эммануэло де Лас Форесас в конце каждой фразы согласно кивал головой.

Господин Теодор Франц бросил взгляд на чудо-ребенка:

— Ему семь лет.

— Недавно исполнилось.

— Мы объявим шесть. Он сойдет за шестилетнего.— Господин Теодор Франц наклонился к мальчику.

— Что это? — Он ткнул пальцем в бриллиантовую запонку за десять франков на воротничке Шарло.— Уберегите.

— Семейная драгоценность,— сказал господин де Лас Форесас.

— Сударь! — Голосу господина Теодора Франца в пору было состязаться с оркестром.— Публика больше не верит в семейные драгоценности.

Господин де Лас Форесас отстегнул запонку.

— Теперь о деле — об *искусстве*. Какой у него репертуар?

— Три пьесы.

— И «Kakadu der Schneider», — добавил чудо-ребенок.

— Хорошо, сударь. Я составлю контракт. И дам вам знать.

Господин Эммануэло де Лас Форесас с чудо-ребенком вышли из кабинета.

Господин Теодор Франц вновь уселся за свой письменный стол и стал кусать ногти. Господин Теодор Франц часто кусал ногти, когда погружался в раздумье.

В этот день семья де Лас Форесас распростилась со своей чилийской родословной.

Господин Теодор Франц потерял доверие к тропикам. Публика утратила вкус к сенсациям. Господин Теодор Франц насаждал патриархальную идиллию.

Все его артисты происходили из буржуазных семей. Самый шумный успех принесла ему американка, он открыл ее в какой-то церкви, и она никогда не выступала в театре, — это противоречило ее религиозным убеждениям. Обе части света умилялись до слез, когда он по воскресеньям возил ее в церковь...

В тот же вечер господин Теодор Франц сообщил газетам, что скрипач-вундеркинд Шарло Дюпон начал брать уроки у профессора Динелли.

«Как известно, маленький виртуоз родился в Провансе в почтенной семье чиновников-орлеанистов Дюпон».

Господин Теодор Франц не мог нарадоваться словам — «семья чиновников-орлеанистов». Истинная находка. Собственно говоря, они слетели с его пера совершенно случайно. Но это была истинная находка: «семья чиновников-орлеанистов Дюпон».

За ними открывалась безбрежная перспектива честности и буржуазной добропорядочности.

Господин Теодор Франц в мгновение ока оказался на пороге успеха.

На другой день он нанес визит семейству де Лас Форесас. Он хотел посмотреть, какую сумму следует им предложить. Господину Теодору Францу пришлось подняться на шестой этаж. Прихожая была увешана детской одеждой, поношенными пальто, купленными в магазине готового платья. Потом он ждал в нетопленной гостиной, пропитанной запахами кухни.

Господин Теодор Франц предложил восемьсот франков в месяц на полгода вперед. Господин Эммануэло де Лас Форесас взял половину денег в задаток и согласился.

Шарло наняли учителя, который репетировал с ним три пьесы. На уроках присутствовал господин Теодор Франц. Он брал на заметку все места, где Шарло фальшивил. В этих местах мальчику надлежало улыбаться публике.

Приближался день первого концерта. Он должен был состояться в Брюсселе.

Накануне отъезда в Брюссель господин Эммануэло де Лас Форесас нанес прощальный визит господину Теодору Францу. Господин де Лас Форесас был человек покладистый — он стал орлеанистом с головы до пят: легкий намек на военную выправку, палка с золотым набалдашником, седые усы.

— Сударь, — спросил господин Теодор Франц, — почему вы не в трауре?

— В трауре?

— Да, сударь, мне помнится, я читал в газетах, что Шарло — сирота.

Когда господин Дюпон садился в поезд, его шляпу украшала креповая лента. Господин Теодор Франц принес подарок Шарло. Это был обруч с монограммой мальчика. Шарло взял его с собой в купе.

Господин Теодор Франц остался в Париже. Это был его принцип. Он всегда держался в тени.

— Импресарио отпугивает прессу, сударь, — говорил он господину де Лас Форесасу. — Господа репортеры уверены, что все только и думают, как бы их облапошить. Репортеры на редкость недоверчивый народ.

Но на завтра после концерта он получил телеграмму, призывающую его в Брюссель. Господин Теодор Франц переждал сутки, прочитал брюссельские газеты и выехал. Скрипач-вундеркинд Шарло Дюпон потерпел полный провал.

Господин Эммануэло де Лас Форесас встретил импресарио на вокзале. Он был смущен и пришиблен.

— Чего требовать от ребенка, — бормотал он. — Ну, скажите, чего? Не может же он играть, как Сарасате.

— Заткнитесь, сударь... Он играл, как осел.

Шарло был запуган до смерти. Господин Эммануэло

де Лас Форесас отколотил его так, что вся спина мальчика пестрела разноцветными синяками. Он покосился на господина Теодора Франца, ожидая очередной трепки. Но господин Теодор Франц извлек из чемодана ворох парижских игрушек и разложил их по всей комнате. Шарло понял, что с этой стороны колотушек опасаться не следует.

Господин Теодор Франц раздобыл для Шарло другого учителя, и мальчик начал снова готовить все те же три пьесы. Они играли несколько часов подряд — под конец Шарло совсем валился с ног от усталости. Господин Теодор Франц расцветчивал игру улыбками и ребячливыми ужимками.

Шарло, совершенно отупев, играл, повторял все ужимки господина Теодора Франца и улыбался.

В конце концов он расплакался и, уронив скрипку, стал размазывать слезы по лицу.

— Ну-ка, еще разок.

— Я устал... — плакал мальчик. — Не хочу больше.

— Еще разок, и я тебе дам конфетку...

Шарло продолжал реветь.

— Не хочу конфету! — всхлипывал он.

— Ладно, скажи, чего ты хочешь, только будь умницей и сыграй еще раз...

Шарло поглядел на импресарио сквозь растопыренные пальцы.

— Сигареты, — сказал он.

— Гм, ну ладно, играй.

— Три, — сказал Шарло.

— Гм, ладно, пусть будет три.

Шарло отнял руки от лица.

— Я хочу посмотреть на них, — сказал он.

Господин Теодор Франц положил сигареты на стол, и Шарло сыграл еще раз, дрожа, как в ознобе, настолько он был измучен.

В два часа урок кончился. Господин Теодор Франц сам прогуливался с Шарло по бульвару. Красивый обруч они брали с собой. Шарло с куда большим удовольствием посидел бы на скамейке: его так клонило ко сну, что у него слипались веки. Но господин Теодор Франц награждал его тумачами, пока Шарло не встряхивался и не начинал гонять обруч.

Господин Теодор Франц ласково беседовал со всеми хорошо одетыми детьми, угощал их конфетами и други-

ми сладостями. Вдобавок он то и дело затевал всевозможные игры. А если поблизости случались матери, он завязывал с ними беседу и представлял им Шарло — когда Шарло удавалось найти. Чаще всего Шарло исчезал и засыпал под каким-нибудь деревом, скорчившись и уткнувшись головой в собственные колени.

Тумак приводил его в себя. Господин Теодор Франц дрался очень больно — он бил костяшками согнутых пальцев прямо в ключицу, пока тот не встряхивался и не хватался за волчок, валявшийся рядом на земле.

— Ах, он такой непоседа, — говорил господин Теодор Франц. — На редкость шустрый мальчик!

В один прекрасный день Шарло и вовсе исчез. На бульваре его не нашли. Господа Эммануэло де Лас Форесас и Теодор Франц сбились с ног, разыскивая мальчика. Наконец они обнаружили Шарло в парке за каким-то каменным постаментом. Шарло стоял окруженный стайкой малышей. Он совал им в рот сигарету и учил «затягиваться». Малыши корчили страшные гримасы и задыхались от дыма.

Шарло сердился.

— Болваны, — говорил он. И с гордым видом выпускал изо рта огромные клубы дыма.

По возвращении домой Шарло впервые получил выволочку от самого господина Теодора Франца.

После недельного разучивания трех пьес маленький чудо-скрипач Шарло Дюпон любезно согласился исполнить кое-что из своего репертуара перед учениками школы господина Рошебрюна; господин Рошебрюн пригласил также на концерт матерей и тетусшек избранных учеников.

Шарло исполнил две пьесы и «Kakadu der Schneider». Никогда еще школа господина Рошебрюна не слышала подобных оваций. Матери были растроганы. Шарло переходил из одних объятий в другие. А позже дамы из окна любовались, как он играет в пятнашки на школьном дворе.

Газеты поместили отклики о концерте. Чудо-скрипача пригласили выступить еще в нескольких школах.

Господин Теодор Франц вместе с Шарло нанес визиты музыкальным критикам. Шарло стал на редкость сонливым ребенком. Стоило ему очутиться в экипаже, как он тотчас засыпал в своем уголке. А когда они оказывались у чужих людей, — господин Теодор Франц ездил к

критикам на дом, он ценил семейную обстановку,— мальчик не отходил от кресла господина Франца, сонно таращил глаза и изредка бормотал «да» или «нет».

Однажды они приехали в гости к господину Деланду. Господин Деланд был корреспондентом «Таймс». Господин Теодор Франц говорил под сурдинку о своем друге Амбруазе Тома,— господин Теодор Франц всегда говорил под сурдинку с представителями власти и прессы.

В соседней комнате шаловливые чада господина Деланда устроили кошачий концерт. Взрослые не слышали звука собственного голоса.

Господин Деланд открыл дверь и выбралил детей. Через две секунды концерт возобновился.

— Сударь, бога ради, не мешайте им играть.— Господин Теодор Франц был преисполнен умиления.— Дети есть дети.

Он бросил взгляд на Шарло, который покачивался в качалке.

— Шарло, наверное, тебе разрешат поиграть с детьми господина Деланда.

Разумеется, ему разрешили.

— Слышишь, Шарло, ты можешь поиграть с детьми господина Деланда.

Шарло не двинулся с места. Он не испытывал ни малейшего интереса к потомству знаменитого критика.

Господин Теодор Франц наклонился к Шарло и, ткнув его в ключицу, ласково сказал:

— Не стесняйся, дружок. Господин Деланд разрешил тебе поиграть с его детьми...

Шарло проворно соскочил с качалки и бросился в детскую. Рыжеволосые отпрыски господина Деланда стали ради забавы колоть незнакомого мальчика булавками.

Господин Теодор Франц и хозяин дома, стоя в дверях, с умилением любовались детьми.

Через несколько дней состоялся второй концерт маленького чудо-скрипача. Концерт имел большой успех. Ученикам господина Рошебрюна были посланы контрамарки, и они преподнесли Шарло Дюпону громадный венок.

Шарло сфотографировали,— висящий на его плечах венок казался огромной рамкой.

Это был грандиозный успех. После третьего концерта,— программа его по требованию публики была точно та же, что и на втором,— господин Теодор Франц само-

лично повез Шарло в Скандинавию. Господин Теодор Франц возлагал на Скандинавию особые надежды. Там чудо-скрипач получил боевое крещение. Теперь путь в Европу был открыт. В течение двух лет они объездили полсвета — добрались даже до Баку.

Шарло Дюпон приносил доход, равный доходу от Патти.

В каждом городе в день прощального концерта Шарло отмечал седьмую годовщину своего рождения. Господин Эммануэло де Лас Форесас неизменно носил на шляпе креп.

Господин де Лас Форесас был весьма доволен жизнью. Он зарабатывал много денег и вновь приохотился к кое-каким страстишкам своей молодости. Он всегда питал большую склонность к упитанным блондинкам и однажды сорвал в Бадене банк. Теперь вечерами после концертов он не отказывал себе в удовольствии сыграть партию в баккара и во время европейского турне не раз находил пышнотелых красоток для своей утех.

Так прошло два года.

Большую часть времени компания проводила в поездах. Концерты давались ежедневно. На вокзал надо было отправляться спозаранку. Господин де Лас Форесас энергично дергал Шарло за кудрявые волосы. Мальчик спал тяжелым сном и не хотел просыпаться. Господин де Лас Форесас брызгал ему водой в лицо. Шарло плакал, сидя на постели, и, хныча, натягивал чулки. Все его тело было точно налито свинцом.

Одевшись, он сонно бродил в полумраке среди открытых чемоданов, в которые как попало запикивались вещи. Потом снова засыпал над чашкой тепловатого чая. Его расталкивали, и вся троица, посинев и дрожа от холода, забивалась в пахнущий сыростью омнибус и катила на вокзал. Сборы протекали отнюдь не миролюбиво. Господа Эммануэло де Лас Форесас и Теодор Франц постоянно бранились по утрам.

Шарло забивался в угол купе и, свернувшись в комочек, спал.

Когда Шарло просыпался, он видел перед собой на сиденье отца и господина Теодора Франца в расстегнутых пиджаках — они клевали носом. Господин Теодор Франц храпел.

Вагон раскачивался из стороны в сторону, поезд с ленивым громыханьем двигался вперед. От духоты в купе

Шарло клонило ко сну, но заснуть он не мог. Он вертелся с боку на бок, ему было невозможно и лежать и сидеть. Тогда он становился на колени и глядел в окно. За окном было всегда одно и то же: деревья, дома и поля. Единственное, что занимало Шарло,— это маленькие щелкунчики. На перронах он всегда рвался погладить их.

После полудня они прибывали к месту очередного концерта, незнакомые люди увозили их чемоданы. Шарло с любопытством оглядывал перрон, прижимая к груди игрушки, потом они наспех закусывали, на Шарло натягивали бархатный костюмчик, и все отправлялись на концерт. После исполнения первого номера возбуждение Шарло спадало, и он частенько засыпал в каком-нибудь углу за кулисами — его приходилось будить, когда ему вновь было пора на сцену.

Потом они отправлялись домой ужинать. Под влиянием винных паров голоса господина Теодора Франца и Эммануэло де Лас Форесаса начинали звучать громче. Шарло тоже оживлялся к вечеру. Ему наливали коньяку, с водой, — раздумявшись, он сидел за столом и слушал.

Господин Эммануэло де Лас Форесас знал множество забавных историй о пышнотелых блондинках в обеих частях света. Господину Теодору Францу тоже было что вспомнить. Так Шарло почерпывал кое-какие сведения о щедротах жизни.

Обсуждали они и вопросы ремесла.

Господин Теодор Франц вытягивал ноги и, заложив руки в карманы брюк, пускался в откровенности:

— Репортеров, сударь мой, не следует угощать... Нет ничего глупее, чем угощать репортеров. Я их никогда не угощаю. Угощенье, сударь, настаораживает репортеров. Наоборот — поезжайте к ним домой, ешьте жиденький суп в семейном кругу — ничего не требуйте, сударь, но зато не скупитесь на приглашения — успех вам обеспечен.

— Да, это путь верный, — поддакивал господин Эммануэло де Лас Форесас.

— Самый дешевый путь, — уточнял господин Теодор Франц.

Господин де Лас Форесас кивал головой.

— Мисс Тисберс обошлась мне дешевле бутылки бордоского... Она была особа набожная, в рот не брала спиртного, — и мы все сидели на одной водице, сударь... Под конец она зарабатывала пять тысяч франков за вечер... Вам приходилось ее слышать?

— Да.

— Тогда мне нет надобности распространяться о ее голосе, сударь.

Господин Теодор Франц помолчал.

— Подношение цветов — это тоже вздор... Публика больше не верит в цветы... Мисс Тисберс обошлась мне в двадцать шесть распятий по три франка за штуку — их ей подносила у алтаря целая депутация... Вот это был эффект, сударь... Распятый Христос в обрамлении иммортелей... Мисс Тимберс рыдала...

Они беседовали о виртуозах и певцах из разных стран мира. В этих случаях господин де Лас Форесас лишь вставлял короткие «да» или «аминь».

— Публика не любит экстравагантности, сударь. Публика добропорядочна. Надо взывать к ее сердцу — к чувству. Играть на ее чувствах. В этом весь секрет. Я спас десяток певиц с помощью «Ave Maria» в сопровождении арфы... Я берусь нажать состояние на любой девчонке, которая согласится петь под арфу...

Великих певиц господин Теодор Франц не ставил ни в грош. Они даже раздражали его.

— Да ведь это же форменное издевательство, — говорил он, — издевательство над здравым смыслом.

— Возьмите, к примеру, Патти, — говорил он. — Да, Патти, мой друг. Чистейшее шарлатанство, сударь. Патти разорила двадцать импресарио. А я не намерен заниматься благотворительностью, я человек деловой. Двенадцать тысяч франков за две арии — издевательство, да и только. Нет, моя цель создать звезду — да, да, создать. Я импресарио, сударь, а не дрессировщик слонов.

Шарло подошел ближе, остановился против господина Теодора Франца и слушал, облокотившись на стол.

А господин Теодор Франц бряцал сотнями и тысячами, так что в ушах звенело.

— Создавать, сударь, создавать — вот в чем суть искусства!.. — Господин Теодор Франц откинулся на спинку стула.

Некоторое время мужчины пили в молчании. Шарло по-прежнему во все глаза глядел на господина Теодора Франца, погрузившегося в размышления.

Эммануэло де Лас Форесаса начало клонить ко сну. Когда господина де Лас Форесаса клонило ко сну, кончики его усов уныло обвисали.

— Но хорошие времена приходят к концу — дела идут

все хуже... Все гоняются за контрамарками... На концерты ходят только по контрамаркам... Слишком много развелось знаменитостей, куда ни глянешь — знаменитость... Слишком много шарлатанства... Я говорил, я говорил это господам репортерам. «Господа,— сказал я им,— вы душидите искусство. Слишком много вы пишете фельетонов, господа. Слишком много лжете, господа...» Но что толку... что толку от моих слов. У них уже пальцы сводит от писанья, и все равно они пишут и пишут. Они портят нам коммерцию. Они не делают разницы... Конкуренция... Каждый старается перекричать другого... А публика не слышит ни звука... Да, сударь, больших денег теперь уже не наживешь... Через десять лет я не дам и сотни марок за знаменитость с мировым именем.— Господин Теодор Франц умолк. Его руки безвольно вывалились из карманов.— Не дам и сотни марок...

Господин де Лас Форесас вздрогнул от внезапно наступившей тишины, и тут вдруг вспомнил о Шарло, который заснул, уронив голову на край стола.

— Шарло... Ты еще не спишь... Шарло... Мы совсем забыли о ребенке.

Господин Эммануэло де Лас Форесас стал укладывать сына в постель, мальчик дремал, пока его раздевали.

Но вдруг Шарло открыл глаза и спросонья охрипшим голосом спросил:

— Отец — у нас много денег?

— Денег?

— Да.

— М-м-да, деньги у нас есть.

— А-а...— И Шарло снова заснул.

В последнее время Шарло часто задавал этот вопрос — о деньгах.

Иногда господин Теодор Франц выезжал на место концерта заранее. Тогда отец с сыном путешествовали вдвоем. В поезде господин де Лас Форесас играл с Шарло в карты.

Они играли на фишки. Позолоченные жетоны валялись вокруг них на сиденье. Господин де Лас Форесас рассказывал забавные истории. Он рассказывал о том, как он сорвал банк в Бадене.

— В ту пору, когда в Бадене еще держали банк.

И господин де Лас Форесас рассказывал об игорных притонах в Мексике,— вот где ничего не стоило сорвать куш тому, кто смыслил в этом деле. А уж господин де

Лас Форесас, поверьте, кое-что смыслил. Ну и состояния там наживали! Горы золота! Золотые слюнки текли от одних воспоминаний!..

Шарло слушал, но не спускал глаз с карт и собирал жетоны в кучку.

— А Рио... Рио-де-Жанейро! — Господин де Лас Форесас выронил карты из рук.— К утру золота уже не оставалось, и на стол сыпались бриллианты... Сотни бриллиантов сверкали на столе... А Перу! По сравнению с ним Монако — жалкая дыра! Да, хорошее было времечко... конечно, для тех, кто смыслил в этом деле...

А господин де Лас Форесас, поверьте, кое-что смыслил в годы молодости...

У него и теперь еще ловкие пальцы, пальцы хоть куда.

Был такой трюк с булавкой, сукном и шелковой ниткой,— карта исчезала из-под самого носа банкомета. Господин де Лас Форесас проделывал этот трюк в Баден-Бадене множество раз. Пожалуй, стоит попробовать, не потерял ли он сноровку.

— Попробуй, отец.

Нет, господин де Лас Форесас сноровки не потерял.

— На это нужен талант,— говорил он.— Большой талант. Он сидит в пальцах.— И господин де Лас Форесас вновь проделал все свои трюки перед Шарло.

Мальчик повторил фокус, повторил снова и снова. Господин де Лас Форесас внимательно наблюдал за ним. Он остался доволен, он поучал, он исправлял ошибки.

— Bravo, bravo. Еще разок.

Шарло проделал фокус еще раз.

— Молодец, правильно. Ей-богу, у мальчишки настоящий талант. Погоди... bravo... bravo... Да у тебя в самом деле ловкие пальцы.

Они снова начали играть. Шарло проиграл. Он пожирал взглядом каждую карту и сжимал фишки дрожащей от возбуждения рукой.

Шарло проиграл снова.

— Ты передегериваешь, отец,— закричал он, схватив отца за руку.— У тебя двойная колода.

Господин де Лас Форесас вспыхнул.

— С родными детьми не шулерничают!— И он отказался продолжать игру.

Но Шарло рассердился. Стал играть за партнера, разложил все карты на сиденье. Фишки так и гремели в его руках.

Право же, когда господин Эммануэло де Лас Форесас путешествовал вдвоем с Шарло, они очень весело проводили время.

Когда они бывали одни, вечером после концерта обязательно приходила какая-нибудь дама и ужинала вместе с ними. Дамы очень нравились Шарло. Они целовали его в уши, совали ему в рот свои недокурные сигареты. На ночь они сами раздевали мальчика, и когда на нем оставалась одна ночная рубашка, кружились с ним по комнате в танце. Они во всем потакали ему.

И так щекотали Шарло, что он поднимал визг.

Шарло получал много подарков. Господин де Лас Форесас брал их на сохранение.

Иногда в поезде Шарло вдруг спрашивал ни с того ни с сего:

— Отец, а где наши деньги?

— В Париже.

— Гм. А много их у нас теперь?

— М-м-да. Матери ведь тоже приходится помогать, а это расход немаленький.

Бывали дни, когда мысль о деньгах не покидала Шарло. Потом он снова надолго забывал о них.

Миновал третий год. Господин Теодор Франц велел Шарло разучить четвертый номер — «Марш Радецкого». Шарло исполнял его на детской скрипке. В первый раз Шарло играл его в Пеште. На мальчишке была мадьярская военная форма, и студенты на руках отнесли его домой.

Господина Теодора Франца всегда осеняли счастливые мысли. Он составил благодарственное письмо студентам, где было сказано, что Шарло Дюпон охотно выступит на концерте в пользу пострадавших от наводнения.

Господа Теодор Франц и Эммануэло де Лас Форесас вместе сочиняли послание.

— Разве здесь есть пострадавшие от наводнения? — спросил господин де Лас Форесас.

— Сударь, — ответил господин Теодор Франц. — В Венгрии всегда есть пострадавшие от наводнения.

Господин Теодор Франц был мастером открытых писем. Он набил на них руку. Самым большим своим успехом он был обязан открытому письму. Это было в эпоху мисс Тисберс, тогда в открытом письме к публике он просил воздержаться от рукоплесканий на концерте

в церкви, дабы пощадить скромность певицы. Концерт принес двадцать шесть тысяч франков брутто. («А как вы полагаете, во что мне обошлось помещение, сударь? Ни во что! Оно мне досталось даром! За церкви не надо платить ни гроша!») И весь город, собравшись перед церковью, кричал: «Ура!»

Господин Теодор Франц написал, что отец феноменального ребенка, господин Эммануэль Дюпон, с честью служивший своему отечеству, Франции, и хранивший верность королевскому дому, герцогам Орлеанским, бесконечно счастлив, что его сыну предоставляется возможность выразить симпатию стране, которая всегда неколебимо уповала на процветание и успехи его драгоценного отечества.

Господин де Лас Форесас прослезился.

Билеты на концерт в пользу пострадавших от наводнения были распроданы еще прежде, чем открылась Контора по их продаже. Концерт закончился исполнением «Kakadu der Schneider». Когда Шарло вызвали в девятнадцатый раз, он исполнил сверх программы «Марш Радецкого».

На следующий день началась гастрольная поездка по Венгрии. Она принесла господину Теодору Францу двести тысяч гульденов.

Шарло заметно вытянулся. Над коротенькими носочками торчали худые и длинные красные ноги. Господин Теодор Франц распорядился обшить штанишки кружевом, чтобы прикрыть колени.

Как-то вечером господин Франц взглянул на Шарло, развалившегося на стуле с неизменной сигаретой в зубах, и во взгляде его выразилось огорчение.

— Сударь,— сказал он,— Шарло придется стать восьмилетним, какие уж там семь лет, когда парню впопору поступать в гвардию.

Шарло было без малого одиннадцать.

Они давали концерты в Берлине. По окончании гастролей Шарло должен был вернуться в Париж и месяц отдохнуть перед поездкой в Америку.

Шел один из первых концертов. Шарло кончил играть и, стоя за кулисами, прислушивался к аплодисментам в зале. За кулисами было довольнолюдно.

— На сцену! На сцену!—скомандовал господин Теодор Франц.

Шарло вышел на сцену. Разразился гром аплодисментов. За кулисы — снова на сцену и потом еще раз на сцену.

Шарло стоял за кулисами, разгоряченный и взволнованный аплодисментами. В зале не смолкали хлопки.

— На сцену! На сцену! — кричал господин Теодор Франц.

Снова на сцену.

Шарло вернулся за кулисы. Он прижимал к груди целую охапку цветов, потом в изнеможении уронил их на пол и прислонился к дверному косяку.

Вдруг Шарло почувствовал, как чья-то рука провела по его волосам. Он поднял голову. Над ним склонилось ласковое, грустное лицо с большими глазами. В зале еще гремели аплодисменты.

Шарло сам не знал, почему он вдруг обвил руками шею молодого незнакомца и прижался к нему.

Незнакомец продолжал гладить мальчика по голове. — *Rauve enfant... mon pauvre enfant*¹.

Это был критик одной крупной газеты. С тех пор он каждый день приходил за Шарло, и они отправлялись вдвоем на прогулку. Они гуляли по аллеям Тиргартена. Шарло всегда держал Гуго Беккера за руку. Он, как старичок, рассказывал о своих доходах и поездках.

— А где же твои деньги? — спросил господин Беккер.

— В Париже — у... — Шарло чуть было не сказал «у моей матери». — В Париже, — повторил он. — Отец посылает их в Париж.

— Ах, вот как, значит, они у твоего отца.

Все время, пока они прогуливались по аллеям парка, Шарло не закрывал рта.

Господин Теодор Франц отбыл в Париж. Через два дня уехал и господин де Лас Форесас.

— Я должен все приготовить к его возвращению, — объявил господин де Лас Форесас. — Я должен заклать жирного тельца. — И господин Эммануэло де Лас Форесас тайком отправился в Потсдам с блондинкой весом двести двадцать фунтов.

Шарло остался с господином Беккером.

После прощального концерта господин Беккер пришел к Шарло, чтобы уложить его чемодан.

¹ Бедное дитя... бедное мое дитя. (франц.)

— Шарло,— сказал он,— я сэкономил для тебя немного денег... Видишь ли... Господин Теодор Франц и твой отец о них не знают... Мне удалось снять концертные залы дешевле, понимаешь... тут тысяча марок...

— Тысяча марок? Мне — мне *самому*...— Шарло пожирал глазами деньги.— Они *мои*? Все мои? — Он взял их, разложил кредитки веером на диване, и гладил их, и отходил в сторону, и любовался ими.

Он говорил без умолку. О том, что он накупит, о том, что он подарит... на все эти деньги.

Он разделил кредитки на несколько частей: вот эти — для одного, эти — для другого.

— Тут, наверное, хватит на платье для мамы... на шелковое платье...

Он долго болтал о матери и обо всех своих братьях и сестрах,— как они живут, какие они, какая у них квартира...

— Мама — она теперь часто плачет...

Вдруг он залился краской и умолк.

— Ну да... потому что...— Шарло сам едва не разревелся.— Ведь это неправда, будто мама умерла... Это все придумал господин Теодор Франц... Мама дома... Отец посылает деньги ей, чтобы она их хранила...

Они собрали кредитки и зашили в курточку Шарло, подкладку.

— Эти деньги ты лучше отдай тете, Шарло. Пусть никто о них не знает... Тогда ты сможешь их взять, если захочешь что-нибудь купить... а не то...

— Хорошо... я отдам их тете... тогда я смогу их взять... когда захочу...

Шарло подошел к господину Беккеру и на цыпочках потянулся к нему.

— Вы так... добры ко мне,— сказал он.

— Что ты, Шарло!— Господин Беккер провел своей белой рукой по волосам мальчика.

— У вас есть дети?— спросил Шарло.

— Нет... У меня нет детей...

— Жалко...

— У меня никогда не будет детей, Шарло.— Рука господина Беккера соскользнула на плечо Шарло, и он на мгновение прижал мальчика к себе...

— А теперь пора складывать чемодан, дружок...

Прощаясь с господином Беккером, Шарло заливался слезами.

Семья господина Эммануэло де Лас Форесаса по-прежнему ютилась на шестом этаже. Госпожа де Лас Форесас поседела. В остальном все осталось как было.

В два часа господину де Лас Форесасу подавали в постель первую чашку кофе. Потом он вставал. Госпожа де Лас Форесас помогала мужу одеться. Во время этой процедуры она дрожала, как осиновый лист, потому что по утрам муж обычно бывал слегка не в духе. Чуть что он пускал в ход щипцы для завивки. Стоило ему не угодить, и он больно тыкал ими в шею госпожи де Лас Форесас.

Вся семья замирала от страха, пока господин де Лас Форесас совершал свой туалет.

Покончив с одеванием, господин де Лас Форесас уходил из дома. А госпожа де Лас Форесас бродила из комнаты в комнату, с трепетом поджидая его возвращения.

Девять полуголодных малышей росли, как сорная трава.

Шарло сразу вошел в привычную колею. Он даже ни разу не спросил о деньгах.

В один прекрасный день в доме не осталось ни гроша. Госпожа де Лас Форесас плакала в три ручья. Ей нечего было подать мужу на обед.

Шарло пошел к тетке и взял тысячу марок. Госпожа де Лас Форесас зашила девять сотен в старую перинку.

Но в душе Шарло, точно у затравленного зверька, заятаилась глубокая, тупая ненависть к отцу.

Господин де Лас Форесас часто вывозил сына в свет. Они ходили в театры и в оперу. Господин Теодор Франц предоставил им ложу. В последние дни каникул Шарло катался в Булонском лесу на двух маленьких пони. Шарло был одет в шотландский костюмчик. И пони и костюм подарил господин Теодор Франц. Хорошая душа!

Госпожа де Лас Форесас приходила в парк и, сидя на скамейке, глядела, как Шарло пронесется мимо в длинной цепи экипажей.

Но месяц истек, и они уехали «осваивать» Америку.

Вообще-то говоря, господин Теодор Франц Америку не любил. Америка оскорбляла его эстетические чувства. «Я не барабанщик»,— говорил господин Теодор Франц.

В Америке он нажил целое состояние.

Шарло делал все, что от него требовали. Ночи он проводил на железной дороге и часто давал по два концерта в день. У него появился какой-то странный сонный

взгляд, он ни к чему не проявлял интереса. Рот он открывал редко. Если он и думал что-то про себя, то, во всяком случае, никому не докучал своими мыслями.

Только непрерывно курил сигареты.

Час за часом прикуривал он одну сигарету от другой и, не мигая, глядел на голубой дымок. Под конец вокруг него стояло облако дыма.

Но при всем том, как уже было сказано, он шел туда, куда его посылали, и неукоснительно выполнял то, что от него требовали. И всегда чувствовал себя усталым, точно водонос.

В Чикаго ему подарили маленькую золотую скрипку, украшенную бриллиантами. Ему преподнесли ее во время концерта. В этот вечер господин де Лас Форесас не мог присутствовать на концерте — пышные формы американок все чаще отвлекали господина де Лас Форесаса от концертов сына — и он не видел скрипки.

На другое утро Шарло попросил швейцара гостиницы продать скрипку, а деньги послал матери в Париж.

За утренним шоколадом в постели господин де Лас Форесас прочитал в газетах о скрипке.

Он захотел на нее взглянуть.

— Я ее продал, — сказал Шарло.

— Что? — Господин де Лас Форесас едва не выронил чашку из рук.

— Продал.

Шарло встретил взгляд отца.

— А деньги послал домой, — сказал он.

Господин де Лас Форесас застыл с чашкой в руке и не проронил ни звука.

Очень уж странное выражение было на лице у Шарло.

Маленький чудо-скрипач рос не по дням, а по часам — господину Теодору Францу пришлось объявлять его в афишах десятилетним. Они побывали в Калифорнии, посетили Гавану, Мехико и Бразилию.

— Сударь, — говорил господин Теодор Франц господину де Лас Форесасу. — Плюньте мне в глаза, но времена нынче такие... Сударь! Мы едем в Австралию.

Господин де Лас Форесас считал, что деньги всюду пахнут одинаково приятно. И они отправились в Австралию.

Шарло не возражал. Впрочем, его мнения никто не спрашивал.

Иногда вечером за стаканом вина, бросив взгляд на бледного Шарло, который, уронив руки, дремал на своем стуле, господин Теодор Франц говорил господину де Лас Форесасу:

— А знаете, Шарло и вправду славный малыш... Понимаете, сударь, дети хороши тем, что не ставят палки в колеса. Это вам не тенора... Они не сказываются больными — они выносливы... На них всегда можно положиться... Я вам скажу напрямик, я охотно «выпускаю» детей.

Чудо-ребенок играл как заводной. Но иногда на него находили приступы упрямства.

В один прекрасный день, упаковывая свой чемодан, Шарло вынул из него одну за другой и изломал все игрушки. Он бил ими о край стула, а потом топтал ногами. Стальной обруч он изо всех сил прижимал к стене, пока тот не согнулся, — Шарло стонал от усилия.

Господин де Лас Форесас вошел в комнату и обнаружил разгром. Шарло с пылающими щеками стоял посреди обломков.

— Что это значит? Что ты сделал с игрушками?

— Переломал, — ответил Шарло.

— Ты взбесился, мальчишка!

Шарло сжал кулаки.

— Я не возьму их с собой. — Он посмотрел в глаза отцу. — Не трогай меня, я все равно их не возьму.

У господина де Лас Форесаса случались минуты слабости: он выпустил воротник Шарло и стал подбирать обломки.

На улицах прохожие оглядывались на Шарло. Очень уж потешный был у него вид: детская курточка, длинные, болтающиеся руки, тощие ноги с голыми коленками. К тому же господин Теодор Франц всегда покупал ему детские соломенные шляпы.

Уличные мальчишки часто дразнили его.

Однажды Шарло столкнулся с целой оравой мальчишек, возвращавшихся из школы.

— Глядите-ка, маменькин сынок! Эй ты, сосуночек! — закричал один.

И вся ватага начала улюлюкать, свистеть и дразниться.

— Эй ты, где твоя кормилица?

— Небось не умеет сам штаны застегнуть...

— Ему, наверное, нет и пяти...

пели они хором.

— Смените ему пеленки.

— А где его соска?

— Вытрите ему нос!

Шарло схватил камень и швырнул в мальчишек.

Но теперь он ничем не соглашался выйти на улицу. Господину Теодору Францу пришлось пустить в ход весь свой авторитет.

— Не пойду.— Шарло прижался к стене, словно боялся, что его силой вытолкнут из дома.— Не хочу...

Господин Теодор Франц занес было руку для тумака. Шарло стоял, набычившись и сжав зубы. Глаза его пылали.

Господин Теодор Франц опустил руку.

— Не пойду в курточке,— сказал Шарло.

— Не пойдешь в курточке... Да разве...— Господин Теодор Франц взглянул на Шарло: худой, долговязый, он давно вырос из своей детской курточки.

Господин Теодор Франц понял, что номер с курточкой больше не пройдет. Шарло получил пиджак.

Ему было почти четырнадцать.

Гастрольная труппа «Шарло Дюпон» возвратилась в Европу.

Господин Теодор Франц решил составить артистический букет. Он решил соединить на одной афише шесть знаменитостей с мировым именем. Публике все приелось, ее надо ошеломить. Господин Теодор Франц разглагольствовал о сверкающем созвездии талантов, о Млечном Пути на небосклоне европейского искусства. В созвездие входил чудо-скрипач Шарло Дюпон.

Помимо него, участниками гастролей были: певица-контральто с формами во вкусе госпоина де Лас Форесаса, баритон, женоподобный тенор — исполнитель романсов, виолончелист и мадам Симонен, пианистка.

Они колесили по Европе с двумя программами.

— Сударь,— объявил господин Теодор Франц,— я еду в купе для курящих.

Господин де Лас Форесас тоже взял билет в купе для курящих.

Остальные ехали в общем купе.

Купе было завалено мехами и грязными подушками. Контральто снимала корсет и оставалась в одной красной блузке. Она вдавливалась верхней половиной своего туловища в груды подушек, выгибаясь так, словно вот-вот встанет на голову. Мужчины храпели, отвернувшись к стене.

Звезды и созвездия талантов господина Теодора Франца во время путешествия по Европе утрачивали признаки пола. Церемоний друг с другом не разводили.

Пианистка страдала от духоты. Она раздевалась почти догола и, свернувшись, как кошка, закидывала за голову обнаженные руки.

Шарло просыпался и оглядывался вокруг. Часами, не отрываясь, смотрел он на округлые руки пианистки.

Другие просыпались тоже. Ощущая какую-то пустоту в голове, все сидели и тупо глядели друг на друга. Пианистка упражняла пальцы на немой клавиатуре.

У гастролеров в ходу было четыре остроты, их повторяли по многу раз на дню.

Потом все снова засыпали.

Подкравшись на цыпочках к пианистке, Шарло любовался ее детским лицом с нежными веками. Теперь Шарло уже не спал так много в поезде. Он целыми часами тихонько сидел, не сводя глаз со спящей мадам Симонен.

Он сидел не шелохнувшись. Боялся, вдруг кто-нибудь проснется. А ему так нравилось одиноко сидеть в уголке и смотреть, как она спит.

Упражняясь, она позволяла ему держать на коленях немую клавиатуру.

На промежуточной станции отправлялись обедать в ресторан. Дамы два-три раза проводили пуховкой по лицу, закутывались в манто. Шарло всегда первым оказывался в ресторане. Выбрав лучшее место, он становился за стулом и ждал мадам Симонен.

Все потешались над долговязым Шарло в штанишках до колен.

Из звезд артистического созвездия господина Теодора Франца он пользовался наименьшим успехом. Он стал неуклюжим, не знал, куда девать руки, и, стоя на сцене, чуть сгибал колени, словно старался спрятать ноги.

— Как ты стоишь, как ты стоишь, я спрашиваю? — Господин де Лас Форесас кипел от негодования. — Ты

что, хочешь усыпить их своей игрой? Ты этого хочешь? Идиот! На сцену.

Шарло возвращался на сцену еще более неуклюжей походкой.

Господин де Лас Форесас стоял за кулисами.

— Держись прямо! Почему ты не улыбаешься? Держись прямо! Кланяйся!

В зале не раздалось ни одного хлопка.

— Кланяйся... кланяйся...

Шарло извлекал из своей скрипки тоненькие, острые, как иголки, звуки.

Господин де Лас Форесас в ярости исщипал вундеркинда ногтями до крови.

Когда Шарло исполнял свой последний номер, за кулисами рядом с господином де Лас Форесасом вырос господин Теодор Франц.

— Как он *стоит*, скажите на милость? — спросил господин де Лас Форесас. — Как он *стоит* в последнее время?

— Сударь, он *стоит* так, точно наложил в штаны. — И господин Теодор Франц удалился.

Худшей обиды господин Теодор Франц не мог нанести господину де Лас Форесасу.

Раздались жиденькие хлопки с галерки.

— На сцену! На сцену! — закричал господин де Лас Форесас. — Улыбайся, улыбайся же, черт тебя побери!

В последнее время господин де Лас Форесас не стеснялся в выражениях.

Вундеркинду вполнину уменьшили жалованье.

Для Шарло это не было неожиданностью. Он этого ждал — если вообще чего-нибудь *ждал*.

Но вечерами, после концертов, он часто садился на полу возле рояля мадам Симонен — это было его любимое место — и в мучительной тоске прижимался головой к инструменту.

Тоска охватывала его с особой силой, когда он глядел на нее или когда она играла. В эти минуты Шарло чувствовал себя глубоко несчастным.

Труппа кочевала из города в город. Господин Теодор Франц чаще всего выезжал вперед. В этих случаях купе для курящих делила с господином де Лас Форесасом контральта.

Мадам Симонен раскладывала пасьянсы на немой клавиатуре, которую Шарло держал на коленях.

Баритон часто рассказывал анекдоты. О каждом европейском виртуозе у него была припасена какая-нибудь скандальная история.

Мадам Симонен широко открывала блестящие глаза и хохотала — даже карты валялись у нее из рук. Шарло краснел и терялся, когда она так хохотала.

— А что сделала *она*? — спрашивала мадам Симонен.

— Отужинала на даровщинку в тот вечер, а также в последующие... вполне невинно.

Женородный тенор поднимал глаза от газеты. Он вечно корпел над газетами, отыскивая в них свое имя, хотя не понимал чужого языка.

— А знаете, что рассказывают про него? — спрашивал он.

— Нет. Что именно?

— Каждый раз, когда появляется новый маленький Лизецкий, он выясняет, с кем из друзей виртуоза у него есть сходство... А потом идет к нему и занимает тысячу франков... от имени этого друга.

Шарло хотелось одного — чтобы мадам Симонен перестала смеяться.

Больше всего ему нравилось, когда она сидела тихо, сложив руки на коленях. Тогда она часто улыбалась про себя и глаза ее блестели.

В эти минуты Шарло чувствовал себя счастливым и кровь горячо прилиwała к его сердцу.

Шарло становился все более неловким. Он не знал, куда девать руки, и вечно спотыкался. Долговязый подросток стеснялся своей одежды — детского костюмчика с кружевами.

В гостиницах он всегда забивался в угол номера. И там час за часом неподвижно сидел, закрыв лицо руками.

Он был счастлив, когда его оставляли в покое и ему не надо было разговаривать.

В каждом городе Шарло замечал, в какое время дети возвращаются из школы. Он стоял у окна и наблюдал за школьниками, которые стайками брели домой с учебниками в ранцах. Взгляд у Шарло был неподвижный, как у слепого.

Остальные знаменитости и созвездия господина Теодора Франца беспокойно слонялись по гостинице, то и дело заглядывая в номера друг друга. Они не любили одиночества и скучали наедине со своим скудным репер-

туаром из шести пьес. Брюзгливые и раздраженные, они бродили из комнаты в комнату, вечно жалуясь то на холод, то на жару.

У каждого было множество болезней и целый арсенал пузырьков с лекарствами.

Чаще всего они собирались у мадам Симонен, которая по несколько раз на дню подсаживалась к роялю и играла гаммы.

Шарло не участвовал в общей беготне. Он устало и неподвижно сидел в своем углу. У господина де Лас Форесаса была пропасть белья. В номере на каждом стуле валялось по грязной рубашке.

Вечером перед концертом в ожидании экипажей артисты собирались у мадам Симонен. Они суетливо металась по комнате, словно стая кур. У одного болели пальцы, у другого горло.

Во время концерта мадам Симонен и контраalto за кулисами принимали газетных репортеров. Ледяным тоном светских дам они беседовали с критиками, которые томилась в своих роскошных черных фраках, почтительно пялили глаза на бриллиантовое кольцо, украшавшее шею мадам Симонен, и глупо улыбались.

Бриллианты госпожи Симонен стоили несметных денег. Она небрежно подпирала свою детскую головку рукой, искрившейся драгоценными камнями,—ее браслет демонстрировался на всех всемирных выставках,—и улыбалась величаво и невозмутимо.

Шарло забывал обо всем на свете. Он недвижно стоял в углу и только *смотрел*. Смотрел как зачарованный.

Его гнали на сцену для очередного выступления. Но он возвращался назад, словно притягиваемый лучом света. Во всем мире существовала только одна *она*, прекрасная и ослепительная.

Приходили незнакомые дамы с цветами. Мадам Симонен принимала цветы, благодарила и целовала незнакомых дам в щеку.

После концерта господа репортеры подавали мадам Симонен и певице длинные манто, и дамы, опираясь на руку критиков, шли к экипажу.

Карета трогалась с места, и дамы улыбались из окон, держа букеты в руках.

— Идиоты,—говорила мадам Симонен.

Певица высовывала язык, и обе хохотали, как гимназистки.

Шарло чуть не плакал, когда мадам Симонен смеялась таким смехом. Он сидел в темном углу кареты и до боли в руках сжимал два лавровых венка.

Эти два венка принадлежали господину де Лас Форесасу. Их бросали вундеркинду после исполнения «Kakadu der Schneider».

После концерта артисты приходили в хорошее настроение. Они ужинали в неглиже у мадам Симонен. Болтали о виртуозах. А иногда о деньгах. Контральто была богата, она владела двумя миллионами и замком в Нормандии. У мадам Симонен тоже было состояние. Она сэкономила на грошах и сорила тысячами.

Артисты говорили о своих заработках. Они участвовали в прибылях. Иной раз они получали по пятнадцати тысяч франков за вечер.

О деньгах они говорили с откровенной алчностью.

— Искусство! — заявляла мадам Симонен. — Да найдется ли в публике десять человек, которые хоть что-то понимают в искусстве? Дамы замечают, что у меня красивые пальцы. Мужчины пялят глаза на мои плечи. Гадость, да и только! Искусство — пф! Я хочу быть богатой — вот и все!

Иногда ими овладевала неистовая скаредность, и тогда они подзывали официанта и ругались на чем свет стоит, что их обсчитали на несколько шиллингов. Они не позволят, чтобы их грабили. Они разъезжают не для собственного удовольствия, не для того, чтобы на них наживались гостиницы. Они разъезжают ради денег.

Они могли уехать из гостиницы, ни гроша не оставив на чай коридорному. А тот полночи бегал по гостинице, выполняя их поручения.

— Неужели мне всю жизнь придется терпеть этот сброд! — жаловалась мадам Симонен. — Неужели я должна мучиться до самой старости!.. Я разъезжаю ради денег...

В это самое утро мадам Симонен выкинула тысячу сто франков на кинжал из дамасской стали.

— Может, они воображают, что мне приятно смотреть, как они считают ворон, — говорила мадам Симонен.

Они перемывали косточки неудачникам, которые были бедны и, чтобы заработать на хлеб, пели, не имея голоса, или били по клавишам непослушными скрюченными пальцами.

Шарло слушал их разговоры. Не со страхом — для этого его чувства слишком притупились. Он испытывал такую усталость, что ему трудно было шевельнуть рукой.

Ложась в постель, он горько плакал. Плакал из-за своего костюма и из-за госпожи Симонен, из-за тех, кто больше ему не хлопал, и из-за того, что госпожа Симонен говорила так много гадких вещей.

Однажды вечером Шарло долго лежал в постели и глядел в нылающий камин. Потом встал, взял два высохших лавровых венка господина де Лас Форесаса и швырнул их в огонь.

Наутро после концертов гастролерам приносили газеты. Они не понимали чужого языка, но подсчитывали, сколько строчек посвящено каждому из них, и пытались догадаться о смысле рецензий. Шарло никогда не притрагивался к газетам в присутствии остальных. Но после обеда, когда все успевали забыть о рецензиях, он украдкой собирал газеты, забивался в уголок у себя в номере и, разворачивая их на коленях одну за другой, вглядывался в одну-единственную жалкую строчку с упоминанием «феномена» — Шарло Дюпона.

Однажды после ужина мадам Симонен стала перелистывать какие-то ноты.

— Красивая пьеса! — сказала она. — Будь в нашей труппе скрипач... Ах, да! — Она засмеялась. — Шарло ведь играет на скрипке. Шарло, возьмите вашу скрипку.

Шарло принес скрипку, и они стали играть дуэт.

Они проиграли несколько фраз, она кивнула.

— Подумайте — совсем недурно, право, недурно. Нет, просто хорошо. Так... так... отлично, Шарло.

Шарло играл, как во сне. Только ноты явственно стояли перед глазами — и еще ее лицо.

— Прекрасно, Шарло.

У Шарло было такое чувство, будто госпожа Симонен ведет его за собой. Он играл, и в глазах его стояли слезы. Ему казалось, еще минута, и он разрыдается.

Пьеса кончилась.

— Друзья мои, да ведь у него талант! — сказала госпожа Симонен. — Шарло, мы будем играть вместе.

Шарло и не мечтал о таком счастье. Госпожа Симонен играла с ним с утра до вечера. Глядя на него большими блестящими глазами, она улыбалась, когда все шло хорошо. Она принаравливалась к нему, помогала ему своим мастерством.

— Да ведь это смертный грех,— у мальчика настоящий талант... Мы будем вместе играть на концерте.

Они выступили вместе. Когда Шарло вновь услышал,— впервые за долгое время,— как зал разразился аплодисментами, из глаз его брызнули слезы. Они вернулись за кулисы, Шарло схватил обе руки мадам Симонен и стал покрывать их поцелуями, шепча сквозь рыдания какие-то бессвязные слова.

Номер стал гвоздем программы. Мадам Симонен потребовала, чтобы Шарло вновь платили прежние жалованье.

Теперь Шарло не выходил от мадам Симонен. Он сидел у рояля, когда она репетировала. Она щебетала, как школьница, пока ее стремительные пальцы летали по клавишам. Она смеялась звонким детским смехом и что-то лепетала нежным голоском. Выражение ее лица каждую минуту менялось. Ох, уж эта резвушка мадам Симонен, ну просто настоящий котенок.

Для Шарло все счастье в мире заключалось в одном — сидеть у рояля, быть рядом с ней. А потом, оставшись наедине с собой, думать о ней полночи напролет и целовать цветы из ее букета, которые он хранил в медальоне, висевшем на цепочке у него на шее.

...Но вот гастроли закончились. Все разъехались кто куда.

Мадам Симонен собиралась в поездку по Америке.

Шарло не задумывался над тем, что его ангажемент кончился, что ему предстоит вернуться в Париж на шестой этаж. Ему предстояла разлука с мадам Симонен — и ему казалось, что он умирает.

Настал последний вечер. На другое утро Шарло должен был уехать. Госпожа Симонен пригласила госпожину де Лас Форесаса и Шарло отужинать с ней — только их двоих.

Шарло молчал и не прикасался к еде.

— Ешьте, Шарло,— говорила мадам Симонен.— Это ваши любимые блюда.

Шарло машинально повиновался.

— Спасибо,— сказал он.

Он сидел, точно окаменев, и в немом отчаянии не сводил с нее глаз.

Шарло сознавал лишь одно: его счастьем пришел конец.

Сегодня, нынче вечером, все кончится, и помочь нельзя ничем, ничем.

Господин де Лас Форесас чувствовал себя глубоко уязвленным.

Господин Теодор Франц очень грубо обошелся с господином де Лас Форесасом.

— Вы покидаете моего Шарло в критическую минуту,— сказал за завтраком господин де Лас Форесас.

— Сударь,—ответил господин Теодор Франц,— неужто вы думали, что это шарлатанство будет продолжаться вечно?

По правде говоря, господин де Лас Форесас уже давно страдал от бестактности господина Теодора Франца. Неотесанный мужлан! Его манеры всегда коробили господина де Лас Форесаса.

— Он позволяет себе *такие* выражения... И это при мне, человеку светском...— говорил господин де Лас Форесас.

После ужина мадам Симонен села за рояль. Шарло устроился на полу, прижавшись головой к инструменту.

— Значит, вы едете в Париж?— спросила мадам Симонен.

— Да, в Париж.

— Вы там живете постоянно?

— Да,—ответил господин де Лас Форесас,— постоянно.

— Где же? Как знать, может, я когда-нибудь навещу вас...

— Бульвар Осман.— Интонация господина де Лас Форесаса переселяла семью де Лас Форесас в бельэтаж.

Внезапно Шарло разрыдался.

На прощанье мадам Симонен сказала:

— Не забывайте меня, обещаете, Шарло?

Шарло обратил на нее взгляд, полный собачьей преданности и покорности. Но его дрожащие губы не могли выговорить ни слова.

На другое утро, когда господин де Лас Форесас ненадолго отлучился, официант сунул Шарло какой-то конверт.

— Вам лично,— сказал он.

Шарло спрятал конверт.

В нем лежал чек. На визитной карточке было написано: «Учителю, который будет учить Шарло играть на скрипке, от Софи Симонен». Когда Шарло приехал в Париж, надпись почти совсем стерлась. Так усердно целовал Шарло записку госпожи Симонен.

На шестом этаже в семье де Лас Форесас царило уныние. Поведение концертных импресарио оскорбляло лучшие чувства господина де Лас Форесаса. Никто не интересовался его чудо-ребенком.

— Сударь,— сказал господин де Лас Форесас господину Теодору Францу.— Вы, стало быть, не намерены возобновлять контракт с вундеркиндом?

— Сударь, разве я выразился недостаточно ясно? Нет! *Я не намерен* возобновлять контракт с господином Дюпоном.

— Стало быть, мы свободны от всех обязательств?

— От всех.

— Вот это мне и надо было установить, сударь,— заявил господин Эммануэло де Лас Форесас.— Теперь от импресарио не будет отбоя.

Господин Эммануэло де Лас Форесас поместил в «Фигаро» сообщение, что чудо-скрипач Шарло Дюпон — «наш прославленный маленький соотечественник», закончив триумфальное кругосветное турне, временно отключил все ангажементы.

Импресарио что-то не показывались.

Господин де Лас Форесас подождал неделю, потом вторую: никто не предложил Шарло даже провинциального турне. Господин де Лас Форесас начал обивать со своим вундеркиндом пороги концертных агентств.

Они обошли все агентства. К сожалению, в настоящее время на вундеркиндов спроса не было.

Шарло, бледный, ссутулившийся, прятался за спину господина де Лас Форесаса. Он чувствовал себя кругом виноватым.

Деньги мадам Симонен были давно проедены. Госпожа де Лас Форесас, плача, ходила привычной дорогой в ломбард. Господин де Лас Форесас клял детей, которые вгоняют в гроб своих родителей.

Шарло взял несколько уроков у одного преподавателя консерватории. Профессор привязался к долговязому подростку в детском костюмчике, он находил, что Шарло делает успехи. Вскоре он добился для Шарло приглашения выступить в концертном зале господина Паделу.

У Шарло точно камень с души свалился. Ему казалось — он впервые в жизни по-настоящему счастлив. Вихрем мчался он домой по бульвару, от восторга налетая на встречных прохожих: в воскресенье он будет играть у господина Паделу!

Казалось, семейство де Лас Форесас внезапно проснулось от тяжелой спячки. Госпожа де Лас Форесас засмеялась, — дети никогда в жизни не слышали смеха матери, — а потом без всякого перехода расплакалась. Госпожа де Лас Форесас была слишком счастлива. Дети тоже заревели на разные голоса и стали бросаться друг на друга, как дикие звери в клетке.

Господин де Лас Форесас вернулся домой — ему сообщили новость.

— Я всегда говорил, — заявил господин де Лас Форесас. — Господин Паделу — настоящий ценитель талантов.

Шарло спал на диване в столовой. Вечером госпожа де Лас Форесас пришла к сыну. Она положила голову Шарло к себе на колени и ласкала его, как маленького. Госпожа де Лас Форесас была на седьмом небе от счастья.

— Я уже не верила, не смела верить, Шарло, нет, не смела.

— Мама...

— Как они мучили моего мальчика, как мучили... столько лет.

Госпожа де Лас Форесас сжала в ладонях голову Шарло, глядела на сына и целовала его волосы.

— Родной мой сыночек!

Госпожа де Лас Форесас стала вспоминать то время, когда Шарло был крошкой, совсем крошкой, и она разучила с ним первую мелодию.

— Ты помнишь, это был «Der Schneider Kakadu». Помнит ли он? Еще бы!

— Ты играл стоя и все равно еле дотягивался до клавиш... Ты был тогда совсем крошка... Но ты так быстро запомнил мелодию, у тебя был редкостный слух... Бывало, раза два прослушаешь и играешь без ошибки... без единой ошибки... А потом настали эти страшные годы... и моего мальчика таскали по белу свету... Но теперь опять все хорошо — все хорошо.

Госпожа де Лас Форесас была на седьмом небе от счастья.

— Я уж не верила, мой мальчик, нет, не смела верить. Я думала, для моего сыночка все уже кончено.

Шарло рассказывал о госпоже Симонен: она играла с ним, она говорила, что у него есть талант.

— Благослови ее бог!.. Да, благослови ее бог. — Госпожа де Лас Форесас гладила кудрявые волосы Шарло,

дыхание мальчика постепенно становилось глубже, и он уснул.

Госпожа де Лас Форесас осторожно сняла руку с головы сына и встала.

Она взяла ночник и долго глядела на своего долговязого мальчика, который улыбался во сне. По щекам ее струились слезы. У госпожи де Лас Форесас глаза вообще были на мокром месте.

На другой день госпожа де Лас Форесас поссорилась с мужем. Это случилось впервые за много лет. Обычно семейные сцены сводились к тому, что муж ругал госпожу де Лас Форесас, а она молчала. Но на этот раз она набралась мужества. Госпожа де Лас Форесас решила сшить Шарло новый черный костюм для выступления на концерте.

Господин де Лас Форесас привел жену в повиновение с помощью щипцов для завивки. Госпожа де Лас Форесас заплакала и смирилась.

Шарло отправился к господину Паделу в курточке и коротких штанишках. Господин де Лас Форесас сопровождал сына.

Господин де Лас Форесас первым вошел в концертный зал. Шарло следовал за ним, неуклюжий, с футляром в руке.

Навстречу им вышел какой-то мужчина.

— Вы господин Паделу? — спросил господин де Лас Форесас. — А это вундеркинд Шарло Дюпон.

Господин Паделу даже не поглядел в сторону госпожи де Лас Форесаса.

— Господин Дюпон? — спросил он Шарло.

— Да.

— Сударь, — сказал он. — Как видно, произошло недоразумение. Вы пришли не на маскарад. Вы пришли в концерт. Будьте любезны, вернитесь домой и переоденьтесь.

Господин де Лас Форесас собрался было изобразить на лице глубокую обиду от оскорбления господина Паделу, но господин Паделу уже повернулся к ним спиной.

Помедлив немного, Эммануэло де Лас Форесас двинулся к выходу. Шарло, рыдая, спустился за ним по лестнице. Весь оркестр был свидетелем этой сцены.

Госпожа де Лас Форесас заняла костюм у соседей с пятого этажа, и Шарло Дюпон вновь поехал на концерт.

Эммануэло де Лас Форесас не пожелал сопровождать сына.

Господину де Лас Форесасу было больше неспособности терпеть обращение всех этих бестактных людей.

«Господин Шарло Дюпон произвел благоприятное впечатление», — писала «Фигаро».

Шарло Дюпон получил ангажемент в провинцию. Его выступления почти не давали сборов.

Вернувшись в Париж, он решил наняться на работу в оркестр.

Шарло явился к дирижеру и сыграл ему одну из вещей своего репертуара. Дирижер остался доволен.

— Недурно, недурно. Только звук слабоват.

— Это оттого, что скрипка мала, — сказал Шарло.

— Возможно. Как вас зовут, сударь? — спросил дирижер.

— Шарло Дюпон.

— Шарло Дюпон... Простите — знаменитый вундеркинд — это не вы?

— Я самый, — ответил Шарло.

— Ах, вот как. — Дирижер несколько смутился. — Видите ли, пожалуй, для виртуоза это место не подходит. Мы... вы сами понимаете, господин Дюпон, нам нужны люди, которые умеют работать.

И он заверил господина Дюпона, что вакансия, собственно говоря, уже занята.

У Шарло снова появился импресарио.

Путь гастрольной труппы «Шарло Дюпон» пролегал теперь по захолустным городкам. Пустые залы, непоплаченные счета, описанные за долги чемоданы, бесконечные томительные дни. Как страшно ждать, пока узнаешь, много ли продано билетов. И какое счастье, когда выручки хватает хотя бы на покрытие издержек.

Шарло Дюпон почти всегда испытывал бесконечную усталость.

В его репертуаре была элегия. Она называлась «Ла Фолия». Господин Дюпон играл ее так, что некоторые чувствительные слушатели плакали.

Но критики сетовали, что Шарло Дюпон играет недостаточно энергично и звук у него такой слабый, точно вот-вот оборвется.

В маленьких городках на первом концерте зал иногда еще бывал полон, но на остальных всегда пустовал.

Недавно Шарло исполнилось двадцать лет.

ЧЕТЫРЕ ЧЕРТА

I

Помощник режиссера дал звонок. Публика не спеша рассаживалась по местам, и топот ног на галерке, болтовня в партере, крики мальчиков, разносивших апельсины, заглушили музыку,— наконец даже запоздалые зрители в ложах стихли и замерли в ожидании.

Ждали номер «Четыре черта». Для него над ареной натянули сетку.

Фриц и Адольф выбежали из гардеробной в проход для артистов: они с громкими криками пронеслись по нему в развевавшихся на бегу серых плащах и постучали в дверь к Эмэ и Луизе.

Охваченные таким же возбуждением, сестры уже ждали — в длинных шелковых белых плащах, окутывавших их с головы до ног, а «друзья» в сбившемся на бок чепце, то и дело выкрикивая что-то пронзительным дискантом, растерянно суетилась вокруг них, поднося им то пудру, то грим, то смолистый порошок для рук.

— Идем! — крикнул Адольф. — Пора!

Но еще секунду-другую они метались по комнате в страхе и волнении, которые завладевают артистами всякий раз, как только они наденут на себя трико.

Больше всех шумела «дуэнья».

И только Эмэ, откинув длинные рукава, спокойно подставила Фрицу руки. И молча, не глядя на нее, он торопливо, машинально провел по ним пуховкой — как делал каждый вечер.

— Идем! — снова крикнул Адольф.

Взявшись за руки, они вышли все вместе и застыли в ожидании.

Стоя у выхода на арену, они слышали первые звуки «Вальса любви», который всегда сопровождал их номер.

Amour, amour,
Oh, bel oiseau,
Chante, chante,
Chante toujours...¹

Фриц и Адольф сбросили плащи на пол, и тела их ослепительно засверкали в розовых трико, бледно-розовых, чуть ли не белых. Каждый мускул выделялся так отчетливо, что казалось, на юношах нет одежды.

Музыка все играла.

В конюшне было пусто и тихо. Лишь несколько конюхов неторопливо проверяли кормушки и осторожно приподнимали один за другим тяжелые медные баки.

Послышались звуки «выходного куплета», и «четыре черта» вышли в манеж. Аплодисменты доносились до них неясным шумом, лица зрителей сливались в одно пятно. Мускулы артистов уже сейчас были напряжены до предела.

Адольф и Фриц ловким движением развязали плащи Эмэ и Луизы, белые одеяния легли на песок, и сестры, нагие в своих черных трико, словно две белолицых негритянки, приняли на себя огонь сотен биноклей.

Все четверо вспрыгнули на сетку и полезли вверх — черный силуэт и белый, еще черный и еще белый, — словно четыре разгоряченных зверя, и все бинокли смотрели им вслед.

¹ Любовь, любовь,
О, прекрасная птица,
Пой же, пой, —
Пой всегда... (франц.)

Поймав трапеции, они начали работать. Они порхали между позвякивающими снарядами, на которых сверкали медные тросы. Они ловили, обхватывали друг друга, подстегивали друг друга криками, и, будто дразня наготой в любовной игре, сплетались и расплетались, сплетались и расплетались белые и черные тела. Сладостно-томно струился «Вальс любви», и волосы реющих в воздухе женщин то развевались, то опадали вниз атласной мантией, скрывая черную обнаженность тел.

«Черти» работали без передышки. Теперь они расположились в разных «этажах», Адольф и Луиза — вверху.

До них донесся глухой гул восхищения; даже артисты в своей ложе (куда в том же съехавшем набор чепце с розами в первый ряд протиснулась «дуэнья», громко и азартно хлопавшая в ладоши) следили за «чертями» в бинокль, изучая хитроумные детали их костюмов, которые славились своей вызывающей откровенностью.

— Mais oui¹, бедра у них голые...

— Вся соль в том, что видны ляжки,— восклицали, перебивая друг друга, артисты.

Дородная наездница мадемуазель Роза, исполнявшая главную роль в «Сцене из жизни рыцарей XVI века», уग्रюмо отложила в сторону бинокль.

— Да, на ней и вправду нет корсета,— сказала она; сама мадемуазель взмокла от пота в своем жестком панцире.

Четверка продолжала работать. Электрический свет из синего вдруг переходил в желтый, и в лучах его проносились тела «чертей». Фриц вскрикнул: повиснув на трапеции вниз головой, он руками поймал Эмэ.

Потом они отдыхали, сидя рядом на той же трапеции.

Сверху до них долетали возгласы Луизы и Адольфа. Эмэ показала на сестру и воскликнула, часто дыша:

— Voyez donc, voyez!²

Адольф обвинил тело Луизы ногами.

Но Фриц не стал вторить Эмэ. Машинально вытирая руки о подвешенный вверху кусок холстины, он глядел вниз, на кромку лож, светло и беспокойно петлявшую под ними, точно яркая оконечность клумбы, колеблемой ветром. Эмэ вдруг тоже смолкла и стала смотреть туда

¹ Ну конечно же (франц.).

² Смотрите же, смотрите! (франц.)

же, пока Фриц, словно мучительно от чего-то оторвавшись, не проговорил:

— Нам — работать! — И она очнулась, как от толчка

И снова они вытерли ладони о холстину и, спрыгнув с трапеции, повисли на руках, словно испытывая силу своих мышц. Затем снова уселись на прежнее место. На лицах их жили одни глаза, изменявшие расстояние между трапециями.

Оба разом воскликнули:

— *Du courage!*¹

И Фриц оттолкнулся и, изогнувшись дугой, полетел к самой дальней трапеции, а вверху Луиза и Адольф, словно подгоняя зверя, издали громкий, протяжный крик...

*Amour, amour,
Oh, bel oiseau,
Chante, chante,
Chante toujours...*

Великий перелет начался. Хрипло вскрикивая, они отталкивались от мостиков, встречались в воздухе и летели дальше — к трапециям. И снова хриплый вскрик — и перелет. Сверху, из-под купола, где безостановочно вертелись колесом на трапециях Луиза и Адольф, вдруг пролился ослепительный золотой дождь, и облако золотистой пыли, купаясь в белом потоке света от электрических ламп, медленно оседало книзу.

На какой-то миг всем показалось, будто «черти» рассекают телами сверкающую золотую тучу, а пыль медленно опускалась, прикрывая их наготу тысячами блестящих.

*Amour, amour,
Oh, bel oiseau,
Chante, chante,
Chante toujours...*

И тогда — один за другим — они ринулись сквозь мерцающий дождь вниз головой в сетку, и музыка смолкла.

Их вызывали снова и снова.

В замешательстве они цеплялись друг за друга, словно у них кружилась голова. Они то уходили за кулисы, то возвращались в манеж. Наконец аплодисменты стихли.

«Черти» со стоном вбежали в свои уборные. Адольф и Фриц, закутавшись в одеяла, ничком повалились на

¹ Смелей! (франц.)

матрацы, расстеленные на полу. Какое-то время они лежали почти без чувств. Затем поднялись и стали переодеваться.

Отвернувшись от зеркала, Адольф покосился на Фрица, уже надевшего на себя мундир:

— Пойдешь стоять в униформе?

Фриц угрюмо ответил:

— Меня просил директор.

И он присоединился к тем, кто стоял в униформе у входа в манеж; смертельно усталые, как и он сам, они тайком подменяли друг друга, чтобы хоть на миг прислониться измученным телом к стене.

После представления труппа собралась в ресторане. «Черти» сели за один стол; подобно остальным, все четверо молчали. За несколькими столиками начали играть в карты — так же молча. Слышен был лишь шорох перемещаемых по столу монет.

Два официанта ждали у стойки, лениво оглядывая притихших людей. Артисты сидели вдоль стен, расслабленно вытянув ноги и уронив вялые, словно вывихнутые, руки.

Официанты прикрутили газовые лампы.

Адольф положил деньги рядом с пивной кружкой и встал.

— Идем, — сказал он. — Пора домой.

И остальные трое последовали за ним.

Улицы уже совсем опустели. «Черти» не слышали ничего, кроме звука собственных шагов, и шагали они парами, как привыкли работать. Так они дошли до своего дома и расстались в темном коридоре второго этажа, глухо пробормотав на прощание: «Спокойной ночи».

Эмэ стояла в потемках на лестничной площадке, пока Фриц и Адольф, поднявшись на третий этаж, не захлопнули за собой дверь своей комнаты.

Сестры вошли к себе и молча начали раздеваться. Но, уже лежа в постели, Луиза вдруг принялась болтать о том, как работали другие артисты, о публике в ложах, о завсегдатаях цирка: она всех знала наперечет...

Эмэ недвижно сидела на краю постели, полуодетая. Болтовня Луизы прерывалась все чаще и чаще. Скоро она уснула.

Однако чуть погодя она вдруг проснулась и приподнялась на кровати. Эмэ, как и прежде, недвижно сидела в той же позе.

— Ты что, не собираешься спать? — спросила Луиза. Эмэ поспешно загасила свет.

— Да, сейчас, — сказала она, вставая.

Все же она никак не могла уснуть. Она лежала и думала об одном: о том, что Фриц теперь всегда отводит глаза, когда пудрит ей руки...

...Наверху Фриц с Адольфом уже легли. Но Фриц метался в кровати, словно под пыткой.

Неужто это правда? И чего она хочет от него, та женщина в ложе? Да и *хочет* ли она? А если нет — зачем она все время глядит на него? Зачем, проходя мимо, задевает его краем одежды, чуть ли не касаясь его? Чего она от него хочет?

Да и *хочет* ли она?

Он не мог думать ни о чем другом — только об этой женщине.

Только о ней — от зари до заката. О ней одной. Он бился с этой загадкой, бился, как зверь, запертый в клетку: вправду ли он нужен ей, той женщине в ложе?

И всегда, везде, неотступно его преследовал аромат ее платья, который он ощущал, когда, спускаясь вниз, она проходила мимо. Она всегда так близко проходила мимо, когда он стоял в униформе.

Но точно ли *он* нужен ей? И что ей от него нужно?

И снова он в муке метался по постели и неустанно твердил, словно само это слово завораживало его:

— *Femme du monde...*¹

И опять и опять, совсем тихо, будто в чаду:

— *Femme du monde.*

А потом начиналось все сызнова, тот же колдоворот вопросов: *он* ли ей нужен, неужели он?

Эмэ опять поднялась с постели. Неслышно прокрадась по комнате. В потемках она попыталась нащупать лежавшие в ящике четки и нашла...

В доме воцарилась полная тишина.

II

«Черти» только что закончили номер. В гардеробной Адольф напустился на Фрица, говоря, что он-де подрывает их контракт, раз за разом соглашаясь стоять в униформе, хотя трупца от этого освобождена.

¹ Светская дама (франц.).

Но Фриц даже не стал отвечать. Каждый вечер, облачившись в яркий мундир, он становился у лестницы, ведущей к ломам, и ждал, когда «дама», опираясь на руку мужа, спустится вниз по ступенькам и пройдет мимо. Теперь, во время второго отделения, она часто наведывалась в конюшню. Фриц следовал за ней.

Она разговаривала с конюхами. Фриц следовал за ней. Она поглаживала лошадей, вслух читала их клички, вывешенные над стойлами. Фриц следовал за ней.

С ним она не заговаривала. Но все, что она делала, она делала *для него* — это он *знал*, и сотнями мелких уловок: игрою ли тела, движением ли руки, искрой ли взгляда — каждый из них будто тайно выставлял себя перед другим напоказ. И она и он. Казалось, они испытывали друг друга, хотя по-прежнему держались особняком, неизменно сохраняя между собой расстояние, всегда одно и то же, которое не решались преступить, но у которого вместе с тем были в плену, словно взаимное влечение связало их нерасторжимым двойным узлом. Она переходила от стойла к стойлу, читая над каждым имя новой лошади.

Фриц следовал за ней.

Она смеялась, прогуливаясь взад-вперед. Ласкала собачек.

Фриц следовал за ней.

Она вела его, он следовал за ней.

Казалось, он даже не глядит на нее. Но он присасывался глазами к подолу ее платья, к вытянутой руке — глазами сильного, почти укрощенного зверя, настороженного, ненавидящего, но в то же время сознающего свое бессилие.

Однажды вечером она подошла к нему. Ее муж стоял чуть поодаль. Он поднял глаза, и она тихо спросила:

— Вы боитесь меня?

Он ответил не сразу.

— Не знаю, — обронил он наконец хрипло и зло.

И она не нашлась, что еще сказать, — потрясенная, чуть ли не испуганная (и этот испуг вдруг отрезвил ее) страстным взглядом, который он не сводил с ее ног.

Она повернулась и отошла с легким смешком, неприятно резанувшим ее собственный слух.

На другой вечер Фриц уже не стоял в мундире. Он дал себе слово, что будет избегать ее. Он разделял годами приумноженный страх артистов перед женщиной — губительницей жизни. Женщина мнилась ему неким таинственным, подстерегавшим его повсюду врагом, рожденным на свет лишь для того, чтобы его извести. И всякий редкий раз, когда он уступал влечению, вдруг захлестнутый непреодолимым желанием, его всегда охватывало какое-то безнадежное ожесточение и мстительная ненависть к женщине, похитившей часть его силы — бесценного орудия его ремесла, дающего ему средства к жизни.

А этой дамы из ложи он страшился вдвойне, потому что она была чужая, не его круга. Да и что нужно ей от него? Одна уже дума о ней терзала его неразвитый ум, не приученный размышлять. Со страхом и недоверием следил он за каждым движением незнакомки — женщины иной расы, словно она несла ему тайную погибель, от которой, он знал, ему не уйти.

Он не хотел ее видеть — нет, не хотел.

Ему было нетрудно сдержать зарок, потому что она больше не приходила. Два дня она не появлялась и на третий день тоже. На четвертый день Фриц снова стоял в униформе у выхода на арену. Но она не пришла. Ни в тот вечер, ни в следующий.

Весь день он со страхом думал о том, что будет, «когда она придет», а вечером его охватывала глухая досада, неукротимая, хоть и немая, ярость оттого, что она не шла.

Значит, она дурачит его. Значит, она просто смеется над ним. *Она*, эта *женщина*. Но он отомстит ей. Уж он отыщет ее. Ее, *женщину* эту.

И ему уже виделось, как он бьет ее, пинает ногами, истязает — чтобы она скорчилась в три погибели от боли, чтобы, полуживая, рухнула наземь под его ударами, — она, женщина, она — *Она*.

По ночам он часами лежал без сна, раздираемый немой злобой. И в те первые в его жизни бессонные ночи — раньше он никогда не знал бессонницы — страсть его достигла предельного накала.

Наконец на девятый день она пришла.

С трапеции он увидел ее лицо — не только увидел, но и угадал каким-то шестым чувством и, захлестнутый безрассудной мальчишечьей радостью, разом взметнул свое

прекрасное стройное тело в воздух и повис на вытянутых руках.

Все лицо его осветилось ослепительной улыбкой, и, снова взметнувшись всем телом, он сел на трапецию.

Amour, amour,
Oh, bel oiseau,
Chante, chante,
Chante toujours...

Он плавно покачивал белокурой головой в такт вальса и, вдруг схватив Эмэ за руку, громко и весело, впервые за много-много дней — крикнул:

— Enfin — du courage! ¹

Голос его прозвучал как победный клич.

Оттолкнувшись от трапеции, он полетел; вскрикнув, поймал трапецию и снова полетел, рассекая воздух.

Amour, amour,
Oh, bel oiseau,
Chante, chante,
Chante toujours...

Но когда потом, уже в униформе, он вышел в конюшню и там увидел *Ee*, он снова застыл в неподвижной, враждебной позе, с ненавистью следя за ней тем самым взглядом, которым не решался смотреть ей прямо в глаза.

А после представления, в ресторане, на него вдруг снова нашло веселье, чуть ли не буйство. Он смеялся и показывал фокусы. Жонглировал чашками и рюмками, а на кончике трости удерживал в равновесии цилиндр.

Своим весельем он заразил других. Клоун Том вытащил губную гармонику и заиграл, перешагивая длинными ногами через стулья.

Поднялся невообразимый шум. Все артисты наперебой изощрялись в фокусах. Мистер Филлис балансировал на носу огромный картонный куль, а другие клоуны принялись кудахтать, словно здесь был не ресторан, а курятник.

Но больше всех, вспрыгнув на стол, шумел сам Фриц: жонглируя двумя круглыми стеклянными колпаками, которые он отвинтил от люстры, он прокричал сквозь грохот — и юное его лицо светилось счастьем:

¹. А ну-ка — смелей! (франц.)

— Adolphe, tiens! ¹

Адольф, стоя на соседнем столе, поймал колпак.

Артисты то вспрыгивали,— одни на столы, другие на стулья,— то снова соскакивали вниз. Кудахтали клоуны, дребезжала гармоника:

— Fritz, tiens! ²

И снова полетели колпаки — над головами клоунов.

Поймав колпак, Фриц вдруг обернулся:

— Aimeé, tiens! ³

Он кинул ей колпак, и Эмэ вскочила с места. Но она вскочила недостаточно быстро, и колпак упал и разбился.

Фриц рассмеялся и взглянул со своего стола вниз, на осколки.

— Счастливая примета! — воскликнул он, смеясь. И вдруг замер на месте, с улыбкой запрокинув голову к люстре...

Эмэ отвернулась. Бледная как мел, она снова опустилась на свой стул у стенки.

Кавардак не утихал. Приближалась полночь. Официанты убавили свет в газовых лампах. Но артисты не унимались — в полутьме они стали шуметь еще громче. Из всех углов доносилось кудахтанье и вопли, от которых впору было лопнуть барабанным перепонкам. На середине стола под самой люстрой ходил на руках Фриц.

Он покинул ресторан последним. Он был сам не свой, точно во хмелю.

Артисты гурьбой двинулись вниз по улице. Дойдя до переулков, где они квартировали, они начали расходиться.

Тьма огласилась прощальными возгласами — хором причудливых звуков.

— Night! ⁴ — прокричал в нос мистер Филлис.

— Abend, abend... ⁵

Наконец все стихло, и «четыре черта» молча, как всегда, зашагали рядом.

Никто из них больше не проронил ни слова. Но Фриц никак не мог угомониться. Он снова насадил на кончик трости свой парадный цилиндр и завертел им в воздухе.

¹ Адольф, держи! (франц.)

² Фриц, держи! (франц.)

³ Эмэ, держи! (франц.)

⁴ Спокойной ночи! (англ.)

⁵ Спокойной ночи... (нем.)

Возле своего подъезда «черти» распрощались.

У себя в комнате Фриц широко распахнул оба окна и, перегнувшись через подоконник, начал громко насвистывать, так что свист далеко разносился по улице.

— Ты, видно, спятил,— сказал Адольф.— Что это с тобой?

Фриц в ответ лишь рассмеялся.

— Il fait si beau temps¹,— ответил он и продолжал свистеть.

Этажом ниже Эмэ тоже растворила окно. Луиза, уже начавшая раздеваться, велела тотчас его закрыть, но Эмэ продолжала стоять у окна, не сводя глаз с тесного проулка.

Как же долго она ничего не понимала — не понимала, почему он глядел на нее пустыми глазами, отчего, когда он обращался к ней, в голосе его звучала усталость, почему он слушал ее в пол-уха, когда она сама обращалась к нему...

Словно теперь они уже не вместе, хотя по-прежнему сидят рядом на одной трапедии...

И он больше не пудрит ей руки.

Вот, например, вчера.

Он вошел, торопливо, нетерпеливо, как всегда в последнее время. Она протянула ему руки, но он лишь рассеянно глянул на них, совсем позабыв о прошлом.

— Давай пудрись скорей,— раздраженно бросил он и выбежал из гардеробной.

И, недоумевая, она медленно напудрила сначала левую руку, затем правую...

Нет, нет, никогда прежде она не думала, что можно так сильно страдать...

Эмэ прислонила голову к оконной раме, и слезы заструились по ее щекам.

Теперь она знала все. Теперь она все поняла...

Внезапно она вскинула голову; она услышала голос Фрица, громко что-то напевавшего. Это был «Вальс любви». Все громче и громче пел Фриц. И вот она услышала слова:

Amour, amour,
Oh, bel oiseau,
Chante, chante,
Chante toujours...

¹ Уж очень погода славная (франц.).

Как весело он пел, как радостно. Каждый звук ранил душу Эмэ, и все же она не отходила от окна: песня заставила ее вспомнить всю их совместную жизнь.

Как хорошо она помнила все — как хорошо все запомнила с самого первого дня!

Луиза опять прикрикнула на нее, и она нехотя закрыла окно. Но спать не легла, тихонько примостившись в темном уголке.

III

До чего же явственно она видела их, Фрица и Адольфа, в тот самый первый день, когда их «принял» папаша Чекки...

Было утро, и Эмэ с Луизой еще лежали в постели.

Мальчики, ссутулясь, стояли в углу; несмотря на зимнюю стужу, они были в коротких штанах, а Фриц к тому же в соломенной шляпе. Мальчиков раздели, и папаша Чекки начал их ощупывать, выворачивал им ноги и постукивал пальцами по груди, пока они не расплакались, а старуха, которая их привела, лишь молча жалась к стене, и на ее шляпе еле заметно подрагивали черные цветы.

Она не спрашивала ни о чем, только молча глядела на раздетых донага мальчиков, которых осматривал папаша Чекки...

Эмэ с Луизой тоже не спускали с них глаз. А папаша Чекки все ощупывал новичков и бранился: на их лицах жили одни глаза, полные страха.

Наконец Чекки сказал, что берет их.

Старуха не проронила ни слова, не подошла к детям и не попрощалась с ними. Казалось, все то время, что она ждала у стены, трясая головой, от чего еле приметно подрагивали цветы на ее шляпе, она что-то искала — и не могла найти. Так она и вышла за порог, медленно, нерешительно, и дверь закрылась за ней.

Фриц закричал — протяжно, как кричат дети, словно его ударили ножом...

Потом оба вернулись в свой угол и уселись на полу, прижавшись подбородком к коленям и судорожно упершись в пол сцепленными руками. Так они и сидели, не произнося ни слова.

Папаша Чекки выставил их на кухню — чистить картошку. Затем он выгнал туда же Эмэ с Луизой. Все четверо молча расселись вокруг ведра.

Луиза спросила:

— Вы чьи?

Но мальчики не ответили. Они еще плотнее сжали губы и опустили глаза.

Чуть позже Эмэ прошептала:

— А мама ваша где?

Но они по-прежнему не отвечали — только грудь у обоих ходила ходуном, словно они тихо всхлипывали про себя. Слышно было лишь, как падают в воду очищенные картофелины.

— Она что, умерла? — прошептала Луиза.

Но мальчики и тут не ответили, и девочки поначалу лишь робко переводили взгляд с одного на другого, потом вдруг неслышно заплакала Эмэ, за ней — Луиза, и так они обе сидели и плакали.

На другой день братьев «пустили в работу».

Их выучили «китайскому» и «крестьянскому» танцам. Спустя три недели дети уже выступали вчетвером.

Они парами дожидались выхода за кулисами: Эмэ с Фрицем, Луиза с Адольфом. Они стояли, напряженно уставившись в одну точку, пугливо облизывая пересохшие губы, и прислушивались к музыке оркестра.

— Одерни камзол, — шептала Эмэ, которой от волнения не стоялось на месте, и тут же сама одергивала на Фрице криво сидевший камзол.

— *Comptenez!*¹ — раздавался из-за первой кулисы приказ дядюшки Чекки. Занавес подняли, пора было на выход.

Дети не видели ни огней рампы, ни публики.

Испуганно улыбаясь, выполняли они заученные па, отсчитывая про себя такт и шевеля губами. Они не спускали глаз с папаши Чекки, притопывавшего ногами за первой кулисой.

— Налево! — шептала Эмэ Фрицу, который вечно все путал: она тряслась от страха и за себя и за него, и ей приходилось запоминать все па за двоих.

Дети ходили на восковые фигурки, танцующие на крышках шарманок.

Публика хлопала и без конца вызывала их. На сцену летели апельсины. Дети поднимали их и благодарно улы-

¹ Начинайте! (франц.)

бались: потом они отдавали апельсины папаше Чекки, и тот по ночам заедал ими коньяк, сидя за картами с агентом Уотсоном.

Целые ночи напролет папаша Чекки у себя дома дулся в карты с этим агентом.

Когда игроки ссорились, дѣти просыпались и широко раскрытыми глазами глядели на них со своих кроватей, но, смертельно усталые, всякий раз засыпали снова.

Шло время.

Труппа Чекки перебралась в цирк, и всех четверых детей стали учить ремеслу.

Репетиции начинались в половине девятого. Стуча от холода зубами, дети переодевались и приступали к упражнениям в полутемном цирке. Луиза с Эмэ ходили по канату, балансируя с помощью двух флажков, а папаша Чекки, сидя верхом на барьере, отдавал приказания.

Затем выводили коня, и Фриц разучивал жокейский номер.

Вооружившись длинным кнутом, папаша Чекки командовал. В тот день Фриц прыгал много раз. Номер не получался. Сначала Фриц упал, ударившись о барьер. В другой раз его толкнула лошадь. Кнут со свистом взвизвал вверх и хлестал мальчика по ногам: на них вспыхнули длинные багровые полосы.

Папаша Чекки продолжал командовать. Подавляя слезы, мальчик прыгал снова и снова.

Но ему не удалось вскочить на лошадь, и он опять упал.

Застарелые рубцы на его теле открылись и стали кро-воточить, и на ветхом трико проступили пятна.

А папаша Чекки все кричал:

— Епсоре! Епсоре!¹

Запыхавшись, судорожно всхлипывая, так что он едва успевал вздохнуть, Фриц с искаженным от боли лицом прыгал снова и снова.

Кнут настигал его, и мальчик твердил в отчаянии:

— Не могу! — Но его заставляли снова и снова вскакивать на коня.

И опять папаша Чекки свирепо хлестнул лошадь, и та понеслась вскачь, унося рыдающего мальчугана, который уже не помнил себя от боли.

— Не могу больше! — в муке простонал он.

¹ Еше! Еше! (франц.)

За этой сценой молча наблюдали артисты, стоявшие в партере и в ложах.

— Епсого! — крикнул Чекки, и Фриц снова прыгнул.

Забившись в уголок ложи, бледная, с побелевшими губами, Эмэ со страхом и злостью следила за тем, что происходило в манеже.

Папаша Чекки не унимался. Час прошел, еще четверть часа. Тело Фрица превратилось в сплошную рану. И опять он упал, и еще, и еще, и, корчась от боли, бился ногами о песок, и снова падал.

Нет, прыжок больше не получался. И Чекки прогнал Фрица с манежа, послав ему вдогонку грубое ругательство.

Эмэ выбежала из ложи: стеноя от боли, Фриц, словно раненый зверь, укрылся за штабелем обручей. Задышавшись, сжимая кулаки, он изрыгал отчаянные проклятия — весь набор бранных уличных слов и ругательств, подслушанных в конюшне.

Эмэ молча присела рядом с ним. Ее бледные губы дрожали.

Дети долго сидели во тьме, спрятавшись за обручами. Наконец Фриц откинулся назад, прислонившись головой к стенке, и уснул, сраженный усталостью и болью, а Эмэ, все такая же бледная, продолжала недвижно сидеть рядом, словно оберегая его сон.

Прошли годы. Все четверо теперь уже взрослые.

Папаша Чекки умер. Его до смерти зашибла лошадь.

Но труппа не распалась. Дела ее временами шли хорошо, временами — из рук вон плохо. Ей случалось выступать и на самых крупных аренах, и на самых что ни на есть захудалых.

Как явственно Эмэ виделось сиротливое, с белеными стенами здание провинциального цирка, где им привелось работать в ту зиму! Стояла ледяная стужа. Перед самым представлением в цирк вносили два чана с углем, и все здание наполнялось дымом, так что нечем было дышать.

В конюшне посиневшие от холода артисты протягивали обнаженные руки к угольному котлу, а клоуны, пытаясь согреться, скакали в матерчатых туфлях по голой земле.

Труппа Чекки работала во всех жанрах. В танцах Фриц был партнером Эмэ. Затем Эмэ выступала с пар-

форсной ездой, и Фриц, как шталмейстер, натягивал ей подпругу.

Труппа выкладывалась вовсю: она держала половину программы.

Но дело не ладилось. Одна за другой исчезали из конюшни лошади: их продавали, чтобы купить корм для остальных... Артисты, у которых еще водились деньги, разъезжались кто куда, а те, кто вынужден был остаться, голодали; наконец спустили последнее, и пришлось закрыть цирк.

Лошадей, костюмы — все отняли у них. Явились судебные исполнители и забрали все без остатка...

Дело было вечером того же дня.

Горстка артистов, оставшихся при цирке, в немой тоске сгрудилась в потемках. Им некуда было податься. Да они и не знали, куда им податься.

В конюшне, перед опустевшими стойлами, сидел на ящике из-под корма директор и рыдал, бормоча сквозь стиснутые зубы одни и те же ругательства на разных языках.

Цирк совсем затих, совсем вымер.

И только собаки — их забыли прихватить с собой судебные исполнители — лежали на ворохе соломы, уныло и настороженно озираясь.

Четверо Чекки зашли в ресторан при цирке. Здесь царило полное запустение. Хозяин запер шкаф и спрятал стаканы и рюмки. Столы и стулья, покрытые пылью, стояли, а не то и валялись как попало.

Четверо Чекки молча присели в углу. Они только что возвратились с почты. Ходили они туда каждый день. За письмами от агентов. В письмах были одни отказы.

Фриц распечатывал и читал про себя эти письма. Остальные трое сидели рядом, даже не решаясь ни о чем спросить.

Фриц распечатывал письмо за письмом, не спеша прочитывал, словно не веря написанному, и откладывал в сторону.

Остальные лишь глядели на него в угрюмом молчании.

Потом он сказал:

— Ничего.

И они продолжали молча сидеть у груды безрадостных писем, которые и на сей раз не принесли им никакой доброй вести.

Наконец Фриц сказал:

— Так дальше нельзя. Мы должны подыскать себе новое амплуа.

Адольф пожал плечами.

— Слыхали уже,— сказал он с издевкой,— придумал бы лучше что-нибудь другое.

— Воздушный полет — вот стоящее дело,— глухо проговорил Фриц.

Остальные молчали, и Фриц так же глухо продолжал:

— Мы могли бы работать под куполом.

Снова вклинилась тишина, затем Адольф чуть ли не со злобой спросил:

— А ты уверен, что не переломаешь себе кости?

Фриц не ответил. Стало совсем темно, долгое время все молчали.

— А может, нам лучше расстаться,— еле слышно хрипло проговорил Адольф.

У каждого из них мелькала та же мысль, и все они страшились ее. Теперь она была высказана, и, уставившись в темноту пустого зала, Адольф добавил:

— Что толку вместе сидеть у пустого котла!

Он говорил глухим, раздраженным тоном, как говорят бедняки, с голоду ссорящиеся друг с другом, а Фриц все молчал, не отрывая глаз от полу.

Они поднялись и вышли из ресторана. Во всех коридорах было холодно и темно.

Они шли, скучась, как всегда, и Эмэ сказала — так тихо, что Фриц едва расслышал ее слова:

— Фриц, я буду работать в воздухе.

Фриц замер.

— Я это знал,— ответил он и взял ее за руку.

Луиза и Адольф молчали.

Они решили остаться в *этом* городе. Фриц заложил их последние кольца. Адольф продолжал переписку с агентами. А Фриц и Эмэ работали.

Они повесили свои трапеции в цирке и упражнялись на них каждый день. Они перевели на них многие из партерных трюков и часами, взмокнув от пота, истязали свои тела.

Час за часом выкрикивал Фриц слова команды. А потом они отдыхали, сидя рядом на одной трапеции и тихо, устало улыбаясь.

Понемногу они осваивались с новым делом и скоро взялись за трюки Хэнлона-Вольта. Они пытались выполнить перелет от одной трапеции к другой, но каждый раз падали головой вниз в сетку.

И все же они снова и снова повторяли упражнения, подбадривая друг друга криками:

— En avant! ¹

— Ça va! ²

— Encore! ³

Фриц долетел до трапеции. Эмэ упала.

Они не сдавались.

Глаза их пылали, мускулы напрягались, как пружина, глухие возгласы звучали, как боевой клич: оба долетали теперь до цели.

Каждый следил за другим лихорадочным, упоенным взглядом:

— En avant — du courage! ⁴

Эмэ долетела до цели: повиснув на самой дальней трапеции, она еще вся дрожала от усилия. Она повторила попытку, и трюк снова удался. Радость захлестнула их. Казалось, они упивались победной силой своих тел. Стремительно проносились они в воздухе, встречались на лету, а потом опять отдыхали рядом, рука в руке, улыбающиеся, взмокшие от пота.

В порыве радости каждый нахваливал тело партнера, поглаживал его мускулы, оба глядели друг на друга сияющими глазами.

— Ça va! Ça va! — кричали они смеясь.

Они начали усложнять упражнения. Придумывать новые трюки. Предпринимать новые попытки. Они вкладывали в свою работу весь жар первооткрывателей, обсуждая и беспрестанно изобретая варианты. Фриц потерял сон: мысль о работе не давала ему покоя.

По утрам, еще до восхода солнца, он будил Эмэ стуком в дверь.

И, еще стоя за дверью, покамест Эмэ одевалась, он излагал ей свой замысел, во весь голос объяснял новые трюки, а она с тем же пылом отвечала ему, и их радостные голоса разносились по всему дому.

¹ Вперед! (франц.)

² Хорошо! (франц.)

³ Еще раз! (франц.)

⁴ Вперед — смелей! (франц.)

Протирая глаза, Луиза приподнималась в своей постели.

Она стала приходить на репетиции. Захваченная стремительностью полета, она подбадривала их криками и хлопала в ладоши. Они откликались сверху, и воздух оглашался звонкими возгласами.

Один Адольф молча сидел в углу у входа в конюшню.

Как-то раз он тоже пришел на репетицию и, усевшись в этом углу, стал смотреть. Никто не заговаривал с ним.

Репетиция кончилась, силы партнеров иссякли, и оба тяжело рухнули вниз, в сетку.

Соскочив на землю, Фриц бережно вынул из сетки Эмэ: какой-то миг он радостно держал ее на руках, словно ребенка.

Переодевшись, они зашли в трактир пообедать.

Они начали толковать о будущем, о том, какому цирку предложить свои услуги, о зарплатке, на который теперь могли рассчитывать, об имени, которое надо было придумать,— об успехе, их ожидавшем.

Дотоле молчалники, они разговорились, смеясь, строили планы на будущее. Фриц размышлял о новых трюках.

— Если бы мы только рискнули,— говорил он в азарте,— если бы мы рискнули...

А Эмэ, глядя ему в глаза, отвечала:

— Почему бы и нет? Раз ты этого хочешь...

Тон, которым она это сказала, тронул Фрица.

— А ты смелая! — вдруг произнес он, взглянув на нее; она ответила ему сияющим взглядом.

Прислонив головы к стене, оба замерли и долго сидели так, уставившись в пространство, о чем-то смутно мечтая.

Настал день, когда они впервые попробовали выполнить смертельный полет, тот, что вместе задумали как свой коронный номер,— и он удался. Промчавшись по воздуху спиной к трапециям, они поймали их.

Снизу до них донесся чей-то возглас. Это кричал Адольф. Подняв к ним лицо, светившееся восторгом, он выкрикивал «браво!», «браво!», и слова эти звонко отдавались в пространстве.

— Bravo! Bravo! — восхищенно повторял Адольф.

Они начали переговариваться вчетвером: Луиза и

Адольф спрашивали, двое других — вверху на трапециях — отвечали.

В тот день они обедали вместе и на другой день тоже. Разговоры шли только о трюках, словно они снова работали вместе. Фриц сказал:

— Да, дети, а что, если нам выступать вчетвером? Вы с Адольфом — вверху... крутили бы на трапециях солнце, а мы с Эмэ внизу с нашим «смертельным полетом»... Какой получился бы номер!..

Он принялся объяснять свой замысел, подробно описывая все новые трюки, но Адольф молчал, и Луиза не решилась что-либо ответить.

Но на другой день Адольф спросил, переминаясь с ноги на ногу и не поднимая глаз:

— После обеда будете репетировать?

— Нет, — ответили ему, — не будем.

— Дело в том, — сказал Адольф, — что мы попусту тратим время, и тело костенеет...

После обеда Адольф с Луизой начали репетировать. Двое других тоже пришли в манеж посмотреть на них. Подбадривали и наставляли.

Фриц сидел веселый и играл рукой Эмэ.

— Ça va! Ça va! — кричали оба снизу.

Вверху Луиза и Адольф бесстрашно перелетали от одной трапеции к другой.

— Ça va! Ça va!

Они знали: теперь они будут вместе.

Репетиции кончились. Номер был готов. Они стали работать так, как задумал Фриц. Они назвались «Четыре черта» и заказали костюмы в Берлине.

Дебют состоялся в Магдебурге. Потом они переезжали из города в город. Повсюду им сопутствовал успех.

Эмэ разделась, легла в постель и долго лежала в потемках без сна, с раскрытыми глазами.

Как явственно представилось ей все, с самого первого дня...

Всю жизнь они были вместе, всю жизнь — плечом к плечу.

И вот теперь явилась *Та*, чужая женщина, — при одной этой мысли юная акробатка стиснула зубы в бессилой, отчаянной, чисто физической ярости.

Что нужно ей от него, этой женщине с кошачьими глазами? Что нужно ей, этой женщине с улыбкой блудницы?

Что нужно ей от него? Для чего она завлекает его, как последняя шлюха? Чтобы похитить, высосать его силу, испортить его, извести...

Эмэ кусала простыню, мяла подушку, лихорадочно шарила по постели руками.

В мыслях она без конца осыпала соперницу бессильной бранью, злобными, грубыми ругательствами, пока ее не одолевали слезы, и тут на нее снова наваливалась все та же тупая боль, которая теперь не отпускала ее никогда — ни днем, ни ночью, ни ночью, ни днем.

IV

Фриц лежит с закрытыми глазами, голова его покоится на коленях возлюбленной. Медленно, все медленнее и медленнее скользят ее пальцы по его белокурым кудрям.

Фриц продолжает лежать с закрытыми глазами, откинув голову на ее колени. Значит, это и вправду он, Фриц Шмидт с франкфуртской окраины, тот самый мальчишка, не знавший отца, чья мать однажды бросилась пьяная в реку, а бабушка продала его — вместе с бра-том — за двадцать марок...

Значит, это и вправду он, Фриц Шмидт, он же «Чекки» из труппы «Чертей», стал любовником «дамы из ложи». Это его голова лежит на ее коленях. Это его рука тянется к ее талии. Это к его шее она приникла губами.

Это он, Фриц Чекки из труппы «Чертей».

И, приоткрыв глаза, он видит — с тем же недоуменным, блаженным восторгом — ее изящную руку, нежную, не изуродованную работой, с длинными розовыми ногтями, с восхитительной белоснежной кожей, руку, которую он так любит целовать — упоенно, подолгу...

Да... Это он — рука касается его лба.

Это он при каждом вздохе ощущает аромат ее тела, прильнувшего к нему, аромат ее одежд, легких и воздушных, как облака, — он любит касаться их руками...

Это его она поджидает по ночам у высокой дворцовой ограды, дрожа от ожидания, словно от холода. Это его она проводит к себе палисадником и за каждым кустом прижимается к нему всем телом...

Это его губы называет она своим «цветком», его объятья — своей «погибелью»...

Да, такие вот странные слова она говорит: *его* губы — «цветок», объятья — «погибель» ее...

Фриц Чекки улыбнулся и снова закрыл глаза.

Она заметила его улыбку и, наклонившись к нему, нежно коснулась губами его лица.

Весь во власти восторженного изумления, Фриц продолжал улыбаться.

— Как все это странно! — тихо произнес он и так же тихо повторил, чуть покачав головой: — Как все это странно!

— Что странно? — спросила она.

— Все это, — ответил он и снова затих под ее поцелуями, словно боясь очнуться от сна.

Он все улыбался и в мыслях без устали повторял ее имя, всякий раз заново удивляясь ему: одно из самых громких имен Европы, оно в свое время коснулось его слуха, словно отзвук легенды...

И снова он медленно приоткрыл глаза, и, взглянув на нее, руками схватил ее за уши, и, смеясь, как мальчишка, начал щипать за мочки, с каждым разом все сильнее и сильнее, — это ведь тоже *дозволялось* ему, и это.

Чуть привстав на своем ложе, он прислонил голову к ее плечу и с той же улыбкой начал оглядывать комнату.

Все здесь казалось ему чудом, все, что принадлежало ей: тысячи хрупких безделушек, которыми была уставлена изысканная, на тонких ножках, мебель; искусный жонглер — он то едва осмеливался к ним прикоснуться, дотрагиваясь до них так бережно, словно они могли рассыпаться в его руках; то вдруг задорно (он ведь здесь хозяин, он — Фриц Шмидт) подбрасывал кверху, как мяч, какой-нибудь драгоценный столик, или балансировал на лбу этажерку, а она хохотала, хохотала...

Развешанные по стенам картины были ему незнакомы: портреты ее предков в костюмах времен Реставрации, при шпагах и в перчатках. Иногда он вдруг начинал громко смеяться, глядя в лицо ее предкам, словно какой-нибудь уличный озорник, смеялся неумолчно и неудержимо — ведь это его, Фрица Шмидта, принимает здесь их наследница: она принадлежит *ему*.

И он снова начинал хохотать, а она не понимала, почему он хохочет. Под конец она спросила:

— Почему ты смеешься?

— Да так, — отвечал он, не переставая смеяться. — Потому что все это так странно, так странно...

Он был счастлив и в то же время смущен тем, что попал в этот дом.

Тем, что он здесь — хозяин.

Он и впрямь чувствовал себя здесь хозяином: ведь она принадлежала ему. Он обладал ею. В его неотесанном мозгу крепко засела убежденность в неограниченной власти мужчины, власти над женщиной, оплодотворяемой им, мужчины, являющего собой деятельное, творческое начало, мужчины, который — прогневайся он в самый миг иссушающего наслаждения — мог бы раздавить ее своими могучими чреслами.

Но у Фрица, мнившего себя укротителем и судьей, неограниченным, полновластным хозяином женщины, все эти извечные мужские представления рассеивались и меркли перед немым, неослабевающим восхищением, которое ему внушала она сама, каждое ее слово, звучавшее как-то особенно, каждый ее жест, каких ему не случалось видеть; ее тело, каждая его частичка, изумлявшие его своей непривычной, чужеродной красотой, нерасцветшей и хрупкой...

И он смягчался и робел и снова приоткрывал глаза, дабы убедиться, что это не сон, и тихо ласкал ее тонкие, изящные пальцы: да, все — правда.

А она гладила его по волосам все медленнее и медленнее, и дыхание его участилось, хотя, казалось, он дремлет.

Он вдруг поднял на нее глаза.

— Зачем я вам? — спросил он.

— Глупый ты, — прошептала она, прильнув губами к его щеке, — глупый, глупый.

Она продолжала шептать у самого его уха, и голос ее распался еще больше, чем ласки:

— Глупый ты, глупый...

И, словно стремясь убаюкать его прекрасное, недвижимое тело, она все шептала, шептала:

— Глупый ты, глупый...

По-прежнему улыбаясь, он приподнялся, сел рядом с ней, привлек ее к себе и, любуясь ею, спросил с невыразимой нежностью:

— Могла бы ты уснуть вот так? — и начал баюкать ее на руках, как ребенка.

Оба рассмеялись, не отводя глаз друг от друга.

— Глупый ты, глупый...

Глаза его вдруг вспыхнули, и, сжав ее в объятиях,

он стремительно и молча пронес ее на руках через всю комнату — в спальню.

Только синий огонек ночника глядел на них сонным оком.

Когда им пришлось время расстаться, уже светало. Но во всех углах: на ступенях лестницы, в саду перед уснувшим домом с занавешенными окнами, таким респектабельным и строгим, они, задыхаясь от страсти, длили часы свидания, и она все шептала и шептала те три слова, ставшие как бы припевом их любовной песни, рожденной одним лишь влечением.

— Глупый ты, глупый...

Наконец Фриц вырвался из ее объятий, и калитка хлопнулась за ним...

Но она опять не отпустила его, и снова — в который раз — он вернулся назад. И снова — в который раз — он заключил ее в объятия и вдруг рассмеялся, стоя рядом с ней у величественного дворца.

И, поглядев на обитель своих предков, она тоже рассмеялась, словно их мысли совпали.

Он начал спрашивать ее о каждом из больших каменных гербов над окнами, о каждой надписи над порталом, и она, отвечая ему, все смеялась, смеялась...

То были громкие имена, гордость страны. Он не знал их, но она рассказала ему о каждом.

То была повесть о доблести. Повесть о битвах. Повесть о тех, кто одерживал победы на поле брани.

Он смеялся.

Она рассказывала о щитах, владельцы коих в прошлом охраняли престол. О гербах семейств, которые вели свой род чуть ли не от святого Петра.

Она смеялась.

И, словно распаленная этим кощунством, она осыпала его все более пылкими ласками, которые казались грубыми, чуть ли не богохульственными в занимающемся свете дня, и все говорила и говорила, точно стремясь, слово за словом, сорвать со стен дома гербы предков и потопить их в черном омуте своей любви.

— А этот? — спросил он, указывая на один из гербов. — А вон тот?

Она продолжала рассказывать.

История многих веков разворачивалась перед ним. Воздвигались и рушились королевские троны; вот этот

рыцарь был другом короля. А вон тот привел его к гибели.

Она продолжала свой рассказ торопливым, насмешливым шепотом, прислонясь к плечу циркача, упиваясь самим сознанием совершаемого ею кощунства.

И он тоже пьянел от ее слов.

Казалось, оба уже видят конец, падение этого величественного здания, с его гербами, порталами, щитами, мемориальными досками и шпилями; падение дворца, разрушенного, сметенного с лица земли ураганом их страсти.

Наконец она оторвалась от него и метнулась назад — в дом.

В последний раз она обернулась к нему в узких дверях, помахала ему рукой и, напоследок отвесив издевательский поклон огромному гербу над подъездом, расмеялась.

Фриц зашагал домой. Он словно летел на крыльях. Он все еще ощущал ее ласки.

Вокруг просыпался большой город.

По улицам катились повозки. Все сокровища цветочного рынка были на них: фиалки, ранние розы, медвежье ушко и лакфиоль.

Фриц запел. Вполголоса напевал он слова «Вальса любви»:

Amour, amour,
Oh, bel oiseau,
Chante, chante,
Chante toujours...

Одна за другой проезжали мимо него повозки. Улицу заполнил аромат цветов.

Цветочницы, которые сидели на козлах, закутавшись в длинные платки, оборачивались и улыбались ему.

А он все пел:

Amour, amour,
Oh, bel oiseau,
Chante, chante,
Chante toujours...

В переулке, где он жил, было совсем тихо, и между рядами высоких домов еще стояла полутьма. Фриц замедлил шаг. Не переставая напевать, он несколько раз окинул взглядом свой дом.

Неожиданно он вздрогнул в одном из окон ему померещилось чье-то лицо.

Вся бледная, затаив дыханье, Эмэ прислушивалась за своей дверью.

Да, это он.

Amour, amour,
Oh, bel oiseau,
Chante, chante,
Chante toujours...

Дверь в верхнем этаже захлопнулась, и все смолкло.

Бледная как мел, судорожно прижав руки к груди, Эмэ, словно сомнамбула, отошла от окна и легла в постель. Недвижным взором глядела она в занимавший-ся серый день — еще один новый день.

V

Когда Фриц Чекки проснулся, разбитый усталостью, было уже поздно, и мало-помалу ему вспомнилось все; как бы сквозь смутную пелену он увидел Адольфа, который, стоя посреди комнаты, растирал мокрым полотенцем тело.

— Проснулся все-таки, — с издевкой произнес Адольф.

— Да, — только и ответил Фриц, продолжая глядеть на брата.

— Пора бы и встать, — тем же тоном заметил Адольф.

— Пора, — сказал Фриц, но по-прежнему не двигался, разглядывая сильное, нетронутое тело брата, с подвижными, словно живыми мускулами. Он ощутил глухую ярость, жестокую, постыдную зависть побежденного.

Он лежал, все так же глядя на брата. Неожиданно взметнув кверху руки, он почувствовал, что в них нет силы, затем, упершись ступнями в изножье кровати, он ощутил вялость мышц в ногах, — и тут его охватила немая, отчаянная досада на самого себя, на свое тело, на свою страсть, на свое мужское естество и на нее — воровку, грабительницу, губительницу — *женщину*.

Весь во власти ярости он не размышлял. Он знал лишь одно: он мог бы избить ее, кулаками забить ее до смерти. До смерти — удар за ударом. До смерти — и пусть кричит и хохочет. До смерти — так,

чтобы рухнула бездыханной. До смерти — ногами и каблуками.

Он снова вскинул руки и сжал кисти и, снова ощутив предательскую слабость мышц, в бешенстве стиснул зубы.

Адольф вышел из комнаты, хлопнув дверью.

Тогда Фриц вскочил с постели. Как был нагишом, он начал испытывать свое тело. Попробовал одно, другое — не вышло. Перешел к партерным упражнениям — не осилил. Усталые руки и ноги дрожали, отказываясь повиноваться.

Он повторил попытку. Ударил себя по лицу. Снова повторил попытку. Ущипнул себя несколько раз ногтями.

Все было напрасно.

Ничего не получалось.

В исступлении он сделал еще одну попытку. Все было напрасно. Ничего не получалось.

Он вяло опустил на стул у большого зеркала и начал осматривать — мускул за мускулом — свое обмякшее, бессильное тело.

Значит, это правда: они похищают все. Здоровье, силу, крепость мышц. Значит, это правда: ты все теряешь — работу, положение, имя.

— Да, такие, значит, дела.

И с ним будет то же, что и с другими, и скоро его настигнет конец.

С ним будет то же, что с братьями «Старс», теми, что из города в город возили за собой двух потаскух, с которыми спали и которых колотили почему зря, куда не угодили в сумасшедший дом.

С ним будет то же, что с жонглером Чарльзом, который жил с Аделиной, певичкой: тело его стало дряблым, как у пропойцы. И тогда он повесился на суку.

Или взять Губерта, того самого, что сбежал с бабой одного из конюхов и с тех пор выступает на ярмарке, или еще жокея Пауля, который втюрился в «Аниту с ножами» и теперь служит зазывалой в балагане.

— Да, после них наше тело что лапша.

Он снова встал.

— Но я не поддамся!

И он снова стал упражняться, истязая свои мышцы, вкладывая в работу всю силу, напрягая каждую жилку своего тела.

Дело пошло на лад.

Он вдруг кинулся одеваться. Торопливо набросив на себя одежду, он застегнулся и вышел. Он хотел испытать свои силы — испытать на трапеции, в цирке.

Адольфа, Эмэ и Луизу он застал уже за работой: одетые в серые блузы, они висели на трапециях.

Фриц переоделся и начал с партерной гимнастики. Он ходил на руках, попеременно балансируя то на правой, то на левой — все тело его дрожало.

Остальные молча следили за ним со своих трапеций.

Потом он вспрыгнул на сетку — нетерпеливо и резко — и взобрался на трапецию против Эмэ. Раскачавшись, он повис на руках, вытянувшись всем своим стройным телом, и начал работать.

Эмэ недвижно сидела на трапеции. Тяжелым взглядом воспаленных бессонницей глаз она неотступно глядела на человека, — *мужчину*, которого любила и который пришел сюда после любовной ночи с другой.

Сколько лет они провели вместе — тело к телу...

Она ощупывала его глазами: затылок, не один раз служивший ей опорой; руки, которыми он ее ловил; ноги, которые она обнимала...

И сила привычки, рожденной ремеслом, знание, даруемое работой, — все это лишь умножало ее страдания.

Охваченная невыносимой телесной мукой, какую, видно, она одна могла ощутить, она неотвязно глядела на Фрица, занятого работой.

Но Фриц заставил ее очнуться.

— Чего ты ждешь? — властно крикнул он ей.

— Сейчас!

Вздвигнув, она привычно выпрямилась на трапеции во весь рост. Всего лишь на миг встретились их глаза. Но Фриц вдруг увидел ее бледное лицо, оцепенелый взгляд, недвижимое, оцепенелое тело — и понял все.

В тот же миг его захлестнуло неодолимое, безграничное отвращение к этому женскому телу, тошнота и омерзение от одной мысли, что он должен будет к нему прикоснуться — к телу другой женщины, любящей его.

Непреоборимое, леденящее отвращение, почти ненависть.

— Начинайте! — крикнул Адольф.

— Да начинайте же! — закричала Луиза.

Но Фриц и Эмэ медлили.

Затем оба рванулись друг другу навстречу и встретились в воздухе. Бледные как мел, они смерили друг друга взглядом и снова разлетелись в разные стороны. Он поймал ее, но она упала. Тогда они повторили все сызнова, но он сорвался и рухнул вниз.

И снова они начали работать, сцепившись взглядами: казалось, с каждым мигом они становятся все бледнее. Оба упали: Фриц — первый.

Вверху на трапеции Луиза с Адольфом громко расхохотались. Адольф крикнул:

— Везет тебе сегодня!

— Не иначе его кто-то сглазил! — прокричала сверху Луиза, и они с Адольфом снова расхохотались.

Двое других продолжали работать, но им снова не повезло: Эмэ не удержала партнера; упав в натянутую сетку, Фриц громко выругался.

И тогда все они вдруг начали кричать друг на друга, сердито и возбужденно, высокими, пронзительными голосами, — одна лишь Эмэ, как и прежде, молча сидела на трапеции, широко раскрыв глаза, странно бледная после напряженной работы.

Фриц снова взметнулся вверх, и снова они принялись за тренировку. Оба разом вскрикнули и оттолкнулись от мостика.

С криками летели они друг другу навстречу, яростно обхватывали друг друга.

Это уже не походило на репетицию. Это была борьба. Они не встречались в воздухе, не ловили, не обнимали друг друга, как прежде. Они мерялись силами, вцепляясь друг в друга, как звери.

Казалось, высоко в воздухе два разгоряченных тела вступили между собой в отчаянный поединок.

Они больше не делали передышек. Не выкрикивали слов команды. Обезумев от жестокой, неодолимой злобы, ужасавшей их самих, они словно схватывались в воздухе в рукопашную.

И вдруг, пронзительно вскрикнув, Эмэ рухнула вниз. Секунду она без признаков жизни лежала в сетке.

Фриц взметнулся на свою трапецию и, стиснув зубы, с бледным, как маска, лицом, оглядел побежденную.

Затем он встал на трапеции во весь рост и сказал:

— Она больше не может работать. Нам надо поме-

няться: она возьмет верхнюю трапецию, а Луиза пусть работает здесь.

Он произнес эти слова властно, как человек, имеющий право приказывать другим. Никто не ответил ему, но Луиза стала медленно сползать из-под купола вниз, к трапеции Эмэ.

Эмэ не проронила ни слова. Она лишь опасливо, как загнанный зверь, приподнялась на сетке.

Затем она медленно вскарабкалась вверх по канату под купол.

Работа продолжалась.

Но силы Фрица иссякли. Злоба вконец поглотила их. Он уже не мог удержать партнершу: он падал сам, и Луиза падала вместе с ним.

— Что с тобой? — крикнул ему Адольф. — Болен ты, что ли? Полезай наверх, в купол, там ты, может, еще сгодишься, а так больше нельзя!

Фриц не ответил; он сидел, уронив голову на грудь, словно его ударили.

Затем он сказал, вернее, процедил сквозь стиснутые зубы:

— Что ж, можно и поменяться — на сегодняшний вечер.

Он слез с сетки и ушел с манежа. На его сжатых руках белели косточки пальцев. Ему показалось, будто о нем шепчутся конюхи, и он прокрался мимо них, как побитый пес.

В гардеробной он бросился на матрац. Он больше не чувствовал своего тела. Только больно свербило глаза.

Покой не шел к нему. И он снова взялся за упражнения. Как люди подчас растравляют кровавую рану, так и он продолжал истязать свое усталое тело.

Сумеет ли он сделать вот *это* или вот *это*? — вновь и вновь лихорадочно прикидывал он.

Но у него ничего не получалось; и снова он падал на матрац, и снова вскакивал и пробовал свои силы. И сами эти попытки, и тщетная борьба лишь еще больше изнурили его.

Так прошел день. Фриц оставался в цирке. Все время кружил он вокруг манежа, как преступник вокруг места преступления.

Вечером он работал с Луизой под куполом.

Как одержимый, сражался он со своим телом, кото-

рое не желало ему подчиняться. Отчаянно напрягал дрожащие мышцы.

Все сошло как надо — раз, другой и еще раз.

Он полетел назад, полетел вперед, присел отдохнуть.

Он не видел ничего: ни купола, ни лож, ни даже Адольфа. Только трапецию — ту, до которой он должен был долететь, и Луизу, раскачивающуюся впереди.

И вот он оттолкнулся от трапеции и с криком, — казалось, кровь, бросившаяся ему в голову, сейчас взорвет его объятый ужасом мозг, — рванулся к ногам Луизы и рухнул вниз — в сетку, бурно заходившую под ним.

В огромном здании стало тихо, так тихо, словно все решили, что он мертв.

Наконец Фриц приподнялся в сетке. Он не понимал, где он и что с ним. Очнувшись, чудовищным усилием воли он заставил себя снова увидеть манеж, сетку, черную кромку людской толпы, ложи и — Ее.

И, подавленный отчаянием и стыдом еще больше, чем болью, он потряс в воздухе сжатыми кулаками и снова рухнул в сетку.

Трое его партнеров, поначалу застыв на месте, стали растерянно перекликаться. Адольф с быстротой молнии съехал вниз по канату.

С помощью двух униформистов он вынул Фрица из сетки, и они повели его, подперев с трех сторон, так что публике казалось, будто он шагает сам.

Только тогда Эмэ медленно соскользнула вниз по канату. И побрела как вслепую, ничего не видя вокруг.

У входа стояли двое артистов.

— Счастье его, что сетка была, — сказал один из них.

— Да, — ответил второй, — не то от него осталось бы мокрое место.

Эмэ вздрогнула при звуке этих слов. И, словно впервые увидев, долгим взглядом окинула сетку, трапеции и канаты.

Один из артистов поймал ее взгляд.

— И то правда, чертовская высота, — сказал он.

Эмэ лишь молча кивнула...

Снова воцарилась тишина: представление продолжалось.

У себя в уборной Фриц встал с матраца и подсел к зеркалу. Он нисколько не пострадал: падение лишь оглушило его.

Адольф начал одеваться. Братья долго молчали.

Затем Адольф сказал:

— Надеюсь, ты понял, что так больше продолжаться не может?

Фриц не ответил. Весь бледный, он продолжал сидеть перед зеркалом, не сводя глаз со своего отражения.

Адольф оделся; они услышали, как в дверь уборной постучалась Луиза.

— Скоро ты? — спросил Адольф. — Нас ждут.

Фриц взял с полки у зеркала свои суетливо тикавшие часы, и братья вышли в коридор, где их молча дожидались обе сестры. Все так же молча они побрели домой, Фриц — рядом с Луизой.

Стыд, словно рана в груди, жег его душу.

VI

Фриц и Адольф давно уже легли, и Адольф спал, обмякший, с открытым ртом, как всегда спят акробаты, чьи тела тяжелеют в покое.

Но Фриц не мог уснуть; он лежал, вытянувшись на спине, весь во власти глухого отчаяния.

Значит, вот оно и пришло. Значит, вот оно и свершилось: он больше не может работать. Мысли все кружили вокруг одного: он больше не может работать. И медленно, вяло он стал вспоминать, как все к этому шло, день за днем и ночь за ночью. Спокойно и словно бы совсем бесстрастно он заново увидел все: голубую спальню и высокую, с тремя ступеньками, кровать, и на ней себя и Ее; желтый зал с диваном за ширмой, с вереницей портретов, и себя и Ее; лестницу, на которой гасили фонарь, и себя и Ее..

И сад, которым он столько раз проходил...

А теперь, значит, все кончено. Теперь он пожинает плоды.

Это он понимал.

И с тем же глухим отчаянием он продолжал размышлять.

Она погубила его, но ведь и он может ее погубить. Да, может.

Можно пойти туда как-нибудь ночью и проникнуть в тот дом. И когда он окажется там, у нее, с ней (тут снова нить его мыслей оборвалась, и он увидел голубую спальню, и себя и Ее), тогда он тотчас же, непременно, нажмет звонок, взбудоражит весь дом, и пусть они все

сбегутся: муж, и слуги, и горничные, все, все,— и увидят ее, ту женщину.

Да, это он может.

И пусть она будет нагая, в чем мать родила (такой она сейчас представлялась ему),— нагой он выставит ее на позор.

Да, он это сделает.

И он вдруг воскликнул, как бы заново увидев всю сцену:

— Да, я сделаю это — сейчас!

Всю тревогу его как рукой сняло: да, почему бы и не сейчас? Сейчас, когда только-только созрел его замысел, и гнев еще не остыл, и решимость крепка? Да, он сделает это сейчас.

И торопливо, не зажигая света, он нащупал свою одежду и начал бесшумно одеваться, стараясь не разбудить Адольфа, и все время видел одно: себя и ее в голубой спальне, на самой середине голубой спальни,— пусть там все и свершится.

Заторопившись, он задел за стул и замер, сидя на кровати, боясь, как бы не проснулся Адольф. Только бы он не проснулся.

Потом снова начал одеваться, тихо, стараясь не дышать.

Он *хочет* уйти, он *должен* уйти — сейчас.

Слишком грузно наступив на половицу, он снова застыл на месте...

Адольф заворочался в постели и пробормотал:

— Это еще что? Куда ты собрался?

Фриц не ответил. Полуодетый, он бросился на кровать и юркнул под одеяло, прячась от брата и дрожа всем телом, как вор, пойманный с поличным.

А чуть погодя, услышав ровное дыхание Адольфа, он снова, теперь уже в кровати, стал натягивать на себя одежду, дрожа от страха, словно он воровал собственные вещи, и отчетливо сознавая, зачем он спешит туда...

Он встал. И ошупью начал пробираться к двери, улыбаясь всякий раз, когда ему удавалось обойти шкаф или стол, и, затаив дыхание, крался вдоль стенки с ловкостью пьяницы, задумавшего незаметно прикарманить бутылку.

Он открыл и снова притворил дверь и, выйдя из комнаты, спустился вниз, все время озираясь...

Он понимал, что совсем потерял стыд. И сказал себе: «Что ж, стало быть, завтра я снова буду не в силах работать». И еще одно он понимал: стало быть, так: очертя голову — в пропасть!

А сам тем временем все быстрее бежал вдоль домов, прячась в их тени...

Во всем доме только один человек слышал, как он уходил, — Эмэ.

И она последовала за ним: бесшумно сбежала по лестнице, выскользнула из дома и пересекла улицу.

Словно два призрака, охотившиеся друг за другом, бесшумно крались они по спящим улицам.

Наконец Фриц подошел к дворцу, к узкой калитке — и вот он уже за оградой, и звук шагов его стих. Спрятавшись в подъезде дома напротив, Эмэ обернулась к окнам дворца.

Она увидела, как в первом этаже мимо окон пронесли фонарь. Увидела позади кружевных гардин две тени:

— Это они!

Снова пронесли фонарь, снова мелькнули две тени, затем свет погас. Лишь за последним окном слабо разливалось голубое сиянье.

— Вот они где! За этим окном!

Задыхаясь, корчась от ревности, глядела Эмэ на это окно: разом нахлынувшие видения терзали ее.

Все, все видения, несущие самые страшные пытки покинутому существу, набросились на нее, хотя юная акробатка еще не изведала плотских радостей: словно чьи-то руки чертили живые картины на стеклах окна, за которыми был он, вдвоем с той женщиной.

И вся ее жизнь — сплошное самоотречение, весь смысл ее существования — безответная преданность ему, все думы ее, нежные мысли о нем, все, к чему она стремилась, все их мечты, — все рушилось перед картиной двух сплетенных тел.

Вся ее жизнь — день за днем, воспоминание за воспоминанием, мысль за мыслью — все рассыпалось в прах, развеялось, растворилось, потонуло в одном — в тоске, жалкой тоске брошенного существа.

Ничего не осталось от прежнего: ни преданности, ни нежности, ни готовности к жертвам, — ничего... Чувство ее оскудело в горе, выродилось под бременем отчаяния, вернулось к своему первозданному естеству — к всесильному, всеиспеляющему Зову Плоти.

Часы проходили один за другим.

Наконец калитка отворилась и снова захлопнулась. Это был он.

И, задыхаясь от боли и отчаяния, Эмэ увидела, как он медленно прошел мимо нее, весь серый в бледном свете рождающегося дня.

VII

— Эмэ! — окликнула Луиза сестру, словно желая заставить ее очнуться. — Никак, ты уснула?

Эмэ в ответ лишь вяло подняла руки и завязала узлом длинные волосы.

— Правда, похоже, ты спишь, — сказала Луиза.

Эмэ по-прежнему недвижно сидела перед зеркалом, уставясь на свое отражение, и казалось, две сонные женщины невидящими глазами глядят друг на друга.

Медленно натянув блузу, она встала и вышла из комнаты, смотря перед собой все тем же странно оцепенелым взглядом, как бы следя за призраком, невидимым для других, и двигалась она, как заводная кукла, словно в ее омертвевшем теле навсегда уснула душа.

Луиза последовала за ней, и они вышли в темный манеж, где вверху на трапециях их уже дожидался Фриц.

Казалось, Эмэ никогда еще не работала так четко: с безукоризненностью машины ловила она трапецию, отталкивалась, летела...

Она теперь снова работала в паре с Фрицем, и ее спокойствие передалось ему: будто железные колесики одной шестерни, сцеплялись они в воздухе, расцеплялись и снова сцеплялись. А потом отдыхали на трапециях в разных концах манежа.

Во всем огромном пространстве цирка Эмэ видела только одно — только одно, и ничего больше, — его тело.

Это тело, полное жизни; вздымающаяся грудь; рот, жадно ловящий воздух; жилы, в которых бьется теплая кровь, — все это онемевает, застынет.

Онемевает и застынет навеки.

Мышцы, ходящие ходуном, руки, столько раз ловившие ее, шея — упругая нить его жизни, — все это онемевает, застынет.

Руки окоченеют; и мускулы станут как камень; и лоб — словно лед; гортань — затихнет; широкая грудь — замрет.

Руки, ноги, ладони — все будет мертвым.

Репетиция продолжалась. Снова они летали, снова встречались в воздухе.

Каждое прикосновение возбуждало ее: такой он горячий, а будет холодным, как лед; так вздрагивает его тело — и таким бездыханным станет.

Она больше не думала о том, почему все это должно случиться. Она больше не думала о себе. Одна лишь картина смерти стояла перед ней, все время она видела только одно: его — недвижимого и безгласного.

И, словно безумец, повинующийся тайной мании, она стала лукавой и хитрой. Словно морфинист, стремящийся любой ценой удовлетворить свою порочную страсть, она сделалась изощренной и ловкой.

Она обрела упорство маньяка, чьи мысли сосредоточены лишь на одном.

Теперь она сама искала общества Фрица, которого долго сторонилась.

После репетиции она продолжала упражняться одна. Она перевела все трюки с нижних трапедий на верхние, под самый купол. Сверху она окликала Фрица, задерживала его в манеже расспросами, заискивающе добивалась его советов, как ученица — указаний учителя.

Там, вверху, под куполом, она не знала удержу. Она играла со смертью, заражая его своим безрассудством.

Она подмечала робость, которую он тщетно старался скрыть. Отваживаясь на самые невероятные трюки, она кричала ему:

— Покажем, на что мы способны: неужто мы позволим кому-то нас превзойти!

Она распалаяла его. Он давал ей советы. Затем по раскачивающимся канатам взбирался к ней: туда, под купол.

Она порхала у него на глазах между позвякивающими трапециями. Перелетала от одной трапеции к другой над зияющим провалом арены.

И, подчиняясь какой-то непреодолимой власти, подхлестываемый ее криками, он полетел за ней. Будто какая-то неистовая сила вселилась в ее исступленно напрыгающееся тело. Он же, казалось, из последних сил вел последний жизненный поединок.

Она кричала:

— *Ca va! Ca va!*

Он ринулся вперед и поймал трапецию:

— Ça va! Ça va!

Артисты, сновавшие взад-вперед по манежу, останавливались посмотреть на них.

Он распался все больше и больше. Теперь он уже не уступал ей в отваге. Она летала от одной трапеции к другой, испуганно, с развевающимися волосами, словно указывая ему путь.

Они встречались в воздухе и сцеплялись. Ледяной холод шел от нее: казалось, две мраморные руки обвивают его горячее, трепетное тело.

Она закончила тренировку, но он продолжал работать. Сжавшись в комок, сидела она на трапеции, подзадоривая его глухими возгласами, похожими на рычанье, наблюдая за ним из мрака.

Застонав, Фриц на лету ухватился за раскачивающийся канат и будто сорвался вниз, в темную пропасть.

Сидя на трапеции, Эмэ услышала, как он упал в сетку. Затем раздались его шаги — шаги, которые вскоре заглохли.

Было совсем темно. Только с купола слабо струился свет. Огромное здание цирка сковала тишина.

Сжавшись в комок, Эмэ все так же сидела на трапеции между сеткой и раскачивающимися под куполом канатами. Затем она встала. Еле слышно зазвенели металлические петли трапеций, зашуршали веревки.

Кто-то приподнимал их, ошупывал.

Словно тень, копошилась Эмэ во мраке, усердно, будто какой-нибудь мастеровой.

Медные кнопки трапеций сверкали, как кошачьи зрачки.

Кругом стоял сплошной мрак.

Чуть слышно колыхались трапеции.

Кругом была тишина.

Долго возилась Эмэ под куполом цирка.

Наконец снизу, из тьмы манежа, донесся звонкий голос:

— Эмэ! Эмэ!

Это Фриц звал ее.

— Иду! — прозвучал ответ.

Эмэ ухватилась за канат. Медленно скользя вниз, она на мгновение безмолвно повисла над Фрицем, дожидавшимся ее в манеже.

— Иду! — повторила она и спрыгнула к нему.

«Четырем чертям» назначили бенефис.

Наступил канун бенефиса; после вечернего представления публика расходилась по домам.

Адольф постучался в дверь к Эмэ и Луизе, и вчетвером они зашагали по проходу.

Никто из них не произнес ни слова, в ресторане они тихо сели за привычный столик. Принесли кружки с пивом, и они в молчании выпили его. Даже самое ничтожное движение,— если судить по тому, как Эмэ взяла кружку,— она выполняла теперь раздумчиво и не спеша, будто мысленно отмеряя все, любой пустяк.

В ресторане стоял шум. Биб и Боб праздновали именины, и стол их плотным кольцом окружили артисты.

Кто-то показывал фокусы, а клоун Трип вертел задом, изображая осла Риголо.

«Черти» оставались сидеть в своем углу.

Незаметно скрылись танцовщицы, стоявшие вдоль стен; их увели нетерпеливые кавалеры. В стороне за столом резались в карты агенты.

Клоуны продолжали шуметь. Один из них играл на свистульке, и ему вторили с полдюжины «уйди-уйди». Клоун Том вручил своему коллеге Бобу подарок — кочан капусты, обсыпанный табаком, и гости стали нюхать табак и чихать, и снова чихать, и опять чихать, и все так же визжали «уйди-уйди». Забравшись на стол, клоун Трип, вихляя задом, неумоимо изображал того же осла Риголо.

«Черти» все не уходили.

Вошел расклейщик афиш с банкой клея и сумкой в руках и наклеил на два фанерных щита программу завтрашнего спектакля. «Четыре черта» трижды упоминались в ней.

Адольф встал и, подойдя к афише, начал ее разглядывать. Он попросил одного из агентов перевести текст; тот вылез из-за картежного стола и начал медленно переводить Адольфу слова чужого языка, а Адольф слушал:

«Заверяем высокочтимую публику и всех наших доброжелателей, что на предстоящем спектакле мы превзойдем самих себя.

С почтительным приветом

«Четыре черта».

Адольф кивал, пристально изучая слово за словом в незнакомом тексте. Потом он возвратился к своему столу и, обернувшись к афише, удовлетворенно оглядел гигантские буквы.

— Красивый шрифт, — сказал он.

Луиза и Фриц тоже поднялись из-за стола и, подойдя к афише, долго ее разглядывали.

Визжали «уйди-уйди», словно добиваясь, чтобы у всех лопнули барабанные перепонки. Клоун Том музицировал, попеременно вставляя в свои непомерно широкие ноздри крошечные пищалки.

Эмэ тоже поднялась с места, и молча встала позади Луизы и Фрица, и агент снова прочитал и перевел им текст:

«С почтительным приветом

«Четыре черта».

Луиза расхохоталась — так насмешил ее чужой язык: вдвоем с Фрицем она стала паясничать, глумясь над буквами, над звуками, которые произносил агент, над всеми этими нелепыми словами, переиначивая на разные лады одну и ту же фразу: «С почтительным приветом...»

Это звучало так комично, что привлекло остальных, и теперь все сообща — клоуны, гимнасты и танцовщицы — смеялись, кричали и вразнобой громко коверкали — каждый со своим акцентом — одну и ту же фразу, и все тонуло в хохоте, даже слова, которые насмешливо выпевал дружный и мощный хор: «С почтительным приветом — «Четыре черта».

Визжали «уйди-уйди». Высоко вверху, на двух столах, поставленных один на другой, клоун Трип самозабвенно вертел задом, изображая осла Риголо.

Тут, наконец, последней из всех, залилась долгим, пронзительным смехом Эмэ, а шум между тем мало-помалу стихал.

«Черти» вернулись на свои места. Адольф вынул деньги и положил на стол, возле кружек. Затем все встали, все, кроме Фрица. Нет, он не пойдет домой.

— Спокойной ночи, — сказали Адольф и Луиза.

— Спокойной ночи, — ответил Фриц, не двигаясь с места.

Эмэ замешкалась: несколько секунд она разглядывала его, словно заново испытывала боль при мысли об этой — последней — ночи.

— A demain¹, Эмэ,— сказал он.

Она медленно отвела от него взгляд:

— A demain...

Она вышла в проход. Там было темно. Только фонарь расклещика стоял на полу, и свет его ярко выхватывал из тьмы желтый лист афиши. Сестра и Адольф ждали ее у входа. Она побрела за ними — одна.

Между рядами высоких домов было тихо, мертво.

Эмэ оглядела могучие громады — с глазами окон на каменных лицах — чужими, злыми глазами. Небо было высокое, ясное. Эмэ посмотрела на звезды: о них говорят, будто это — миры. Иные миры, несхожие с нашим.

И снова она оглядела дома, двери, окна, фонари и плиты мостовой — словно все это было каким-то неповторимым чудом, которое она видела в первый и последний раз.

— Эмэ! — позвала Луиза.

— Да, иду...

Она снова окинула взглядом длинные вереницы домов, — громаду за громадой, — домов мрачных, немых, запертых на замок, между которыми замирали звуки ее шагов...

Позади нее визжали и шелкали «уйди-уйди», и громко смеялись клоуны.

— Эмэ! — опять позвала Луиза.

— Иду.

Эмэ нагнала сестру. Та стояла под руку с Адольфом, — их лица освещал свет фонаря, — оба дожидались ее.

Откинув голову назад, Луиза сказала с легким вздохом:

— Господи, идешь ты наконец или нет?

И, прислонясь к плечу Адольфа, все так же стоя в свете фонаря, она оглядела пустынную чужую улицу, которую они только что миновали и где за ними вновь сомкнулись потемки.

— Славная улица, — сказала она. — Приятная.

И, снова со смехом повторив те три комичнейших слова: «С почтительным приветом», — она в последний раз взглянула на темную улицу и спросила:

¹ До завтра (франц.).

— А как же все-таки она называется?

— Да что там,— сказал Адольф,— каких только улиц мы не видали...

И они зашагали дальше, войдя в просвет между новыми рядами домов.

Фриц остался сидеть за столиком. Клоуны пытались было угостить его вином. Но он лишь покачал головой. Тогда один из клоунов прокричал под хохот остальных:

— Уж, верно, у него есть на примете кое-что получше! Приятного сна!

Остальные подняли бокалы, и снова грянул смех: Биб и Боб смастерили удочку и начали снимать с вешалки — одну за другой — шляпы артистов.

Поднявшись из-за стола, Фриц направился к дверям ресторана, выходящим на улицу, и там присел за столик, стоявший на тротуаре под сенью двух лавровых деревьев.

Безысходная тоска, неизъяснимое отвращение к жизни захлестнули его.

Он видел шепчущиеся парочки, которые прогуливались взад-вперед, прижимаясь друг к другу. В тени деревьев они миловались, ворковали влюбленно. Женщины вертели бедрами, мужчины выпирали грудь колесом, заигрывая друг с другом, словно лесные звери перед спаркой...

Фриц вдруг рассмеялся резким, отрывистым смехом.

Он вспомнил клоуна Тима, которого прозвали «Собачником». Да, клоун был прав.

Тим возник перед Фрицем словно наяву, со своим кротким, невозмутимым, печальным, как у статуи, лицом и тонким, красиво очерченным, как у женщины, трагическим ртом.

Он привиделся Фрицу в своей квартире — просторной комнате, где он соорудил дом для собак, двухэтажный дом, в котором псы располагались друг над другом.

Так они и лежали, каждый пес в своей конуре, покорно свесив морды и глядя в одну точку глазами, скорбными, как у самого Тима.

И Тим сидел тут же, в комнате.

Такая уж там собралась чинная компания...

Все псы были кастрированы.

Как-то раз Тим взял себе новую собаку. Когда Фриц зашел к нему, пес, изувеченный, весь в крови, лежал на подстилке.

— Вот,— сказал Тим, оглядев окровавленное животное усталым взглядом,— теперь этот пес человечнее человека...

Да, Тим прав: люди — звери. Все живые существа одинаковы — недаром мы рождаемся в луже крови и умираем, испуская смрад.

И в самые яркие минуты бытия, когда мы живем полной жизнью, мы остаемся зверями, какими были в начале и какими будем в конце.

Фриц продолжал разглядывать пары, которые, воркуя, прогуливались мимо него, и его охватила глухая, жгучая ненависть к этим шаркунам, кривлякам и лицемерам.

Скоты они, просто скоты, жаждающие набить брюхо.

Глупцы они, все мы глупцы.

Холим, лелеем себя, не жалея сил. Тратим на это дни, годы, всю молодость нашу, всю силу ума — и вдруг в один прекрасный день в нас пробуждается зверь,— стало быть, мы и всегда были зверями.

Фриц рассмеялся. И непроизвольно начал ощупывать свое тело, которое холил всю жизнь, а извел за какие-нибудь три месяца.

Из дверей ресторана вышел актер. На мгновение он задержался у входа, затем появилась его жена, и оба заковыляли по тротуару.

Глядя им вслед, Фриц продолжал смеяться.

А вот эти, которые женятся, спариваясь на всю жизнь, жрут свой хлеб насущный и плодят детей... Они разве не губят свое тело? Пухнут, как жирные трутни, и в сытом покое отращивают брюхо! И воспитывают себе подобных.

Глупцы, ах, глупцы.

Фриц по-прежнему разглядывал гуляющих. А тех все сильнее одолевало томление. Мужчины, вышедшие на охоту, нагтели. Увлекая добычу в тень, они все более открыто домогались своего.

В ресторане шумели клоуны. Визжали «уйди-уйди». Этот визг летел над толпой, прямо в лица гуляющим, каждой парочке, как торжествующий гимн безумию.

Фриц встал.

Швырнув деньги на стол, он зашагал прочь.

В ресторане шум все нарастал. Клоуны галдели, кричали, смеялись. Трип затянул песню. И с визгом, свистом, кудахтаньем все стали ему подтягивать. Гримасничая, кривляясь, как на арене, коверкая слова, они пели:

Amour, amour,
Oh, bel oiseau,
Chante, chante,
Chante toujours...

Парочки на тротуаре останавливались, заглядывали в двери и окна и, прижимаясь друг к другу, смеялись.

Но вот двое, затем еще двое и еще двое стали подпевать клоунам. Далеко во тьме разносились слова:

Amour, amour,
Oh, bel oiseau,
Chante, chante,
Chante toujours...

Фриц вышел на площадь. Он видел внутри, в ресторане, беснующихся клоунов, снаружи — влюбленные пары; головы тех и других плавно покачивались в такт песне.

Вдруг акробат разразился смехом: прислонясь к фонарю, он хохотал; хохотал — несдержимо, безумно, дико.

Подошедший служитель порядка с удивлением взглянул на господина в цилиндре, который нарушал общественную тишину.

Но господин в цилиндре продолжал смеяться, весь трясясь от хохота и, наконец, попробовал напевать:

Amour, amour,
Oh, bel oiseau,
Chante, chante,
Chante toujours.

Тогда и служитель порядка как-то вдруг рассмеялся, сам не понимая отчего.

А в ресторане продолжали петь:

Amour, amour,
Oh, bel oiseau,
Chante, chante,
Chante toujours.

Фриц повернулся и зашагал прочь.
Он шел к *Ней*.

Снова грянули аплодисменты, и Луиза снова вышла в манеж.

Затем униформисты начали свертывать предохранительную сетку. Звук был такой, словно опускали большие паруса. Музыка смолкла.

— Сейчас господин Фриц и мадемуазель Эмэ без сетки исполнят смертельный полет.

Униформисты крупными граблями выровняли в манеже песок. Все было теперь готово. Униформисты замерли в ожидании, точно гвардейцы, взявшие на караул.

Amour, amour,
Oh, bel oiseau,
Chante, chante,
Chante toujours.

Фриц и Эмэ вышли рука в руке. Они поклонились публике в вихре цветов, со всех сторон летевших на арену. Затем они взметнулись вверх по длинным, ожидавшим их канатам.

Тысячи глаз следили за ними.

И вот они наверху. Какую-то долю секунды они отдыхали рядом.

Когда Фриц оторвался от трапеции и полетел, толпа встрепенулась и вздрогнула, словно одно гигантское тело.

Но никогда еще «черти» не работали так четко. В благоговейной тишине их руки цепко хватали рамы колышущихся трапеций.

Фриц летал из конца в конец манежа.

Эмэ не сводила с него глаз — больших, светящихся матовым блеском, будто два фонаря, которым вот-вот суждено погаснуть.

Вальс нарастал, и трапеции раскачивались все сильнее.

Судорожно прорывались робкие хлопки.

Эмэ распустила волосы, словно желая закутаться в черный сверкающий плащ, и, выпрямившись на трапеции, лицом к Фрицу, замерла в ожидании. Смертельный полет начался.

Они реяли в воздухе, рассекая его телами. Как крики птиц, прорывались слова команды сквозь звуки вальса, и публика была словно в угаре.

— Эмэ, du courage!

Фриц снова улетел от нее.

— Enfin, du courage!

Он снова поймал трапецию.

Только его одного видела Эмэ — только тело его, и ей чудилось, будто оно источает свет. Снова усилились аплодисменты — теперь цирк гремел от рукоплесканий. Вальс нарастал, музыка ликовала.

Обернувшись к ней лицом, он выжидал.

И вдруг Эмэ как бы со стороны увидела, что подняла руку и, свесившись далеко за край трапеции, отцепила петлю.

А Фриц уже летел к ней.

Больше она не видела ничего, и крика тоже не было никакого.

Будто мешок с песком сбросили на арену — такой раздался звук, когда Фриц рухнул в манеж.

Тысячную долю секунды помедлила Эмэ на своей трапеции. Только в тот миг она поняла, что смерть — блаженство, только в тот миг... когда... разжав руки, вскрикнула и ринулась вниз.

В цирке стало совсем тихо.

Казалось, прорвало плотину: сотни людей, обьятых ужасом, бежали из цирка. Мужчины перескакивали через барьер, женщины, спасаясь бегством, толпами устремлялись к дверям.

Никто не хотел ждать, все убегали. Женщины вопили как резаные.

Подбежали три врача и опустились на колени возле трупов.

Затем все стихло. Словно пытаюсь спрятаться от кого-то, забыв переодеться, притаились в своих уборных артисты. В гулкой тишине они вздрагивали от малейшего шороха.

Один из конюхов подошел к дожидавшемуся в манеже врачу, вдвоем они подняли трупы и уложили в парусиновую простыню.

Они молча пронесли их через весь коридор, мимо конюшни, где лошади встрепенулись в стойлах. Артисты шли следом необычной траурной свитой — в пестрых костюмах, надетых для пантомимы.

У дверей цирка стоял большой похоронный фургон.

Адольф взобрался внутрь и в потемках уложил на пол — бок о бок — сперва Эмэ, затем брата. Руки их глухо стукнулись о дно фургона.

Дверцу захлопнули.

Снова раздался вопль — выбежав из толпы, какая-то женщина припала к дверям черной повозки. Это была Луиза — ее оттащили и увели...

По длинному коридору, точно спасаясь среди бела дня от привидения, мчался кельнер.

— Врача в ресторан! — крикнул он. — Там дама бьется в судорогах!

Один из трех врачей поспешил к ней, тут же вызвали ее экипаж...

Карета с внушительными гербами на дверцах подъехала, и тогда вывели даму; врач поддерживал ее под руку...

На какой-то миг экипажу пришлось задержаться. Улицу преградил похоронный фургон.

Затем карета выехала на дорогу и покатила дальше.

На улице было светло илюдно. Двое молодых людей остановились под фонарем. Весело, с любопытством оглядывали они огромный человеческий рынок...

Подошли двое других и стали рассказывать о «присшествиях» в цирке.

Кто-то выругался раз, другой; пытаюсь объяснить, что же произошло, все усиленно размахивали руками. Затем те двое, что принесли вест, побрели дальше.

Двое других остались под фонарем.

Один из них постучал тростью по камням мостовой.

— Н-да,— сказал он.— Mon dieu, les pauvres diables!¹

Но вскоре, не в силах оторвать глаз от пестрой толпы, они начали напевать:

Amour, amour,
Oh, bel oiseau,
Chante, chante,
Chante toujours.

Сверкали серебряные набалдашники тростей. По тротуарам прогуливались молодые люди в длинных плащах...

В тот вечер на человеческом рынке царило особое оживление.

¹ Ах ты, господи, бедные черти! (франц.)

ФРЕКЕН КАЙЯ

I

Все постояльцы наконец разошлись, на третьем этаже захлопали двери, потом с лестницы донеслась болтовня «неразлучниц», но и она вскоре смолкла.

Теперь в гостиной будет хоть на часок тихо.

Фру Кант сидела на своем излюбленном месте на диване под портретом матери. Она дремала, ежеминутно пробуждаясь, и ленты чепца мерно покачивались в такт ее движениям.

А фрекен Кайя спала, как убитая, прямо на стуле перед швейной машиной. Рот у нее был открыт, она дышала громко и затрудненно, словно и во сне делала какую-то утомительную работу. Вдруг она затихла и на миг открыла глаза: ей показалось, что кто-то ее позвал. Но тут же снова погрузилась в глубокий сон.

Фру Кант теперь уже совсем проснулась — она никогда подолгу не спала — и принялась ходить взад-вперед по комнате, что-то мурлыча себе под нос. У нее была привычка вечно напевать про себя — никто не знал,

какие старинные песни она вспоминала, когда ходила вот так, на цыпочках, легко ступая, почти танцуя, и, как в менуэте, придерживая рукой платье.

Она кружилась вокруг фрекен Кайи, напевала все громче и громче — нелепый храп дочери раздражал фру Кант, и в конце концов она ее окликнула.

Но фрекен Кайя не шелохнулась в своем темном углу, лишь что-то пробормотала сквозь сон и снова громко засопела: как только ей удавалось на минутку пристесть, она словно куда-то проваливалась.

Фру Кант не могла больше выносить этого храпа.

— Не пора ли унести машину? — спросила она громко и нетерпеливо, тем резким тоном, которым разговаривала только с дочерью.

Фрекен Кайя встрепенулась и торопливо пригладила растрепанные волосы — лампы она уже зажгла, оставалось только протопить печь в комнате капитана.

Ни слова не говоря, она взяла машину, — разом вспомнила все, что еще предстояло сделать, — и понесла ее наверх. Казалось, она была одновременно на всех этажах, и во всех коридорах раздавался ее громкий крик: «Евгения, Евгения!» — при этом она как-то странно повышала голос на слоге «ге».

Евгения, прислуга за все, ходившая всегда в стоптанных танцевальных башмаках, проводила время преимущественно в двух занятиях — либо отсыпалась, так и норовя прикорнуть на всех постелях, которые стелила, либо подвивала себе щипцами челку, ничуть не боясь спалить волосы. Она весьма неторопливо вышла из своей каморки, но все же успела послать барышне вдогонку — правда, вполголоса — несколько любезностей, которые фрекен Кайя, впрочем, вряд ли расслышала, потому что ее шаги уже раздавались этажом ниже.

«Неразлучниц», прямо в пальто стоявших рядышком на коленях на кухонном столе, чтобы получше разглядеть свадебную карету, — в парадных залах Торупа, расположенных в боковом флигеле, справляли очередную свадьбу, — «неразлучниц» как ветром сдуло, едва они услышали, что приближается фрекен Кайя.

Без участия сестриц Сундбю вообще ничего не обходилось. Они жили вдвоем в ванной комнате третьего этажа и платили вместе с питанием всего восемьдесят крон, причем за эти же деньги Лисси еще имела право

ежедневно играть три часа на рояле в гостиной — она готовилась в консерваторию.

Но фрекен Кайя и не взглянула на сестриц. Она быстрым шагом направилась к капитану, однако в коридоре ее перехватил студент Каттруп, — распахнул настежь дверь своей комнаты, чтобы она могла убедиться, что «у него тепло и не пахнет».

Фрекен Кайя затопила печку, постелила постель, передвинула лампу — все это она проделала быстро, машинально, не думая. Мысли ее всегда были заняты исключительно тем, чем ей предстояло заняться в следующую минуту. Она снова направилась наверх, попутно снимая покрывало с кроватей в тех комнатах, мимо которых проходила.

В коридоре она натолкнулась на фрекен Эмми, которая в испуге пробормотала:

— Ой, я хотела только дверь открыть...

Едва начинало смеркаться, обеих фрекен Сундбю охватывала страсть бегать открывать входную дверь. Они обе вылетали на каждый звонок, неприхотливые, как воробушки, и любезно указывали пришедшим дамам и господам нужную комнату. А в эти часы в дверь пансион звонили непрерывно — трезвон стоял, как на телефонной станции.

Фрекен Кайя уже снова была на четвертом этаже. Студент Каттруп закрыл свою дверь, а Эмми вернулась на свой наблюдательный пост, и они с Лисси уже снова на коленях примостились на столе, прижавшись лицом к стеклу.

Фрекен Кайя зажгла лампу в прихожей и лампу в столовой, висевшую низко над обеденным столом, с которого еще не убрали салфетки.

— Я пошла, — резким голосом крикнула она матери в гостиную и прихватила две грязные тарелки, которые все еще стояли на столе, потому что господин Лерхе опоздал к обеду.

— Возьми кофточки! — крикнула в ответ фру Кант, но дочь не услышала ее, потому что через столовую, как шквал, пронеслись трое братьев Гаттинг — они спешили на урок.

— Чего несетесь, как угорелые! Константин! — осадила одного из них фрекен Кайя — он чуть не выбил у нее тарелки из рук.

Гимназисты промолчали, но тот, что шел последним,

так хлопнул за собой входной дверью, что пламя в керосиновых лампах всколыхнулось. Братья Гаттинг всегда выбегали из своей комнатухи, словно сорвавшиеся с цепи собаки.

— Ты возьмешь кофточки? — повторила фру Кант.

Из коридора донеслось резкое «да», и тогда фру Кант поднялась, уронив шаль, — серо-коричневую шаль из верблюжьей шерсти, в которую она всегда куталась, но из-за своей непоседливости вечно забывала на каком-нибудь стуле, — и пошла за кофточками в спальню, кокетливо убранную комнату с множеством белых салфеточек, чехлов и двумя старинными, начищенными до блеска серебряными подсвечниками перед зеркалом. В пансионе только про комнату фру Кант можно было сказать, что она так и сияет чистотой.

Фру Кант вынула из ящика кофточки, — шерстяные кофточки, которые вязала для магазина, — и хотела было их завернуть, но движения ее были, как всегда, чересчур торопливы, и она никак не могла справиться с бумагой.

— Ладно, и так сойдет, — сказала фрекен Кайя, которая вслед за ней вошла в комнату, и взяла из рук матери разваливающийся пакет.

Она двинулась в свою комнату, вернее, в ванную, где на гвозде, вбитом в стену, висели, прикрытые простыней, ее платья, а в углу кучей лежала сложенная постель. Сунув кофточки в ящик комода и заперев его на ключ, она стала готовиться к выходу. Она надела длинное, до пят, пальто — его фалды висели как-то бесполо из-за того, что она не носила турнюра, а на голову напялила меховой берет так, что волос вовсе не было видно. Толстые перчатки она уже натягивала на ходу, в коридоре, — запястья ее были костлявы, как у мужчины.

Еще несколько раз раздался ее крик: «Евгения, Евгения!» — потом хлопнула входная дверь. Фрекен Кайя так торопилась, что чуть не попала под свадебную карету, которая, звеня колокольчиками, как раз въезжала в ворота.

Но фрекен Кайя ничего не видела и не слышала — с того мгновения, как она вырвалась из дому, она всецело погрузилась в расчеты: надо было во что бы то ни стало уложиться в ту мизерную сумму, которой она располагала, а сегодня к тому же был субботний вечер, значит, продукты предстояло купить на два дня.

А в пансионе после ее ухода сразу воцарились мир и благодать.

Фру Кант зажгла свечи в серебряных подсвечниках, она сновала взад-вперед, что-то мурлыча себе под нос, и без конца перебирала всякие щеточки и гребенки. Таким делом она могла заниматься часами: то пополирует себе ногти, то пригладит волосы, при этом охотно болтая со всеми, кто заходил в гостиную.

Всем хотелось ей что-то рассказать, а она рассеянно слушала эту болтовню, легко ступая, переходя на цыпочках с места на место и повсюду оставляя свою шаль.

В гостиную вошла фру фон Кассэ-Мукадель, расставила стулья как положено — они стояли так, будто только что поспешно ушли гости, — и села к столу раскладывать пасьянс. Фру Кассэ-Мукадель, крепкая, полная женщина со следами бывшего кокетства, раскладывала карты для всех девиц, живущих в пансионе, загадывая про «счастье в любви» и «замужество». При этом она кривила в улыбке красный похотливый рот, ее бросало в жар, и ей приходилось даже время от времени вставать, так она возбуждалась от тех сцен, которые рисовались ей, когда она глядела на карты.

Сестрицы Сундбю щебетали в столовой; комната буквально гудела от того нескончаемого потока слов, который безостановочно лился без всякого участия их мозга из их рыбьих ротиков; они говорили о том, кого сегодня видели, кому открыли дверь и кто такая эта невеста, причем этот бурный поток то и дело прерывался обращениями сестриц друг к другу: «Верно, Ие?», «Верно, Им?» — но только, чтобы хлынуть тут же с новой силой, и сопровождался он такой богатой микроимимикой, что казалось, они боялись упустить драгоценное время юности и недоделать положенного количества ужимок в минуту.

Тем временем фру Кассэ-Мукадель бросила раскладывать пасьянс, вытянула вперед голову и уронила на круглые колени свои все еще красивые руки, чем-то напоминающие жирных белых кошечек.

— Кто это сейчас прошел к Спарре? — спросила она и поспешно подняла абажур, чтобы лучше видеть, что происходит.

— Ну конечно, та девица в коричневой шляпке, как обычно, — сказала Эмми. — Но я больше не подам ему руки, — добавила она и поджала губы. Сестрицы Сунд-

бу взяли себе за правило демонстрировать свой протест против некоторой вольности нравов обитателей третьего этажа тем, что переставали подавать им руку, когда расходились после обеда.

— Да, это она,— сказала фру фон Кассэ и любовно поглядела на свои колени.

— Кто? — как всегда, с полуотсутствующим видом спросила фру Кант, выходя из спальни.

— Она была в кашемировом платье,— сказала Лисси, которая уже снова сосредоточилась на невесте.

— Хотела бы я знать, будут ли сегодня там танцы? — спросила фру Кант.

Это интересовало ее больше всего: она так любила, когда в доме звучала веселая музыка.

Лисси ей ответила, но, как всегда, невпопад,— это была особенность сестриц.

— Да, все они были в закрытых платьях.

Фру Кассэ бросила сухо, поднимая глаза от пасьянса:

— Невеста и должна быть в закрытом платье.

— Почему же? — спросили обе сестры вместе и вытянули шеи,— они всегда вытягивали шеи, когда задавали вопрос.

— Потому, что это умнее,— ответила фру Кассэ и окинула сестриц колющим взглядом своих серых глаз.

— Да,— согласилась фру Кант, которая уже снова присела на диване,— но я охотно поглядела бы на красивую шейку.

Сестрицы молчали — тихий ангел пролетел по комнате. Потом обе бессмысленно захихикали, и Эмми села за рояль, чтобы, пока нет дома фрекен Кайи, украсть лишние полчаса для гамм.

Эмми уже играла, когда Арне Оули прошел через столовую и сказал по-норвежски: «Добрый вечер». Он всегда ходил, опустив плечи, словно согнувшись под тяжестью своего молодого тела. В гостиной он тихо сел в углу и прикрыл глаза рукой. Так он мог сидеть часами, слушая скверную игру фрекен Эмми.

Эмми продолжала играть, а дверь поминутно отворялась, и кто-то всовывал голову в гостиную, чтобы выяснить, что там происходит.

— Да, что-то прохладно становится, дитя мое,— сказала фру Кант, повернувшись к Лисси, которая встала и подошла к печке. Двери здесь вечно стояли нарас-

пашку, поэтому в общих комнатах пансиона было немногим теплее, чем зимой на базарной площади.

Фру Кассэ смешала карты и беспокойно заерзала на стуле.

— Теперь ваша очередь, господин Оули,— сказала она и уставилась на норвежца. Глаза ее блеснули.

Рука Оули медленно соскользнула со лба.

— Да,— сказал он и встал. Казалось, что он все, решительно все делал через силу: пересесть с места на место или задать вопрос стоило ему величайших усилий.

— Да,— повторил он, словно очнувшись от своих грез,— теперь вы мне расскажете что-нибудь про мою жизнь.

Лисси, которая вязала кружева,— сестрицы, видно, намеревались носить только кружевное белье,— выпалила с присущим ей даром вдруг изрекать весьма странные афоризмы:

— Фру Кассэ, как вы, наверно, жизнь хорошо знает!

А фру Кант уже прошла, на цыпочках, легко ступая в столовую и, мурлыча себе что-то под нос, ладонью стирала крошки с обеденного стола.

Потом фру Кант все той же танцующей походкой проследовала на кухню, где Евгения мылась в свое удовольствие, опустив руки в лохань. Она всегда пользовалась уходом фрекен Кайи за покупками, чтобы детально заняться своим туалетом, и при этом выливала себе на голову не одну бутылку бриллиантина. А фру Кант все сновала между кухней и чуланом, то тут, то там подбывая остатки. Она любила подкрепиться вот так, между делом, и никогда не отказывала себе в этой маленькой радости.

Евгения вытерла мыльные руки и стала жаловаться на фрекен Кайю.

— Постыдилась бы хоть людей, ведь догадывается, что говорят о ней в доме,— закончила она свою речь и вылила воду из лохани.

Фру Кант терпеливо ее выслушала.

— Ты же знаешь фрекен Кайю, Евгения!

Фру Кант была добрым гением в доме, она всех примиряла и никогда не защищала дочь.

— Здесь и так многое приходится терпеть, уж поверьте мне, фру Кант,— сказала Евгения.— На третьем этаже держи ухо остро, с чем только не пристают наши новые жильцы, там такого наслышишься!

Тут на кухню вихрем влетели гимназисты и басом сообщили, что товарищ пригласил их на вечер играть в карты.

— Хорошо,— сказала фру Кант,— только убегайте поскорей, пока не вернулась фрекен Кайя.

Фрекен Кайя шла по улице торопливым шагом, ничего не слыша и не видя вокруг. На тротуарах царило большое оживление, люди были в светлом по случаю праздника, но все это не привлекало ее внимания. В рыбной лавке несколько служанок торговались с приказчиком, господином Ганзенем, который вышагивал по мокрому полу в деревянных башмаках.

Одна из девушек задрала юбку чуть ли не до пупа, чтобы все увидели ее длинные черные чулки, и, криво усмехнувшись, сказала, поклонившись фрекен Кайе:

— Барыня хочет небось получить без очереди?

Фрекен Кайя ничего не ответила, она молча остановилась у двери, сжимая в руке свой большой кошелек.

— Похоже, барыне, наоборот, угодно подождать,— сказала другая служанка.

Фрекен Кайя и бровью не повела, она уже привыкла пропускать все мимо ушей и терпеливо ждать. Служанки этого квартала считали своим долгом не упустить случая ее оскорбить.

— Ладно, Ганзен,— сказала первая служанка, демонстративно поворачиваясь к фрекен Кайе спиной,— уступите еще несколько эре... Мы ведь покупаем живую рыбу, а не дохлятину...

Из стеклянного аквариума с проточной водой приказчик вытащил сачком трепыхавшуюся рыбу.

Девушки ушли, продолжая отпускать шуточки, а приказчик, заходя за прилавок, небрежно кинул, не глядя на фрекен Кайю:

— Уснувшие вон там, в углу.

Фрекен Кайя подошла к стоящей в углу бочке, на дне которой, не двигаясь, лежало шесть-семь лещей. Она их долго разглядывала, а Ганзен расхаживал по лавке, засунув руки в карманы, словно у него и не было покупателей.

— Другого товара нет,— буркнул он,— и фарш тоже распродан.

«Фарш» Ганзен самолично приготавливал из дохлой рыбы.

Фрекен Кайя робко назвала цену.

— Берите,— сказал Ганзен, бросив через плечо презрительный взгляд на уснувших лещей.

Фрекен Кайя с присущей ей во время покупок медлительностью — то ли оттого, что никак не могла решиться на столь ответственный шаг, то ли оттого, что все заново пересчитывала — с таким видимым усилием вынула из кошелька несколько крон, что казалось, каждая монета отдельно привязана.

Потом фрекен Кайя пошла дальше, к торговке дичью. Толстая, большегрудая, она стояла в белом переднике за мраморным прилавком и обсуждала с покупательницей маскарад в «Союзе».

Фрекен Кайю она встретила коротким снисходительным кивком,— почти так, как поздоровалась бы с мадам Йоргенсен, которая убирает лавку за то, что живет у нее в подвале. Едва уловимым движением головы она указала фрекен на край прилавка, где валялись штук пять кур, свесив вниз дряблые шеи. Судя по их виду, они уже дня три так лежали.

Фрекен Кайя в задумчивости уставилась на эти синие мощи. К тому же куры у них недавно были, совсем недавно. Две глубокие морщины прорезали лоб фрекен Кайи: разнообразить меню — вот что было труднее всего...

Впрочем, стоило ли печься о разнообразии? Ведь в пансионе Кант почти все блюда были на один вкус — какой-то неопределенный, вялый.

Фрекен Кайя долго ощупывала кур все с тем же нерешительным выражением лица. Потом сказала беззвучно, незаметно положив несколько крон на прилавок:

— Значит, как всегда?

Она кивнула хозяйке на прощанье и бочком прошла мимо покупательницы к выходу. В лавках фрекен Кайя почему-то до странности робела. Но покупательница обернулась и поглядела ей вслед.

— Да,— подтвердила хозяйка,— к концу дня приходят из пансионов и забирают весь залежавшийся товар. Конечно, ничего хорошего здесь нет, но скажите, фру Михельсон, как насытишь голодных студентов на шестьдесят крон в месяц?

...Фрекен Кайя купила наконец все необходимое. На рынке она зашла в цветочную лавку и резко, словно с обидой, сказала девушке за прилавком:

— Дайте немного ландышей.

Уже расплатившись, она вдруг решила взять еще букетик фиалок.

И пошла домой.

II

Фру Кант взволнованно ходила взад-вперед по столовой.

— Угадай, кто к нам приехал? — воскликнула она, едва завидев дочь, и всплеснула руками.

— Кто же приехал? — сухо спросила Кайя, подойдя ближе. Она знала, что мать всех приглашает в гости, а потом, когда люди приходят, разыгрывает удивление, словно это для нее полная неожиданность.

— Грентофт — подумай только! — сказала фру Кант.

— Грентофт? Кто? Какой Грентофт? — так же сухо переспросила Кайя, но голос ее дрогнул.

— Вильгельм Грентофт, Кайя, наш Грентофт...

— Зачем он приехал? — спросила Кайя и отвернулась.

— Как зачем? Он, естественно, хочет у нас остановиться... Мы тут сидим, ни о чем не подозревая, вдруг звонок, сестрицы Сундбю бегут отворять, я слышу, что кто-то спрашивает фру Кант или фрекен Кайю... Дверь настезь... Он все тот же. Представляешь, стоит в дверях... Я его узнала с первого взгляда... С тремя большими чемоданами... Сказал, жена едет следом.

— Ясно.— Кайя открыла дверь в коридор и увидела чемоданы.— Здесь им не место, пройти нельзя.— Она говорила торопливо и резко.

— Кайя, мальчишки ушли в гости,— вдруг выпалила фру Кант, чтобы с этим разом покончить.

Но фрекен Кайя пропустила это сообщение мимо ушей. Она убежала, хлопнув дверью. Как угорелая влетела она в свою комнатку и, не зажигая света, села на край ванны, покрытой простыней. «Фрекен Кайя, фрекен Кайя!» Кто-то несколько раз окликнул ее громко, на весь дом, но она этого не слышала.

Она сняла пальто и берет и взяла с полочки расческу и щетку, но вдруг застыла: она увидела в окно невесту в празднично освещенном зале, невесту, всю в белом, и жениха, и гостей...

Она долго смотрела, словно зачарованная, на молодых и на всех остальных, кто веселился за столом...

Ведь обычно она вообще ничего не видела вокруг, а только, как заводная, крутилась весь день, работала не покладая рук. Но сейчас она вдруг увидела: справляли свадьбу... та, что в белом, невеста...

Евгения стояла посреди комнаты мальчигов с ведром помоев в руке и самозабвенно созерцала себя в зеркале, — впрочем, в доме не было зеркала, которое бы не отражало по несколько раз в день ее оплывшую физиономию. Она даже не обернулась на шаги фрекен Кайи, думая, что это идет из кухни фру Кант.

Фрекен Кайя держала в руке букетик ландышей, но поспешно спрятала его в выемку буфета, потому что слышала голос Грентофта. Да, голос его ничуть не изменился. Он шел ей навстречу.

— Хороши же вы! — сказал он и сжал обе ее руки, как прежде, на свой особый манер. — Приезжаешь специально к вам в гости, а вы даже не выходите!

Он говорил так, словно они вчера расстались, доверительно и весело. Она сказала только:

— Как вы загорели!

— И похорошел! — подхватил он и рассмеялся.

Они прошли в гостиную. Грентофт рассказывал, расспрашивал, смеялся. Фру фон Кассэ-Мукадель так и сияла: ее очень интересовали женщины Перу и вообще тех краев, она о них уже слыхала.

Сестрицы Сундбю сидели, нежно обнявшись, — они всегда так сидели, когда бывали гости. А Арне Оули, по обыкновению, забился в свой угол и глядел на всех с кроткой, рассеянной улыбкой.

Фрекен Кайя то пересаживалась с места на место, то выходила и входила, и у нее стало вдруг то же выражение лица, что у Арне. Она убрала со стола стакан, повернула другой стороной отколотую вазу, словно бессознательно пытаясь прибрать комнату.

— Вы помните? — все продолжал Грентофт. — Вы помните? — кричал он ей каждую минуту вдогонку через дверь. Вы помните, в ту зиму, когда открылся Королевский театр... Вот был праздник!.. А мы с вами в темноте карабкались на галерку... Вы помните, вы помните, фрекен Кайя?

— Да, вы подарили билеты...

Грентофт сидел верхом на стуле, он весь углубился в воспоминания юности.

— Вы помните, как мы устроили в моей комнате

зимний сад? Воткнули три старые елки в кадки и расставили по углам... А потом был бал, вы помните?..

Как Грентофт смеялся! А сестрицы Сундбю ему вторили.

Фрекен Кайя медленно рассеянной рукой водила по скатерти — чистой скатерти, которую она достала.

— Фрекен Кайя, а помните, как вы налили коньяк в рагу из утки, чтобы было пикантней, и никто не мог его есть? Помните?

Все снова засмеялись, а фру Кант сказала:

— Да, Грентофт, вы всегда любили острое.

Фрекен Кайя опять вышла. Нечего было подать к столу для такого случая! Необходимо послать Евгению купить что-нибудь. Но Фрекен Кайя нигде не могла ее обнаружить, а пока она бродила по комнатам, забыла, кого искала. Как он смеялся! Фрекен Кайя испуганно обернулась, когда услышала за спиной шаги. Арне Оули робко на нее посмотрел и сказал, как всегда, мягко:

— Фрекен, господин Грентофт может переночевать сегодня в моей комнате, а завтра вы все устроите. Я лягу на диване в гостиной, мне неважно...

Фрекен Кайя схватила его за руку.

— Спасибо, вы всегда так добры,— прошептала она, и слезы вдруг выступили у нее на глазах.

У Оули тоже почему-то — он сам не знал почему — увлажнились глаза, когда он глядел на Фрекен Кайю, растерянно бродившую по полутемной кухне.

Евгения с шумом отворила дверь черного хода — она довольно долго болтала, перевесившись через перила, с квартиранткой пятого этажа, дамой в красной кофте, торговавшей подушками и сдававшей мансарды.

Оули исчез, он не любил слушать объяснения Фрекен Кайи с Евгенией.

Но Фрекен Кайя не стала бранить Евгению, а лишь сказала, что надо купить. Евгения сделала большие глаза, когда увидела открытый кошелек... Монеты так и сыпались на стол.

Двери снова оживленно захлопали: обитатели третьего этажа шли ужинать.

Студент-медик Спорк явился первым.

— Бог ты мой! — воскликнул он, увидев свежую скатерть, и, повернувшись к Каттрупу, который всегда являлся к столу в шлепанцах (по привычке, потому что его отец, деревенский пономарь, требовал, чтобы все члены

семьи приходили к трапезе в матерчатых туфлях), добавил:— Никак нам и постельное белье сменят?

Студент-теолог Серенсен перебирал салфетки, стараясь найти себе почище,— этому упражнению он предавался перед каждой едой.

Евгения никак не могла взять в толк, что произошло с Фрекен.

— Представляешь,— крикнула она на ходу Тее, прислуге с первого этажа,— она сегодня раскошелилась, всех угощает по-царски.

И побежала дальше.

При ходьбе Евгения так подхватывала юбки, что нетрудно было убедиться в ее полном пренебрежении к нижнему белью.

Фрекен Кайя по-прежнему входила и выходила — она накрывала на стол. Дверь в гостиную она притворила,— господа с третьего этажа не стеснялись по части остроумия.

Фру фон Кассэ-Мукадель собрала карты, а сестрицы спорхнули вниз, чтобы почистить перышки: перед каждой едой они пудрились кусочком ваты.

В гостиной Грентофт оказался один с фру Кант. Он взял ее обе руки в свои:

— А теперь серьезно, что у вас слышно?

— Как вам сказать? — начала фру Кант. И покачала своей седой благородной головой.— Вы же знаете Кайю... Но не хочется жаловаться,— добавила она и посмотрела ему в лицо своими большими глазами.

Спорк рывком распахнул дверь в столовую и тут же с треском ею хлопнул, пытаясь выяснить, намерены ли их все же покормить сегодня.

Фру Кассэ-Мукадель, которая перед каждой едой вдруг становилась очень церемонной, ждала ужина в величественной позе, держа в одной руке бутылку пива, а в другой — собственную салфетку в серебряном кольце. Она поглядела на свои часы и сказала:

— Уже девять.

Но Фрекен Кайя не появлялась из кухни.

— Она готовит жаркое,— сообщила Евгения, словно это удивительное событие служило объяснением всему, и, громыхая, чуть ли не швырнула самовар на стол.

Фру Кассэ-Мукадель села. Сестрицы Сундбю демонстративно держали руки за спиной, чтобы, не дай бог, не протянуть их по забывчивости Спарре, который как раз вошел в комнату. Веки у него были красные.

Фру Кассэ тут же привстала, ей хотелось, чтобы Спарре сидел против нее. Она поглядела на него с неестественным блеском в глазах и спросила:

— Ваша гостья ушла?

В эту минуту Грентофт распахнул дверь в гостиную.

— Куда делась фрекен Кайя? — воскликнул он. — Ах, все ждут ужина. Моя фамилия Грентофт, — добавил он и поклонился. — Но где же все-таки фрекен Кайя? — снова удивился он и попросил разрешения пройти на кухню. — Фрекен Кайя! — крикнул он еще в коридоре. — Разве вы не собираетесь нас кормить?

Она стояла у плиты и обернулась на его голос, будто хотела прикрыть собой сковородку.

— Да, сейчас, — сказала она.

Грентофт огляделся: полутемная, тесная кухня, кладовая, где на полках лежали в блюдечках остатки еды; горшок с маслом, из которого всегда тщательно выскребались последние остатки.

— Ничто не изменилось, — сказал он. И долго стоял молча. Кайя тоже молчала. Только дрожь как будто пробежала по ее лицу. А может, это ему показалось из-за неровного света керосиновой лампы?

III

Наконец позвали ужинать.

Но тут же поднялась суета, потому что Грентофт во что бы то ни стало хотел сидеть за нижним концом стола, у самовара, а не за верхним, где для него накрыли.

— Я хочу сидеть на своем старом месте, — заявил он и сам перенес свою тарелку. — Мы здесь всегда расхватывали лучшие куски.

Все стали пересаживаться, а фрекен Кайя, — Арне Фули никогда еще не видел, чтобы у нее были такие глаза, — в каком-то лихорадочном возбуждении переставляла блюда и миски. Ведь здесь было заведено, что тем, кто сидел в дальнем конце, доставались одни объедки, и до сестриц Сундбю блюдо не раз доходило с одним мало-съедобным кусочком.

— Ну вот, — сказал Грентофт, — теперь порядок.

Все расселись. Фрекен Кайя поставила на стол соусник.

— Как, вы и майонез приготовили! — воскликнул Грентофт.

— Да... Но не знаю, удался ли он, я ведь,— тут фрекен Кайя вдруг густо покраснела,— так давно его не делала...

— Превосходно, превосходно! — И Грентофт сразу же приступил к еде.— А потом, когда вы всем разольете чай, вы нам заварите отдельно — как тогда...

— Как вы все помните! — сказала Кайя очень тихо.

— Да,— сказал Грентофт и облокотился обеими руками о стол.— Здесь когда-то бывало так весело!

За верхним концом стола шел громкий разговор. Спорк и Спарре сразу же сели на своего излюбленного конька — они, как всегда, рассказывали медицинские анекдоты, от которых у любого врача волосы стали бы дыбом. Молодой писатель новой школы коснулся темы изнасилования детей, вдаваясь при этом в такие подробности, что вдова Гессинг, у которой две девочки воспитывались в пансионе в Люнбю, задрожала от ужаса и возмущения, а фру Кассэ-Мукадель, буквально пожирившая глазами Спарре, оперлась подбородком о свою бутылку. Каттруп беседовал с фру Кант о Дарвине. Новые идеи, скандальные истории, злободневные проблемы — в пансионе все это вихрилось в разговорах за столом, как пыль на базарной площади. Фру Кант слушала, глядя на собеседника своими большими живыми глазами.

— Да, да, мне нравятся эти новые идеи,— говорила она,— они помогают лучше разобраться в нас, людях.

Грентофт съел все и попросил чаю.

Он засмеялся, увидев себя и Кайю отраженными в самоваре, как в кривом зеркале. Фрекен Кайя тоже поглядела, наливая чай.

— Вот видите, это мое зеркало,— сказала она и помолчала. Голос фру Кант — звонкий, ясный голос, как у молодой девушки,— донесся до них, и фрекен Кайя подняла голову и посмотрела на мать.— Правда, мама совсем не изменилась? — сказала она.

— Да, совсем не изменилась,— подтвердил Грентофт и тоже поглядел на фру Кант.

Внезапно растрогавшись, он сжал руку Кайи,— она была такой жесткой и шершавой.

И тут вдруг внизу, в парадном зале, где справляли свадьбу, заиграла музыка.

— Начались танцы! — закричали сестрицы Сундбю.

— И мы слушаем музыку,— сказала фру Кант.

Сестрицы Сундбю стали вертеться на стульях, по-детски пританцовывая, будто они не в силах усидеть на месте. А внизу так отплясывали, что стены дрожали.

— Знаете, Грентофт, от этого во всем доме становится весело, — сказала фру Кант Грентофту через стол.

И вдруг все за столом заговорили о свадьбах. Особенно этой темой увлеклись Лисси и Эмми. Близость зала, где все время справлялись свадьбы, приводила их в транс.

— А я вот ни за что бы не согласилась справлять свою свадьбу в субботу, — вдруг выпалила Лисси.

— Это почему? — насмешливо спросил Спорк, глядя на нее в упор. «Неразлучницы» умели как никто изрекать такие удивительные вещи, что всякий раз заново демонстрировали свою ошеломляющую невинность.

— Да что ты, Ие! — возразила ей Эмми. — Так прелестно, чтобы первый день был воскресеньем!

— Положим, для этого все дни одинаково хороши, — заметила фру Кассэ и окинула многозначительным взглядом всех мужчин, даже Арне Оули, сидевшего на дальнем конце стола.

А вот вдова Гессинг решительно возражала против того, чтобы выйти замуж в пятницу.

Грентофт и Кайя тихо разговаривали. Приглушенным голосом, неторопливо и ласково рассказывал он о своей жене и ребенке.

— Поглядели бы вы на нее... такая она добрая, нежная... вот такого росточка, — и он рукой показал какого, — такая нежная и маленькая, — повторил он и улыбнулся, словно она стояла у него перед глазами.

Фрекен Кайя молчала, и за самоваром не было видно ее лица.

Арне Оули сказал — он не спускал глаз с Кайи:

— Вы бы сами что-нибудь съели, фрекен Кайя.

Она рассеянно взяла из его рук протянутое блюдо и поставила его обратно на стол, ничего себе не положив. Но мгновенно спустя она вдруг подняла голову и сказала — совсем тихо и с тем же выражением, что тогда, на кухне:

— Спасибо, господин Оули.

Грентофт продолжал говорить о своем доме, о своей жене и сыне. Фрекен Кайя молча слушала, уронив руки на колени.

— Как его зовут? — вдруг спросила она медленно, сдавленным голосом.

— Георг,— ответил Грентофт и улыбнулся.

Она повторила имя.

Общий разговор за столом все еще вертелся вокруг свадеб. Фру Кант сказала:

— В этом доме, можно считать, люди находят счастье... Мне приятно об этом думать.

Фрекен Эмми заявила, что хотела бы венчаться только в деревенской церкви. Фру Гессинг поведала обществу неосуществленную мечту своей жизни: заключить брак в Торбекской часовне.

— Давайте встанем из-за стола,— предложила фру Кант.

Все задвигали стульями, а фру Гессинг продолжала доверительным тоном:

— Там ведь птички летают под крышей.

Грентофт взял руку Кайи и сжал ее.

— Да, фрекен Кайя,— сказал он,— видит бог, счастье существует, но надо уметь сперва его поймать, а потом удерживать.

Рука фрекен Кайи недвижимо лежала в его руке.

— Какие у вас холодные руки,— сказал он, взяв и другую.

Она отвернулась и встала: Спарре и Спорк потребовали карты, чтобы сесть за ломберный столик, и горячей воды для грога. Быть может, капитан уже вернулся, и ему тоже что-нибудь надобно.

Грентофт посмотрел на Арне Оули — он тоже провожал Кайю глазами — и сказал растроганно:

— Вы, видно, очень привязаны к фрекен Кайе?

— Да,— сказал Оули своим мягким голосом,— ей так трудно приходится.

Они молчали. Фрекен Кайя хлопотала по хозяйству и без конца входила и выходила. Потом Арне Оули предложил Грентофту показать его комнату.

Сестрицы Сундбю опять прилипли к окну: вокруг невесты водили хоровод.

IV

Внизу продолжали отплясывать так, что весь дом сотрясался.

Тем временем вернулись гимназисты, и тут же разыгралась ссора,— всякий раз, когда открывали дверь, в

гостиную врывался поток бранных слов. Дело в том, что им прислали из дома корзинку яблок, они сразу же их разделили, и каждый спрятал свою долю в ящик. И вот теперь обнаружилось, что яблоки младшего исчезли.

В гостиной дамы пока не рассаживались, а переходили с места на место, разглядывая друг у друга рукоделье.

— Что-то здесь прохладно,— сказал Грентофт, подсаживаясь к фру Кант.

— Да, да, Кайя, здесь никогда не бывает по-настоящему тепло,— сказала она в ответ.

— А мы там у себя привыкли к теплу,— сказал Грентофт.— Иногда стоит такая жара, что сил никаких нет, просто с ног валит.

И он снова стал рассказывать о Южной Америке — о полноводных реках и дремучих лесах, спускающихся к самому берегу, о диких зверях, которые, притаившись в чаще, не сводят своих желтых глаз с проходящих мимо пароходов.

Он рассказывал о странной тишине этих непроходимых лесов, опутанных лианами, словно гигантской зеленой сеткой, о солнечном свете, который, едва сквозь них пробиваясь, играет всеми цветами радуги, как на дне морском. Говорил он и о тропической ночи, в безмолвии простирающейся над океаном небо, сверкающее мириадами звезд.

Фру фон Кассэ-Мукадель уже давно снова взялась за карты: девственные леса ее не интересовали.

А фру Кант все расспрашивала и расспрашивала. Вдруг ее взгляд упал на дочь, которая сидела у окна, на излюбленном месте Оули, и тоже слушала.

— Удивительно, Кайя, ты еще не спишь!

Обычно фрекен Кайя по вечерам засыпала, притулившись в каком-нибудь углу гостиной.

— Ну, здесь, пожалуй, спать не дадут,— сказал Грентофт и засмеялся. И в самом деле, поминутно кто-то входил или выходил. Каттруп, которому, видно, наскучило наблюдать за игрой у ломберного столика, спустился как раз в гостиную, подсел к ним, вытянул свои длинные ноги и приготовился слушать.

Но тут один из гимназистов крикнул, что у них кончился керосин в лампе, и фрекен Кайе снова пришлось бегать взад-вперед. От всей этой суматохи Грентофт никак не мог собраться с мыслями.

— У вас не соскучишься,— сказал он.

— Да, это верно,— согласилась фру Кант, мурлыча себе что-то под нос.— Но к этому привыкаешь.

Она снова стала, по своему обыкновению, ходить взад-вперед по комнате.

— Это все-таки живая жизнь,— добавила она.

Фру Кант уже несколько раз заглядывала к себе в спальню, намекая, что пора расходиться. А внизу танцы были в самом разгаре, слышен был даже стук каблуков. На третьем этаже распахнули дверь на лестницу, чтобы проветрить комнату. И теперь весь дом оглашали возгласы картежников.

Сестрицы Сундбю, снова на своем посту у окна столовой, громко крикнули, чтобы было слышно в гостиной:

— Невеста уезжает!

Фру Гессинг вскочила со стула.

Фру Кант опять заглянула в спальню и в темноте натолкнулась на фигуру у окна.

— Это ты? — спросила она.

Это и в самом деле была Кайя. Она тоже хотела поглядеть, как уезжает невеста.

— Да, мама.

Она отошла от окна, как вор, пойманный на месте преступления.

— Они уехали! — завопили сестры Сундбю, не в силах перевести дух от возбуждения. И Лисси взмолилась, хотя фру Кассэ уже отложила карты:

— Ах, фру Мукадель, погадайте, ради бога, на эту пару!

— А вы не могли бы хоть немного отдохнуть, фрекен Кайя? — сказал Грентофт, который тоже вошел в столовую, чтобы поглядеть на отъезд невесты, и сидел теперь рядом с Кайей у окна.

— Конечно, могу,— ответила она и запнулась.— Просто в субботу вечером всегда много дел.

Грентофт взглянул на Кайю — на нее как раз падал свет лампы: как она постарела! Какие у нее жесткие, застывшие черты, лицо словно высечено из дерева.

— Да, да,— сказал он вдруг сокрушенно,— вы, видно, всегда на ногах.

Фрекен Кайя ответила не сразу.

— Приходится,— сказала она наконец, словно только теперь расслышала его слова.— У нас ведь два этажа.

Некоторое время они просидели молча, потом фрекен Кайя сказала:

— Как там, наверно, прекрасно.

— Где?

— Там, у вас.

— Да,— сказал он.— Так как же нам быть? Вы сумеете нас приютить?

Он не шутил. Он приехал, чтобы жить со своей женой здесь, у них. Они собирались провести на родине пять месяцев.

— Об этом мы завтра поговорим,— сказала фрекен Кайя и встала.

Вдруг Грентофт расхохотался:

— Помните, фрекен Кайя, как мы с вами шли однажды вечером из казино, и я вас затащил на каток, и вы разбежались, поскользнулись и... сели... сели прямо посреди катка... на ту часть тела, которая нам дана для сидения.

Фрекен Кайя смеялась коротким, сухим смехом, как человек, который отвык смеяться.

— О да! И мне было потом так больно, что я еле сидела в омнибусе...

К ним подошла фру Кант. Она вдруг вспомнила про свои кофточки и спросила, где деньги.

Фрекен Кайя невольно снова засмеялась.

— Вот, мама,— сказала она и сунула ей в руку несколько крон, все еще продолжая смеяться.

— По-прежнему кофточки? — спросил Грентофт.

— Да.

Теперь оба смеялись.

— Чему вы смеетесь? Скажите, чему вы смеетесь? — нетерпеливо спросила фру Кант.

— Вспоминаем былые дни.

Лицо Кайи просветлело.

— Да, вспоминаем былые дни,— сказала она.

Она даже не заметила, что, спускаясь на кухню, мимо открытых дверей, из которых валил дым и доносился гул, как из кабака, она стала что-то тихо напевать слабым, но чистым голосом, который совсем не вязался с ее одеревенелым обликом.

— Это вы, господин Оули? — спросила она.

Обхватив колени руками, Арне сидел на кухонном столе, там, где прежде дежурили сестрицы Сундбю.

— Чего вы здесь сидите?

— Наблюдаю жизнь,— сказал он, отводя взгляд от танцующих.

— А почему бы вам туда не пойти? — бодро предложила Кайя.

Арне Оули немного помолчал, а потом сказал тихо:

— Не смею.

Фрекен Кайя вошла в комнату Оули. Там стояла дорожная сумка Грентофта, красивая и добротная. Она осмотрела все его вещи — футляр с тростями, аккуратно сложенные пледы — и улыбнулась: значит, он богат.

На тумбочке, у кровати, стояла фотография: Кайя взяла ее в руки — так вот она какая, его жена! — и долго ее разглядывала: хрупкая, изящная фигурка, тонкое лицо. Она никак не могла оторваться от этого снимка. Она и не подозревала, что еще может так страдать.

Кайя слышала, как Спарре сбежал вниз по лестнице и громко позвал ее, но она стояла, не в силах двинуться с места. Спарре еще раз выкрикнул ее имя, и тогда она поставила фотографию на место и, как тень, прошла мимо Арне, который, опустив голову на колени, думал о чем-то своем.

Она слышала, как Спарре, рванув наверху дверь, грубо крикнул:

— Нам принесут, в конце концов, воду?

Она поднялась по лестнице и в дверях столкнулась с Спарре, который, разгоряченный от выпитого грога и пунша, снова крикнул ей, как прислуге:

— Где вода, я спрашиваю?!

Фрекен Кайя густо покраснела, — она увидела, что Грентофт стоит рядом, — и сказала, умирая от стыда и волнения, резким, исполненным горечи голосом:

— Принесу, если вы попросите как надо.

И хлопнула дверью вслед ушедшему Спарре.

Грентофт побледнел от гнева.

— В наше время мы себе такого не позволяли, — сказал он, обращаясь к фру Гессинг, которая почуяла назревавший скандал и от нетерпения переступала с ноги на ногу.

— Да, — сказала она с фальшивым сочувствием, сквозь которое пробивалось удовлетворение, — но теперь ведь открылось столько пансионатов, выбор так велик. А кроме того, — добавила она, многозначительно глядя на дверь, которую закрыла за собой Кайя, — здесь так шумно. Это тоже многих отпугивает.

Кайя снова вошла и тут же вышла,— она понесла наверх горячую воду для грога.

Грентофт проводил ее глазами. Когда она вернулась, он сказал:

— Надеюсь, вы выставите этого парня?

Кривая усмешка, больше похожая на судорогу, чем на улыбку, исказила лицо Кайи.

— Ах, за что? — сказала она. Она уже не думала о Спарре, она просто забыла про него.

Грентофт все не сводил с нее глаз, наблюдая, как она деловито ходила среди всех этих чужих людей: поставила подсвечник на рояль, за которым теперь сидела фру Кассэ, и взяла лампу, чтобы отнести ее в комнату к вдове Гессинг. В гостиной все еще сидели люди. Писатель, только что вернувшийся домой, стоял посреди комнаты в пальто и с шляпой в руке — он сразу включился в общий разговор. Фру Кассэ тем временем задремала. Гостиная напоминала вокзал перед приходом ночного поезда.

Наконец все же стали расходиться, и каждый получал в руки либо свечу, либо лампу. Сестрицы, чтобы привлечь внимание писателя, скатились вниз по перилам.

— Спокойной ночи, фрекен Кайя,— сказал Грентофт. И он ушел.

Фрекен Кайя расставляла по местам стулья, пока фру Кант занималась ночным туалетом. Она сняла платье, мурлыча песенку. Кайя следила за ней глазами, а потом вдруг подошла, обняла и поцеловала.

— Кайя, какие у тебя жесткие руки,— сказала мать, недовольно высвобождаясь из ее объятий.

Кайя отошла. На мгновение она почувствовала глухую боль, ей показалось, что слезы, которые она не успела выплакать за все эти годы, сдавливают ей грудь. Но тут она заметила Оули, который терпеливо ждал, сидя в углу.

И тогда она, ни слова не говоря, механически стала стелить ему на диване.

— Спокойной ночи, фрекен,— сказал он.

Она едва его услышала.

— Спокойной ночи.

Проходя мимо буфета, она вспомнила про цветы. Она ведь хотела поставить их к нему на тумбочку! Но теперь уже поздно. Грентофт, наверно, уже лег. Да, конечно, уже поздно. Она взяла ландыши и фиалки. «Отнесу цветы маме»,— подумала она и поставила их в гостиную, возле излюбленного места фру Кант.

Потом она пошла в свою каморку и так же механически постелила себе, взяв из кучи, сваленной в углу, постельное белье. Она выдвигала и задвигала ящики комода, чего-то ища, и вдруг засмеялась: она увидела мамины кофточки. Мать столько лет верит, что она их продает, а все они уже давно превратились в пыльные тряпки.

«Вы помните, помните, фрекен Кайя?»

Его смех, его веселый смех...

Она лежала в темноте, но не могла уснуть. Она слышала каждый звук в доме. Кто-то отворял и затворял двери. Она слышала, как стучали по водосточной трубе,— это официанты со свадьбы вызывали из мансард служанок. Кто-то спустился по черной лестнице. Хлопнула дверь во двор. В мансардах жизнь не умолкала.

Фрекен Кайя долго лежала неподвижно в темноте, потом она приподнялась в постели и, опершись головой о руку, стала прислушиваться: внизу разъезжались последние гости.

Обитательницы ванной комнаты на третьем этаже тоже не спали. Ие в белой ночной рубашке забралась на подоконник. Эти вечные свадьбы очень возбуждали сестриц Сундбю. Фрекен Лисси долго глядела вниз на празднично освещенный зал... Потом тихо легла рядом с уже задремавшей Эмми.

Картежники тоже разошлись. Каттруп, сидя на краю кровати, подсчитывал выигрыш. Что ж, хватит на кофе и на три партии в биллиард.

Грентофт еще сидел в комнате у капитана, которого встретил на лестнице.

Капитан Иенсен был добрым приятелем его брата и пригласил его к себе выпить стаканчик грога. Они болтали о том, о сем, потом разговор зашел о пансионе.

— Да,— сказал Грентофт, пристально глядя на лампу.— Поверите ли, фрекен Кайя была когда-то в самом деле очень хорошенькая... И у нее был такой прелестный голос,— добавил он, не отрывая глаз от лампы.

Капитан с удивлением посмотрел на южноамериканца, решив, что тот шутит.

V

В пансионе утро уже началось. Евгения, вооружившись щетками и тряпками, прошла через столовую. Она громыхала стульями, не обращая внимания на Арне,

спящего на диване. Евгения была не из тех, кто считается с другими, особенно по утрам.

Она не закрывала за собой ни одной двери и со стуком распахнула окна в гостиной. Арне Оули встал и как неприкаянный бродил по комнате, пока Евгения выгребала золу из остывшей печи, рассыпая ее по всему полу.

Фрекен Кайя стояла на кухне, пытаясь сладить с керосинкой, которая упорно коптила.

Никто не проронил ни слова.

Евгения сбросила простыни с дивана на пол и вдруг, стоя, задремала. Впрочем, ее тут же разбудил крик: «Евгения!» Фрекен Кайя внесла керосинку в столовую.

Появилась фру Гессинг — теперь уже хлопали двери и в коридоре, — она отправлялась на свою ежедневную утреннюю прогулку. На ней был серый халат и огромный чепец а ля Шарлотта Кордэ, чтобы скрыть папилыотки.

Надевая пальто, она с преувеличенной любезностью спросила Арне Оули, хорошо ли он спал.

— Здесь неудобно, валик слишком жесткий, — продолжала она тем же тоном, — но вы всегда так добры.

Вероятно, она ждала, что в разговор вступит фрекен Кайя, но та молча ходила взад-вперед.

Вдруг в гостиную вошел писатель, господин Феддерсен, в полном параде, даже при трости с серебряным набалдашником, и попросил пришить ему пуговку к перчатке.

— Бог ты мой, господин Феддерсен, в такую рань вы уже на ногах! — воскликнула фру Гессинг, затрепыхавшись, словно старая курица, услышавшая кукареканье петуха.

Господин Феддерсен пробурчал в ответ что-то не очень вразумительное, вроде: надо, мол, заботиться о своем здоровье.

Впрочем, за господином Феддерсеном эта странность водилась: периодически на него нападала охота гулять ни свет ни заря, когда весь пансион еще спал, но эта страсть к ранним прогулкам никогда не длилась больше недели-другой.

Наконец злосчастная пуговица была пришита, и писатель торопливо удалился, а фру Гессинг, притаившись за занавеской, проследила, куда он направился. Ну конечно же, в парк Эрстед — она в этом нисколько не сомневалась!

Тем временем ожил и третий этаж. Из приоткрытых

дверей высывались головы — постояльцы просили принести воды. В пансионе вообще всегда не хватало воды, словно ее покупали за деньги. Дверь в комнату Каттрупа была настежь открыта, но он, нимало не смущаясь ни этим обстоятельством, ни шумом вокруг, с довольным видом нежился в постели.

Спорку понадобилось мыло, и он протянул в щель приоткрытой двери своей комнаты длинную голую руку.

Фру фон Кассэ и сестрицы Сундбю вышли пить чай: у всех троих шеи были обмотаны платками.

Фрекен Кайя разливала чай и подавала завтрак. Как тень, скользила она в полутьме у буфета под аккомпанемент ежедневно повторяющейся жалобы фру фон Кассэ на то, что ей по ночам дует из окна и что она чувствует холод даже под периной.

— Да,— только и сказала Кайя из своей полутьмы.

Отворилась дверь спальни, и вышла фру Кант, радостная, как птица, вылетевшая из гнезда. По своему обыкновению, она тут же начала что-то рассказывать и непременно болтать,— ей ведь всегда снятся самые невероятные сны.

— А мне снились яйца,— сказала Лисси.

Эмми видела во сне, что она рвет розы на могиле родителей.

— Кайя, ты вечно все забываешь! Налей фру Кассэ вторую чашку чаю! — с упреком сказала фру Кант.

— Да, мама, сейчас,— сказала Кайя и принесла чай.

Сестрицы все еще обсуждали свои сны. С третьего этажа кто-то громко позвал хозяйку, и Кайя поднялась наверх. Кухня была заставлена ведрами с грязной мыльной водой и старыми башмаками и туфлями, которые Евгения собиралась чистить. В углу стояла выдавшая вид, истертая метла. Дверь в чулан, где жил Спорк, тоже была распахнута.

Спарре снова закричал, на этот раз требуя, чтобы подали сапоги. И фрекен Кайя схватила их и понесла наверх.

Каттруп вышел на кухню в фуфайке и кальсонах, чтобы почистить там свой черный костюм. Присутствие Кайи не остановило его. Все жильцы третьего этажа вообще относились к ней как к существу среднего рода.

Фрекен Кайя обходила комнаты, открывала окна, стелила постели. Потом она услышала, как заскрипела дверь у Грентофта, и он вышел в коридор. Она стояла в

комнате Каттрупа и хотела было захлопнуть дверь, но не успела: он увидел ее и вошел.

— Доброе утро, фрекен Кайя,— сказал Грентофт и пожал ее холодные шершавые руки.

— Доброе утро.

Он огляделся. Кровать еще не была постелена, на сосновом столе лежала кипа потрепанных книг, тонкие мягкие занавески шевелились от ветра.

— Настоящая студенческая берлога,— сказал он.

— Да,— ответила Кайя. И, разом собравшись с духом, она торопливо высказала то, о чем все время думала, что решила, пока хлопотала в утренних сумерках среди всех этих чужих людей:

— Вы не должны здесь оставаться, это не для вас. Вам надо... жить лучше...

Грентофт спросил, но без всякого убеждения, потому что ночью и утром он тоже думал о том, что невозможно привести сюда жену:

— А здесь разве нехорошо?

— О да... пришлось так снизить уровень... конкуренция слишком велика... Это не жилье для приезжих,— сказала она и отвернулась.

Грентофт не стал возражать, только спросил, где ему поселиться. Она дала адреса, назвала цены и сказала:

— Вот напьетесь чаю и сразу же идите туда.

После того как он ушел, она еще с минуту постояла, не двигаясь. Голова была пуста, и казалось, сердце вот-вот откажет.

Потом она поднялась наверх.

Грентофт сидел возле старой фру Кант, которая все еще завтракала, не прекращая при этом весело болтать. Фру Гессинг вернулась с прогулки и отвела сестер Сундбю и фру Кассэ к окну.

— Конечно, *gendez-vous*,— возбужденно говорила вдова,— и представьте, с новой. Такая маленькая, юркая... в красной шляпе... Теперь мы все уже знаем, куда это он бегаёт по утрам... И всегда встречается в парке Эрстед...

— Гм,— фру фон Кассэ многозначительно улыбнулась,— утром он только начинает...

Сестры Сундбю пылали от негодования, но продолжали расспрашивать. Дамы стояли, сгрудившись, они перешли на шепот, доносились только отдельные слова.

— Она из театра!

Да, да! За это фру Гессинг готова поручиться головой. Грентофт отошел от фру Кант. Он наблюдал за дамами, которые перешептывались, наклонив друг к другу головы. За столом ругались студенты. В скупом свете утренних сумерек, проникавшем в комнату через одно-единственное окно, все лица казались серыми.

За столом теперь сидела одна только старая фру Кант. Ее благородное, подвижное лицо было ясным, словно из всей этой сумятицы она черпала только жизнь.

Грентофт собрался уходить.

Он встал, будто стряхнул с себя тяжесть, и взял Кайю за руку.

— Что ж, раз у вас нет места, пойду поищу.

Фрекен Кайя только улыбнулась ему. Она не нашла, что сказать. Тихо спустилась она в комнату Арне и собрала вещи Грентофта. Она делала это очень медленно, каждую вещь клала отдельно. Потом закрыла дорожную сумку. Вошел Арне.

— Это я, фрекен,— сказал он.

Кайя смутилась, отвернулась и хотела уйти. Но Арне вдруг сжал ее руки, будто чувствуя все ее страдания.

— О, фрекен,— сказал он, чуть не плача.

Кайя застыла, и лицо ее внезапно озарилось, когда она на одно мгновение уткнулась в плечо Арне.

— Оули,— сказала она,— я хочу, чтобы вы были счастливы.

Она отстранилась, а голос ее прозвучал нежно, как ласка.

Фрекен Кайя вышла. Арне стоял у окна и глядел вверх домов и людей в серую мглу.

Пока фрекен Кайя поднималась вверх, до нее доносилась снизу громкая болтовня: сестрицы отправлялись в церковь. А наверху фру фон Кассэ ругалась с Евгенией. Когда эта дама разговаривала с прислугой, то по тембру ее голоса всем становилось совершенно ясно, что до трех своих замужеств, принесших ей вожделенное дворянство, она, несомненно, была базарной торговкой.

Зазвенели церковные колокола. На обоих тротуарах толпились люди. У многих в руках были молитвенники.

Вдруг у Арне глаза наполнились слезами, и он заплакал, весь переполненный глубокой, неожиданной болью,— заплакал на пороге своей жизни.

ВОРОНЬЕ

Приходящая прислуга Иенсен, оставив в третий раз свою работу — она доставала из буфета и протирала хрусталь, — отправилась на кухню. У мадам Иенсен, когда она трудилась, разыгрывался аппетит, понуждавший ее каждые полчаса искать подкрепления в еде. Она питала особое пристрастие к соусам, остатки которых соскабливала ножом со стенок кастрюль.

Это свое занятие под прикрытием печной трубы ей пришлось прервать, когда в дверь позвонили, напористо, два раза кряду.

— Кикимора наша идет, — сказала девушка, чистившая сельдерей, — ступайте отворите!

Мадам Иенсен поплыла по квартире, нелепо колыхаясь в своих многочисленных юбках. Раздался еще один звонок, прежде чем она дошла до двери и отомкнула ее.

Фрекен Сайер ждала на площадке.

— Что, у нас звонок не звонит? — спросила она, вы-

пятив обезьяньи губы, после чего обернулась к юнцу из винной лавки, державшему корзину с бутылками.

— Вот сюда, дружочек, вот сюда, дружочек,— сказала она, беспокойно шевеля перед собою всеми десятью пальцами. Облаченные в серые мешковатые перчатки, руки ее походили на когтистые лапы.

Рассыльный виноторговца поставил корзину в передней и помешкал мгновение, между тем как фрекен Сайер смотрела на него слегка заблестевшими глазами.

— Ну все, прощайте, дружочек,— сказала она, а затем добавила, обращаясь к прислуге Иенсен:

— Выпустите его.

И пошла по коридору. Жемчуга на ее накидке тихо побрякивали, пока она шла через комнаты в кухню. Взглядом серых глаз, зорких, хотя и слезившихся, она вмиг окинула всю посуду.

— Кастрюли обскабливаем! — сказала она и засмеялась булькающим смешком, похожим на хриплый кашель.

— Я его сама привела с вином,— фрекен Сайер продолжала смеяться, поводя кривым плечом вверх и вниз под тренькавшими жемчугами,— за ними не догляди сдуру — они и подменят вино у тебя за спиной.

Девушка, не отвечая, продолжала чистить овощи.

— Принесите-ка мне в комнату этикетки тайного советника,— сказала фрекен.— И клейстеру.

Воротившись в столовую, где мадам Иенсен перетирала фарфор, фрекен расположила бутылки без этикеток на столе и, поводя кривым плечом вверх и вниз, как кошка, когда она поеживается, принялась наклеивать пожелтевшие винные этикетки своего отца, тайного советника, на расставленные бутылки.

— Прекрасное средство улучшить вкус, любезнейшая,— сказала она, продолжая клеить и залепляя тягучей мутной жижей свои трясущиеся пальцы.— Виното из Греции, а греки всегда в этом толк понимали.

Она колдовала над своими этикетками с видом гадалки, перебирающей колоду засаленных карт, пока вдруг не спросила, вскинув голову:

— Иенсен, вы что-нибудь ели?

Приходящая прислуга Иенсен что-то пробормотала. Голова фрекен Сайер кротко покачивалась назад и вперед:

— Если нет, вам надо перекусить. В этом доме,

милочка моя, голодом никого не морят. Я вам сейчас принесу.

И она пошла, торопливо, как-то странно — по-лягушечьи — припрыгивая на ходу.

— Вот вам, вот вам,— сказала она и поставила тарелку на стол перед мадам Иенсен, которая начала есть, полуотвернувшись, быстро, как человек, привыкший глотать пищу украдкой.

Фрекен Сайер следила за каждым ее движением, точно муху разглядывала под стеклянным колпаком.

— Да, без еды нельзя. Она прибавляет сил,— сказала фрекен, не сводя глаз с мадам Иенсен.— Да и не всегда ведь вволю-то поешь.— И затем вдруг спросила:

— Где она шляется? — «Она» была ее компаньонка.

— Фрекен Хольм ушла по своим делам,— ответила мадам Иенсен.

— Хм, от хлеба и денег она не отказывается,— заметила фрекен Сайер и, взглянув на тарелку мадам Иенсен, добавила тонким фальцетом:

— У вас там еще осталось, Иенсен. Извольте доесть до конца.

Мадам Иенсен проглотила остаток с тою же алчностью,— и две пары глаз смотрели друг на друга, как смотрят фехтовальщики из-под защитных масок.

— Покорно вас благодарю, фрекен,— сказала мадам Иенсен и унесла тарелку.

Кухарка пришла взять блюдо из буфета, и фрекен Сайер повернулась к ней:

— Хм, не диво, что от Иенсен воняет, при том как она набивает себе живот. Но ведь в этом доме хлебосоличество — закон.

Фрекен кончила возиться с бутылками:

— Ну до чего хороши,— сказала она, глядя на фальшивые этикетки.— Поставьте их к печке, пусть подсохнут.

Девушка сделала, как она велела, и ушла.

Оставшись одна, фрекен Сайер торопливо пробежалась три-четыре раза перед бутылками, и отсветы огня из голландской печи падали на нее, пока она бегала, любуясь приготовленным своими руками питием.

Мадам Иенсен воротилась и снова принялась за работу, а фрекен села в кресло.

— Да,— сказала она,— восемнадцать душ это немало. Но ведь столько близких людей, и всех хочется порадовать.

— Родня ведь все,— заметила мадам Иенсен.

— Да,— ответила фрекен, уловив в интонации прислуги что-то такое, что заставило ее метнуть взгляд на лицо Иенсен.— Близкие — это близкие.

— Да,— сказала мадам Иенсен.

Немного погодя она спросила:

— А вазы на серебряных ножках доставать?

— Нет, не надо, милочка,— ответила фрекен и вдруг опять завертела, заиграла всеми пальцами,— слишком уж это хлопотно.

Мадам Иенсен смотрела на ее скачущие пальцы.

— А то бы вам, милочка, снова их чистить пришлось,— сказала фрекен Сайер, кивая прислуге.

В дверь опять позвонили. Это оказались две племянницы Майер в красных шляпках на белокурых волосах. Они ворвались вихрем, точно завсегдатаи в свой ресторанчик, и почти в одно время приложились к щечке фрекен Сайер.

— Господи,— сказали они,— тетя Виктория, дорогая, мы просто решили к тебе забежать, не надо ли чего помочь.

— Уж я знаю ваши добрые помыслы,— ответила фрекен Сайер,— садитесь, мои милочки.

И, обернувшись к мадам Иенсен, она сказала:

— Не забудьте маленькие вазочки для цветов. Будут фиалки.

— Фиалки,— вырвалось у старшей красной шапочки,— нет, наша тетушка чем дальше, тем все шикарней становится.

— Да,— поспешно воскликнула вторая,— у нашей тетушки чем дальше, тем очаровательней делается.

— Милочки мои, старый человек чего не сделает ради молодежи. Капиталец мой невелик, однако ж то тут, то там службу сослужит.

— Да,— сказала одна из племянниц, с пристальным вниманием обзрев все до последней вилки,— кто-кто, а тетушка умеет порадовать других.

— Что ж еще-то остается.— И фрекен Сайер посмотрела долгим взглядом на одну, потом на другую.

Но ей пришло на память, что кое о чем она все же позабыла. Намедни она видела у фрекен Сване, канониссы, прехорошенькие фонарики, они так красят стол.

— Молодые ведь любят, чтоб было много света,— сказала она и чуть погодя добавила:

— Можно с такою приятностью заглядывать друг другу в лицо.

У приходящей прислуги лицо конвульсивно дернулось, чего никто не заметил, между тем как фрекен Сайер продолжала:

— Быть может, купите мне их, дюжину, раз вам все равно в город идти. Иенсен, подайте-ка мне шкапулку.

Мадам Иенсен сходила в гостиную и принесла шкапулку — нечто вроде миниатюрного бюро, в котором фрекен Сайер хранила свои ценности.

Фрекен открыла ее и стала выкладывать на стол ассигнации, одну за другой, своими сморщенными пальцами с желтыми, до странности затвердевшими ногтями.

Вдруг она поймала взгляд, которым старшая племянница шарила по всем отделеньицам шкапулки.

— Да, приятно смотреть на деньги, — сказала фрекен Сайер.

— Ох, правда, — ответила младшая племянница, фрекен Люси, и, будто для устойчивости, ухватила рукой за свой ридикюль, — а особенно иметь их.

— Но молодые — они больше золотишко любят, — сказала фрекен Сайер с добродушно-лукавой улыбкой крестной матери — она и приходилась крестной всему потомству своей родни, а на зубок всегда дарила старинные ложки и вилки тайного советника, на которых отдавала выгравировать новые вензеля. — Нате вам, детки, золото на фонарики. Оно так красиво ложится на прилавок.

Она протянула старшей племяннице, фрекен Эмили, золотую монету — холодный металл так и жег племянницу руку сквозь плотную перчатку — и повторила:

— Стало быть, купите дюжину.

В этот момент снова позвонили: то был мальчик из цветочной лавки.

Две красные шапочки раскрыли корзину, обнаружив бездну фиалок.

— Тут, однако, целых два стола хватит убрать, — сказала фрекен Эмилия.

— Да и вам еще останется по букетику в петличку, — сказала фрекен Сайер и собственноручно — ее желтые ногти, казалось, прокалывали петли, точно иглы — прикрепила бутоньерки обеим племянницам.

— Ну вот, — продолжала она с прежнею улыбкой, — без цветов какое ж угощенье, а вам, мои деточки, будет

чем угоститься. Ну-ка, Иенсен, что у нас там готовится? Старухе, сами знаете, всего не упомнить.

Мадам Иенсен стала перечислять блюда обеденного меню таким тоном, будто стреляла каждым кушаньем в племянниц, точно пулей из заряженной винтовки.

— Так что уж будете сыты,— заметила фрекен Сайер тоном чрезвычайно мягким.

Племянницы тем временем вынули фиалки из корзины, и фрекен сказала:

— Хм, я вот всегда думаю: цветы, конечно, завянут, но что ж, коль они хотя на время доставят людям радость.

Племянницы на прощанье снова приложились к ее щечке.

— Ты озябла, дорогая Эмилия,— сказала фрекен Сайер,— у тебя такие холодные губы. Ну, прощайте, милочки, да не забудьте же про фонарики.

Не успела закрыться дверь на лестницу, как фрекен Эмилия сказала с зычным рокотанием в голосе:

— Откуда она их берет? Можешь ты мне сказать? Фрекен Люси ответила:

— Снимает со счета. Я же всегда говорила. Я сама сто раз видела, как она бегаёт в сберегательную кассу. Старшая с силой хлопнула наружной дверью.

— А мы ходи, ей фонарики покупай,— сказала она,— за этакий хлам, пожалуй, выручишь что на аукционе.

Две сестрицы пошли по улице, придерживая юбки обеими руками.

Возле торговых рядов младшая сказала:

— Мне марка нужна,— и зашагала через дорогу к киоску.

— С киосками не мешало бы быть поосторожней, моя девочка,— бросила фрекен Эмилия.

— Думаешь, рассыльные лучше? — отпарировала Люси, продолжая свой путь и кренясь набок, как будто ее ридикюль был набит увесистыми предметами, вроде ключей от ворот и щипцов для завивки.

Две красные шапочки пошли дальше и прямо посреди тротуара угодили в объятия низенькой плотной особы, воскликнувшей:

— Дорогие мои, кого я вижу!

— Ты в городе?

— Да.— И особа, бывшая супругой сельского пасто-

ра, затрясла головою столь ретиво, что можно было лишь удивляться, как это она у нее не отваливается.— Вчера только приехала, и ношусь как угорелая по всему городу: столько родни, и все к себе зовут.

Красные шапочки рассказали о фонариках, которые им надлежало купить, и пасторша отправилась с ними за компанию, хотя перед тем собралась было к дядюшке, которому, бог свидетель, придется раскошелиться ей на обратную дорогу.

— Мы ведь у себя в усадьбе только и пробавляемся, что тощими телятами,— сказала она,— а денежки видим считанные дни — покуда десятину несут.

Послушать фру Лунд — выходило чуть ли не так, что в пасторском доме вообще съестного не водилось, кроме разве что сала, соленых сельдей да новорожденных отпрысков домашней скотины.

Когда они пришли в магазин, где торговали лампами, фру Лунд сказала, глядя на фарфоровые вещицы:

— А мы-то на эти деньги две недели живем.

И потом добавила:

— Но раз у тети Виктории сегодня обед, пойду-ка я к ней, доложусь, что и я буду.

Они расстались на лестнице магазина. Когда фру Лунд ушла, старшая фрекен Майер сказала:

— Ну вот, теперь небось и там крон двадцать ухватит, за кофейком. Коли Эмма приехала по делам, известно, чего от нее ждать.

Когда племянницы ушли, фрекен Сайер опять поместилась в кресле. Ее сморил сон. Сидя так, погруженная в дремоту, с уроненной на грудь головой в высоком чепце и с выпяченной левой лопаткой, упершейся в спинку кресла, она походила на какую-то странную поломанную игрушку.

Она не прснулась, когда в дверь снова позвонили.

Мадам Иенсен отворила и постояла мгновение над спящею фрекен — она смотрела на нее так, будто падаль разглядывала у канавы.

— Пришел господин, он желает видеть фрекен,— громко сказала она.

Фрекен вздрогнула.

— Что? — спросила она, еще не очнувшись, и, покрывив головою, торопливо добавила:

— Сядешь этак и задумаешься. Кто там такой?

— Да этот, курчавый,— сказала мадам Иенсен и вышла.

Фрекен Сайер побежала к себе в спальню и перед зеркалом торопливо оправила чепец, парик, корсаж, весь остов, полагаемый ее телом.

Девушка на кухне, услышав, как стукнула дверь в хозяйкину спальню, спросила у мадам Иенсен:

— Для кого она там прихорашивается?

— Для этого, хлыща-то,— ответила мадам.

— Вои чего,— сказала девушка,— право слово, у нас не соскучишься. Что-то он на этот раз унесет?

— Да осталось ли тут что? — возразила мадам Иенсен, поджимая губы.

Фрекен Сайер, мелко припрыгивая, вбежала в среднюю гостиную, где навстречу ей поднялся со стула молодой, очень стройный мужчина с необыкновенно белыми и мягкими руками.

— Добрый день, красавчик вы мой,— сказала фрекен Сайер и торопливо задернула портьеры на обеих затворенных дверях.

Компаньонка фрекен Хольм, отомкнув входную дверь, пошла по коридору, бледная и прямая.

— Где фрекен Сайер? — спросила она голосом, тон которого от слова к слову совершенно не менялся.

И мадам Иенсен, глядя ей в глаза, ответила:

— У нее тоже дела.

Фрекен Хольм отправилась в столовую, где начала вынимать из шкафа салфетки и скатерти.

Без малого час прошел, прежде чем фрекен Сайер с сияющей улыбкой на подрагивающем лице раздвинула портьеры и сама проводила молодого блондина до двери.

— Ну до свидания, красавчик мой,— сказала она.— Всегда-то вы меня выручите.

— Вы же знаете, я рад вам служить,— ответил молодой человек очень мягким голосом.

И дверь за ним закрылась.

Фрекен притрусилась в столовую, пальцы, руки и ноги ее были вдвое деятельней против обычного.

— А,— сказала она, увидев фрекен Хольм,— вы уже дома?

— Да,— ответила компаньонка.

Фрекен Сайер засмеялась.

— Что, сегодня у вас день племянника, дорогая? — спросила она очень дружелюбно.

— Это были мои свободные часы, — ответила фрекен Хольм, лицо которой осталось неподвижно.

Когда снова затрезвонил звонок, это оказалась фру Лунд, тотчас наполнившая всю переднюю своим веселым юношеским смехом:

— Тетя Виктория, дорогая, я ведь в городе, вчера приехала, и вдруг слышу, ты устраиваешь обед. Я, конечно, пришла доложить, чтобы и мне было местечко. Уж я-то всегда куда-нибудь втиснусь со своим стулом.

Фру Лунд уселась и говорила, говорила без умолку своим радостным голосом о супруге-пасторе, о пятерых детишках, об усадьбе, где такой разор — скоро гвоздя на месте не останется.

— О, — сказала она вдруг, — золотые мои, вы тут скатерти разбираете. Здравствуйте, дорогая фрекен Хольм. А наши-то, тетенька, стираны-перестираны, все десять штук, скоро совсем на клочки разлезутся. Не подаришь ли одну, а, тетя? — спросила она, протягивая к ней по столу свою красивую ладонь. — Ты ведь всегда так добра к бедным сородичам.

Фрекен Сайер, вся повадка которой в присутствии фру Лунд удивительным образом изменилась, точно перед нею был человек, к коему питала она тайное уважение, булькнув от смеха, спросила:

— Найдется у нас что-нибудь, фрекен Хольм?

Но фру Лунд уже вскочила со стула и бросилась к бельевому шкафу:

— Тетя Вик, дорогая, мне, конечно, из стареньких. — И она принялась рыться в скатертях, между тем как тетя сказала, улыбаясь:

— Уж ты, дружочек Эмма, сама подберешь, что тебе годится.

Фру Лунд все рылась.

— Вот эта подойдет, — сказала она, — в твоём богатом доме ее, право, уже не постелешь, а для нас — господи, тетенька, это же роскошь! Она у нас будет на случай епископской ревизии.

— Ну хорошо, ее и бери, — сказала фрекен Сайер, — ближнему помочь всегда приятно. Стало быть, мы эту и пришлем, — добавила она.

— Да что ты, тетя Вик, дорогая, я ее с собой заберу.

Еще чего недоставало, мы люди не гордые. Фрекен Хольм, милая, есть у вас газетка?

Фру Лунд получила газету, завернула в нее скатерть и перевязала бечевкой.

— Подбираешь, где что достанется.— И она засмеялась тетке в лицо.

— Да, правда, моя девочка,— ответила фрекен Сайер.

— Однако мне пора. Господи Иисусе, я же теперь не успею к дядюшке, разве что конкой поехать.

Глаза фрекен Сайер блеснули.

— Ты и *его* проведать собираешься,— сказала она.

— А как же, тетя Вик,— засмеялась фру Лунд,— всех своих родственников порадовать хочется.

Она обыскала карманы, в них не нашлось и десяти эре.

— Дай уж мне на конку,— попросила она.

Когда фру Лунд ушла, фрекен Сайер снова вернулась в свое кресло.

— Славная девочка,— сказала она и, глядя на компаньонку, добавила:

— Она так откровенна.

Мадам Иенсен и фрекен Хольм начали застилать стол скатертью, когда явился домашний врач.

Фрекен Сайер сидела в гостиной, и мадам Иенсен коротко доложила:

— Статский советник.

Фрекен подхватила едва не прыжком и полетела навстречу доктору.

— Советник, голубчик, что это вам вздумалось карабкаться по лестницам ради совершенно здорового человека? Да еще когда вы, надеюсь, на обедешко ко мне пожалуете. Но садитесь же, садитесь.

Статский советник, с белым от бороды, очень узким и спокойным лицом, сказал:

— Хотел взглянуть на вас одним глазком во время приготовлений. Ведь уж я вам говорил, вы себя этим переутомляете, многовато, скажем прямо, на себя взваливаете.

И, помешкав мгновение, он добавил:

— При вашей конституции.

— Многовато,— согласилась фрекен Сайер, глаза которой сделались беспокойны,— но, мой добрый советник, живешь с людьми — терпи, как и все.

— Да,— сказал статский советник, неотрывно глядя на фрекен,— покуда срок не выйдет.

Пальцы фрекен Сайер судорожно стиснули подлокотники, а статский советник, не меняя тона, продолжал:

— Между тем переменчивая погода чревата болезнями для нас, стариков.

Глаза фрекен по-прежнему беспокойно бегали.

— Народу-то будет девятнадцать душ, советник,— сказала она вдруг,— теперь ведь Эммочка добавилась, она нынче в городе. Только что от меня со скатертью ушла.

Советник все тем же голосом ответил:

— Да, семейный сбор.

Он поднялся и добавил:

— Ну что ж, вот я вас и повидал.

Рука фрекен Сайер дрожала, когда он ее взял.

— Но, ради бога, что-нибудь стряслось? — воскликнула фрекен, на лоб которой из-под парика пробилась струйка пота.— Скажите лучше прямо.

Доктор отпустил ее руку.

— Вы же знаете, осторожность никогда не мешает.

— Да, господин статский советник,— сказала фрекен, грудь которой со свистом вздымалась,— но ведь так хочется порадовать молодых.

По лицу советника скользнула улыбка, едва ли различимая.

— Так мы еще увидимся,— только и сказал он.

— И вашей дамой за столом буду я, советник,— сказала, смеясь, фрекен Сайер.

— А свое шампанское вы, надеюсь, пьете — от всяких напастей? — спросил советник уже в дверях.

— По мере необходимости, голубчик,— ответила фрекен.

Статский советник откланялся.

Когда он ушел, фрекен Сайер остановилась посреди комнаты. Она вдруг с такою силой сжала вставные челюсти, что они заскрежетали. И тотчас снова забегала по комнате, вытянув руки перед собой — фигура ее отражалась в двух угловых зеркалах,— взад и вперед, взад и вперед, будто мерялась силами с тайным врагом.

Затем она снова пошла в столовую, где глаза мадам Иенсен острыми шильями впились ей в лицо, а фрекен Хольм, убиравшая стол фиалками, тоже подняла на мгновение голову.

— Ах уж этот доктор,— сказала фрекен Сайер,— ему, конечно же, не терпится узнать, что подадут на обед.

Ответа не последовало. Фрекен отправилась на кухню.

— А зайчатиной так обнесут,— сказала она,— чтоб потом два дня остатки доедать.

И вдруг ее скрипучий голос резко разнесся по коридору:

— Иенсен, милочка, смотрите же, не позабудьте на противне половину спинки — как в тот раз.

Из столовой ничего не ответили, и фрекен Сайер прошла к себе в спальню. Занимаясь туалетом, она заперла свою дверь на ключ. Она долго рылась в шкафах и комодах, пока не извлекла кружева, шаль и вишневого цвета платье. Напоследок она достала свой праздничный парик и повесила его на канделябр подле туалетного столика.

Она собралась было сесть, но вдруг набросила шаль, прикрыв свою полунаготу, и затрясшимися руками — ее часто мучила нервная дрожь, когда она оказывалась перед зеркалом — сорвала с себя старый парик и нацепила на лысый череп новый, торопливо и не глядя на свое отражение. Черный парик сидел косо, и она теребила его пальцами, пока пробор, будто ощерившийся мертвенной белизной посреди черноты, не пришелся над серединою лба.

Затем она снова посмотрелась в зеркало и приглядила букли, торчавшие над висками, точно рога.

Когда голова была убрана, она налила воды в стакан и быстро вынула изо рта зубы, отчего лицо ее сразу опало, точно щелкунчик без ореха. Она промыла челюсти, тяжелые и массивные, и вставила их на место. Два ряда белых зубов, казалось, были еще способны кусать и грызть.

Беспрерывно раздавались звонки, и фрекен Сайер кричала через закрытую дверь:

— Кто там пришел?

Фрекен Хольм кричала в ответ:

— Рассыльный из кондитерской.

— Хлопушки он принес?

— Да, принес.

— Пусть Иенсен покажет их мне.

Фрекен Сайер накинула шаль на кривое плечо. Мадам Иенсен, единственная из всех, могла входить к фрекен во время переодевания. Возможно, фрекен звала к себе при-

слугу и для того, чтобы хоть немного помешать ее любимым занятиям.

Мадам Иенсен поставила перед ней корзину, полную разноцветных хлопушек, и фрекен довольно закачала головою в черном парике.

— Да,— сказала она, улыбаясь,— это такие, как нужно. Дети любят с ними забавляться.

Такие, как нужно, хлопушки были от французского кондитера, и в них были вложены билетки с особо непристойными стишками.

— Поставьте их на стол,— сказала фрекен Сайер,— для молодых это такое удовольствие.

Фрекен Хольм уложила французские хлопушки в стеклянную вазу, при этом уголки ее плотно сжатых губ слегка подергивались.

Мадам Иенсен тем временем воротилась в кладовую в обществе двух кастрюль.

В последний момент прибыл садовник, оставивший углы гостиной помятыми пальмами и другими растениями, которые несли на себе заметные следы частых перевозок и хождения по рукам.

Фрекен Сайер, появившаяся наконец с тюрбаном поверх парика и в кашмирской шали со множеством кистей, ниспадавшей вдоль спины множеством складок, сказала:

— Милочек, я вам говорила, что мне не нужна эта рухлядь, которую вы уже год как развозите на ваших тачках.

— Ей-богу, фрекен, они все как есть новехонькие,— ответил садовник, продолжая расставлять свои растения поврежденной стороной к стене.— Да ведь их не убережешь от пинков в часовнях и всяких таких местах.

Фрекен Сайер резко повернулась и, придя в столовую, принялась переставлять всю посуду на столе.

— Карточки с именами раздадите вы,— обратилась она к фрекен Хольм,— они так красивы в белых девичьих руках.

В дверях показался очень высокий, необыкновенно холеного вида господин с черною шевелюрой, уложенной волнами по обе стороны прямого пробора.

— Я лакей,— сказал он и поклонился.

Фрекен Сайер смерила его взглядом с головы до ног, при этом серые глаза ее сияли, а лакей, рассматривая свои очень гладкие и узкие руки, спросил, не найдется ли какого места привести ему в порядок свое платье.

— Ах вы, мой Адонис,— ответила фрекен Сайер, продолжая семенить по комнате,— ступайте, кухарка вам покажет.

— Покорно вас благодарю, фру,— сказал лакей и снова поклонился.

— *Фрекен*, Адонис,— забулькала фрекен Сайер,— из тех, знаете ли, кто не расстался со свободой. Ступайте же.

Лакей прошел по коридору в кухню и тем же сдержанно-вежливым тоном поговорил с девушкой, препроводившей его в буфетную, где не стояло ничего, кроме ночного стула фрекен.

Молодой красавец — он вкушал свободу по случаю временного увольнения от службы в одном из ресторанов на Конгенс-Ньюторв — воротился, облаченный в черную фракную пару со всеми необходимыми атрибутами. Туалет его сгодился бы, пожалуй, и для бала.

Фрекен Сайер, поеживаясь, как кошка, сказала компаньонке фрекен Хольм, между тем как молодой человек принялся расставлять бутылки на буфете.

— То-то удовольствие молодым барышням — смотреть на этикие белые пальцы, поддерживающие блюдо. Она прошла в среднюю гостиную, когда раздался звонок в дверь.

Это была фру Эмма Лунд, супруга пастора, которая со смехом заключила тетку в объятия.

— Милая тетя Вик,— сказала она,— ты не находишь, что я очаровательна в лиловом корсаже? Это Клара мне одолжила.

Фрекен Сайер ответила:

— Любезная Эмма, ты, право же, можешь оставить его себе. Он будто нарочно сшит на тебя.

— Что ты,— сказала фру Лунд,— разве Клара на это согласится. Семейство Рубов — тебе не чета.

— Да,— сказала фрекен Сайер и вдруг заулыбалась,— им больше нравится копить.

Фру Лунд объявила, что непременно должна пойти взглянуть на сервировку, и, наскоро составив букетик из украшавших стол фиалок, приколола его себе на корсаж.

Когда она пришла обратно, гостиная почти уже наполнилась.

Господин адвокат Майер беседовал с фру фон Хан о несчастных случаях в слякоть и гололедицу, а фру Мад-

дерсон, его экономка, с канареечными волосами и лицом, сохранившим относительно невинное выражение после многих лет доверенной службы в домах состоятельных вдовцов, сидела возле фрекен Сайер и говорила:

— Спасибо, фрекен, это так мило с вашей стороны, что вы и меня позвали.

Фрекен Эмилия Майер подошла к фру Лунд.

— Вот как,— сказала она,— ты уже успела ухватить букетик цветов. Впрочем, их здесь более чем достаточно.

— Весьма странно,— сказал господин Майер, который все еще рассуждал о несчастных случаях, слякоти, гололедице и конках.— Весьма странно, что люди никак не научатся пользоваться страхованием. В наше время, когда можно застраховаться от чего угодно.

Фрекен Сайер внезапно рассмеялась — в своей кашмирской шали она походила на диковинную фигурку Будды.

— Да, тут он прав. Люди никогда не научатся благо разумию.

Но фру фон Хан возразила:

— А моя Августа конкой не ездит, хотя бы уже из-за публики. К тому же там всегда сквозняк.

И когда фрекен Сайер сказала, что на конке, мол, так и так не подъедешь к их парадному на улице Эленшлегера, то фру ответила:

— Дорогая Виктория, Августе только на пользу прогуляться пешком, от этого спина прямой делается.

Фру Лунд чуть ли не повисла на шее у писателя Вильяма Аска.

— Вот что, дорогой мой,— сказала она,— я приехала, и извольте-ка теперь раздобыть контрамарки для нас, бедных провинциалов.

Вильям Аск склонил свое бледное усталое лицо, а тем временем прибыла фру Белла Скоу, стройная темно-волосая дама, которая уже десять лет, состоя в супружестве с адвокатом Скоу, вдовствовала, увитая шелками.

Она извинилась, что муж не приехал вместе с нею:

— Ты ведь знаешь, тетя, как занят Скоу. Он просил передать, чтобы за стол сажались без него.

— Да, Белла,— сказала фру фон Хан,— бедный твой муж, он совершенно себя не щадит.

Фрекен Люси громким полушепотом сказала господину Аску:

— О, эти Скоу уже целую вечность вместе никуда не приезжают.

Господин Вилли Хаух, молодой представитель большой торговли, в наружности которого было что-то английское и до крайности вылощенное, войдя в гостиную, сказал:

— Я, кажется, несколько опаздываю. Но мне надобно было зайти по делу в киоск.

Фрекен Люси Майер со смехом заглянула в лицо своему стройному кузену:

— В каком же ты бываешь киоске?

Господин Вилли поднял серо-голубые глаза:

— Быть может, в том же, что и ты.

Кузина Люси, продолжая смеяться, сказала:

— Кстати, Вилли, я не понимаю, как это ты ухитряешься оставаться таким стройным. Видит бог, меня всегда так и подмывает обвить твой стан руками.

Кузен приоткрыл рот, обнажив свои белые зубы под тонкой полоской усов.

— Сделай одолжение,— сказал он,— но только шерстяная материя на ощупь довольно холодна.

Адвокат Майер занимал беседой фру Беллу Скоу,— разговаривая, он пригибал голову, точно его внушительный нос настойчиво принюхивался к собеседнику.

— Да,— сказал он,— нынче тяжелые времена для тех в нашем сословии, кто так или иначе связался с делами строительными.

Он вдруг повернулся к фрекен Сайер:

— У тебя ведь ничего не вложено в стройку?

Фрекен Сайер, которая разговаривала с фрекен фон Хан о лакее, сказала:

— Дружок, тебе ли не знать, уж ты-то осведомлен обо всех моих делах.

— Для молодых глаз всегда благо — увидеть такую твердую непреклонность,— ответил господин Майер.

Фрекен Хольм, начавшая разносить карточки, в которых значилось, кому с кем сидеть за столом, дошла до господина Вильяма Аска, и тот, подняв очень темные глаза, спросил:

— Как вы поживаете, фрекен?

— Как всегда,— ответила фрекен Хольм и протянула карточку господину Вилли, который, когда она отошла, сказал:

— А вы таки правы, в этой девочке что-то есть.

Господин Аск улыбнулся:

— Однако ж не для вас.

Господин Вилли раскачивался всем своим чрезвычайно гибким корпусом.

— Вы в этом уверены? Кто начинает в четырнадцать, тому довольно скоро становится тридцать восемь.

— А с вами так и было?

— Полагаю, должно следовать закону естества,— ответил Вилли, который, отведя плечи назад, заложил большие пальцы в жилетные карманы, выставляя напоказ свою фигуру.

Все кругом беседовали, и фру Маддерсон — она еще не отстала от темы строительства — сказала:

— Да, вот господин адвокат — он всегда держится строго юридических дел. Господин адвокат говорит, спекуляции кладут пятно на все сословие. И он ими не занимается.

— Не занимается,— повторила фрекен Сайер и присовокупила несколько громче:— А что, сделался ли он душеприказчиком фру Якобсен?

Фру Маддерсон ответила, что да. И фрекен Сайер крикнула как могла громко:

— Поздравляю, Бернхард. Ведь и то сказать, ты так часто бывал в этом доме последние-то годы.

Фру фон Хан подошла к чиновнику Сайеру:

— Послушай, видит бог, пора положить этому конец. На сей раз она еще и цветов в горшках накупила — ни дать ни взять оранжерея.

Но фрекен Эмилия, проходившая мимо, заметила:

— Они взяты напрокат. Я это проверила.

Фру фон Хан сказала:

— И все же я буду говорить со статским советником — после обеда. Ведь это же *явная* ненормальность.

— Зато уж угощеньице будет,— встряла фрекен Люси.— Можно, прости господи, подумать, она нас удушить хочет в своем продовольствии.

— А кто сказал, что не хочет,— возразил чиновник, рассматривая свои лакированные башмаки.

Вилли, проходивший мимо, сказал:

— Ей что, не она ведь наследства ждет.

Адвокат Майер как-то странно принял перед статским советником, который только вошел, а барышни Хаух, Минна и Оттилия, все еще хлопотали в передней, отославши предварительно лакея: прежде чем появиться в гостиной, им надо было прибегнуть к помощи многочисленных

гребней и снять многочисленные платки с фрекен Оттилии, которая всегда носила траур по безвременно ушедшем женихе и по сию пору оставалась неизменно верна глубокому декольте.

— Ну,— воскликнул адвокат Скоу, распахнув дверь,— теперь можно и за стол. Наши сороки уже в прихожей. Барышни Хаух подошли к фрекен Сайер.

— Виктория, дорогая,— сказала фрекен Минна,— к тебе в гости всегда идешь с удовольствием, нужды нет, что сезон был утомителен.

Фрекен Сайер ответила:

— Да, сидеть вам, правда, будет тесновато, наша славная Эммочка нынче ведь тоже в городе.

— Дорогая,— сказала фрекен Оттилия,— мне кажется, от этого лишь станет веселей.

Мужчины начали разбирать своих дам, и господин Скоу, повернув голову, сказал:

— Ага, супруга моя уже здесь? — И повел к столу фрекен Люси.

Общество перешло в столовую, где фиалки и фонарики повергли всех в изумление. Между тем все расселись, и лакей стал обносить супом.

— Да, деточки,— сказала фрекен Сайер,— сидите вы тесно, но, как говорится, в тесноте, да не в обиде, а для молодых оно, возможно, и приятней.

Фрекен Люси, не замедлившая окинуть лакея взглядом знатока, шепнула Вилли:

— Батюшки, какой опять херувим. Бог знает, где эта ведьма всегда их выкапывает.

Вилли, занятый исследованием мадеры, ответил:

— А уж это ее секрет. Впрочем, она слывет щедрой на оплату.

Адвокат Майер, сидя между барышнями Хаух, прихивался то к правой, то к левой стороне.

— Надеюсь, я не очень стесняю дам,— сказал он.

Господин Вильям Аск обратился к фру Белле Скоу:

— Да, тут не слишком просторно.

На что фру ответила с улыбкой, покривившей неподвижную маску, каковою было ее лицо:

— О, я этого не замечаю.

— Того, что безразлично, никогда не замечаешь,— сказал господин Аск.

Фру Скоу подняла на него глаза:

— Ну а вы, неужто видите что здесь, в этой комнате?

— Да, птичью стаю,— ответил Вильям.

— Кушайте же, дети, кушайте,— крикнула фрекен Сайер и, подняв свою рюмку, добавила:

— Ваша старая тетка пьет за ваше здоровье.

Она окинула взглядом весь стол, за дальним концом которого фру Маддерсон, склонив набок канареечную голову, говорила чиновнику Сайеру о своих «песенках»:

— О, это ведь так, пустяки. Но господину адвокату это доставляет удовольствие... знаете, под вечер, когда он утомлен.

Фрекен Сайер сказала, адресуясь к фру фон Хан:

— Милочка, устриц ты можешь есть совершенно спокойно. Они из Лимфьорда.

Фру фон Хан, которая ела с таким видом, будто каждый моллюск застревал у нее в горле, ответила:

— Благодарствую, Виктория, уж я знаю, что ты не сэкономишь.— И, резко переменив тему, она заговорила со статским советником о болезнях и смертности в городе:

— Я же говорю вам, советник, нам навстречу попалось ни много ни мало семь похоронных процессий, пока мы шли, я и Августа. Зрелище совершенно ужасное.

Статский советник согласился, что смертность действительно велика.

— Да,— сказала фру фон Хан,— причем говорят, будто нынче все больше старики столь прискорбно покидают этот мир.

Фру Лунд заметила:

— Теперь, должно быть, всюду болезни. В нашем приходе у Лунда на одной неделе было пять похорон. Но мы-то, конечно, только радуемся.

Фрекен Сайер сидела и беспрерывно двигала свои рюмки и бокалы, ей очень хотелось выпить с Вилли. А тем временем чиновник Сайер с фрекен Августой фон Хан тоже заговорили о болезнях, кончинах и эпидемиях, так что брэнность человеческого существования густым чадом повисла над тарелками.

— За твое здоровье, Вилли, за твое здоровье,— крикнула фрекен Сайер через стол, подняв свою рюмку.

— За твое здоровье, тетя Виктория,— сказал Вилли,— что ни говори, а, ей-богу, кровь в нас всех течет твоя.

Фрекен Сайер рассмеялась и закачала головою.

— Алая кровь, мой мальчик,— ответила она, и слезящиеся глаза ее блеснули, а голос захлебнулся в кашле.

Фрекен Августа фон Хан не так давно пела в церков-

ном хоре последнее прости своей приятельнице. Это было до чрезвычайности трогательно и красиво.

Фру фон Хан, с одобрением рассматривавшая руки лакея, пока тот разливал вино с этикетками тайного советника, находила, однако, что отпевание в церкви много торжественней, ежели оно по средствам. В часовнях же всегда такой запах — как в комнатах, где слишком много горшков с цветами.

— Вы льете на скатерть, — сказал статский советник фрекен Сайер, у которой дрожала рука, когда она чокалась с Вилли.

Фрекен подняла взгляд на доктора.

— Пейте, голубчик, пейте; — сказала она, — это чистейший виноград.

И она не спускала глаз с его лица, покуда советник не проглотил греческую горечь.

Бутылки с этикетками достигли барышень Хаух, которые при виде пожелтевших наклеек ударились в воспоминания.

— Насколько же мы были моложе, — сказала фрекен Минна, — но ах, что это был за дом, тот, угловой, настоящий аристократический особняк.

Фрекен Оттилия, выставив плечи из своего декольте, подхватила:

— О да, я прекрасно помню — я тогда еще училась — доброго старого тайного советника, как он стоял у себя на лестнице по вторникам и субботам и сам присматривал за служанкой, когда она чистила шары на перилах. Он ведь любил, чтобы все у него блестело.

— Да, — сказала фрекен Минна, — до чего было торжественно со старинными медными шарами. А балы! — продолжала она. — Ну что могло быть праздничней сиянья восковых свечей в доме тайного советника.

— Господи Иисусе, — сказала фрекен Люси адвокату Скоу, — тетушка Минна сама признается, что танцевала при церковных свечах.

— Никуда не денешься, — ответил адвокат, — дамочка-то как-никак постарше этого вина.

Чиновник Сайер сказал:

— Да, тот дом содержался солидно.

Фрекен Сайер издала булькающий смешок, а старые конечности ее под столом затрепыхались — об этих движениях никогда нельзя было знать, биенье ли то подспудной жизненной силы или же особого рода судорога.

— Да, там было где разгуляться! — сказала она.

Фру фон Хан приветливо взглянула через стол:

— А я тебя, Виктория, всегда в розовом помню.

— Годы-то бегут, — сказала фрекен Минна, точно по какой-то ассоциации идей.

— Но особняк был продан прежде времени, — сказал адвокат Майер, — люди никогда не умеют выждать благоприятной конъюнктуры... В наши дни все дела делаются в спешке.

— Ах, — воскликнула тут фру Маддерсон, чьи мысли еще заняты были танцами, — что может быть прелестней вальса!

Барышни Хаух заговорили вдруг о доме, который был у них на Норреброгаде.

— И в самом деле, у вас ведь там дом, — вступился господин Майер.

Должно быть, его ушные раковины были очень подвижны, ибо, едва упомянут был этот дом, уши его тотчас оттопырились в стороны, точно как у кролика.

— И мы с сестрицей Оттилией частенько поговариваем о продаже. В той части города — там же канитель с получением платы. И мы так мучаемся, когда приходится выгонять жильцов. Но и порядок ведь должен быть. А с другой стороны, дом с незапамятных времен в нашем фамильном владении. Да и где нам одним, без помощи, с таким делом управиться.

— Есть же, однако, компетентные люди, — возразил господин Майер, — как раз и полагающие своею целью помогать в подобных *чистых* делах. В случаях честной продажи, не выходящей за установленные рамки.

Всякий раз, упоминая о сословии и рамках, господин адвокат Майер метал мгновенно вспыхивавшие взоры на господина адвоката Скоу.

— Боже, ну конечно, — сказала фрекен Оттилия, чувствуя, что господин Майер словно бы чуточку к ней придвигается, — на вас-то, дорогой, женщина смело могла бы положиться.

Адвокат Скоу, лицо которого ярко пылало, чем он, по-видимому, не столько обязан был вину фрекен Сайер, сколько объемистым таблеткам, которые он то и дело глотал, вынимая из жилетных карманов, вдруг спросил через стол:

— А где этот дом?

Фрекен Минна несколько вяло сообщила о его местонахождении.

— Блестяще,— сказал господин Скоу,— недавно был разговор о новой жилой стройке как раз в этом квартале. С башнями, линолеумом и ватерклозетами. Время требует своего. Разумеется, самое лучшее,— продолжал он,— когда есть в придачу и загородный воздух. Подальше от центра, в направлении Хеллерупа — там, пожалуй, больше будет шику.

— Да,— заметила фрекен Минна,— в наше время многое делается для небогатого люда в этих новых домах.

— Мещанское сословие — такова нынче программа,— сказал господин Скоу.— Повытянуть у них мелкие деньжонки из-за голенищ.

Фрекен Сайер сидела и довольно качала париком:

— Да, Альберт, милочек, у тебя голова тайного советника.

Вилли повернулся к фрекен Эмили:

— Хм, еще бы, старикан, конечно, тоже был мошенник.

— Боже мой, Вилли, а ты не знал? Ведь это он был владельцем всех домов у «Речки».

— Ну-ну,— ответил Вилли,— я всегда смутно догадывался, что наше родословное древо выросло из лужи.

Фрекен Сайер, продолжая самодовольно качать голову, сказала господину Скоу:

— Но ведь вы, молодежь, слава те господи, все больше и больше смыслите в делах.

— Стройка,— резко сказал господин Майер,— никоим образом не входит в рамки моей деятельности. Я вообще *не одобряю* тех в нашем сословии, кто работает со ссуженными в долг деньгами. В согласии с моими принципами, я предпочитаю не пачкаться. Но ведь мы принадлежим к старшему поколению.

— Да, господин адвокат,— молвила фру Маддерсон, нагнув голову к фиалкам.

Господин Майер склонился ниже к припудренному декольте фрекен Оттилии и сказал гораздо тише:

— Однако у меня всегда есть немалая, смею сказать, дамская клиентура.

— О да,— сказала фрекен Оттилия,— это так понятно.

— Внушать *доверие* — вот ведь что главное,— ска-

зал господин Майер, который вдруг словно пополам сложился от великой скромности.— Ну и затем,—присовокупил он,—уметь деликатно обходиться с клиентами.

Немного погодя он заговорил с двумя сестрами о бумагах на домовладение.

Между тем фру фон Хан, покончив с отпеванием в церкви и отпеванием в часовне, перешла к обсуждению священников:

— А я обожаю Стельберга... и в особенности его напоминания. Когда он, бывает, в церковных дверях взглянет на тебя кротким взором и спросит, не пришла ли пора тебе душу укрепить в общении с господом. Так и чувствуешь, что у него для каждого прихожанина свое словечко припасено. А вы кого ходите слушать? — спросила она вдруг фру Беллу Скоу.

— Я не бываю в церкви,— сказала фру Скоу.

— Однако,— заметила фру фон Хан,— есть же люди, у которых совесть всегда покойна.

Вильям Аск, наклонившись вперед, спросил:

— Вы и в самом деле полагаете, фру, что церковная скамья — этакая белильня для нечистой совести?

Фру фон Хан не ответила, тогда как фру Лунд со смехом сказала:

— Иные вот, к примеру, ходят же в церковь.

А фру Маддерсон заметила:

— Поэтическая проповедь — это прелесть что такое!

Фрекен Августа фон Хан, которая как раз брала себе заячью спинку и руки которой, оттого что она тесно прижимала локти к телу, не первый уже раз задевали руки лакея, заявила:

— А мне религия очень многое открывает.

Скоу, беседовавший с чиновником, сказал:

— Как бы там ни было, церковь, безусловно, редкий выигрыш для нового квартала.

Статский советник на вопрос фру фон Хан ответил:

— Посещение священником больного может быть весьма благотворно.

А на другом конце стола чиновник Сайер сказал:

— Я совершенно убежден, что государству без церкви не обойтись. *Кое в чем* она все же служит надежной уздой.

Фрекен Сайер, питавшая тайный страх к священникам, или, быть может, к слишком уж черным, похорон-

ного вида, одеяниям, скрывающим их, спросила фру Эмму Лунд:

— Что, моя девочка, долго ль еще Якобу сидеть у себя в приходе?

— Лет двадцать,— ответила фру Лунд,— с этим епископом нам никогда, видно, оттуда не выбраться.

— Да,— сказал чиновник Сайер,— нынче сделался полнейший хаос в замещении служебных должностей. Скоро до того дойдет, что прямо с торфяных работ — и в амтманы будут попадать, минуя всю министерскую службу. Прошли те времена, когда в расчет принимались деловые качества да давность службы.

Беседа о службах и должностях покатила волной и захлестнула стол.

Господин Майер заметил, скользнув взглядом по чиновнику:

— Поговаривают даже о прямых увольнениях в конторах.

Фру фон Хан сказала почти в одно время с ним:

— Дражайший кузен, что правые, что левые — все одно, коль скоро речь идет о куске пожирней для себя и для своих. Бедняга Хан двадцать три года проторчал на своей дюне береговым инспектором.

Фрекен Сайер, лицо которой сияло, а одна рука, лежащая на столе, непрестанно двигалась, будто тесто месила, обратилась к фру фон Хан.

— Ты, милочка,— сказала она,— все чудесные варенья мимо пропускаешь, не отведавши.

Фру Лунд громко крикнула:

— Да уж, тетя Вик, ты нас совсем запичкала вареньями.

— Выбор теперь так велик,— сказала фрекен Сайер,— а молодые ведь к сладенькому всегда неравнодушны.

И, повернувшись к фру фон Хан, она вдруг добавила:

— А твой добрый Иохан, милочка, он ведь и диплома никакого не имел.

Они продолжали говорить о службах и должностях, а адвокат Скоу, еще не отставший от домостроительства, сказал доктору:

— Ничего не поделаешь, советник. Стройка — икратчайший путь. Ежели разбираешься в строитель-

ном материале и имеешь соображение — можно твердо рассчитывать на свой шесть процентов. И пресса всегда поддержит, стоит лишь разориться на завтрак.

Адвокат Майер заметил:

— Да, есть ведь дела такого рода, где без вина не обходится.

— Совершенно верно, — сказал господин Скоу, — в делах о наследстве всегда *подносят* — наследнички.

Господин Сайер, который все не мог оторваться от службы в государственном ведомстве, запальчиво сказал, адресуясь к фру фон Хан:

— Диплом, по-видимому, все же необходим как ручательство некоторой пригодности.

— Не знаю, — ответила фру фон Хан, — много ль ума наберешься, сидючи в конторе.

— Во всяком случае, не имея головы, туда не попадешь, — сказал чиновник, чей ответ последовал без задержки.

— Не довольно ль и локтей? — возразила фру, голос которой легко срывался на стрекот.

— Механизм государственного управления, — сказал чиновник, оттянув вниз уголки губ, — вещь, едва ли доступная дамскому разумению.

Фрекен Сайер сказала так кротко, будто хотела их примирить:

— Да, мой друг, ведь в старинных зданиях такое множество закоулков.

— И множество наградных, рассованных по ящикам, — добавила фру фон Хан все тем же тоном.

— Так это же хорошо, Тереза, — ответила фрекен Сайер прежним голосом, — жить-то всем надо.

— Дорогой Вилли, — сказала фрекен Люси Майер, коснувшись отцовских дел о наследстве, — а ты и не знал — когда отец душеприказчик, Эмилия имеет с этого один процент.

И, повернувшись к фру Маддерсон, она спросила:

— А вы сколько?

Фру Маддерсон улыбнулась:

— Фрекен Люси такая шутница.

— Ну а ты-то что имеешь? — спросил Вилли, обращаясь к кузине.

— А я — ключ от входной двери, — смеясь, ответила Люси.

Адвокат Скоу всех заглушил, сражаясь со статским

советником, утверждавшим, будто невозможно отрицать, что смертность в новых домах чересчур велика.

— Это опровергается статистикой,— крикнул господин Скоу.— А вы говорите так потому, что начитались газет, которые вечно суют свой нос, куда их не просят.

— И получают свое угощение,— сказал адвокат Майер.

— А если приходится пользоваться дешевым материалом,— продолжал Скоу,— тому виною лишь жалование рабочих. Пора бы всем капиталовладельцам сообразно ополчиться на эти профессиональные союзы.

— Или же,— господин Скоу обратился вдруг к господину Аску,— что вы думаете об этой проклятой социал-демократии, которая портит нам конъюнктуру чуть ли не наполовину?

Вильям Аск ответил:

— Я ничего не думаю. Это, надо полагать, *тоже* партия — с лидерами, желающими иметь место за общим столом.

Фру Лунд, которая очень раздумянулась, продолжая говорить о епископе, сказала:

— И это бы еще куда ни шло, кабы вдова нашего предшественника не сидела у нас на шее. О, господи, я, кажется, способна ее задушить.

Фрекен Сайер, играя глазами, сидела посреди этого шума. В своей кашмирской шали, с плотно сжатым морщинистым ртом, она походила на престарелую Сивиллу.

— Ах, как чудесно,— воскликнула она,— когда вокруг тебя жизнь бьет ключом!

Она водила по столу беспокойными пальцами, будто руны царапала на камчатной скатерти.

Фру Белла Скоу беседовала с Вильямом Аском, лицо которого хранило вежливо-печальное выражение.

— Да, у меня прелестный будуар,— сказала она.— Ведь хочется иметь в доме уголок, принадлежащий тебе и больше никому. По крайней мере, я порою чувствую потребность побыть в комнате, где нет телефона.

Вильям Аск возразил:

— Есть, однако, люди, которые жить не могут без этого трезвона.

Фру Белла слабо улыбнулась.

— Да, верно,— сказала она.— Но когда читаешь, это страшно раздражает.

— Я знаю,— ответил Вильям,— вы относитесь к числу редких у нас людей, покупающих книги.

Лицо фру Беллы не изменило своего выражения:

— Мертвецы мертвецам лучшая компания,— сказала она. И, возможно, желая себя остановить, она добавила:

— Почему это сегодня не видно чудесных вазочек на серебряных ножках?

Фру фон Хан услышала ее вопрос и бросила острый взгляд через стол.

— Виктория,— сказала она,— да ты же купила новые вазы!

Фрекен Сайер усмехнулась:

— Да, старинные вещицы припрятаны. Эта роскошь, моя девочка, не должна больше биться, покуда я жива.

Фрекен Хольм, которую занимал разговором Вилли, чьи серо-голубые глаза были красноречивее слов, внезапно подняла свой взор.

— Куда вы смотрите, фрекен? — спросил Вилли.

— Я смотрела на вашу тетушку,— ответила фрекен Хольм.

— Мне, ей-богу, кажется, старуха оживает, как только родня начинает вздорить,— сказал Вилли.

Фрекен Люси Майер рассуждала о литературе и о женщинах-писательницах:

— Я нахожу, что у них больше смелости, чем у мужчин.

Вилли, очень мягкие губы которого слегка изогнулись, бросил взгляд на Люси.

— Что ты понимаешь под смелостью? — спросил он.

— А тебе не терпится узнать! — И безо всякого смысла она добавила:

— Вилли вообще считает, что достаточно быть красивым.

— Ошибаешься,— возразил ее кузен,— я, к сожалению, считаю, что достаточно быть хорошо одетым.

Фру Маддерсон сказала, засмеявшись:

— А мне от этих дамских романов всегда не по себе делается.

— Что же так, фру? — спросил Вилли.

— Но, боже мой, господин Вилли,— сказала фру Маддерсон,— теперь мы никогда не можем быть спокойны за наши маленькие интимные тайны,

Они продолжали говорить о литературе, пока Вилли не спросил господина Аска:

— Вы когда-нибудь видели *женщину*?

— Да,— и Вильям улыбнулся,— случалось.

— А я так никогда,— сказал Вилли,— подозреваю, что они давно уже все на кладбище.

Разговор о литературе разросся и коснулся театра.

Фру фон Хан заявила, что скоро ни за что нельзя будет ручаться, какой спектакль ни возьми.

— Я свою Августу в Королевский театр — и то лишь на Хейберга посылаю да на балеты.

— Да,— сказала фрекен Оттилия,— Бурнонвиль всегда останется Бурнонвилем. Что может быть прекраснее «Свадебного поезда в Хардангере»!

Фрекен Оттилия понизила голос:

— Ах, если бы посмотреть «Свадьбу в Хардангере» вместе с покойным!

Чиновник Сайер держался того мнения, что эти господа пишут совершенно беспардонно:

— Вообще не знаешь, можно ли еще предъявлять им хоть какие-то нравственные требования.

А господин Скоу, оттопырив губы, сказал:

— Литература существует для моей жены. Но оплата счетов за тома в кожаных переплетах лежит на мне.

Статский советник, повернувшись к фру Белле, поднял свою рюмку:

— Все же современная литература, пожалуй, и пользу приносит. Она порою готовит к тому, что нас ожидает в этой жизни.

Лакей поставил тарелочки для мороженого, и фру фон Хан шепнула своей дочери:

— Августа, тарелки-то уже не китайские.

Фрекен Августа фон Хан не слышала. Занятый сервировкой лакей не без труда преодолел ее упруго отверденное назад плечо.

Фрекен Минна Хаух, сказавши, что такого танцора, как Шарф, никогда уже больше не будет, приняла затем участие в литературных дебатах:

— А этого Й.-П. Якобсена нынче чуть не в каждом доме встретишь — на конфирмацию.

— Действительно,— сказала фрекен Оттилия,— да мы и сами его дарили. Два томика — уж очень подходящий к случаю презент.

Адвокат Майер перегнулся через стол к господину Аску:

— Не так-то просто вести разговор о книгах в присутствии уважаемого писателя.

Вильям слегка выпятил губы:

— Я, господин адвокат, никогда не беру с собой в общество собственных сочинений.

— Ах, господин Аск,— воскликнула фру Маддерсон,— а я как раз недавно читала господину адвокату одну из ваших книг. Ведь мы всегда читаем вслух от восьми до десяти.

Чиновник Сайер высказал предположение, что обычный читать вслух по вполне понятным причинам уже не в ходу в настоящих семьях.

— Невозможно же, в самом деле, опускать чуть не половину всех страниц,— сказал он.

Но фру Лунд воскликнула:

— А мне все равно. Ничему я так не радуюсь, как новым книжкам. В пасторской усадьбе, дети мои, как наслушаешься песнопений паствы — поневоле заскучаешь по чем-нибудь этаким.

И она принялась со всеми подробностями пересказывать какой-то весьма безнравственный роман.

Фрекен Сайер слушала, покачивая головою и приложив руку к уху.

— Боже мой, тетя Вик,— сказала фрекен Люси,— кто же не знает, что в книгах у каждого мужчины по три жены.

— Что там говорит Люси? — спросила фрекен Сайер, нагнувшись над столом.

— Или же у каждой женщины по три мужа,— крикнула фрекен Люси.

Фрекен Сайер засмеялась так, что бульканье разнеслось по всей комнате.

— Бойкое дитя,— сказала она.— Вот, господин статский советник, такие девчонки жизнь живут — будто в вальсе кружат.

Фрекен Августа фон Хан изобразила улыбку семнадцатилетней инженерю на своем тридцатидвухлетнем лице.

— Не знай мы тебя, милая тетя Виктория, можно бы подумать, ты хочешь нас всех развратить.

— Только не тебя, дорогая Августа,— ответила тетя Виктория, пожалуй, чуть суховаато.

Адвокат Майер, которому кровь бросилась в лицо, сказал:

— Да, дома мои дочери не могут научиться подобным вещам.

Адвокат Скоу громко расхохотался.

— Разве ты не присутствуешь при чтении вслух, Люси? — спросил он.

— Нет, — ответила Люси, — я читаю в постели.

— А я читаю лишь книги из Будапешта, — сказал Вилли.

Чиновник Сайер вдруг весьма резко перевел разговор через Будапешт на вояжи, турне и поездки на курорт. Но фру Маддерсон, прицепившись к книгам из Пешта, воскликнула:

— И они ведь с иллюстрациями!

Фрекен Сайер тоже подала голос, крикнув:

— На каком же они языке?

Фру фон Хан, поддержавшая разговор о путешествиях, находила, что Франценсбад — прелестное местечко, а фрекен Оттилия Хаух сказала, залившись пунцовым румянцем от собственных слов:

— Да, я ведь бывала там каждое лето, пока он был жив.

Фрекен Минна торопливо вставила — и тоже вдруг покраснела:

— Мы и в позапрошлом году туда ездили.

Лакей подал мороженое. Оно имело форму огромной курицы, прикрывшей распростертыми крыльями своих цыплят.

Послышались восторженные возгласы.

— Как она вся переливается! — сказала фрекен Минна.

— Да это, ей-богу, первокласснейший пломбир! — произнес господин Скоу.

— Перышки-то — все до единого видны, — сказала фру Маддерсон.

Но смешливый голос фру Лунд прозвучал звонче всех:

— Тетя Вик, тетя Вик, у меня уже слюнки текут, я так и чувствую на языке его вкус.

Тем временем фру фон Хан, взявшаяся резать, с такою горячностью вонзила в курицу ложку, что отхватила одним махом целое крыло.

Но тут господин адвокат Майер поднялся с места и постучал по своей рюмке.

— Душеприказчик будет речь держать,— полушепотом сказал господин Скоу.

Лицо фрекен Сайер разом оживилось, и в глазах, обращенных на друга Майера, появился блеск — со стальным отливом.

Господин Майер,— по тому, как он стоял, было видно, что круглая спина относится к числу фамильных черт,— сказал, что, как ему прекрасно известно, тетя Виктория не любит речей, тем более речей в свою честь.

— Но когда у тебя рождается мысль,— сказал господин Майер,— то невольно делаешься... ну, что ли... ее рабом. Впрочем, я отнюдь и не намерен произносить речь. Я хотел бы,— и адвокат указал своей слегка скрюченной правой рукой на мороженое,— лишь обратить ваше внимание на этот образ, и все поймут меня без слов. Спасибо тебе, тетя Виктория.

Господин Майер постоял еще мгновение, растроганно склонив голову перед образом и своею мыслью, между тем как фру Лунд и фру Маддерсон вскочили и бросились к фрекен Сайер, которая кивала головою.

— Ну, спасибо, спасибо,— говорила она всем, кто с нею чокался,— старая тетка старается, как может, прикрыть вас своим крылом.

— Ах! Господин адвокат всегда так символично выражается,— сказала фру Маддерсон.

Все стали чокаяться, рюмки звенели. Вилли и девицы стучали в такт ложками по тарелкам. А фру фон Хан прошипела чиновнику Сайеру:

— А ты уж не мог ничего сказать! Всегда только Майер да Майер!

Фрекен Сайер сидела, переводя взгляд с одного на другого, пока они рассаживались по местам.

— Ну вот, мои милые,— сказала она,— а теперь вы эту курицу забьете.

Она сделала знак фрекен Хольм и тихо сказала ей что-то.

Фру Лунд энергично всадила в курицу ложку:

— Батюшки, а она треснула!

— Ах,— воскликнула фру Маддерсон,— разрушать такую красоту!

Фру Лунд, завладевшая половиной куриной грудки, сказала:

— Боже, я, честное слово, не нарочно. Птица-то внутри пустая.

— Угу,— сказала фрекен Сайер, глаза которой по-прежнему впивались по очереди в сидевших за столом, подобно глазам гада,— внутри ничего нет. Съели — и конец.

— Да уж,— сказала фру фон Хан.

Приходящая прислуга Йенсен, у которой поверх многочисленных юбок был надет чудовищный белый передник с кружевными прошивками, внесла три ведерка со льдом, из которых торчали серебряные горлышки шампанского.

Возник всеобщий переполох. Все молодые захлопали в ладоши. У господина Майера лицо сделалось каменное, как маска, а фру Маддерсон, которая было радостно заулыбалась и вместе с молодыми забила в ладоши, внезапно окаменела с точно таким выражением лица, как у господина адвоката.

Фру фон Хан посерела.

— Настоящая попойка,— сказала она, не сумев унять дрожь своего голоса,— можно подумать, Виктория, мы поминки справляем.

— Неужели, Терезочка,— ответила фрекен.

Чиновник Сайер барабанил по столу всеми десятью пальцами. А фру Лунд сказала:

— О, ничто так не освежает, как шампанское. У нас-то оно всего раз было — как первенького крепости.

Фрекен Люси заметила вполголоса:

— А, плевать, лишь бы нам было весело, пока она жива.

Фрекен Сайер вдруг стала совершенно спокойна. Она сидела, вытянув голову, как будто для того, чтобы было удобнее переводить взгляд с одного лица на другое, и со своими десятью растопыренными пальцами, покоившимися на столе, походила на огромного паука, который ткёт свою паутину.

— Шампанское ведь не может долго храниться,— сказала она.

Господин Скоу тихо спросил, пока лакей наполнял его бокал:

— Что это за марка?

— Мумм, господин адвокат,— ответил лакей.

— Ого, тогда она таки правда не в себе.

— Во рту так и щекочет,— сказала фрекец Люси, которая уже пила.

— Как это? — спросил господин Скоу.

— Ха, как будто вы сами не знаете!

Первая хлопушка с треском вспыхнула над столом. Вилли разорвал ее с фру Маддерсон. Вылетевший билетик упал на скатерть, и все молодые наперебой старались его схватить, чтобы вслух прочитать написанное.

— Пусть Вилли читает,— крикнула фрекен Сайер,— у него такой ясный выговор.

— Да, пусть Вилли,— пронзительно сказала фрекен Эмилия,— единственное, что он умеет, это немного читать по-французски.

А фрекен Люси уже разорвала следующую хлопушку с господином Скоу.

— Фи, какая гадость,— сказала она, слушая, как Вилли громко читает под общий смех билетик из хлопушки фру Маддерсон — это был припев песенки с Мон-мартра, который и конюха ввел бы в краску.

— Августа! — сказала фру фон Хан.

Но фрекен Августа уже разорвала хлопушку с чиновником.

— Послушай, Вилли,— крикнула фру Лунд, размахивая хлопушкой над головой,— я их собираю для нашей учительницы.

А господин Вилли, который разрывал хлопушки то с фру Лунд, то с фру Маддерсон, все читал и читал, стишок за стишком, под дружный смех и рукоплесканья.

— Ах, господин Вилли, я обожгла себе пальцы,— томно простонала фру Маддерсон, кокетливо поводя пальцами в воздухе.

Вилли продолжал читать:

— «Epcoge un baiser qui ne tige à rien...»¹ — Но тут он вдруг остановился.— Ну нет, это уж чересчур,— сказал он, а алые губы его, казалось, лоснились от удовольствия.

— Что он сказал? — прохрипела фрекен Сайер; кашмирская шаль сползла с ее плеч, и она сидела, вытянув перед собою руки с растопыренными пальцами, точно старая ведьма, что тянется к огню, греясь у костра.

¹ Еще поцелуй, ни к чему не ведущий... (франц.)

— Дай-ка сюда! — крикнула Люси и вырвала у Вилли билетик, чтобы, зардевшись, прочитать его вместе с господином Скоу, усы которого шекотали ей щеку, как усы сержанта ласкают щеку дамы под звуки тихого вальса в танцевальном зале.

Ничего нельзя было расслышать, хлопушки хлопали снова и снова, и все молодые читали наперерыв, откидываясь назад, весело хохоча.

— Постойте, — воскликнул Вилли, вскочив с места, — исполнение, черт возьми, мое!

И он крикнул, заглушая остальных:

— «Amour, amour, oh, chose difficile...»¹

— Давай сюда, — сказала фру Лунд, — я их собираю!

— Ничего же не слышно! — крикнула фрекен Сайер, покачиваясь взад и вперед в своем дубовом кресле.

— Боже мой, господин Вилли, — послышался голос фру Маддерсон.

А фрекен Оттилия по-юношески вытянула шею, выползая из собственного декольте.

— «Amour, amour, oh, chose difficile...»

— Хотя бы уж скорее встать из-за стола, — сказала фру фон Хан, которая у себя на дюне не привыкла к стихам французских кондитеров.

— Вас посещают замечательные мысли, — отозвался чиновник и в третий раз разорвал хлопушку с фрекен Эмилией: когда он, думая о будущем, перебирал в уме свои женские знакомства, она ему все же наиболее импонировала своею положительной солидностью.

Сидя подле господина Скоу, фрекен Люси кудахта-ла от смеха. Возгласы на датском языке перемежались с французскими стишками. Фру Маддерсон показывала господину адвокату через стол свой бедный обожженный пальчик, а фру Лунд, поднявшись с места, чуть не вступила в рукопашную с Вилли, который вспрыгнул на стул.

— Не желаете ли, фрекен? — спросил лакей, снова обносивший гостей хлопушками, подставляя вазу фрекен Августе фон Хан.

— Как им весело, — сказала фрекен Сайер, глаза которой совершенно перестали слезиться. — А ведь смех, советник, полезен для здоровья.

¹ Любовь, любовь, о, сложная штука... (франц.)

Фрекен Люси, отклонившись назад, совсем упала в объятия Скоу, а фрекен Минна сказала адвокату Майеру:

— Ведь это же чудесно, когда молодежь может веселиться в семейном кругу.

— Вас хлопушки не прельщают? — спросил господин Вильям Аск фру Беллу Скоу.

И когда она покачала головой, Вильям сказал:

— Власть денег, фру Скоу, все же ничто перед властью жизни.

— Да, — тихо ответила фру Скоу, — есть вещи, которые еще сильнее кружат голову.

Вилли вдруг спрыгнул со стула.

— С вами, фрекен Хольм, — крикнул он, протягивая хлопушку компаньонке и заглядывая ей в глаза своим сверкающим взором.

— Благодарю, господин Вилли, — ответила она, — но я слишком мало знаю по-французски.

— Милочка, — крикнула фрекен Сайер, — вы-то себе пальчики не обожжете.

— Обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду, — шепнула фрекен Люси. — Давай с тобой! — громко сказала она, протягивая хлопушку Вилли.

— «Amour, amour, oh, bel oiseau...»¹

Хлопушек не осталось. Статский советник взял последнюю, которая оказалась пустой.

— Кондитер как в воду глядел, — сказал он, — не стоит тратить стихи на стариков.

Среди наступившего затишья подали чаши с водой, и общество ополоснуло кончики пальцев.

— Ну, дети, на доброе здоровье, утешили вы старуху. — И фрекен Сайер поднялась, опираясь на руку статского советника.

— Не знаю, когда уж на это на все будет наложен запрет, — сказала фру фон Хан, проходя мимо чиновника.

Господин Вилли на мгновение задержался в столовой и, заложив руки в карманы, играя глазами, обозрел покинутое поле брани.

— Да, Лауритцен, — сказал он лакею, — есть много видов ночных бабочек, и семейная жизнь тоже находится в развитии.

¹ Любовь, любовь, о, прекрасная птица... (франц.)

Он еще немного постоял.

— Вы что же, без места?

— Покамест да,— ответил лакей, полируя себе ногти салфеткой.

— Ну ничего,— сказал господин Вилли, поворачиваясь, чтобы идти,— вы и так не пропадете.

— Подвертывается кой-что,— ответил господин Лауритцен, лицо которого осталось совершенно неподвижно.

Посреди гостиной фру Лунд подсчитывала собранные билетки.

— Ну вот, семнадцать,— сказала она,— семнадцать штук.

Все благодарили фрекен Сайер за угощение, а фру Маддерсон шепнула на ухо фру Лунд:

— Я их еще разок почитаю, потом, вот только остальные усядутся за кофе.

— Спасибо,— сказал адвокат Скоу и поцеловал фру Беллу, едва коснувшись губами ее щеки.

Пока лакей подавал кофе, адвокат Майер завел речь об одном бракоразводном процессе:

— Подчас, право же, кажется, нынче у людей ни стыда, ни совести не осталось. В случае, о котором я говорю, у супругов пятеро детей.

Бракоразводное дело, снискавшее шумную известность, заполонило гостиной, и статский советник сказал:

— Да, развод в нашем обществе, того и гляди, обратится в sacramентальный обряд.

— Ха, а иначе я не знаю, для чего ж бы и замуж выходить,— сказала фрекен Люси.

А господин Майер спросил, глядя в лицо чиновнику:

— Но откуда она, вся эта безнравственность? Ведь она положительно свирепствует, разрушая многие семьи.

Чиновник пожал плечами:

— Похоронены принципы, адвокат.

Фрекен Сайер склонилась над чашкой, будто гадала на кофейной гуще.

— Ну-ну, детки,— сказала она,— а я так радуюсь, что у людей прибавляется свободы.

— Отчего же, фрекен? — спросил господин Аск.

Фрекен Сайер, щурясь и мигая, смирила Вильяма взглядом и сказала:

— Милочек, от разговоров с писателем лучше воздерживаться. Однако,— добавила она затем,— мне по

нраву скорость и прыть. Помнится, когда я была молода — да, милочек, в те давние времена, — в Тиволи устраивали бег в мешках. Мальчишки бегали, надев на голову мешки. В те времена и в нас было больше детского. Но очень потешно было смотреть, как они резвились.

— Этот бег в мешках, кажется, есть и поныне, — сказал Вильям.

Фрекен Сайер улыбнулась:

— Ну, откуда ж мне знать. Я теперь разве что выберусь посидеть на скамье у концертного зала. Впрочем, там тоже приятно. Пейте же, детки, пейте, — сказала она, кивая на многочисленные бутылки с ликером.

Адвокат Скоу подошел к лакею, который разливал ликер по рюмкам, и вполголоса спросил:

— Что это за пойло, Лауритцен?

— Можете сами судить по этикеткам, господин адвокат, — с поклоном ответил лакей.

— А теперь нам, старикам, пора и за картишки, — сказала фрекен Сайер. — Не разложите ли столики, фрекен?

Фрекен Хольм, ни слова не ответив, принялась раскладывать столы.

— Не пойму я, на что тете Вик эта неприятная бледная личность, — сказала фру Лунд, когда фрекен Хольм прошла мимо.

— Ну как же, дорогая, — ответила фрекен Эмилия, — ведь всякому приятно, когда у такой особы — и есть уязвимое место. Ты же знаешь, у нее этот ребенок в Люнгбю.

— Ах, бедняжка, — сказала фру Лунд. — Подумать только — иметь детей еще и вне брака...

— Внебрачная рождаемость, между прочим, убывает, — сказал подошедший к ним господин Вилли.

Фру Лунд рассмеялась:

— Не из-за твоей ли добродетели, Вилли?

— Во всяком случае, если я и сочетаюсь браком, от этого ничто не изменится, — ответил Вилли, поворачиваясь на каблуках.

— Боже, — сказала фру Лунд, — и как мы только терпим этого Вилли в семейном кругу? Он же никакой меры не знает!

— Да ну, — встряла Люси, — другие, право, ничуть

не лучше. Если бы ты знала, что иной раз слышишь на балах.

— И что *говоришь!* — крикнул Вилли из своего угла, где он, прислонившись к столу, стоял и брыкал ногами.

— Августа, — сказала фру фон Хан дочери, уводя ее за шкаф. — Я тебе говорю, все именно так, как я говорю. Она попросту распродает свои вещи. Иначе почему бы вазочкам не быть на столе? Но знаешь, ты можешь, прохаживаясь этак туда-сюда, заглянуть мимоходом в шкаф с фарфором, чтобы у нас были доказательства. Во всяком случае, я буду говорить со статским советником, как только она усядется за карты. Но ведь вся беда в том, что в семье нет согласия.

Фрекен фон Хан немного помедлила:

— Надо бы, матушка, поговорить сперва с кузеном Скоу.

— Это для чего?

— Для того, что он ведь должен стать опекуном, — сказала фрекен Августа.

— Дитя, — воскликнула фру, — просто невероятно, до чего ты всегда осмотрительна!

— Станешь осмотрительной, матушка, — ответила дочь, — когда всю жизнь в одном тряпье ходишь.

Мать и дочь расстались.

Фрекен Августа прошла в столовую, где мадам Иенсен у буфета подкреплялась кремом, сгребая его суповой ложкой с тарелочек из-под мороженого, а фрекен Хольм подбирала жареный миндаль, выпавший из хлопучек и раскатившийся по всему столу — и вдруг остановилась при появлении фрекен фон Хан.

Фрекен Августа не могла вспомнить, где она забыла свои перчатки, видимо, здесь, и она принялась ходить вокруг стола, ища их с таким видом, будто искала иголку.

Мадам Иенсен не оборачивалась, а фрекен Хольм вышла.

Фрекен фон Хан приблизилась к большому шкафу.

— Ах, — сказала она, — что за восхитительные старинные замочки! Как бы они были хороши к туалетному столу!

И она стала вертеть старинные замочки и ключики.

В средней гостиной барышни Хаух, фру Маддерсон и фрекен Сайер уже расположились играть в карты.

— Ах, как приятно,— сказала фрекен Сайер, поводя увечным плечом,— ну до того приятно в картишки перекинуться. Не правда ли, мои милочки, сидишь вот этак, и руки у тебя будто все чем-то заняты.

Второй игральный столик пустовал.

— Вы тоже собираетесь играть, господин советник? — спросила фру фон Хан, стоя в дверях второй гостиной — она решила все же начать с доктора, — а то мне бы хотелось с вами поговорить, всего два слова.

— Признаться, я думал сыграть,— ответил статский советник.

— Я вас долго не задержу,— сказала фру фон Хан.

Фру отступила, пропуская советника, и они вошли во вторую гостиную, где фру пригласила советника присесть на диван.

— Ой,— сказала фру Лунд,— никак они уже начали играть? Пойду-ка я, выговорю себе выигрыш тети Вик.

И фру Лунд пошла, а Вилли последовал за ней.

— Дорогой советник,— сказала фру фон Хан,— я, право, весьма сожалею, но нас с кузенком Сайером все более тревожит здоровье Виктории, то, в каком она сейчас состоянии.

— А что такое, фру? — спросил статский советник, глядя на нее.

Фру фон Хан сделала головой произвольное движение, почти как жокей перед барьером.

— Дорогой советник,— сказала она и вдруг крикнула своему кузену:

— Кузен Сайер, поди сюда!

После чего продолжала, обращаясь к статскому советнику:

— Ведь это же все *ненормально*, любезнейший статский советник.

— Конечно,— вмешался чиновник,— и, смею сказать, всем нам мучительно больно это видеть. Даже если оставить без внимания неразумное распоряжение средствами.

— Августа, детка,— сказала фру фон Хан дочери, которая только что вошла,— задерни чуть-чуть портьеру. Фрекен фон Хан шепнула скороговоркой:

— Матушка, их там нет. Ни вазочек, ни китайских.

— Я же говорила,— сказала фру фон Хан.

Статский советник продолжал разглядывать фру:

— Но в чем же вы, собственно, усматриваете отклонение от нормы у фрекен Сайер?

— Отклонение от нормы,— повторила фру, лицо у которой было цвета золы,— отклонение от нормы? Придется нам посоветоваться с Майером. Он как-никак знает законы.

Господин адвокат Майер подошел в сопровождении своей дочери, фрекен Эмили, которая присела на краешек дивана.

— Дорогой Майер,— сказала фру фон Хан,— мы тут говорим о нашей бедной Виктории. Ведь вы, как и я, полагаете, что ей лучше всего было бы сейчас в лечебнице.

Адвокат Майер беспрестанно потирал себе руки.

— Да, господин статский советник,— сказал он,— к сожалению, имеются признаки... Но это, конечно, должно быть частная клиника.

— Любезнейший Майер,— вступилась фру,— частные клиники слишком ненадежны. А Виктория действительно невменяема.

— Однако,— возразил статский советник,— в чем же это проявляется? Ведь должны быть какие-то симптомы...

— Симптомы,— выпалила фрекен Эмилия, у которой за время сидения на краешке дивана сделалось совсем отцовское выражение лица,— симптомов, слава богу, довольно.

— Но не выводить же их на свет божий у самой Виктории в доме,— заметила фру фон Хан.

— Лучше всего частная клиника,— сказал господин Майер,— тогда приличия будут соблюдены. Ведь о взятии под опеку в нашей семье речи быть не может.

— Почему? — спросила фру фон Хан.

— Что же нам, довести дело до семейного скандала, тетя Тереза? — сказала фрекен Эмилия, которая, следуя послушно за родителем, мгновенно переменяла курс.

Доктор сидел, откинувшись назад, с таким выражением на лице, будто предавался любимому занятию — просвечиванию рентгеновскими лучами.

— Так разве,— и он неприметно улыбнулся,— опека не входит в ваши намерения?

— Господин статский советник,— ответил господин Майер,— может ли позволить себе это род, пользующийся всеобщим уважением и к тому же привлекающий к себе взоры публики!

— А самое главное,— сказала фру фон Хан господи-

ну Майеру,— опекуном-то стал бы Скоу, ведь он — ближайшая родня... А это, чего доброго, подорвало бы *доверие* клиентуры.

Адвокат Майер побледнел как полотно, а чиновник сказал:

— Да, господа, во всяком случае, так продолжаться не может. Мы должны подумать о семье. Скажите мне, пожалуйста, Майер, на что она живет? Она ведь, должно быть, берет из капитала.

— Как душеприказчик...— начал господин Майер.

— Не думаю,— прервала его фру фон Хан, которую била дрожь,— чтобы сумасшедшие могли выбирать себе законных душеприказчиков...

— Извольте объяснить, что вы имеете в виду! — почти крикнул господин Майер.

— То, что я говорю! — ответила фру, глядя прямо в его птичье лицо.

Она помолчала секунду и затем переменяла тон:

— Я всегда была того мнения, что лучше всего действовать прямо и открыто. А лечебница и опека — это *необходимость*... Я знаю, что говорю.

— Скоу! — позвала она.

Адвокат Скоу не слышал. Зажав Вильяма Аска в угол, он говорил о концессии на железную дорогу через Амагер. О ней хлопотал один из его приятелей.

— Это же, черт побери, достойно уважения! — воскликнул господин Скоу, глаза которого несколько остекленели, язык, однако, оставался послушным.— Взял и выложил деньги на бочку! Ну скажите, дорогой, много ли найдется таких, как он, ведь нынче все за банки цепляются! Денежки на бочку наличными. Это же, черт побери, достойно уважения!

— Скоу! — снова позвала фру фон Хан.

— Да,— откликнулся Скоу и пошел, придерживаясь рукою за столы.

Фру фон Хан опять с жаром принялась развивать свои идеи, пока адвокат Скоу не сказал:

— Н-да, ну, мне-то это все безразлично. А что думает по этому поводу статский советник?

Статский советник не ответил.

— А ты-то что об этом думаешь,— снова вступилась фру фон Хан,— ведь тебе пришлось бы стать опекуном?

— Я ничего не думаю. Получить *наследство* — вот это было бы приятно. Не из-за денег, их будет немного.

Но когда получаешь наследство, акции твои в деловом мире сразу повышаются.

— В этом — он весь, вся его фирма, — сказал, отвернувшись, адвокат Майер.

— Что вы там такое говорите? — крикнула фрекен Сайер из-за карточного стола.

Господин Скоу рассмеялся:

— Мы беседуем о тебе, тетя!

— Оттого мне, верно, такая удача, — крикнула в ответ фрекен Сайер.

За карточным столом закончили второй роббер и теперь подводили итоги.

— Нам необходимо принять какое-то решение, — сказала фру фон Хан.

Доктор секунду сидел молча, потом заметил:

— Что ж, семья может обратиться за советом к специалисту. Специалисты часто легче находят выход в подобных случаях. Впрочем, я не думаю, чтобы это удалось.

Он снова помолчал, а затем добавил:

— Фрекен Сайер едва ли может быть сочтена опасной для окружающих.

Барышни Хаух, игравшие в паре друг с другом, отдали фрекен Сайер ее выигрыш. Но у фрекен Сайер не было сдачи. На столе перед нею лежали лишь три монеты по двадцать крон.

— Тетушка Вик, чур, я получаю твой выигрыш, — сказала фру Лунд и побежала разменять двадцать крон у статского советника, который, оставив собеседников, последовал за нею.

— Вот черт, не могу спокойно видеть золото, — сказал Вилли.

— Но отчего же, господин Вилли? — спросила фру Маддерсон.

— Мне думается, всякий человек моего возраста в душе — вор, — ответил Вилли.

Статский советник поднял на него взгляд.

— В самом деле, — сказал он, — у многих молодых есть в голове некий пункт помешательства.

Вилли потянулся своим стройным телом:

— Мы, господин статский советник, в лесу играем в разбойников.

— Нет, ну этот Вилли, — воскликнула фрекен Люси, — взять так прямо и сказать!

— Что ж тут такого,— улыбнулась фрекен Минна,— а ты, Люси, что делаешь в лесу?

Господин Вилли засмеялся:

— Она строит себе шалаши.

— Хм, хм,— сказала фрекен Сайер, встряхиваясь.— Никто так не шутит, как Вилли.

— А ведь он,— заметила фрекен Оттилия,— такой нежный и любящий сын.

— О да,— сказал Вилли,— я вижу свою мать всего два раза в год. И как-никак ведь это она произвела меня на свет.

— Ух, даже не по себе становится.— Фру Маддерсон зябко передернула плечами.— Можно подумать, вы это серьезно говорите.

— Ничего, фру Майер, милочка, то бишь, Маддерсон, хотела я сказать,— заметила фрекен Сайер,— вас не убудет от его речей.

Вильям Аск сказал после паузы, продолжавшейся несколько секунд:

— Досадно, Вилли, что это не вы стали писателем. От вас мы, возможно, услышали бы правду.

— Как знать? — ответил Вилли.

— Хм, да,— сказала фрекен Сайер,— у этого мальчика острый ум. Это вам на двоих,— продолжала она, разделив свой карточный выигрыш между фру Лунд и Вилли.— Всегда ведь имеешь своих любимчиков среди родни.

— Поъем-ка чайку! — крикнула она, адресуясь к фрекен Хольм, и та отправилась на кухню, где застала господину Лауритцена наедине с кухаркой.

Когда фрекен Хольм снова ушла, господин Лауритцен спросил:

— А все ж таки небось тяжело бывает в таком доме? Девушка покачала головой:

— Мне нравятся дома, где всяк — сам по себе.

— Как вас понять, фрекен?

— Все таятся — и ты тоже,— сказала девушка и поставила чайник на поднос.

Пока господин Лауритцен обносил гостей чаем, фрекен Сайер сказала:

— А теперь спели бы вы нам одну из ваших песенок, фру Маддерсон.

— О, я ведь только так, для себя. Но если вы хотите, я с удовольствием,— ответила фру Маддерсон.

Она принялась листать «Музыкальный альбом», а все, слегка утомленные, сидели и прихлебывали чай. И вот фру запела:

Ах, два дрозда в тени лесной
Сидят на веточке одной,
Сидят, горюют до утра,
Расстаться им пришла пора.
Поют вдвоем, и ветер вдаль
Уносит двух сердец печаль¹.

Голос фру замер, и слышно было, как фрекен Минна сказала:

— Это прелестно — послушать пение. Без этого, право, как будто чего-то не хватает.

— Да, это очень приятно, — отозвалась фрекен Оттилия, раскрыв глаза при звуках сестринского голоса, — фру Маддерсон так мило поет. И в самом деле поразительно — в таком возрасте сохранить такой голос.

Господин Майер, который в своем кресле слушал, качая в такт головою, сказал:

— Да, это талант, редкий, редкий талант. Она *рождена* для сцены.

Господин Скоу, стоявший рядом с чиновником, усмехнулся:

— Нет, вы только посмотрите на Майера. Вот уж воистину, каждый по-своему с ума сходит.

А фру Маддерсон, игравшая вступление ко второму куплету, обернулась к господину Майеру:

— Так, как дома, господин адвокат, я никогда не пою.

Один поет: «Моя любовь!
Прощай! Не свидеться нам вновь!»
Другой: «Любовь моя, нет сил,
Прощай! Разлуки час пробил!»
Один поет: «В чужом краю
Мне не забыть любовь мою!»

Пока фру Маддерсон пела, чиновник сказал в ответ на слова господина Скоу:

— Я, со своей стороны, никогда не понимал этих отношений и, должен признаться, отнюдь не одобряю, что эта дама принята в семейном кругу.

— Да уж, — ответил Скоу, — своих юбок — хоть отбавляй!

Он подошел к барышням Хаух:

¹ Здесь и далее — перевод Е. Суриц.

— Так как же с этим домом-то? — И он сел посредине между ними.

— Ты знаешь, — сказала фрекен Минна, — по правде говоря, мы бы предпочли его продать. И ведь мы говорили уже с Майером, — она взглянула на господина адвоката, который по-прежнему слушал с закрытыми глазами, — но нам, женщинам, понять его трудно — уж очень он тонкий юрист.

— В самом деле?

— Ему бы только печати да всякие такие вещи, — сказала фрекен Оттилия.

— А как же, — ответил Скоу, скривив губы, — чем больше крючкотворства, тем легче соблюсти свою пользу.

— Так что мы бы, собственно, предпочли иметь дело с тобой, Альберт, — продолжала фрекен Минна.

— Ну, у меня-то — деньги на бочку, — сказал Скоу. — А формальности улаживать — поверенный есть.

— О чем вы там говорите? — крикнула фрекен Сайер, заглушая музыку.

Стоило начать музицировать, и у фрекен заметно обострился слух, как будто она пользовалась семью слуховыми трубками сразу.

— Альберта так редко приходится видеть, — ответила фрекен Оттилия.

— А он ведь всегда готов услужить, — сказала фрекен Сайер, — и так расторопен.

Господин адвокат Майер словно бы очнулся от голоса фрекен.

— Да, Майер, — заметила она, когда он вдруг поднялся с кресла, — приятно посидеть, послушать музыку, друг Майер.

А фрекен Минна поспешно сказала господину Скоу:

— Хорошо, Альберт, мы к тебе зайдем — обе. Правда, тут ведь еще и то, что с процентов мы столько не будем иметь, как от сдачи внаем.

Скоу покрутил себе усы:

— Ну, почему же, думаю, мы это уладим, надо только сбыть дом в надлежащие руки. Такую недвижимость сторговать — не самое сложное дело.

Фрекен Эмилия, выступив из-за гардины, оказалась рядом с отцом, между тем как фру Маддерсон пела дальше:

Другой: «В далекой стороне
Не знать, не знать покоя мне!»

Один на запад полетел:
«Печаль — души моей удел!»
Лететь другому на восток:
«Навек прости-прощай, дружок!»

— Хм, ну вот,— сказала фрекен Эмилия,— теперь Скоу продаст Хаухов дом. Но, конечно, слушать можно что-нибудь одно, всюду не поспеешь.

Тут господин Майер дважды тряхнул головой, точно разъяренный баран.

— Что ты можешь об этом знать? — прошипел он.

Затем он вдруг обернулся к роялю и очень громко сказал:

— Вы уже довольно пели, фру.

— Да, господин адвокат,— ответила фру Маддерсон, и руки ее упали с клавиш на колени.

— *Спасибо*,— сказал Вилли из соседней гостиной, где фру Белла Скоу сидела в углу и листала альбомы.

К ней подошел Вильям:

— Уф, она поет, как игрушечная канарейка.

— А вы думали, она кто? — сказал Вилли.

— Я не слушала,— сказала фру Белла,— я тут листала альбомы.

— Это семейные? — спросил Вильям.

— Да,— ответила фру Белла,— причем удивительно, до чего все походят друг на друга — и с самых юных лет.

— Правда,— сказал он.

— Есть, однако ж, и различие,— заметил Вилли,— у некоторых горб вырос внутрь.

Вильям Аск рассмеялся:

— Право, вполне вероятно, что фрекен Виктория из всех самая невинная.

— Но все же,— сказала фру Белла, глядя в пространство,— откуда все это идет?

— От тайного советника,— ответил Вилли,— вот уж третье поколение пошло.

Фру Белла вдруг рассмеялась:

— А ты, Вилли, среди них единственный джентльмен?

Вилли раскачивался всем телом из стороны в сторону.

— Послушай, Белла,— сказал он,— отчего бы тебе не влюбиться в меня хоть немножко?

— И в самом деле,— ответила фру Белла, смеясь,—

мне просто никогда не приходило это в голову. А кроме того,— продолжала она,— это едва ли могло бы доставить удовольствие. Ты, Вилли, думаешь всегда лишь о той, которой еще не добился, а обо всех тех, кто уже попал в твою коллекцию, ты и не вспоминаешь.

— Видимо, это — время,— ответил Вилли, глаза которого вдруг сделались печальны.

— Это — ненасытность,— возразила фру Белла.

Лакей доложил, что экипаж барышень Хаух прибыл.

— Как, уже? — сказала фрекен Оттилия, и две сестрицы приступили к церемонии прощания с целой серией легких поклонов.

Фру фон Хан стояла между чиновником и господином Майером:

— Значит, и сегодня мы так ни к чему и не пришли, А уж на тебя, кузен Сайер, ни в чем нельзя положиться.

Чиновник ответил, рассматривая свои ногти:

— Человек в моем положении, Тереза, никогда не переходит известных границ.

Фру фон Хан усмехнулась:

— А вы, Майер, боюсь, не дождетесь вашего *наследства*. Потому что — теперь-то уж я могу вам это сказать — она попросту распродает все ценные вещи.

Господин адвокат Майер раскрыл рот:

— Что вы говорите?

— Я говорю,— ответила фру,— что она *распродает* все до последней нитки. Вы что же, не *видели*, что мы на фаянсе ели?

— Да, да, сударыня, теперь я тоже припоминаю,— сказал господин Майер с видом человека, у которого мысли вдруг закружились в вальсе.— Но зачем же... зачем? — продолжал он, мотая головой.— Зачем ей это делать?

— Чтобы ничего после себя не оставить, Майер! — ответила фру фон Хан — два страусовых пера в ее наколке развевались, как флаги.

— Странно... фру Маддерсон говорила мне то же самое. Да, да,— сказал адвокат, и лучик восхищения скользнул по его оторопелому лицу,— это женский инстинкт, я называю это женский инстинкт... Но, с другой стороны, давайте рассмотрим обстоятельства,— продолжал он уже иным тоном.— Каким образом она могла бы это делать? Не может же она сама...

— Это, конечно, тот блондин, что вечно здесь околачивается,— встряла фрекен Эмилия,— он ей все устраивает.

— Кто? — спросил отец.

— Какой блондин? — спросила фру фон Хан.

— Я его не знаю. Но видела много раз, и со свертками — здесь, у нее на лестнице.

— Но каким образом, Эмилия?

— А я,— сказала фрекен Эмилия,— время от времени забегаю сюда в подворотню ботинок застегнуть.

Господин Майер бросил взгляд на свою дочь.

— Да, но раз доктор не соглашается...— сказал он.

— На нем свет клином не сошелся,— возразила фру фон Хан.— Специалисты, по счастью, более сведущи... хотя они и обойдутся дороже.

Чиновник заметил, по-прежнему глядя на свои ногти:

— Конечно, Тереза права — в принципе.

Господин Майер, все еще с видом человека, у которого мухи в голове ползают, ответил:

— Что ж, тогда остается одно — лечебница. Придется, видимо, предпринять необходимые шаги, как ни огорчительно это для нас всех.

И тут он резво обернулся к адвокату Скоу, шагавшему мимо, и сердечным тоном сказал:

— Нам с вами, коллега, за сегодняшний вечер так мало удалось поговорить.

И он хлопнул коллегу по плечу своею скрюченной правой рукой.

— Как он выглядел? — полушепотом спросила фрекен Августа фон Хан у фрекен Эмилии.

— Кто?

— Ну этот, кого ты на лестнице-то видела, блондин. Фрекен Эмилия описала его.

— Тогда я его знаю,— сказала фрекен фон Хан,— наверное, на улице встречала.

— Знаешь? — У фрекен Эмилии вырвался короткий смешок.— Я, право же, в этом не сомневалась. У тебя наметанный глаз — по этой части.

Барышни Хаух, распрощавшись со всеми, обняли фрекен Сайер.

— Да, Виктория, господи, чуть не забыла. Твое покрывало, ну то, что цветами — мы с сестрой хотели его попросить, снять узор. Старинные узоры, знаешь ли, опять в моду входят.

— А что брали в тот раз, вы мне отдали? — спросила фрекен Сайер. — Ладно, пусть Хольм вам его достанет. Барышни Хаух отбыли.

— Хм, очень трогательно, — сказала фрекен Сайер, когда дверь за ними затворилась, — Минна никогда не устанет украшать девическое гнездышко Оттилии. Августа, — добавила она громче, — ты видела, какой у сестриц Хаух новый работник? Отменного телосложения! Они из гусар его взяли.

Господин Скоу, все еще беседовавший с господином Майером, который дошел наконец до «опеки», сказал:

— Мне-то от этого ни тепло, ни холодно. Такие дела — не для меня.

— Я всегда так и думал, — сказал господин Майер, — и опекуны ведь могут назначаться властями.

Фру фон Хан подседа к фрекен Сайер и стала расспрашивать, где она покупает дичь, ведь такой зайчиной ни у кого не угостишься.

— У тебя, Тереза, тоже всегда чудесные соуса, — сказала фрекен Сайер.

— Боже мой, Виктория, да разве сравнить с твоими.

В соседней гостиной фру Лунд и фрекен Майер снова изучали билетки из хлопушек, то и дело прерывая чтение слегка нервическим смехом.

Вильям Аск и Вилли сидели напротив на диване.

— И охота же сюда приходиться, — сказал Вилли, — смотреть, как эти воробьи клюют свой сухарь. Если б еще десятка-другая за это перепала, чтобы хотя поужинать согласно своему званию — так и того нет.

Писатель устало улыбнулся.

— Это я вам охотно презентую. — И он вынул из жилетного кармана две ассигнации.

— Вообще говоря, как-то неловко, — сказал Вилли, засовывая их своею унизированной кольцами рукой в карман фрака. — Но дома тоже невозможно оставаться.

— Отчего же?

— Да ну, бывает, останешься — так в пору лечь да завить.

Когда Вильям поднял голову и взглянул на него, Вилли добавил — и лицо его вдруг покрылось всеми морщинами, которые должны были его избороздить в последующие тридцать лет:

— Правда, ну что, понимаешь ли, за жизнь?

Статский советник, который сидел целый час в качалке, усердно штудирова «Берлинске», прошел мимо них.

— Почему вы, собственно, ничего не *хотите*, молодой человек? — спросил он у Вилли.

— А чего же *хотите*? — ответил Вилли.

— Быть *звеном* в общественном механизме, — сказал статский советник. — Да, молодой друг мой, но этому-то молодость и противится.

Доктор подошел проститься к фрекен Сайер, все еще сидевшей в обществе фру фон Хан.

— Что-то у нашего советника усталые глаза, — сказала фру.

— Возможно, — ответил статский советник, — однако, фру, глаза еще видят, а уши слышат.

— Прощайте, фрекен Сайер, — и доктор поклонился, — как бы там ни было, берегу и охраняю вас покамест я.

Фру фон Хан на мгновение сильно побледнела, но сказала с чувством:

— Как и многих других, советник.

— Хм, — ответил статский советник, под взглядом которого изжелта-бледное лицо фру сделалось красным, — домашний врач в наши дни — не бог весть какая фигура. Он только и может, что... оградить от самого худшего.

— Да, — сказала фрекен Сайер, — с вами мне хорошо, — и тут она улыбнулась, — *если бы* вдруг случилась в вас нужда.

Фру фон Хан, резко повернув голову, взглянула на кухню. Но фрекен Сайер лишь встала с места:

— Прощайте, голубчик советник, прощайте. И спасибо вам, что пришли.

Она проводила его до двери.

Фру фон Хан молниеносно подскочила к господину адвокату Майеру, закончившему свой разговор с коллегой Скоу.

— Ну что, — сказала она и усмехнулась каким-то пересохшим смешком, — *получили* вы опеку?

И, не дожидаясь ответа, она воротилась к фрекен Сайер:

— Как, должно быть, чудесно, когда можешь держать такого домашнего врача! Все же домашний врач придает дому особый отпечаток.

— Да, милая Тереза,— ответила фрекен Сайер,— с доктором как-то спокойнее.

Лакей доложил, что подан экипаж господина адвоката Скоу, и фру Эмма Лунд сказала фру Белле:

— Белла, дорогая, нельзя ли и мне с вами... все-таки сколько-нибудь проеду.

— Эмма, дорогая, ну конечно, с удовольствием,— ответила Белла и хотела проститься с Вильямом Аском и Вилли.

— Мы тоже пойдем,— сказал Вилли,— кажется, птички прячут наконец-то голову под крыло.

Скоу, Вилли и Аск вышли в прихожую, где лакей адвоката, одетый в доху, набросил на плечи фру матово-черное вечернее манто.

Фру Лунд тоже вышла и облачилась в свою жакетку, а господин Скоу, обернувшись, спросил:

— Вы готовы, *мадам*?

Общество двинулось вниз по лестнице, фру Белла и Вильям впереди всех.

Когда они спустились на один марш ниже других, фру Белла сказала:

— И все же, мой друг, ужаснее всего вечное продолжение.

— О чем вы? — спросил Аск.

Фру Белла чуть помедлила, прежде чем ответить:

— Завтра снова званный обед — у нас. Деловые знакомства моего мужа.

— Да,— сказал Вильям,— нынче ведь сталиправлять дела обильным угощением.

— По крайней мере, *некоторые* дела,— сказала фру Белла.

Все спустились вниз, и фру Лунд первой взобралась в ожидавшую хозяев коляску.

— Я, пожалуй, прогуляюсь с Аском,— сказал господин Скоу, когда его супруга тоже села. И, обращаясь к лакею, добавил: — Меня можете не ждать, Ханс.

Фру Белла молча укуталась в матово-черное манто, как в погребальный покров.

— Доброй ночи,— сказала она, склонив голову.

Коляска уехала.

Вилли был уже на улице и успел вскочить в электрический трамвай как раз в тот момент, когда господин Скоу и Аск вышли на тротуар.

В желтом свете отчетливо видна была фигура Вилли.

— Собою он хорош,— сказал господин Скоу.

— Да, это освещение ему к лицу,— ответил Вильям, провожая его глазами.

Стоя в вагоне, Вилли обернулся и вдруг увидел господина Лауритцена, на котором был шейный платок из черного муара.

— Это вы, Лауритцен,— сказал Вилли,— значит, нам с вами по пути?

— Выходит, что так, господин Хаух,— ответил Лауритцен, приветствуя Вилли.

Адвокат Скоу и Вильям Аск какое-то время шли по улице в молчании.

Затем Скоу произнес, слегка отдуваясь:

— Хорошо пройтись по свежему воздуху. Ей-богу, друг мой, иной раз голова кругом идет в наши дни.

— Охотно верю,— ответил Аск,— и то сказать, легко ли — целый город перестроить... путем спекуляций.

— Переделать заново целиком и полностью, хотели вы сказать,— поправил Скоу.

Он опять шел молча некоторое время.

— Кстати, вам известно,— сказал он затем,— что я тоже занимался сочинительством? Как же, я выпустил сборник новелл, когда мне было двадцать три года, под псевдонимом. А теперь я сочиняю проспекты. Н-да,— добавил он немного погодя,— у нас, пожалуй, вообще многовато развелось сочинителей — в деловом мире тоже. Как говорится, в малые печи сажаем большие хлебы,— продолжал он, помолчав.— Чересчур много слетелось клевать от одного и того же капитала — и рвать когтями один и тот же город.

Адвокат рассмеялся в пространство:

— Вы заметили, как тесно мы сидели у тетушки Виктории?

— Да, тесновато,— сказал Аск.— Но ведь вам только стоит сильнее ударить по «мелким деньгам».

— Уж *слишком* они мелкие,— ответил Скоу,— *если* они еще есть.

Пройдя немного, он повернулся к Вильяму:

— Послушайте, это же идея, вы бы не могли сочинить нам проспект об участках вдоль Страндвайен?

Аск не ответил.

— Платим мы хорошо,— продолжал господин Скоу,— а вам, верно, тоже случается бывать в стесненных обстоятельствах?

— Да,— вздохнул господин Аск от полноты сердца.
«Не откажется при случае»,— подумал господин адвокат Скоу.

И они пошли дальше.

У фрекен Сайер оставалась лишь ближайшая родня, и фру фон Хан с дочерью вскоре поднялись и распрощались. Когда обе дамы спустились на улицу, фру сказала:

— Эти мне сестрицы Хаух, которые уносят покрывало! И Эмма, которая прикарманивает выигрыш!

Фрекен фон Хан, немного помолчав, заметила чрезвычайно сухо:

— Быть может, матушка, они-то и действуют умнее всех.

А в гостиной еще сидело семейство Майер.

Фрекен Сайер боролась с дремотой, дав волю своим ногам отплясывать под столом, между тем как руки ее прыгали по скатерти.

Адвокат, у которого лицо за последний час приобрело удивительное выражение,— точно у собаки, почуявшей добычу,— и на носу появилось золотое пенсне, обычно нацепляемое лишь по случаю особо доверительных консультаций о разделе имущества, смотрел на беспокойные руки фрекен:

— Ты что-то нервна сегодня.

— Я, друг Майер? Что ты, ничуть.

— Ну как же,— сказал адвокат,— это видно по твоим рукам.

— Милочек, это у меня от тайного советника,— ответила фрекен, резко вскинув на него глаза,— покойный, бывало, все пальцами по скатерти водил, точно в счетоводной книге писал.

— Ты ведь тоже, отец, всегда сидишь, счет на столе отбиваешь,— сказала фрекен Люси, которая ничего не знала о связи между «беспокойными руками» и «лечебницей».

Фру Маддерсон, сидя в кресле, спала. Но наконец все отправились восвояси, и фрекен Сайер осталась одна.

Отворяя подряд двери в квартире, она обежала, торопливо и подергиваясь, как игрушечный человечек на веревочках, все свои комнаты.

Руки ее были сжаты в кулаки.

— Я ложусь спать! — крикнула она на весь дом.

И, войдя в свою спальню, затворила дверь.

Сидя на стуле, она сняла парик, вынула зубы, — она никогда не спала с зубами из страха, что они ее задушат — и, накрутив на себя двадцать разных шалей, козынок и платочков, обратилась в пестрый бесформенный узел, на котором свободно болталась голова.

Она залезла в постель и позвонила в звонок у изголовья.

Фрекен Хольм вошла со стаканом, наполненным дымящейся жидкостью.

— Ах, приятно, — сказала фрекен Сайер, отпив. — И уж знаешь наверное, что это не яд.

Она продолжала пить, а фрекен Хольм стояла неподвижно у ее постели.

— Ну, милочка, — сказала фрекен Сайер, — денек был чудный... отрадный денек.

Она вдруг рассмеялась, громко и пронзительно.

— Славная штука — эта *пожизненная рента*, превосходное изобретение! Можно радовать их всю свою жизнь.

Фрекен Хольм не отвечала.

И, словно в припадке внезапного бешенства, фрекен Сайер рывком приподняла на постели свое увечное тело.

— Да! — крикнула она так громко, что голос ее сорвался на хрип. — *Что* мне дала моя жизнь? Так пусть же они теперь попляшут, покуда не заплачут над моим гробом! Можете идти, — сказала она, упав в подушки.

Фрекен Хольм потушила все лампы в доме, одну за другой.

Затем она прошла в свою комнату.

Став перед столом, она выложила миндаль — жареный миндаль, украденный ею для сына.

КОММЕНТАРИИ

У ДОРОГИ («VED VEJEN»)

Роман «У дороги» был начат Бангом зимой 1885 года в Берлине, закончен осенью 1886 года в Праге. Материальные невзгоды и чувство полного одиночества преследовали в эти годы художника. В письме от 25 декабря 1885 года к своему другу писателю П. Нансену Банг сообщает: «Я пишу для того, чтобы жить... Я провожу время в мучительной борьбе с языком, реже — мыслями... Боже, какое одиночество. Чему предназначена моя жизнь, для чего живу, если однажды не создам нечто великое».

В роман Банг вкладывает все свои душевные силы; работая над ним, он делает заметки: «Я плету венок печальных судеб, венок горького юмора и громкого смеха». Художник стремится обобщить свой социальный и личный опыт, разоблачить низость и тупость посредственности, с которой ему часто приходится сталкиваться. «Жизнь, подобная моей, — изучение бездуховной человеческой низости. Вокруг так много подлости, зависти, пустого восхищения, отказа от своих слов...» Господство посредственности, «погрязшей в нравственной тупости и идиотизме», Банг связывает с таким общественным развитием, при котором «нравственные законы умирают день за днем». «Каждый раз, когда я думаю, что все, завоеванное людьми, рушится, мне хочется плакать».

Окончив роман, Банг публикует его в октябре 1886 года в сборнике «Тихое существование».

Роман «У дороги» стал программным в творчестве художника. В письмах к друзьям и знакомым, датированных 1886 годом, Банг постоянно упоминает о нем. «В этой книге персонажи получают все, что они заслужили. Только главная героиня — моя мать — (образом Катинки послужила мать Банга. — А. С.) сохраняет свою чистоту». О Бае, одном из главных действующих лиц романа, Банг пишет: «Это самый правдивый образ, какой я когда-либо создавал. Герой в высшей степени смешон во всей своей чудовищности».

Толчком к созданию романа «У дороги» послужило мимолетное

впечатление. На железнодорожной станции Банг увидел однажды молодую женщину, лицо которой поразило его выражением страдания и боли. В предисловии к сборнику «Тихое существование» Банг писал: «Это лицо в течение двух лет вновь и вновь возникало предо мной... Я понял, мне его не забыть. Эти глаза требовали, чтобы я рассказал о них». Впоследствии Банг дополняет впечатление от встречи воспоминаниями о жизни в Терсле, где прошла его юность.

После выхода в свет роман подвергся резкой критике главным образом за «нервный и прыгающий» импрессионистический стиль, который в разрабатываемой Бангом форме был новым и необычным явлением в Дании. Отзывы критиков восстановили читателя против произведения Банга. Издатель А. Шоу писал автору: «Издание книги — наша последняя попытка. Если новая книга не будет пользоваться полными успехом, мы не сможем издавать Вас...» Однако к этому времени Банг уже был достаточно уверен в своем таланте и отвечал ему: «Смешно, что из года в год я жду признания, которое легко и быстро выпадает на долю всякой посредственности».

Постепенно роман завоевал признание читателя. Следующее издание романа было осуществлено в 1898 году. Начиная с 50-х годов нашего века он переиздавался неоднократно. В России роман «У дороги» был переведен и вышел в издании В. М. Саблина сначала в 1910, а затем в 1911 году.

Стр. 31. ...перещеголять самого Хольберга.— Л. Хольберг (1684—1754) — знаменитый датский писатель. Просветитель-философ, историк, драматург и сатирик, Л. Хольберг оказал большое влияние на всю скандинавскую литературу и общественную жизнь.

Стр. 59. *Хусмен* — крестьянин, владевший небольшим дворовым участком без земельного надела.

Стр. 63. ...нашего титана Брандеса...— Брандес Г. (1842—1927) — известный датский критик и историк литературы, оказавший большое влияние на развитие реализма в скандинавских странах.

Стр. 64. ...стоят сочинения Эленшлегера и Мюнстера.— Эленшлегер А.-Г. (1779—1850) — поэт и драматург, крупнейший представитель датского романтизма. Мюнстер И.-П. (1775—1854) — датский писатель-романтик.

...копия торвальдсеновского Христа.— Торвальдсен Б. (1768—1844) — знаменитый датский скульптор, представитель классицизма.

Стр. 85. ...одна наигрывала заунывное «Прощание генерала Бертрана», другая — «Дуэт Аяксов». — «Генерал Бертран» — анонимное и очень популярное в 80-е годы XIX в. стихотворение. Дуэт Аяксов — дуэт из оперетты Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена».

...дочери Фердинанда из Тироля.— Фердинанд из Тироля — персонаж народных ярмарок.

Стр. 96. *Песня о Сорренто* — песня из популярного музыкального спектакля по пьесе датского писателя А. Реке (1820—1867) «Поездка в Китай».

Стр. 105. *Это была песня о господине Педере*. — Имеется в виду переложенное на музыку стихотворение из исторической драмы «Дом Свена Дюринга» (1837) известного датского писателя-романтика Х. Херца (1797(98?)—1870).

«*Марианна*» — английская народная песня в переработке Х.-К. Андерсена.

ТИНЕ («TINE»)

В годы, предшествующие созданию романа, Банг активно занимается журналистикой. Участвуя в политической борьбе, он понимает, что «правительственная оппозиция идет компромиссным путем и не способна бороться с консерваторами», проводившими шовинистскую, милитаристскую политику.

«Датская левая», — писал Ф. Энгельс в 1889 году, — уже давно разыгрывает недостойную комедию оппозиции и без устали демонстрирует снова и снова перед всем миром свое собственное бессилие. Она давно упустила случай, — если он когда-либо представлялся, — с оружием в руках покарать нарушителей конституции, и, как видно, все большая и большая часть этой левой стремится к примирению с Эstrupом»¹.

Банг считает, что самое опасное для Дании — возможность войны, к которой ее подталкивало правительство консерваторов. Об этой опасности он и предупреждает в своих статьях. Но ограничиться выступлением в журналах ему кажется недостаточным, и в начале 1889 года Банг приступает к роману, цель которого изобразить подлинную картину войны.

Обдумывая замысел романа, Банг обращается к трагическим событиям войны 1864 года, к которой привела страну политика национал-либералов. Целью ее являлась борьба с национально-освободительным движением немецкого населения в герцогствах Шлезвиг и Гольштейн, соединенных с Данией личной унией. Толчком к началу войны послужило принятие датским парламентом в ноябре 1863 года новой конституции «для общих дел королевства Дании и герцогства Шлезвиг». После того, как датское правительство отклонило ультиматум германских государств, потребовавших отмены конституции, начались военные действия. Дания потерпела

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 37, с. 276.

поражение. По мирному соглашению, подписанному в Вене, Гольштейн, Лауэнбург и почти весь Шлезвиг перешли в совместное управление Австрии и Пруссии. За пределами Дании осталось двести тысяч датчан Шлезвига.

Банг не случайно избрал темой своего романа события 1864 года. Ему казалось, что политическая ситуация в стране в конце 80-х годов напоминает политическую ситуацию в начале 60-х; кроме того, печальный опыт 1864 года был и личным опытом Банга, который родился и провел свое детство на острове Альс. «Прежде всего я слышу в моих темах, в моем изложении, в стиле, во всем, что я написал, отзвуки, темп и ужас сигнальных рожков отступающего войска», — пишет Банг в предисловии к «Тине».

Работая над романом, он активно изучает фактическую сторону событий. Многие главы романа начинаются с сообщений: «В следующий полдень», «Через два дня...» и т. д. Банг точно сообщает о датах сражений (Данневирке — 5 февраля, Дюббель — 18 апреля). В романе приводятся и малоизвестные читателю факты: число убитых, расположение полков, состояние погоды. Банг указывает, что, создавая роман, он использовал в нем свидетельства очевидцев, книги воспоминаний. Он внимательно прочитал все датские журналы за 1863 и 1864 годы и писал впоследствии: «Во время предварительной работы над «Тине», я с ужасом осознал, как день за днем пресса национал-либералов плела паутину нелепостей, иллюзий, путаницы представлений — того, что привело нашу страну к Данневирке».

Осенью 1889 года роман был издан в Дании. В реакционных кругах Банга упрекали в том, что он якобы извратил смысл действительных событий и наделил своих персонажей настроениями, не свойственными подлинным участникам войны. «О том, что и в несчастливой войне есть много обещающих и восхитительных моментов, Банг, конечно, не знает; как может писать о войне человек, который нюхал порох лишь во время фейерверка в Тиволи. Как изображение войны «Тине» — надуманный роман и является лишь попыткой описать пикантные любовные сцены», — писал один из датских критиков.

В письме норвежскому писателю Юнасу Ли, которого Банг высоко ценил, он с горечью признается: «Никто не понимает меня в этой стране». Вскоре Банг получил письмо от Ибсена. В нем великий норвежский драматург благодарил Банга за «подлинно прекрасное произведение с Альса».

Второе издание романа «Тине» вышло в Дании в 1912 году. С тех пор он переиздавался неоднократно. В России роман увидел свет в издательстве «Современные проблемы» в 1910 году, а также в издании В. М. Саблина в 1911 году.

Стр. 168. *Стелла Хюг и Нина, фрекен Агнес и фру Катинка...*— героини романов «Безнадежные поколения» (1880), «У дороги» (1886).

Стр. 174. *«Господин Педер»*.— См. прим. к стр. 105.

«Лети вперед над бурными волнами»— стихотворение датского поэта-романтика Х. Винтера (1796—1876).

«В королевской роще»— датская народная песня в обработке И.-Л. Хейберга (1791—1860).

...принесла с веранды «Короля Фредерика», «Сражение под Истедом».— *Король Фредерик*— датский король Фредерик VII, правивший с 1848 по 1869 г. Во время его правления в начале 1848 г. в герцогствах Шлезвиг и Гольштейн вспыхнуло восстание. Последнее сражение между королевскими войсками и шлезвиг-гольштейнцами произошло 25 июля 1850 г. под Истедом. В нем восставшие потерпели полное поражение.

...портрет короля Христиана...— *Король Христиан*— датский король Христиан VIII (1786—1848), отец Фредерика VII.

Стр. 178. *...вспоминала... трагедию об Акселе и другую, о королеве Зое*.— Речь идет о трагедиях А.-Г. Эленшлегера «Аксель и Вальборг» (1808) и «Варяги в Миклагороде» (1827).

Стр. 179. *Фредерик Шестой*— датский король, правивший с 1809 по 1839 г. Ему наследовал племянник Христиан-Фредерик, принявший имя Христиана VIII.

Стр. 185. *...песенку о маленькой Грете*.— *«Маленькая Грета»*— стихотворение известного датского писателя, актера и режиссера Ф. Хеета (1820—1885).

Чаще всего читал он... Палудан-Мюллера.— Ф. Палудан-Мюллер (1809—1876)— известный датский писатель, сочетавший в своем творчестве элементы романтизма и реализма.

Стр. 192. *...где был записан «Рыцарь Огэ»*.— *Рыцарь Огэ*— герой средневековой народной баллады «Огэ и Эльса».

Стр. 194. *Ах, как наш край хорош,*

Омытый синим морем и весь в густых лесах...— Строки из стихотворения А.-Г. Эленшлегера «Песня о родине».

Стр. 199. *Псалом о «Трех королях»*— стихотворение известного датского писателя и общественного деятеля, епископа, реформатора церкви Н. Ф. С. Грундтвига (1783—1872).

Стр. 201. *...говорили... о Буструпе... о Мисуне...*— речь идет о местах боевых действий в датско-германской войне 1848 г.

Был он грундтвигианцем.— Грундтвигианцы— последователи Грундтвига, выступали как сторонники сохранения древнего крестьянского уклада жизни, проповедовали христианские идеи на национальной почве.

...о битве при Фредерисии.— Битва при Фредерисии произошла 6 июля 1849 года. В ней шлезвиг-гольштейнцы, лишившиеся поддержки Пруссии после перемирия между ней и Данией в июле 1848 г., потерпели поражение.

Стр. 202. ...вспомнили слова Рюе... Шлеппегрелля и де Меца.— Олаф Рюе, Фредерик Шлеппегрелль и Христиан де Мец — датские офицеры, прославившиеся в первой шлезвиг-гольштейнской войне 1848—1850 гг.

Стр. 205.осенит творение королевы Торы.— Королева Тора — по народному преданию, создательница укреплений Данневирке.

Стр. 206. ...начали хулить... короля Христиана.— Христиан — датский король Христиан IX (1818—1906).

Стр. 207. ...будто самое имя поэта стало выражением всеобщих чаяний...— речь идет об А.-Г. Эленшлегере (см. прим. к стр. 64), призывавшем в ряде произведений к единению народов скандинавского Севера.

ШАРЛО ДЮПОН
(«CHARLOT DUPONT»)

Новелла, озаглавленная по-французски, впервые опубликована в сборнике «Эксцентрические новеллы» в 1885 году. Написана под впечатлением встречи с известным скрипачом-виртуозом Морисом Денгремоном. Банг познакомился с ним в Норвегии в период, когда скрипач расстался со своим импресарио. Как выяснилось, во время турне Банга по скандинавским странам в начале 1885 года у него был этот же самый импресарио. Банг изобразил его в образе Теодора Франца. По мнению известного датского литературоведа П.-А. Росенберга, Теодор Франц остается «наиболее типичным импресарио в европейской литературе, наиболее убедительно и остроумно написанным».

Новелла знаменательна тем, что это первое произведение Банга, созданное им в импрессионистической манере. Отличается она от других ранних произведений Банга и острым юмором, который не позволяет повествованию принять сентиментальный характер.

На русском языке вышла в издании В. М. Саблина в 1911 году.

Стр. 312. Патти Аделина (1843—1919) — знаменитая итальянская певица.

Пронунсиаменто — в Испании и Латинской Америке название государственного переворота.

Стр. 315. *Sarasate* П.-М. (1884—1908) — знаменитый испанский скрипач, начавший выступать в детском возрасте.

Стр. 318. ...о своем друге Амбруазе Тома.— А. Тома (1811—1896) — известный французский композитор.

ЧЕТЫРЕ ЧЕРТА
(«DE FIRE' DJEVLE»)

Рассказ был написан для газеты «Копенгаген» и печатался в ней с 24 августа по 17 сентября 1890 года. Вначале был озаглавлен по-французски «Les Quatre Diables», только в 1895 году в очередном издании получил датское название «De fire djevle».

В России был опубликован В. М. Саблиным в 1911 году, а также издательством «ГИЖ» в 1925 году в переводе Ф. Сологуба.

Стр. 359. *Парфорсная езда* — вид верховой езды, при которой всадник выполняет акробатические упражнения на лошади, преодолевая различные искусственные препятствия.

ФРЕКЕН КАЯ
(«FREKEN KAJA»)

Впервые был опубликован в сборнике «Под гнетом» в 1890 году. Написанный после рассказов «Ирена Хольм» (1886) и «Прекрасный день» (1889), он завершает цикл произведений, в которых Банг обращается к теме «маленьких людей». «Судьба героини рождает глубокое сочувствие», — пишет известный датский литературовед, исследователь творчества Банга Х. Якобсен.

В России рассказ вышел в свет в издании В. М. Саблина сначала в 1910, а затем в 1911 году.

ВОРОНЬЕ
(«RAVNENE»)

Опубликован в сборнике «Воронье» в ноябре 1902 года. В предисловии к немецкому изданию Банг писал, что «Воронье» — набросок, эскиз к большому роману», к которому, однако, он так и не приступил.

В рассказе Банг прибегает к своему излюбленному приему — одновременному изображению целой группы персонажей, используя для их характеристики диалог и короткий авторский комментарий.

На русском языке появился в издании В. М. Саблина в 1911 году.

Стр. 440. *Амтман* — начальник округа, амта, в Дании.

Стр. 442. *Руны* — древние письмена.

Стр. 444. *Хейберг Й.-Л.* (1791—1860) — известный датский драматург, представитель романтизма.

Бурнонвиль Август (1805—1879) — крупнейший датский балет-мейстер.

Якобсен Й.-П. (1847—1885) — известный датский писатель, один из участников «прорыва», литературного движения 70-х—80-х годов, возглавлявшегося Г. Брандесом.

Стр. 460. *«Ах, два дрозда в тени лесной...»* — Эти и последующие строки из положенного на музыку стихотворения известного датского поэта-романтика Х. Винтера (1796—1876).

А. Сергеев

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Неустроев. Герман Банг и его творчество</i>	3
<i>У дороги (Роман.) Перевод Ю. Яхниной</i>	25
<i>Тине (Роман.) Перевод С. Фридлянд</i>	168
Рассказы	
<i>Шарло Дюпон. Перевод Ю. Яхниной</i>	311
<i>Четыре черта. Перевод С. Тархановой</i>	344
<i>Фрекен Кайя. Перевод Л. Лунгиной</i>	390
<i>Воронье. Перевод Т. Величко</i>	417
<i>Комментарии А. Сергеева</i>	471

Банг Герман.

Б23 Избранное. Пер. с дат. Сост. Ю. Яхнина. Предисл. В. Неустроева. Коммент. А. Сергеева. М., «Худож. лит.», 1973

480 с.

Герман Банг (1857—1912) — крупнейший представитель датской прозы конца XIX — начала XX века. В лучших своих произведениях Банг выступает как замечательный писатель-реалист, блестящий мастер психологического анализа, тонкий стилист. В настоящий сборник вошли наиболее известные произведения писателя — социально-психологические романы «У дороги» и «Тине», а также рассказы «Воронье», «Фрекен Кайя», «Четыре черта» и «Шарло Дюпон», в которых писатель с глубокой иронией раскрывает хищную, злобную психологию мещан, враждебную всему благородному, чистому, талантливому.

0734—112
Б 164—74
028(01)74

И (Дат)

Герман Баня
ИЗБРАННОЕ

Редактор

Э. Шахова

Художественный

редактор

Л. Калитовская

Технический

редактор

Е. Полонская

Корректоры

О. Наренкова и

Д. Эткина

Сдано в набор 22/III-1973 г.

Подписано в печать 23/VIII-1973 г.

Бумага типографская № 2. Формат 84×108¹/₃₂. 15 печ. л. 25,2. Усл.

печ. л. 26,49. Уч.-изд. л. Тираж

50 000 экз. Заказ 134.

Цена 91 коп.

Издательство
«Художественная
литература»
Москва, Б-78,
Ново-Басманная, 19

Тульская типография Союз-
полиграфпрома при Государст-
венном комитете Совета Мини-
стров СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной
торговли, г. Тула, проспект им.
В. И. Ленина, 109.